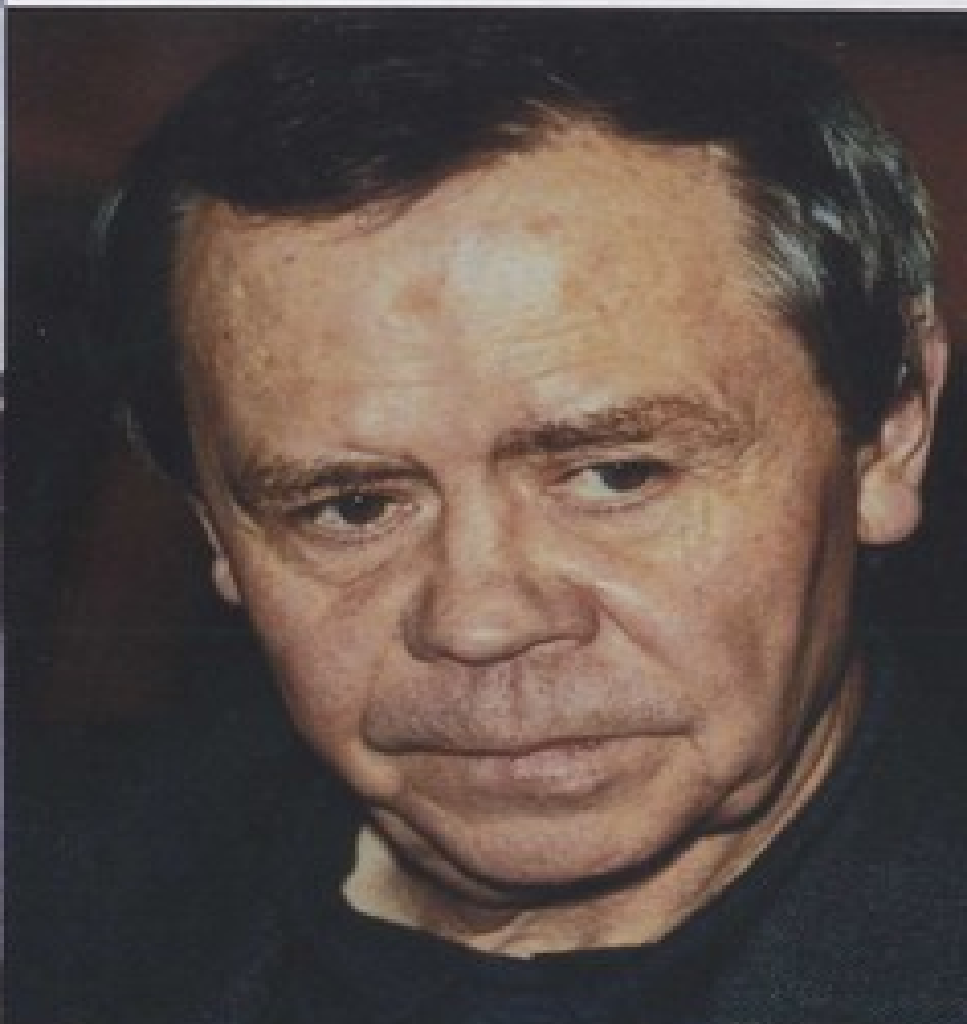
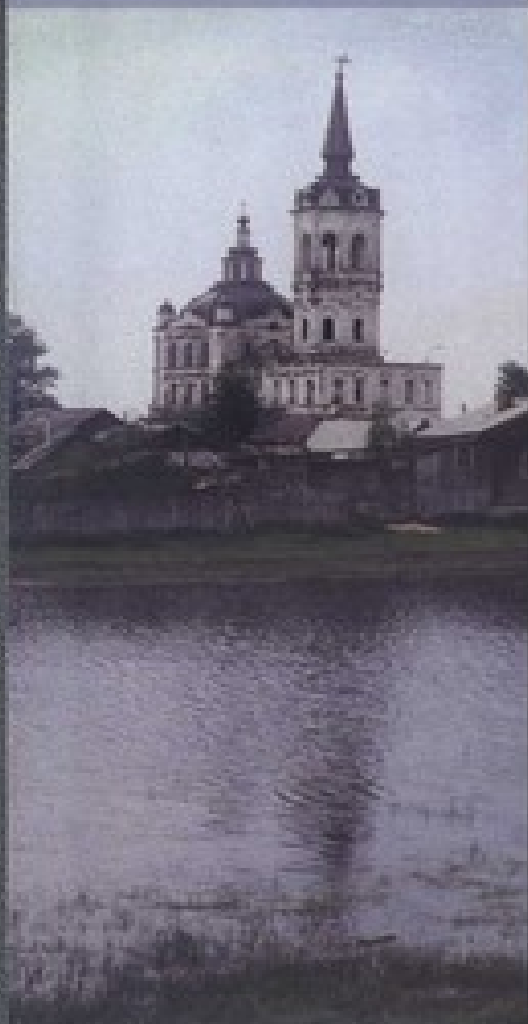


# ВАЛЕНТИН РАСПУТИН



Андрей  
Рудянец



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

- 
- [А. Г. Румянцев](#)
    - [О РАСПУТИНЕ](#)
    - [Глава первая](#)
      - [«Моя фамилия пришла из мурманских и архангельских краёв...»](#)
      - [«Рождённые в года глухие...»](#)
      - [«Обомлел от вошедшей в меня красоты...»](#)
      - [Где живёт кикимора?](#)
      - [Трагедия отца](#)
      - [«Деревня не даст тебе пропасть...»](#)
      - [«Тогда пронзило меня Слово...»](#)

- [Своя, особенная школа](#)
- [Испить до дна](#)
- [Глава вторая](#)
  - [Город будущей судьбы](#)
  - [Дом, где оттачивались перья](#)
  - [«Он любит меня такой, какой сделала любовь к нему...»](#)
- [Глава третья](#)
  - [Навыки журналистские и семейные](#)
  - [Та же студенческая жизнь...](#)
  - [Край возле неба. И возле сердца](#)
  - [Основатели снежноградов](#)
  - [Литературное крещение](#)
  - [Какие мы, люди с этого света?](#)
  - [В отчем краю: радость и боль](#)
- [Глава четвёртая](#)
  - [Дверь, открытая «Василием и Василисой»](#)
  - [Не притча ли это?](#)
  - [«Избегайте высоких слов...»](#)
  - [«Среди друзей-товарищей»](#)
- [Глава пятая](#)
  - [Чем близка чужая книга?](#)
  - [«Возле Вампилова было теплее...»](#)
  - [«Твой сын, Россия, горячий брат наш...»](#)
  - [Литературное поле Абрамова](#)
  - [«Талант астафьевской мощи...»](#)
  - [«Евгению Носову можно верить...»](#)
  - [Музыка жизни — музыка литературы](#)
- [Глава шестая](#)
  - [Сага о матери](#)
  - [С заглядом вперёд](#)
  - [Врачующее слово — «Господи»](#)
  - [В глубинах духа](#)
  - [В имени слышится: Русь...](#)
- [Глава седьмая](#)
  - [Без чего нельзя жить](#)

- Скорбит душа
- Глава восьмая
  - «Ой, дадут Вале за повесть...»
  - «Возьмутся судить. А понять?»
  - «Сладко жить, страшно жить, стыдно жить...»
  - На перекрёстке мнений
  - Погружение в сороковые...
- Глава девятая
  - За что его любили
  - Слово тихое, а эхо всемирное
  - Особая родня — земляки
  - И редкие встречи — памятны
  - За строками писем
  - Его не слушали — ему внимали
- Глава десятая
  - Могут ли святые уйти в небытие?
  - Удержать в себе человека
  - Мы — не последние!
  - Иваны, не помнящие родства
  - Любая судьба жаждет обручиться с небесным светом
  - «Пролить слезу, испить стакан надежды...»
- Глава одиннадцатая
  - С нарастающим интересом
  - Как рождаются книги
  - Дети писателя: «Мы выбираем путь...»
- Глава двенадцатая
  - Колодец земли
  - «Полная чаша злата и лиха»
  - Как образумить «деловых людей»?
  - Волны согласия и поддержки
  - Жестокий урок Бивы
  - Сумерки людей
  - Он просил: «Стоять до конца!»
- Глава тринадцатая

- [«Согласие с тем, что прочла...»](#)
- [Потрясение испанских зрителей](#)
- [Всё, как в жизни...](#)
- [Театр начинается с книги?](#)
- [От слова — к музыке](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
  - [Сказ о граде Иркутском](#)
  - [Снаряжавшие русских Колумбов](#)
  - [Спасённая Катунь](#)
  - [На берегу океана](#)
  - [«Песчаная Венеция»](#)
  - [Дорога из века в век](#)
  - [Стойкость, завещанная землёй](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
  - [Откуда они, «архаровцы»?](#)
  - [Неужели мы — лёгкие, балаганные люди?](#)
  - [«Свет переворачивается не сразу...»](#)
  - [Нарасхват](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
  - [Тысячелетние скрепы](#)
  - [«Что хотела завещать старая Русь?»](#)
  - [Духовный подвиг Сергия Радонежского](#)
- [Глава семнадцатая](#)
  - [Как чёрное выдавали за белое и наоборот...](#)
  - [Отойти от пропасти!](#)
  - [Повара кремлёвской «кухни»](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
  - [Время «новых русских»](#)
  - [У каждого своя правда?](#)
  - [Не ищи оправданий, сильный и честный!](#)
  - [Выстоять под грозовыми тучами](#)
  - [Как «сочинители» картошку сажали](#)
  - [Наперекор всему — «Сияние России»!](#)
  - [«Артельное дело» превыше всего](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
  - [С больной головы на здоровую?](#)

- Истины ради
- Жупелы: один, два, три...
- «Год выходит за пять...»
- Сибирская даль с альпийских гор
- Глазами Жоржа Нива
- Глава двадцатая
  - «Человеконаправленный» гений
  - «Любимое имя — Пушкин...»
  - Спасение — быть русским
  - «Толстой дал масштаб русскому писателю...»
  - Воспитаи ученика...
  - «Когда вы были молодыми...»
- Глава двадцать первая
  - По содеянному воздастся
  - На фоне двух литератур
  - Сеющие бурю
- Глава двадцать вторая
  - Огонь, спаливший сердца
  - Беда семьи, беда страны
  - «А нам — большие слёзы»
  - «Моему ангелу-хранителю...»
- Глава двадцать третья
  - Сокровище, которому нет равных
  - Точка опоры
  - Чистый источник — его книги
- Глава двадцать четвёртая
  - «Не бойтесь сочувствия слабым...»
  - Счёт к разрушителям
  - Отчаяние запрещено!
  - Зажги свечу — растает тьма
  - Жрецы «новой» культуры
  - Что завещали предтечи?
- Глава двадцать пятая
  - Россию отстроят молодые руки!
  - Та, что скрасила трудные годы
  - Скорбь

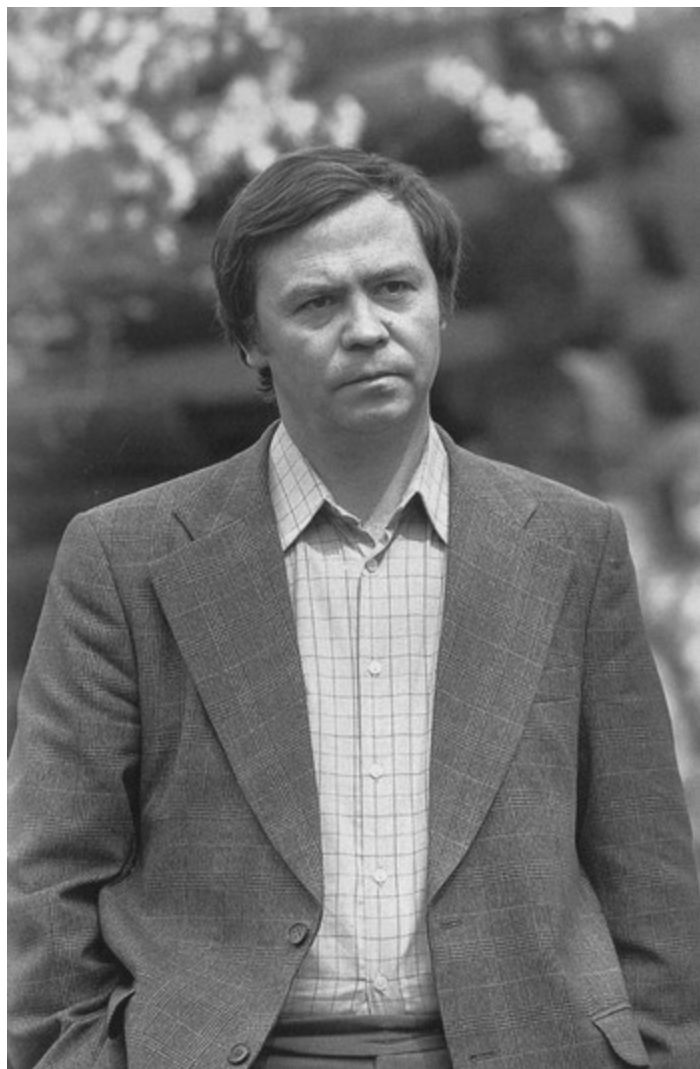
- [ВМЕСТО ЭПИЛОГА](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА](#)
- [В. Г. РАСПУТИНА](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)

- [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)
  - [35](#)
  - [36](#)
  - [37](#)
  - [38](#)
  - [39](#)
  - [40](#)
  - [41](#)
  - [42](#)
  - [43](#)
  - [44](#)
  - [45](#)
-



**А. Г. Румянцев**  
**Валентин Распутин**

## О РАСПУТИНЕ



*В. Распутин*

Русская литература стала великой, потому что её вершинами были и есть писатели, олицетворяющие совесть народа, способные со всей силой своего таланта выразить боль, мечту, стремления человека. Именно они, отражая реальность и реального человека, формируют его духовный мир.

Валентин Распутин был в полной мере такой вершиной.

Его любовь к России была чистой и истовой. Его русский язык был бесконечно богат и поражал глубиной образности. Его гражданское бесстрашие было соразмерно его художественному дару.

Жизнь Валентина Григорьевича не делилась на работу и «личную» жизнь. Творчество составляло его бытие, а бытие было творчеством. Общение с ним требовало огромной внутренней работы от собеседника, работы ума и души. И щедрость, с которой Распутин одаривал всех нас богатством своей личности, не имела пределов.

Распутин мог быть душевным и беспощадным, лиричным и неистовым, только одно ему было неведомо — равнодушие.

Того, что успел сделать Распутин, хватило бы на несколько жизней. Но его всегда мучило чувство, что он не успел доделать что-то очень важное, что не всё, поставленное им себе в задачу, выполнено в полной мере.

И высказанная им в начале 1980-х мысль сопровождала его до самого конца:

«Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного...

Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счёту».

*Владимир Толстой*

**Глава первая**  
**ЧТО НАПЛЕСКАЛА В ДУШУ**  
**АНГАРА?**

## **«Моя фамилия пришла из мурманских и архангельских краёв...»**

Реки в России испокон веку были главными её дорогами. Но Ангара в этом смысле тропа особая. Лет триста-четырееста она была для первопроходцев единственной в Восточной Сибири, да и теперь многие жители края предпочитают добираться до родных прибрежных селений по её водам, а не по суше.

Впрочем, эта ценность Ангары, так сказать, житейская. Для родившихся на её берегах «дочь Байкала», как издавна называли эту реку, имеет ещё и священный образ. Это она первой открывает каждому мальцу земную красоту, она входит в его жизнь сказкой и песней, легендой и былью. Она связывает в тугой узел каждую укоренившуюся здесь родоу.

В зрелые годы Валентин Распутин живо интересовался историей появления первых землепроходцев на ангарских берегах три века назад. «Наши места, — писал он в предисловии к своему двухтомнику 1997 года „Откуда есть-пошли мои книги“, — были заселены в самом начале восемнадцатого столетия выходцами с Русского Севера. Самые распространённые фамилии — Вологжины и Пинегины, бабушка тоже из Вологжиных. Моя фамилия пришла из мурманских краёв (другой ветвью из архангельских) и разрослась по Ангаре густо, назвав собою две деревни на порядочном расстоянии одна от другой. Теперь не осталось ни одной. В дедушке по отцу (по матери я деда не знал) просматривалась примесь коренной сибирской породы, этакая тунгуссковатость, а у бабушки было чисто русское,

ликовое лицо, суховатое и удлинённое, глядящее издалека, точно помнящее века; и он, и она были людьми сильных характеров, долго притиравшихся, народивших кучу детей, но так в конце концов и не притёршихся. Это о них рассказ „Василий и Василиса“, один из первых. С него я начал, а бабушку писал постоянно, с неё слеплены старуха Анна в „Последнем сроке“ и старуха Дарья в „Прощании с Матёрой“. Судьба моих односельчан и моей деревни почти во всех книгах, и их, этих судеб, хватило бы ещё на многие».

Однажды Распутин услышал даже о далёком «предтече», носившем его фамилию. Журналист из Красноярска Владимир Зыков рассказал в воспоминаниях:

«...когда Валентин отработал несколько лет в „Красноярском комсомольце“ и вернулся в родной Иркутск, я сообщил ему о моей находке в сибирских „Учёных записках“, упомянувших некоего „Распуту“, поселившегося в „первые русские“ годы на Ангаре. И Валентина заинтересовал такой факт: „Может быть, это кто-нибудь из моих древних предков?“».

Сотрудники Иркутского областного архива ещё при жизни Валентина Григорьевича выпустили в свет книжечку о родословной писателя.

«...пращур В. Г. Распутина Ортемий Роспутин, — читаем в ней, — был среди первых русских поселенцев Илимского острога, основанного енисейскими служилыми людьми. В 1671 году в Илимском остроге проживал Иван Роспутин, который по отцу именовался Ортемьевичем. В ранних документах при написании фамилии в ней стоит вторая буква „о“, а не „а“: Роспутин, а не Распутин. Позднее в архивных бумагах первая буква отчества Ивана Ортемьевича была заменена на „А“ — Артемьевич». В одном из счетов Киренской волости за 1671 год записано, что Иван Роспутин ездил «досматривать государевы десятины»,

то есть по делам службы. А служил он подьячим в канцелярии воеводы — в Илимской съезжей (приказной) избе. Это подтверждается записями в книгах о выдаче жалованья служилым людям за 1675 и 1676 годы.

В 1676 году подьячий Иван Ортемьевич «...близ Киренги речки и недалеко от Подволошиной деревни» основал деревеньку «Роспутина». По ревизской сказке 1723 года, заимка «Роспутина» имела два двора.

Кроме этого поселения, по сохранившимся сведениям, была в тех краях и деревня Андрея Роспутина, «беломестного казака, который пашет на себя без денег, хлебного и соляного жалования 10 десятин пашни». «Беломестными» тогда назывались те казаки, что получали «обелённые», то есть свободные от податей наделы земли («белые места»). Они подчинялись воеводам, несли по очереди гарнизонную и полковую службу, справляя эти обязанности за надел земли и освобождение от налогов.

Как пишут архивисты, «степень родства подьячего Ивана Ортемьевича Роспутина и беломестного казака Андрея Роспутина по документам определить не удалось, но с большой степенью вероятности можно предположить, что они были братьями».

«В 1680 году Иван Ортемьевич выбыл из подьячих по старости. Вместо него воевода назначил подьячим Илимской съезжей избы его сына — Ивана Ивановича». Однако он недолго справлял свою должность и вскоре был определён на казачью службу, «...за хлебное жалование велено ему пахать на себя пашню на Ангаре реке, на заимке отца ево Ивана Роспутина».

У Ивана Ивановича было шестеро сыновей, среди них один носил традиционное для семьи имя Иван, а другой — Григорий (правда, о том, что Григорий, а также Михаил — это сыновья старшего Роспутина, имеются только косвенные архивные свидетельства). Так вот, Ивана и Григория стоит выделить потому, что

первый стал казачьим атаманом, а второй — казачьим пятидесятником. Согласно ревизским сказкам за 1744 год, казачий атаман жил в деревне Милославской Яндинского острога, а пятидесятник, ранее тоже хозяйствовавший там, переселился в деревню Шипицына. Записи в «книге Николаевской церкви Яндинского острога Илимского города» свидетельствуют о том, что и Иван, и Михаил были приписаны к приходу этого храма. Вероятно, и Григорий, живший рядом, — тоже. Сведения, содержащиеся в той же книге в разделе «Служилыя», а также в метрических записях местных церквей, снова косвенно подтверждают родство потомков Ивана Артемьевича.

Новые поколения Распутиных (а семьи их всегда были многодетными) освоили обширную территорию по обоим берегам Ангары. Их родные места — Илимск, Ново-Удинская слобода, Яндинский острог, деревни Милославская, Шипицына, Распутина, Аталанка. По метрическим книгам Яндинской церкви Преображения Господня, наиболее крупной в округе, имевшей два придела, сотрудники архива составили генеалогическое древо рода Распутиных, начиная от Артемия. В нём значатся десятки и десятки предков писателя, потрудившихся в глухоманной, но богатой сокровищами Сибири во славу отечества, — бесстрашными первопроходцами, основателями казачьих острогов, зачинателями таёжных пашен и промыслов. В богатейшей истории рода не может, например, не остановиться внимания семья прапрапрадеда Валентина Григорьевича — Василия Львовича Распутина, который в 1832 году восемнадцатилетним женился на Екатерине Анисимовне Пинигиной, крестьянской дочери из деревни Бараново, и имел шестнадцать детей: семь сыновей и девять дочерей. Один из его сыновей, Фёдор, в 1861 году обвенчался на родных берегах с юной



крестьянкой Анной Кашкаровой; они оставили после себя пятерых детей, среди них будущего прадеда писателя Якова Фёдоровича. Он, женившись на землячке Татьяне Мироновне, тоже обзавёлся немалым потомством: супруги имели десятерых детей. Пришлось называть двух из пяти сыновей одним именем: Никита первый и Никита второй. Первый стал дедом Валентина Григорьевича. 8 апреля 1912 года он венчался в Яндинской церкви с Марией Герасимовной Вологжиной, дочерью крестьянина из деревни Криволицкой. Старшим из семи малышей, родившихся в браке, стал отец будущего прозаика, Григорий Никитич. Он появился на свет 25 января 1913 года.

Всё это сухие сведения из архивов. Но какие судьбы открылись бы читателям, если бы их запечатлел в прозе чуткий и мудрый художник! Рассказ Распутина «Василий и Василиса» даёт об этом представление.

Был в девяностых годах и у меня разговор с Валентином Григорьевичем о его корнях. В нашей беседе, публиковавшейся в нескольких изданиях, я спросил прозаика, не хочет ли он написать книгу, в которой будет использована история его рода. Распутин ответил:

«Моя семейная хроника... едва ли я смогу к ней вернуться. Это нужно было делать раньше. Я жалею, что не сделал это после повести „Последний срок“, тогда был подходящий момент для того, чтобы обратиться к истории рода. Теперь труднее ворошить это, потому что окунуться в семейную хронику, досконально изучить её и на её основе написать что-то — для этого потребуется время, много времени, а у меня большого времени уже нет».

## «Рождённые в года глухие...»

Григорий Распутин, парень из ангарской деревушки Аталанки, ни в каких мечтах не видел себя живущим в иных палестинах, кроме отчего края. Мальцом он пережил Гражданскую войну, запомнившуюся тем, что по Ангаре вверх и вниз сновали тяжёлые лодки с солдатами, которых называли то колчаковцами, то «красными». В крестьянской семье, где было семеро детей, Гриша не мог вырасти белоручкой. Уже в десять лет помогал отцу то на тесном хлебном поле, отбитом у чёрной тайги, то на травянистом острове, где Распутины имели покос. А рыбалка на ангарском плёсе, походы с ватагой ребят за ягодой и шишкой — эти занятия были любимыми и первейшими.

Но в голодном тридцатом году семье стало невмоготу перебиваться в обнищавшей деревне, и родители отпустили парнишку в районный центр Усть-Уду, за полсотни вёрст от села: в какой-никакой государственной конторе можно было выжить на зарплату. Гриша устроился в торговую организацию — районный кооперативный союз, который для краткости называли райкоопом.

А ближе к Иркутску, в деревне Бильчир жила девушка Нина Чернова. Она родилась в здешних местах, в селе Серёдкине, 14 ноября 1911 года, чуть более года раньше Гриши Распутина. Её родовые корни уходили в дальние земли, аж в Польшу. Дед Нины Андрей Генрихович Гилевич, студент Варшавского университета, участвовал в польских волнениях, был отправлен по этапу в сибирские рудники, а затем на поселение в деревню Якимово Усть-Удинской волости Балаганского уезда. Дочь ссыльного Юлия Андреевна вышла замуж за коренного сибиряка Ивана Ильича

Чернова. До революции он служил урядником, под его досмотром было несколько соседних деревень, в том числе Бильчир и Серёдкино.

Юлия Андреевна, родив троих детей, умерла в цветущем возрасте. Иван Ильич женился на её младшей сестре Марии и имел с ней четырёх дочерей и двоих сыновей. Среди этих детей была и Нина, будущая мать писателя. Мария Андреевна слыла в родных местах женщиной необычной. Она любила охоту и рыбалку. То и другое на таёжном берегу Ангары отличалось разнообразием. Охотились на любого зверя, скрадывая на тропах<sup>[1]</sup>, устраивая загоны, ставя петли. Стреляли лесную и водоплавающую птицу. Ловили рыбу закидной снастью, ставили сети или перемёты, «лучили» с лодок или забрасывали уды. И все эти премудрости местных добытчиков хорошо освоила Мария Андреевна. Но был у неё и другой талант, которого ни у кого в округе, пожалуй, не было. Она вела дневник, а в преклонном возрасте написала объёмистые мемуары, которые не без изящества назвала так: «Из воспоминаний девицы XIX века». Они сохранились и стали бесценным документом Усть-Удинского краеведческого музея. Было бы большим упущением не привести здесь хотя бы отрывок из этого сочинения.

«Мой брат Вася был и охотник, и рыбак, у него имелись ружья и все рыболовные снасти, сети на большую и маленькую рыбу. Мне исполнилось лет четырнадцать, а я уже ходила с ним на охоту. Вася научил меня стрелять из дробовика и достал мне маленькое двуствольное ружьё. Я охотилась на любую птицу — на рябчиков, тетеревов, косачей, глухарей, уток, турпанов и гусей. И в лодке по Ангаре плавала с закидными сетями.

В субботу вечером обязательно едем с братом на лодке рыбачить закидной сетью. Однажды ночь была

тёмная, начиналась гроза. А известно — Ангара река суровая, быстрая, грести вёслами надо сильно и умело. Заметал Вася сеть. Лодку начало бросать то в одну, то в другую сторону. Я боюсь. Вдруг лодку нашу потащило, а я обессилела, уже грести не могу. Брат уговаривает меня: „Не бойся, Маня, наверно, сеть наша зацепила на дне коряжину“. Лодку несёт вниз по течению. Я стараюсь грести и причалить к острову. Наконец, лодка ткнулась носом в берег, я ухватилась за кусты.

Гроза разыгралась, засверкали молнии, пошёл сильный дождь. В лодке полно воды. Я начала вычерпывать её, а брат выбирает сеть. Вдруг он крикнул мне, что в сеть попалась большая рыба, и, когда подтянул снасть к лодке, схватил топор и ударил рыбину по пятнистой голове. И только тогда втащил её в лодку. Это оказался таймень длиной почти во весь шитик. И ещё попало двенадцать сигов.

После этого мы направились к деревне. Вася сел за вёсла, а я — на корму, рулить. Переплыли мы на свой берег, а унесло нас далеко-далеко по течению, я начала мёрзнуть. Села опять за вёсла, а брат стал работать шестом. И так мы кое-как докарабкались до деревни. Я осталась в лодке, а Вася пошёл за лошастью. Приехал, забрали нашу добычу и увезли домой.

И вот я, наконец, в тепле. Меня всю трясёт. Затопили камин в нашей спальне, дали мне выпить вина с чаем, и я уснула крепким сном. Встала только на другой день вечером.

Рыба наша потянула три пуда и пятнадцать фунтов. Продали её за десять рублей. Это были большие деньги. Мне купили платье и ботинки, а Васе костюм. Я болела целую неделю. Но стало получше — и опять потянуло на рыбалку...»

В 1925 году Иван Ильич скончался. А восемь лет спустя ушла из жизни и Мария Андреевна.

Через много лет Валентин Григорьевич в повести «Живи и помни» вложил в уста Настёны горькое воспоминание, которое, без сомнения, будущий писатель слышал от своей матери. В рассказе Нины Ивановны сын разве только сместил года: в тридцать третьем она уже не была подростком, как Настёна. И, возможно, судьба её отца была иной, чем у родителя героини, хотя в главном многое совпадает. Читаем в повести:

«В голодном тридцать третьем году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настёна собрала свою малую, на восьмом году, сестрёнку Катюку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили ещё раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил — не нашли. Так девчонки остались одни. Всё лето Настёна и Катюка шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаяннем, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катюки. Без неё Настёна, наверно, пропала бы. Сама она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катюка, для которой Настёна осталась вместо матери, заставляла её шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба.

К осени сёстры кое-как добрались до деревни Рютино, где, Настёна помнила, жила тётка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настёна, отдышавшись, пошла в колхоз, Катюку отправили в школу. К этому времени стало полегче: принесли своё огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настёна мало-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъестся было бы стыдно.

Постепенно у Настёны разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда».

Нина Чернова и в самом деле до двадцати одного года жила в деревне Рютино, а с началом коллективизации уехала в Иркутск и устроилась там резчицей на слюдяную фабрику. Несколько месяцев спустя молодых рабочих предприятия отправили в усть-удинскую деревню, помогать колхозникам собирать урожай. Там же оказался и двадцатилетний Гриша Распутин, приехавший из райцентра с бригадой своих сослуживцев отбывать ту же повинность. Можно сказать, что любовь их выросла на деревенском поле.

В феврале 1933 года, вскоре после дня рождения Гриши, молодые люди поженились. В документе, выданном загсом, было указано, что Григорий Никитич — служащий, а Нина Ивановна — рабочая.

Первый их малыш умер. Когда 15 марта 1937 года в молодой семье появился второй ребёнок, отец упрямо предложил супруге дать ему то же имя, что и первенцу, — Валентин. Близкие вспоминали, что молодой папаша будто бы сказал при этом: «В одну и ту же воронку снаряд дважды не попадёт».

Жить в Усть-Уде Распутиным было нелегко. Нина Ивановна часто оставалась одна с грудным ребёнком: муж то и дело уезжал в командировки по сёлам района. Мария Герасимовна, мать Гриши, звала сына в Аталанку, в родной дом. Она могла понянчиться с внуком. Прокормиться поможет огород. Да и молоко в хозяйстве своё, есть корова.

И молодая семья переселилась туда.

В 1939 году у Распутиных родилась дочь. Ей дали имя Альбина, но все называли её с детства Агой, Агнией, да и сейчас зовут Агнией Григорьевной.

В Аталанке у районной конторы связи было отделение. Григорий Никитич устроился туда на должность сопровождающего почту. А Нина Ивановна стала контролёром сберкассы.

Есть у писателя-фронтовика Евгения Носова повесть «Усвятские шлемоносцы». Мужики глубинного русского села узнают о начале войны в горячую сенокосную страду. Как лава, идут они с луга — защитники своей земли, ратники, шлемоносцы. Так было и в Аталанке. Григорий Никитич явился на призывной пункт прямо с покоса 19 июля 1941 года. Следом из большой семьи Распутиных ушли на фронт ещё несколько человек. Добровольцем записалась в действующую армию сестра Григория Клавдия, получили повестки брат Виктор, мужа сестёр Кристины и Александры Леонид Терентьевич Спирин и Алексей Иванович Анциферов. Призвали на военную службу и Никиту Яковлевича.

У Нины Ивановны с началом войны дел в «тыловой службе» прибавилось. Кроме работы в сберкассе ей поручили сортировать на почте письма, доставлять адресатам одни и готовить к отправке другие. Так что тяжкая обязанность — приносить в дома проклятые конверты с похоронками — выпала в деревне ей.

Уже в 1942 году Мария Герасимовна получила первую похоронку: под Сталинградом погиб Виктор. Через пару лет солдатской вдовой стала Кристина Никитична — муж Леонид Терентьевич умер от ран в лазарете под Витебском. С четырьмя осиротевшими детьми Кристина вернулась в родительский дом. Мать отвела ей большую часть своего не просторного жилья, а в тесном углу устроилась с младшими детьми, Таней и Лёней. Никита Яковлевич участвовал в прорыве Ленинградской блокады, получил тяжёлое ранение и вернулся в Аталанку одним из первых, уцелевших в огненном пекле.

Свои кремнёвые характеры показали в жестокие годы Кристина и Мария Герасимовна. Дочь пошла работать на участок леспромхоза. Наравне с мужиками (правда, малорослыми да старыми) валила деревья, грузила брёвна на телеги или сани, стаскивала в кучи тяжёлые сучья. А мать без продыху работала в колхозе, который дал ей приусадебный участок, позволявший кормить семью из двенадцати человек. Позже Валентин Распутин упомянул в рассказе «Уроки французского»: «Весной... я глотал сам и заставлял глотать сестрёнку глазки проросшей картошки и зёрна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, — тогда не придётся всё время думать о еде». А бабушка часто повторяла, что в войну в её доме была норма: на стакан чаю полагались только две ложечки молока...



## **«Обомлел от вошедшей в меня красоты...»**

Воспоминания Валентина Григорьевича о детстве рассыпаны во многих его очерках, статьях, интервью. Речь не о художественных произведениях — в них рассказы героев о своём детстве, конечно же, впитали и живые воспоминания самого автора. Но это всё же опосредованные, не «прямые» рассказы писателя о счастливых открытиях детства. А вот строки, написанные Распутиным «от себя», воспоминания, похожие на сиюминутные записи в дорогой книжице, — это свидетельства «документальные», подлинные.

В статье «Вопросы, вопросы...» Валентин Григорьевич рассказывал:

«Природа родного края отпечатывается в наших душах навеки. Я, например, когда испытываю нечто вроде молитвы, то вижу себя на берегу старой Ангары, которой теперь нет, возле моей родной Аталанки, острова напротив и заходящее за другой берег солнце. Немало в жизни повидал я всяких красот, рукотворных и нерукотворных, но и умирать буду с этой картиной, дороже и ближе которой для меня ничего нет. Я верю, что и в моём писательском деле она сыграла не последнюю роль: когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел. И от вошедшей в меня красоты обомлел, а также от явившегося из неё сознательного и материального чувства родины. Художником человек становится лишь тогда, когда свои собственные чувства он соединяет с общим народным и природным чувствилищем, в которые я верю не меньше, чем в совесть и истину, и в которых они, быть может, и проживают».

Ну, это размышления человека взрослого, оценивающего нынешние свои чувства, их истоки. А вот признания, словно бы записанные кем-то за мальчиком, — слова, исторгнутые неожиданно, выплывшие из памяти легко и непринуждённо. В уже упомянутом предисловии к двухтомнику «Откуда есть пошли мои книги» (1997) писатель с пронзительной нежностью, искренней исповедальностью рассказал:

«Первые мои впечатления связаны с Ангарой, потом с матерью и бабушкой. Я понимаю, что должно быть наоборот, ведь не Ангара же вспоила меня грудным молоком, но, сколько ни веду я в себе раскопки, ничего прежде Ангары не нахожу. Вероятно, присутствие матери было настолько естественным и необходимым, сращенность была настолько полной, что я не отделял себя от неё. Ангара же поразила меня волшебной красотой и силой, я не понимал, что это природа, существующая самостоятельно от человека миллионы лет, мне представлялось, что это она принесла нас сюда, расставила в определённом порядке избы и заселила их семьями. Это представление могло связаться с картиной разлившейся Ангары, затопившей деревню, по которой мы, ребятня, плавали на плотиках, и принесённой на стремнине на каком-то помосте коровы; слышу и сейчас чей-то голос: „Это матушка-Ангара бедным детушкам понесла“.

Помню: стою я в носу острова (а какие острова были на Ангаре, какие острова! — и тоже: она же, Ангара, принесла и расставила для нашей радости и подкорма), — стою я совсем маленький, должно быть лет четырёх-пяти, и во все глаза гляжу, как рассекается синее её полотно на две половины, забрасывая меня острыми холодными брызгами. Я раз за разом вытираю лицо и продолжаю всматриваться, видя что-то такое, не соединяющееся в образ, но зримое, взрослым глазам неподвластное. Потом стою на своём берегу и,

склонившись низко, рассматриваю это же самое, заинтересовавшее меня, потом рассматриваю с лодки, перегребающей на остров, — и не может же быть, чтобы я ничего там не высмотрел и не занёс в свою душу, что-то такое, что сделало её чувствительной и подвижной».

А великое множество историй, услышанных в вечерней полутёмной избе с ватагой таких же деревенских стригунков, расположившихся на тёплом полу у вихрастого дружка! Тут запоминались даже не сами необыкновенные, фантастические происшествия, сочинённые бойким рассказчиком, а его таинственный тон, ужимки и придыхания, свистящий или задыхающийся шёпот, словно это его самого кикиморы душили или бросали оземь с высоты.

## Где живёт кикимора?

Как жилось крестьянской семье? В ранних проблесках памяти у Вали могли остаться только свалившиеся беды: частое недоедание, вялые игры с ровесниками, одетыми, как и он, в драные, латаные обноски. «Жили мы бедно, — рассказывал он в поздних биографических заметках, — и не мы одни, вся деревня жила бедно, земли для хлебов были худородные, мошка (мелкий гнус) заедала скотину, которая днями во всё лето спасалась только под дымокурором и только на короткие ночные часы выбегала на выгон. Да и сами мы ходили в сетках из конского волоса, натягиваемых на голову, мазались дёгтем. Колхоз наш не вылезал из долгов, они время от времени списывались и снова нарастали, и жила деревня огородами. Да ещё тайгой и Ангарой...»

Но вновь и вновь печальные свидетельства писателя чередуются с дорогими, чистыми, как небесные видения, воспоминаниями о душе русской деревни: какая же поэзия витала над скромными, затерянными на таежном берегу избами! «У нас деревня была суховатая на песню и сказку, — признавался позже писатель. — Почему так получилось, не пойму — может быть, от надсадного житья. Водились, конечно, и песня, и сказка — где они не водились? — но как-то без поклонения, в припомин. Не собирались по привычке в долгие зимние вечера, как в иных местах, которые я встречал, чтобы под треск камина присластить свою жизнь напевной стариной. Но за прялками, за вязанием, за починкой под треск того же камина любили рассказывать былички — всякие страшные истории с домовыми, лешими, водяными. Послушаешь — все их видели, все водили с ними дружбу. Одна история была

жутче другой. На подстеленной на полу соломе в углу вздрагивал телёнок, спасающийся от лютых морозов, сонно вскидывались и вскудахтывали в курятнике курицы, стреляло из камина, по стенам ходили огромные жуткие тени. Мы, ребяташки, сидели не шелохнувшись и потом по дороге домой жалась к матерям и бабкам. Я так и уехал из деревни, не встретив ни домового, ни лешего, ни баннушки, ни русалки, но, когда писал „Прощание с Матёрой“, не мог обойтись без хозяина острова. Это не дань язычеству, а дань поэзии, без которой не жил народ. Да и, признаться, я продолжаю верить, что, вопреки полной просвеченности мира, должны существовать следующие из глубокой древности земные наши хранители».

Ребячий мир в сибирском захолустье был особенным. Наверное, сказывались былинная немереность заповедной земли, ночная пугающая тайга за окнами дома, единственная тележная колея, уходящая Бог весть куда, колдовские тропки, проложенные то ли охотниками, то ли самим зверьём. Да как же в этом таинственном, нехоженом пока краю не разгореться мальчишеской фантазии: тут сказочники среди сорванцов — через одного! И воспоминания о скоморошестве их всплывут через года:

«В одной избе песня, а в другой, где собиралась ребятня, сказка да „ужасти“, которые напрашивались сами собой под древнюю ворожбу каминного огня. Чего только не придумывалось, чего не рассказывалось то затаёнными, то гробовыми голосами, до чего только не доходило разыгравшееся воображение! Не будь этого живого сопровождения огня, то завывающего, то стонущего, то ухающего, да разве мог быть у историй, рассказанных не Петькой или Васькой, а их оборотнями, и непременно выдаваемых за „правдашние“, такой жуткий накал, такая непереносимая страсть! „Вот

воротился без памяти дядя Егор и лёг... не верите мне, спросите у дяди Егора... вот лёг он вдругорядь, и вдругорядь стук в окно. 'Выходи, дядя Егор!' — нечеловеческим голосом вызывают его. Он бы и рад не выйти, да как не выйдешь! — в избе достанут, ребятишек до родимчика напухают. Перекрестил он детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни живой, ни мёртвый. Темень — глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг ка-а-ак...“ И тут из камина раздавался выстрел, пулей взлетал огнистый уголёк, и вырывался испуганный вскрик. И не раз вот так же от треска, от шорохов, от тяжких вздохов, от мертвенно искажённых заревом лиц сердце обрывалось в пропасть, но и оттуда просило: ещё, ещё! — чтоб уж ахнуть, так от макушки до пяток!»

А ещё сам говор, укоренившийся в Аталанке, перешедший от дедов к мальчикам, тот, который во взрослой жизни и за сотни вёрст, и за тридевять земель отсюда стал казаться драгоценной россыпью:

«...как говорили у нас в деревне, как говорили! Баско баяли — метко, точно, с заглубом в язык, не растекаясь мыслью по древу. Все знали уйму пословиц, без них речь не лепилась. Все имели прозвища, пристававшие намертво. Одним словом умели сказать многое, словесная мелочь была не в ходу. Болтливость высмеивалась. По русскому языку, да позволено будет так выразиться, ходили пешком, по-рабочему, а не разъезжали в лимузинах».

И от этих благодарных в устах чародея языка слов как-то естественно выстроился мостик к признанию, тоже сыновнему, исполненному любви уже не только к ангарской отчине, но ко всей России:

«...в этой неказистой деревне жила часть русского народа, пусть очень малая часть, но той же кости, того же духа, сохранившегося ещё и лучше, чем в людных местах, на семи ветрах.

Да и что такое „полусонная“ деревня, если этот народ жил в беспрестанных трудах, играл свадьбы, рожал детей и воспитывал их, хранил традиции и держался вместе?! И когда говорят о природной лени русского человека, уверяют, что он работать способен только из-под палки, — не к ним, не к клеветникам, хочется обратиться, а к небу, которому они поклоняются: вразуми ты их, бесчестных, — разве знают они русского человека? Кто кормил их, кто защищал от гибели, пока они напивались ядом?».

## Трагедия отца

В сорок четвёртом году Валя пошёл в Аталанскую начальную школу. Отец ещё воевал, мать, оставляя на день мальцов с другими внуками Марии Герасимовны, хозяйничала больше на почте: в сберкассе мало кто заглядывал. Позже Распутин, не боясь повториться, напоминал, — себе ли, читателям ли, — чем держалась тогда сельская Россия:

«...вся деревня жила одним миром. Слово „колхоз“ было понятием не хозяйственным, а семейственным, так и говорили: колхозом спасаемся. Колхозишко был бедный, надсаженный войной, истрёпанный нуждой; горе гуляло почти по всем избам. Но умудрялся как-то колхоз самым бедным помогать, и с голоду у нас, слава Богу, не помирали. Ели и лебеду, и крапиву, бедствуя, как и вся Россия, но если приходилось кому с осиротевшими ребятишками хуже всех — несли последнее. Это было в „заведенье“ — как закон: не хочешь, а подчиняйся, иначе „мир“ на веки вечные вырубит о тебе заслуженную славу».

Аталанка растянулась вдоль Ангары и в разговорах односельчан делилась на «верховскую» и «низовскую». В зимние дни с реки дул холодный ветер, и озябшие малыши, идя в школу или возвращаясь из неё, заходили на почту погреться. Одноклассница Вали Тамара Сомова вспоминала:

«Тётя Нина всегда встречала нас, как своих детей. Подталкивала к печке, растирала наши щёки и руки... А школу мы любили как родной дом, хотя занимались в обыкновенной старенькой избе. В ней была одна комната и прихожая. В комнате мы учились. По два класса в две смены. А в прихожке играли на переменах, носились — пыль до потолка! В нашем классе было



семеро мальчишек и девчонок. Валя Распутин все четыре года сидел за одной партой с Димой Слободчиковым. Он стал потом героем рассказа „Мы с Димкой“. Оба были неразлучными друзьями. Как-то так повелось, что „низовские“ не водились с „верховскими“ и за одними партами не сидели. Если случались детские стычки, Валя всегда становился на сторону слабого. Взбалмошных задир он не любил. В школе была маленькая библиотека. Наверно, только один Валя прочитал в ней все книги».

Другие одноклассники по начальной школе (в средней, Усть-Удинской, аталанские сверстники Валентина не учились вместе с ним) говорили о юном Распутине: был он молчаливым, спокойным. Одноклассницы добавляли: свойским. Искушается в Ангаре и ждёт на берегу, когда выйдут из воды девчонки. И он не стеснялся, и его не стеснялись.

Сам писатель на одном из творческих вечеров неожиданно для слушателей сказал, что с детством ему повезло: «хватил мурцовки полностью». И твёрдо добавил: «Это было необходимо. Приходилось с самых ранних лет заниматься каким-то взрослым делом. Если мы убегали на Ангару, то для того, чтобы там рыбачить. Рыбачили прекрасно: я налавливал рыбы столько, что почти жили на эту рыбу. И на уху, и на жарёху, и на посол хватало. Рядом была тайга. Просто побежать, полюбоваться на красивые деревья, полежать на тёплой полянке позже пришлось. В тайгу мы ходили, чтобы ягоду собирать, грибы, черемшу, орехи — всё это пригождалось, чтобы выжить. Необходимость была».

\* \* \*

Осенью сорок пятого с фронта вернулся Григорий Никитич. Худощавый, с заострившимся лицом, отец не

годился после ранений на ломовую крестьянскую работу. Но он был победителем, редким в деревне солдатом, вернувшимся из страшного пекла. Мальчишки нашего поколения, почти не помнившие по малолетству отцов довоенных лет, с трепетом прижимались к ним, обретённым заново, любовно трогали звонкие медали, которые фронтовики не снимали с гимнастёрок в первые дни после своего возвращения. Всё это испытал и восьмилетний Валя.

Можно предположить, что фронтовая биография отца «аукнулась» в повести Распутина «Живи и помни». Так совпало: прозаик опубликовал её в том же 1974 году, когда ушёл из жизни Григорий Никитич. Не могло такого быть, чтобы автор, не хлебнувший фронтовых бед, не расспросил о них собственного отца! У кого же ещё узнать подробности окопной жизни, чтобы быть правдивым в каждой строке? Речь, конечно, не о том, что мысли и переживания Андрея Гуськова подсказаны отцом писателя. Речь о буднях войны, которые должны быть нарисованы достоверно и которые, возможно, ярко представились автору из рассказов Григория Никитича. Стоит прочесть строки из повести:

«...В первых же боях его ранило, но, к счастью, легко, пуля прошила мякоть левой ноги, и уже через месяц, прихрамывая, он вернулся в часть. Мысль о спасении казалась в то время бессмысленной, не он один прятал её так далеко, что и сам себе не часто признавался, есть она в нём или нет: чтобы уберечь, не доставать на свет, под пули. Столько он перевидал рядом с собой смертей, что и собственная представлялась неминуемой: не сегодня — так завтра, не завтра — так послезавтра, когда подвернёт очередь. Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной, странно было думать, что она может длиться год за годом десятки лет, как у деревьев или камней: время здесь имело другие измерения.

Андрею Гуськову долго везло, только однажды... он не уберёгся и, попав под бомбёжку, был сильно контужен, взрывной волной ему начисто отбило слух, почти неделю он ничего не слышал, затем звуки постепенно вернулись. От контузии осталось смешное и досадное воспоминание: в лазарете его, глухого, прихватил звериный, ненасытный аппетит. Постоянно, каждую минуту, хотелось есть, в поисках еды он то и дело наткался на всякие неприятности...

За три года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать всё: и танковые атаки, и броски на немецкие пулемёты, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за „языком“. Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шёл так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней — ничего другого ему не оставалось. Поперёд других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался — это свой брат солдат увидит и покажет сразу. В „поиске“, когда захватывающая группа в пять-шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей — тут уж либо пан, либо пропал, а поддержишься, побережешься — погубишь и себя, и всех. Среди разведчиков Гуськов считался надёжным товарищем, его брали с собой в пару, чтобы подстраховывать друг друга, самые отчаянные ребята. Воевал, как все, — не лучше и не хуже. Солдаты ценили его за силушку — коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал оглушённого или несговорчивого „языка“ себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы.

В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнобойной артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче...

Но летом сорок четвёртого года, когда прямо перед носом зачехлённой уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: всё, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошёл сполна...»

Григорий Никитич вступил на фронте в партию, а это добавляло вчерашнему солдату уважения и доверия. Ему, слывшему и раньше человеком способным и честным, предложили в родной деревне должность, которая, к несчастью, поломала его судьбу. Но об этом — через несколько строк.

Всегда особыми, святыми образами в рассказах и повестях будущего прозаика оказывались матери. Чувство вечной благодарности и любви к ним запало в душу Валентина, конечно, благодаря Нине Ивановне. На фотографиях её трудно выделить среди женщин своего поколения — поставь рядом тысячи, миллионы русских крестьянок военной поры, и они, такие разные, явят один образ двужильной и терпеливой, страдающей и живучей России.

«Не было у моей Нины Ивановны других заслуг, кроме доброго сердца, но это так много! — с благодарным чувством писал повзрослевший сын. — И жизнь она прожила невесёлую, пригорбленную ещё и послевоенной судьбой отца.

Вернувшись с фронта в орденах и медалях, отец не пошёл в колхоз, а заступил на должность начальника почты. Деревня наша хоть и была небольшой, но считалась центральной среди полудюжины ещё меньших, раскиданных по Ангаре. В ней располагались сельсовет, почта, сберкасса, медпункт, сельпо. По почте пересылались денежные переводы, велись иные мелкие расчёты. И когда у заснувшего на пароходе отца во время его служебного отъезда срезали сумку, денег в

ней много находиться не могло. Но в те времена в расправе не мелочились. После четырёх лет фронта, всего только два года и пробыв дома, на семь лет он загремел в магаданские рудники и вышел только по амнистии после смерти Сталина, совсем „доходягой“, как он с грустью говорил о себе. И, вероятнее всего, не вышел бы вовсе, если бы не фантастическое везение: в тот же лагерь попал взятый в армию в конвойные отряды его младший брат, мой дядя. Пока разобрались, что они братья, прошло более полугода, в которые отец успел „подкормиться“».

## «Деревня не даст тебе пропасть...»

Годы учёбы аталанского мальчишки в Усть-Удинской школе тоже представить легко: сам он, повзрослев, рассказал о них с живой полнотой.

«Я рано пристрастился к книгам, в ученье показывал усердие, и меня после четырёх классов деревенской школы, по общему мнению, следовало учить дальше. Не просто было матери решиться на это, мы уже снова куковали без отца. В необходимых случаях мать умела быть твёрдой, однако нас у неё было трое, я самый старший, начинавший помогать, и на её окончательное решение повлияло обещание не только родных: не дадим пропасть парню. Дядя Ваня, шофёр единственной в колхозе полуторки, привёз меня в Усть-Уду, в райцентр, и, выгружая моё барахлишко, так и сказал, это я запомнил: „Мы тебе, парень, не дадим пропасть“. Об учёбе своей, где преподавалась не одна лишь школьная программа, но и кое-что посерьёзней, я рассказал в „Уроках французского“. Лидия Михайловна, учительница французского языка, носит в рассказе своё собственное имя (фамилия — Молокова), она теперь живёт в Саранске и преподаёт в Мордовском университете. Я не мог вместить в рассказ многое: и как я квартировал у одноклассников, где меня подкармливали (и, уж конечно, речи не могло быть об оплате), и как к праздникам выдавалось вспомоществование, и как приласкивали, чтобы мне терпелось. Дождавшись каникул, я, не чуя ног, бежал за пятьдесят километров домой, и в деревнях меня знали и окликали, наперебой поили чаем.

Разве можно это забыть?!

Дядя Ваня, шофёр из „Уроков французского“, привозивший мне хлеб и картошку, Иван Егорович

Слободчиков из нашей Аталанки, перекочевал потом под именем Ивана Петровича в повесть „Пожар“. Таким он и был всю жизнь — кроенный совестью и редким трудолюбием. Приезжая в Аталанку, уже „верхнюю“<sup>[2]</sup>, я в первый же вечер торопился к Ивану Егоровичу. Он уже поджидал и выходил навстречу — высокий, крепкий, с короткой стрижкой по седине, обрадованно и тускло улыбающийся. Его изгрызла боль, он не мог скрепить сердце и спокойно наблюдать, как хищничают на нашей земле. В последнюю встречу Иван Егорович, танкист с Т-34, провоевавший три года, заплакал от бессилия, рассказывая о новых порядках. Уходя, я обнял его прощальным объятием — и не ошибся».

Как подросток перемогал тоску по дому за пятьдесят вёрст от него, тоже можно представить. На этот раз по рассказу «Уроки французского». Разумеется, тут могли не совпадать с действительностью какие-то мелкие подробности (художественное произведение — это не зеркальное отражение чьей-то жизни), но суть, без сомнения, передана точно.

«...мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? — за тем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда ещё не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятёрки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями

правописания, но произношение с головой выдавало всё моё ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Всё было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, всё время вынужден был что-то делать, там меня тормозили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь — приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! — хуже всякой болезни.

Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с рёвом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и её, — я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину:

— Собирайся, — потребовала она, когда я подошёл. — Хватит, отучился, поедem домой.

Я опомнился и убежал.



Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же ещё я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полutorке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалёку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне её не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут — кажется, много,хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тётя Надя ли, крикливая замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из её старших девчонок или младший, Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестрёнки с братишкой, а оно всё равно идёт мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня всё вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трёх маленьких, с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной на базаре, запоминая, что почём продают, давился слюной и шёл ни с чем обратно. На плите у тётки Нади стоял горячий чайник; пошвырвав гольного кипяточку и

согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полупансионка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой всё равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку».

## «Тогда пронзило меня Слово...»

Мы, читатель, ещё вернёмся к свидетельствам о том, как складывался характер мальчишки из ангарской деревушки. Сделать это помогут земляки, друзья детства и юности, родственники. Но всё же не последние рассказчики в этом случае — его книги, которые он населил десятками героев. Писатель повествует о них, а мы, читатели, ощущаем за строками книг его самого. Ну разве, следя за поступками и слушая житейские речи старых крестьянок Анны, Миронихи, Дарьи, их детей или Павла, Настёны, Пашуты, Ивана Петровича, Сени Позднякова, мы не видим рядом с ними их земляка, внимающего им, страдающего за них, ободряющего их? Разве не их глазами смотрит он на ликующую или погибающую природу окрест, не вместе с их душами улавливает трагические изломы и окрыляющую надежду в земной жизни?

Часто, часто он, поражённый небесными или земными видениями, признаётся нам, что впервые они явились ему в детстве. И красоту полей, тайги, реки, неба, открывшуюся за порогом дома, — этот Божий подарок он оценил наперёд всего в давние-давние годы и пронёс благодарность за него через всю жизнь!

Все его гимны этой красоте не воспроизведёшь, но несколько из них — просто необходимо напомнить.

«Это здесь, по этим берегам, сплошным золотом сияла, задирая лохматые шапки под самое небо, знаменитая ангарская сосна — одна к другой, с длинными и прямыми янтарными, точно свечи, стволами. Это о ней вождеделённо вздыхал весь мир, её называл и мачтовой, и королевской, её пробовал

разводить в своих благодатных краях. Не согласилась она, красавица, на чужие края...»

«Одно воспоминание, чуть ли не самое дальнее, было ярче других. Ему тогда исполнилось шесть лет, и не просто исполнилось, а исполнилось именно в тот день — 1 мая. Ледоход обычно тоже приходился на конец апреля — начало мая. Ему, мальчишечке, мало было того, что день рождения столь удачно совпадал с праздником, ему еще хотелось, чтобы к этому дню обязательно проснулся лёд, — иначе не будет счастья».

Весь день юный герой повести «Вниз и вверх по течению» сидел на берегу Ангары и ждал ледохода. Но не дождался.

«Среди ночи он проснулся от неясного дальнего гула, который то затихал, то вдруг мучительно и тревожно возникал снова. В другой раз шестилетний мальчишка наверняка тут же спрятался бы от него с головой под одеяло и постарался скорей уснуть, но теперь последняя надежда заставила его пересилить страх и подняться с постели. Следуя какой-то посторонней властной силе, он ощупью добрался до двери, неслышно приоткрыл её и выскользнул на улицу. И небо и земля были затянуты сплошной, кромешной теменью, сквозь которую ничто нигде не проступало, но дорогу к реке он знал и с закрытыми глазами. Смешно и неловко подпрыгивая, боясь налететь на забор, но ещё больше боясь идти шагом, он бросился на берег...»

Здесь его и застала страшная гроза.

«Молния хлестнула, как обычно, тонким, длинным росчерком, но не погасла, а вдруг, словно запутавшись, закружилась, заплясала и разошлась широким концом, обнажив жуткий голубой огонь. Бешеной, небывалой силы грохот сразу же охватил всё небо, раздирая его на части, — оно треснуло и обвалилось.

Мальчишка закричал и упал, не смог устоять, но сразу же опять вскочил на ноги. Он услышал, хотя не в

состоянии был ни слышать и ни видеть, каким-то чудом он услышал, как звук раздираемого неба, слабей и легче, но тот самый звук повторился где-то неподалёку от него. В жутком и неожиданно-радостном предчувствии он вскинул голову и увидел, как, ломая лёд, выносит середину реки. Её только-только сорвало, её полоса была совсем неширокой».

«А мальчишка всё плакал, не утирая слёз, и всё смотрел, смотрел на реку, на её шумное праздничное освобождение, начавшееся ночью, среди грозы, подальше от людских глаз.

...Бог мой, неужели это было? И было ли это так, как он запомнил, не приснилось ли это ему в чистых и ярких детских снах?..

Воспоминания, связанные с рекой, жили в нём отдельно от других, и жили тёплой душевной печалью, возле которой он часто грелся и отдыхал, перед тем как двинуться дальше. Он понимал: их сберегло детство — всё, что относится к первым впечатлениям, сохраняется надолго, может быть, навеки, но в том-то и дело, что из многого другого детство выделило именно их. Тайга не волновала и не пыталась Виктора так, как река; тайга оставалась и должна была оставаться на месте, между тем как река могла исчезнуть, уплыть, кончиться, обнажив на память о себе голое каменистое русло, по которому будут бегать собаки. Боясь признаться в этом даже самому себе, он осторожно шёл проверить, не случилось ли что-нибудь с рекой, и не понимал, почему это больше никого не тревожит, почему все спокойны, что река и завтра будет течь так же, как текла вчера и позавчера».

Как после прочитанного не вспомнить признание Виктора Астафьева в одной из главок его «Затесей»? Размышляя о том, как будущий писатель приходит к Слову, кто шепчет ему в первые дни жизни то, что он после запишет на бумаге, автор заметил:

«Возникает крамольная мысль, что вначале был шум ветра, плеск волн, пенье птиц, шелест травы и звон опадающей листвы. И только переняв у природы звук, человек сложил из него слово».

Вероятно, чудо творческого дара в том и состоит, что юный землянин, вобрав в душу звуки окружающей природы, звуки Родины, превращает их со временем в красочные, проникновенные слова своих стихов, рассказов, повестей, романов.

Происшествие, о котором рассказано выше, само по себе обыкновенное. Но почему оно оставило такой след в памяти ребёнка? Ведь в деревне Аталанка, в сотнях приречных сёл жил не один такой мальчик, как наш герой, почему же они не запомнили и не написали об этом взрослым пером? Значит, Провидение знало, кому вручает творческий дар, значит, душа эта подготовлена к тому, чтобы вобрать в себя впечатления бытия, которые облекутся позже в художественную форму.

В предисловии «Откуда есть-пошли мои книги» писатель не ради похвалы, а ради истины обмолвился, что в школе он старался учиться хорошо. Но учёба учёбе рознь. Как можно судить по воспоминаниям Валентина Распутина о подростковых годах, школьные знания он впитывал не механически, не для высоких оценок. Может быть, уже тогда открыл он счастье вбирать в свою душу мудрые напутствия великих писателей, высокие уроки любимых героев их книг. Необыкновенным был взгляд чародеев русской литературы на всё — на жизнь, на человека, на природу; западала в душу завораживающая музыка их пастырских наставлений. Это же вспышки ярчайшего света, запомнившиеся на всю жизнь, — воспоминания из школьной жизни.

«Никогда не забуду своего неожиданного и счастливого преобразования, происшедшего со мною,

когда вызвали меня к доске прочитать отрывок из рассказа И. С. Тургенева „Певцы“.

„Он пел (он — это Яков, мужик, в певческом поединке взявшийся исполнять народную „Не одна во поле дороженька пролегала“. — *В. Р.*), — он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слёзы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на неё быстрый взгляд и залился ещё звонче, ещё слаще прежнего; Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шёпотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого Барина, из-за совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась слеза; рядчик поднёс сжатый кулак ко лбу и не шевелился...“

Дома, готовя урок, я прочитывал этот отрывок спокойно, но перед классом, произнося его, я вдруг перенёсся туда, в этот кабачок, где звучала песня, и донёсшийся въяви голос Якова вдруг пронзил меня, сердце моё захолонуло от восторга, словно бы проклюнулось,хватило воздуха, и к глазам тоже стали подниматься слёзы, голос мой сорвался и умолк... Потом те же счастливые слёзы проникновения в родное и глубинное я испытал при чтении рассказа И. А. Бунина „Косцы“, где рязанские мужики за покосным трудом, встав в ряд и размашисто водя литовками, пели в голос... Как пели, Господи, как пели, вынося и вздымая в небеса какое-то неслыханное счастье быть русским человеком!.. И до сих пор поют, когда находятся слушатели. Как много подобного чуда, подобного волшебного прозрения души в нашей литературе! Это

больше, чем художественность, это редчайшее постижение заложенной в наш народ тайны».



## **Своя, особенная школа**

В последние десятилетия в Усть-Уде сложилась традиция: в залах местного музея собираются одноклассники Валентина Григорьевича и рассказывают молодым слушателям о знаменитом земляке. В эти часы вспоминается многое из школьной жизни, смешное и серьёзное, открывается неведомое в биографии писателя...

Людмила Михайловна Митюкова училась вместе с Валентином Распутиным с пятого по восьмой класс. «Был он углублённым в себя, — вспоминает она. — Никогда не переходил на крик, не затевал потасовок. Бывало, кто-нибудь из мальчишек постарше и покрепче начнёт обижать его. А он не трусит, не уклоняется, даёт сдачу. Твёрдый был, с характером. Зато, если нам задали написать сочинение, он любому поможет, подскажет, как лучше составить предложение. Читал очень много, больше любого из нас».

Об учёбе в старших классах мне рассказала Анна Станиславовна Дюкова. Окончив вместе с Валентином десятилетку, она поступила в Иркутский медицинский институт и стала врачом.

«Каждый из нас начинает воспоминания с того, что Валя был парнем серьёзным. Да, серьёзным, но как он любил шутки! И каким остроумным был сам! В нашей школьной болтовне всегда заметит что-нибудь смешное. То реплику подаст уморительную, то забавный случай к месту вспомнит. Часто на уроках, если они были неинтересными, мы писали друг другу шуточные записки. Один смешное словечко вспомнит, другой вычитанную фразу... Так у Вали эти записочки всегда остроумными были.

Танцевать он научился в школе. На наших вечерах приглашал девчонок. А вот я удостоилась приглашения только на вечере в нашем медицинском институте, куда он как земляк заглядывал. Мы, помню, весело танцевали!

В восьмом и девятом классах он был комсоргом. Много полезных дел мы тогда придумывали. Например, ездили в близлежащие колхозы помогать копать картошку, перелопачивать зерно на токах. Ходили в сёла даже пешком, и не близко. В те годы везде находилось дело для молодых рук. Дружбу с Валею все — и девчата, и парни — ценили, потому что он не любил заноситься, выставлять себя, свои знания».

Прочитаем письмо, полученное сотрудниками Усть-Удинского музея от Лидии Михайловны Молоковой, ставшей прототипом знаменитого рассказа «Уроки французского», и материалы, предоставленные её дочерью Татьяной Николаевной писателю Эдуарду Анашкину. В своём послании Лидия Михайловна откровенно поведала, у каких подростков довелось ей стать классным руководителем в придачу к преподаванию неизвестного им до того французского языка:

«Здравствуйте, уважаемые краеведы! Спасибо вам за большое письмо, вопросов в котором на целый протокол.

Родилась я в феврале 1929 года в Москве, в семье студента. В войну родители приехали в Забайкалье, среднюю школу я закончила в городе Сретенске. С 1947 по 1951 год училась в Иркутском институте иностранных языков, который умудрилась закончить дважды: в 1951 году — факультет французского языка, а в 1961 году — заочно факультет английского языка. Преподавала оба языка, но в Усть-Уду приехала по распределению с французским.

Нас было две „француженки“, мы тосковали в первое время по городу, потом втянулись в работу: уроки, кружки, школьные вечера.

В школе было два восьмых класса. Один вела Вера Андреевна. Класс у неё был образцовым, уроки там проводить было одно удовольствие. Валентин Григорьевич учился в этом классе. Мне же дали класс, сборный из ребят, приехавших из Новой Уды, Яндов. Плюс свои, усть-удинские, разбойнички. Уроки ещё проходили кое-как, но классные часы они превращали в балаган. Я мучилась, проклиная час, когда сошла с парохода, даже плакала. Но надо было что-то делать, и я стала втягивать ребят в постановку сначала небольших сцен, а в девятом классе мы замахнулись на пьесу Б. Горбатова „Юность отцов“ и осилили.

Вера Андреевна уехала, два восьмых слили в один девятый, и получился интересный сплав — дисциплина одних и буйная энергия других. Ребята были умные, шесть человек окончили школу с отличными оценками, многие сразу поступили в вузы Иркутска, Новосибирска. Пишу вам больше о классе, так как о себе Валентин Григорьевич правдиво написал в „Уроках французского“. Распутин и сам о себе может рассказать, он частый гость у вас. Он может рассказать и о Вере Андреевне, которую я знала один год по совместной работе. Красивая, опрятная, строгая, волевая, она обдавала нас холодком, и дружбы не получилось. Но мы с подружкой относились к ней с уважением, даже с почтением.

Вас интересует посылка с макаронами. Я её не посылаю-да, но Валентин Григорьевич в одном из писем просил: „От макарон не отказывайтесь“. Я поняла, что если отказаться от всех его творческих находок, то образ может разрушиться. Он „собирает“ свою учительницу из своих учителей, брал лучшее от каждой, вот почему она у него такая человечная. Я

приняла её как укор своей легковесности — вот какой надо было быть!

В письмо вкладываю старую газетную страницу — пусть Валентин Григорьевич отвечает за свои слова, за своих героев. А я его люблю, читаю и почитаю.

Что-то вы поздно обратились, к этому времени я успела многое забыть, что-то подпутать и вообще „помереть“, мне скоро будет 76 лет. С Валентином Григорьевичем переписываемся, у него прекрасные письма по духу и по форме. Вот на этой мажорной ноте расстаюсь с вами, уважаемые краеведы. Будьте здоровы. Л. М.».

Многое из жизни как самой Лидии Михайловны и её семьи, так и ученика, которому выпала необыкновенная судьба, открывает очерк Эдуарда Анашкина<sup>[3]</sup>.

«Я очень долго искал прототип рассказа „Уроки французского“. И помогла мне найти её следы собственный корреспондент „Российской газеты“ в Поволжье Валентина Зотикова. Она, оказывается, уже писала о Лидии Михайловне Даниловой (Молоковой), встречалась с её младшей дочерью Татьяной Николаевной, живущей в Нижнем Новгороде.

Валентина Васильевна разрешила мне воспользоваться её материалами.

В Усть-Уде новенькую „французенку“ назначили классным руководителем самого „хулиганского“ в школе восьмого „б“, в котором из двадцати шести учеников шестнадцать были „двоечниками“. „Я поначалу боялась их, как чёрт ладана“, — признавалась она спустя годы. К счастью, сами сорванцы-подростки в поношенных ватниках с холщовыми сумками, глядя на свою всегда спокойную и строгую „классную даму“, не догадывались об этом.

А вскоре жители Усть-Уды перестали жаловаться директору школы на их выходки. Ребята после уроков

уже не болтались по улицам. Лидия Михайловна организовала для них драматический кружок. Через год класс было не узнать: за это время ей удалось не только подтянуть успеваемость, но и подружиться со своими учениками — хотя иногда это считалось „непедагогичным“.

Одним из немногих, кто не доставлял Лидии Михайловне хлопот, был Валя Распутин — скромный мальчик с последней парты. Хотя ему, оторванному от родного дома, в полуголодные послевоенные годы приходилось куда сложнее, чем одноклассникам. И молодая учительница хорошо знала это.

— Мама всегда уверяла, что никакой особой роли в судьбе будущего писателя она не сыграла, — вспоминает Татьяна Николаевна. — Незадолго до её отъезда из Усть-Уды был такой случай. Ребята решили сделать ей подарок к празднику, но не знали, что выбрать. Тогда они просто собрали деньги. А мама была удивительный человек. Когда ей дарили, к примеру, книгу, она тут же старалась подарить что-то взамен. От денег, конечно, отказалась: „Ребята, я не возьму“. Те обиделись: „Мы же от чистого сердца! Что же теперь — обратно раздавать?..“ Тогда мама сказала, что ей будет очень приятно, если они помогут однокласснику Вале Распутину — он лежал в больнице... „Да разве он возьмёт? Вы же знаете — он у нас гордый, хоть и тихоня“. Но мама нашла выход: по её совету, дети сказали, что деньги — от родительского комитета. „Будешь работать — вернёшь“. Уж не знаю, кто рассказал потом ему всю правду. Знаю лишь, что долг школе он вернул.

К тому времени в жизни молодой учительницы произошли перемены: в Усть-Уде она познакомилась с молодым горным инженером Николаем Молоковым, полюбила его и вышла замуж. А вскоре уехала с ним в шахтёрский город Черемхово Иркутской области, куда

супруг получил назначение на работу. Семейное счастье Лидии Молоковой было недолгим. В 1961 году в дом пришла беда — погиб муж... В тридцать два года она осталась вдовой с двумя маленькими дочками на руках. Мать её уже перебралась из Забайкалья к родственникам в Мордовию. Лидия Михайловна с детьми отправилась к ней.

В то время в Саранске, в университете, открылась кафедра французского языка, и Лидию Михайловну взяли на работу.

— Первым нашим домом стала комната в преподавательском общежитии, — рассказывает Татьяна Николаевна. — Размещались мы там с трудом: старшая сестра Ирина спала на диванчике, а я — вместе с мамой. Но я не помню, чтобы мама когда-нибудь унывала и жаловалась. Уже на склоне лет она как-то сказала мне: „Вот, все говорят — было ‘тяжёлое время’. А мне никогда не жилось тяжело!“

Однажды на факультет французского языка университета имени Огарёва пришла разнарядка: искали преподавателей для работы в Камбодже. И Лидия Михайловна сразу решила: „Еду!“ Молокова была хорошим педагогом, поэтому в институте чужой страны её уже через год назначили заведующей кафедрой. Заслуги Лидии Михайловны отмечены правительством Камбоджи: она стала командором королевского ордена.

После командировки в Камбоджу Лидию Молокову послали в Алжир. Там она преподавала в школе кадетов революции — заведении полувоенного типа, где учились дети, чьи родители погибли во время революционных событий. А дочери Лидии Михайловны в это время находились в Подмосковье, в интернате Министерства иностранных дел. Там собрали детей, родители которых работали за рубежом.

Когда Молокова вернулась из Алжира, она получила, наконец, квартиру в Саранске. В маленькой „двушке“ на

проспекте имени 50-летия Октября жили три поколения семьи. Лидия Михайловна забрала сюда свою старенькую маму и свекровь, оставшуюся в том самом сибирском посёлке Усть-Уда. Когда её спрашивали, зачем она взвалила на себя такую ношу, она отвечала коротко: „На меня мои дети смотрят“.

А последняя командировка Лидии Молоковой была во Францию, в парижскую Сорбонну, где она начала вести практические занятия на кафедре славистики. Там ей довелось познакомиться с творчеством своего бывшего ученика. Впервые о Распутине она услышала на лекции о современных советских писателях. Тут же всплыл в памяти мальчик из далёкого сибирского райцентра: неужели тот самый?

В Париже Лидия Михайловна часто приходила в магазин русской книги „Глоб“, что в Латинском квартале города. Один из визитов в магазин запомнился ей на всю жизнь. Она познакомилась здесь с актёром Владимиром Ивашовым, который приехал во Францию представлять знаменитый фильм „Баллада о солдате“. Во время беседы с Ивашовым к ней подошла продавщица: „Вы интересовались книгами Распутина? К нам поступил его сборник“. Открыв пахнущий типографской краской томик, она пробежала глазами биографию автора, в оглавлении наткнулась на рассказ „Уроки французского“ и, быстро пролистав страницы, стала читать... „Что с вами?“ — спросил Ивашов, увидев, как лицо собеседницы внезапно покрылось краской, а в уголках глаз заблестели слёзы. Когда же Молокова сбивчиво объяснила, в чём дело, актёр почтительно поцеловал её руку и тоже купил книгу.

Лидия Михайловна написала автору прямо из Парижа. На конверте вывела так: „СССР. Иркутск. Валентину Распутину“. А через некоторое время получила ответ: „Я знал, что Вы отзоветесь...“

— Валентин Григорьевич — удивительный человек, — вспоминает Татьяна. — Свои письма к маме он подписывал: „Ваш старательный и бестолковый ученик“ или просто „Ваш Валя“. И постоянно звал её в гости. Мама воспользовалась его приглашением. Вернувшись из Иркутска, рассказывала, с каким теплом встречали её Валентин Григорьевич и его супруга Светлана Ивановна, милые скромные люди. Говорила о сибирском угощении — пирогах с рыбой и особом „немещанском“ уюте в их доме. Распутин продолжал писать маме и потом, когда она переехала из Саранска в Нижний Новгород — поближе ко мне, внучке Кате и правнуку Артёму. Затем мама тяжело заболела и уже не могла писать, и Валентин Григорьевич звонил, чтобы справиться о её здоровье.

В семье Молоковой бережно хранят её архив. В толстой стопке писем от писателя лежит его последняя телеграмма: „С болью в сердце узнал о кончине Лидии Михайловны, моей дорогой учительницы и мудрой наставницы. Не стало её, и тяжесть до конца моих дней легла на сердце и душу. Поклонитесь ей в последние минуты и от меня тоже...“».

\* \* \*

Как-то Распутин признался в беседе с критиком Евгением Осетровым: «В юности я совершенно не думал о литературном призвании. Считал, что мне суждено стать учителем, радовался этому, гордился и серьёзно готовился к этому делу».

Школу он окончил с высокими оценками. В архиве Иркутского университета хранится его аттестат зрелости. По всем предметам в этом документе стоят «пятёрки». Как медалист тех же пятидесятых годов, я не мог понять, почему Распутин не получил золотую



награду. Почему аттестат его напечатан обычным чёрным шрифтом, а не золотистым, какие в те времена вручали выпускникам-отличникам? Вопросы закономерны, тем более что районная газета летом 1954 года в заметке о выпускном вечере в местной средней школе назвала Валю Распутина в числе шести ребят, которые «получат золотые и серебряные медали». Школьные друзья Валентина объясняли мне явную несправедливость по-разному. Одни высказывали предположение, что оценку по сочинению в районном или областном отделе образования могли снизить за «слишком вольные мысли». Другие удивлялись самому вопросу: да разве можно объяснить решения, которые принимались «наверху»? Там по своему усмотрению могли не только снизить любую оценку, но и лишить школу медали из-за того, что исчерпан «лимит» на награды. Добавим, что, не получив медали, Валентин потерял право поступить без экзаменов в любой вуз, кроме столичного.

Даже прочитав воспоминания, которые приведены выше, можно было бы предположить, какой вуз и какой факультет выберет паренёк из Аталанки. Конечно, филологическое отделение университета! На вступительных экзаменах Распутин сдал три из четырёх предметов на «отлично» и только один — на «хорошо».

## Испить до дна

Поздней осенью 1954 года, когда Валентин уже уехал в Иркутск, вернулся из заключения отец, Григорий Никитич. Он был болен. Тяжкие хвори, подхваченные им в зоне, мучили его до конца жизни. Нина Ивановна к тому времени тоже выглядела изработавшейся и старше своих лет. Пока муж мыкался в лагере, она бедствовала не меньше, чем в войну. С почтовой службы жена заключённого вынуждена была уйти. Прокормить в нищем колхозе троих детей — третий, Гена, родился после войны — было невозможно без сторонней помощи. А родители Григория Никитича к тому времени пришли к семейному разрыву, и ни тот ни другой не могли оставаться доброй опорой невестке. Почему ушёл лад из распутинского дома, объяснять не надо: внук Никиты Яковлевича и Марии Герасимовны позже достоверно рассказал об этом в повествовании «Василий и Василиса».

Дед будущего писателя менял свою жизнь резко и бесповоротно. Оставив жену, он подался в соседний таёжный посёлок Замараевка, женился там на молодой по имени Александра (Валентин даже имя героини оставил в рассказе подлинным) и пошёл на лесосеку рабочим. Никита Яковлевич дал совет и снохе: переезжай в Замараевку, в леспромхозе дают неплохое жалованье. Невестка послушалась, потому что через год нужно было отправлять Валентина на учёбу в Иркутск, а без денег не пошлешь. Так Нина Ивановна с детьми оказалась в соседнем селе.

Должность ей определили тяжкую, обессиливающую: банщицы. Непосвящённый подумает, что обязанностью её стало подтирать полы да расставлять шайки в общественной бане. Нет, совсем не

то. Надо было ежедневно носить с Ангары в гору тяжёлые вёдра на коромысле, наполняя водой два огромных чана. И эту каторгу Нина Ивановна перемогла.

Вновь и вновь думаешь: родители аталанского паренька испили чашу земных невзгод до дна. И не мог их наследник не знать, чем оплачивал русский человек на немереных просторах отечества каждый день под солнцем.

\* \* \*

Надежда Александровна Миронова, землячка писателя, знает Распутиных как раз со времени недолгого житья-бытья их семьи в Замараевке.

— Я работала здесь фельдшером, — рассказала она мне. — А муж мой, Борис Иванович, был начальником лесоучастка. Григорий Никитич, как вернулся с Колымы, не захотел жить в Замараевке и перевёз своих в родное село. А вскоре Бориса Ивановича перевели в Аталанку. И он пригласил Григория Никитича к себе, мастером участка. Работали они, скажу я, душа в душу, понимали друг друга с полуслова. Бабушку Марью Герасимовну и деда Никиту Яковлевича Валентин описал в рассказе очень точно. Бабушка была высокой, статной женщиной. Она вместо «ч» выговаривала «ц»: произносила не «чего», а «цево». В понизовье Ангары все так говорят. А дед — тот был настоящий сибиряк, с «тунгусинкой». Так, кажется, Валентин написал. Любил в свободный час выпить, песню затянуть, даже в пляс пойти. Вот забегу вперёд: когда мы после затопления переехали в новую Аталанку, то стали с Никитой Яковлевичем соседями. В одном двухквартирном доме жили, через стенку. У меня двое детей, дочке ещё года

не было. А он возьмётся петь. Я на всю жизнь запомнила его хмельную частушку:

Свёкор-батюшка хорош,  
Ручку сивую положь  
Под белую кофту,  
Под красный сарафан.

Приду к нему: «Никита Яковлевич, миленький, пожалуйста, потише, у меня ребёнок заснуть не может». Ну он, ничего не скажешь, сразу: «Ладно, ладно, соседушка!»

Молодая жена его Александра была дружелюбной, очень отзывчивой. Хорошо шила и обшивала всё село. Потом, когда Никита Яковлевич умер, она переехала в Усть-Уду.

Но это после... А в старой Аталанке наш дом и дом Григория Никитича стояли напротив друг друга. Мы бывали у Распутиных, и они у нас. Отец Валентина о Колыме не любил вспоминать. Да и мы понимали, что несчастье свалилось на него случайно. Тогда из деревень почтовские работники постоянно ездили в районный центр за деньгами — за пенсиями для стариков, пособиями на детей, переводами, которые отправляли нашим односельчанам родственники. И ограбления были не редкостью. Жуликов после войны хватало.

Я помню, однажды Борис говорит мне: «У Григория Никитича приехал сын, студент, из Иркутска». И как-то незаметно за несколько дней мы подружились с ним. После этого, приезжая в Аталанку, он всегда говорил мне или мужу: «Приходите вечером, посидим».

Валя очень приветливый был с юности.

О недолгой жизни семьи в Замараевке рассказывала мне сестра писателя, Агния Григорьевна:

«Там маме дали крохотную комнату. А нас трое детей, мы с Вале́й школьники, Гена маленький. Пожили в тесноте, и мама вынуждена была отправить меня в Иркутск, к родственникам. Вернулся папа. Сильно кашлял, маялся желудком. Деваться некуда — вернулись в Аталанку, к бабушке. В конце пятидесятых годов началось затопление<sup>[4]</sup>. Папа с братом, нашим дядей Лёней, решили в новой Аталанке построить один дом на две семьи. Дом казался вроде бы большим, но и семьи были немаленькие. У нас шестеро с бабушкой Марьей. У дяди Лёни пятеро детей да самих двое, значит семеро. Вот под одной крышей и жили тринадцать человек...»

**Глава вторая**  
**ТЫ ВЫБИРАЕШЬ ПРИЗВАНИЕ**  
**ИЛИ ПРИЗВАНИЕ ВЫБИРАЕТ**  
**ТЕБЯ?**

## Город будущей судьбы

Каким Валя приехал в Иркутск, за четыреста километров от дома, поступать в университет, можно представить по одной забавной истории, которую он поведал позже журналисту Владимиру Зыкову.

«Шёл, озирался по сторонам. Всё казалось ново... И надо же, когда все зашли в аудиторию, где писали сочинение, я умудрился зацепиться за гвоздь и порвал штаны. Повезло, в общей суматохе никто ничего не заметил. Я успокоился, сел за стол и всё написал, как полагается. Но как идти обратно с рваными штанами? Решил подождать где-нибудь в закутке до темноты. Мол, поздно вечером никто ничего не разглядит. А того не дотумкал, что в большом городе и ночью светло, как днём! Тем более, дорог по закоулкам я не знал — только главную улицу! Так и добрался до общежития, шарахаясь от прохожих. Тогда я ещё не знал простой истины: в деревне всякий человек на виду, а в городе один для другого просто не существует! А мне тогда казалось: все только и глазели на меня!»

О студенческих годах Валентина мне рассказывать легче. Общежитие, где мы обитали вместе четыре года, причём год — в одной комнате, было таким общим домом, в котором ничего нельзя скрыть друг от друга. Всё на виду: и прореха на старой рубашке, и голодный блеск в глазах, и сердечное переживание. Валя, так мне проще называть его, был парнем сдержанным, скупым на слово в наших лёгких и весёлых разговорах, сосредоточенным на чём-то своём, что требовалось обдумать. И был он справедливым и надёжным: есть такой сорт людей, которых не повернуть к неправде лукавым доводом и не сбить с дружеской тропки чужим выгодным посулом. Позже в рассказе «Тётка Улита»

Распутин приоткрыл, откуда в его характере эти чёрточки:

«Одна из старух — моя бабушка, человек строгого и справедливого характера, с тем корнем сибирского нрава, который не на киселе был замешен, ещё когда переносился с Русского Севера за Урал, а в местных вольных лесах и того боле покрепчал. Бабушка, обычно и ласковая и учительная, каким-то особым нюхом чувствовала беспокойную совесть и сразу вставала на дыбы. И не приведи Господь кому-нибудь её успокаивать, это только добавляло жару, а успокаивалась она за работой и в одиночестве, сама себя натакав, что годится и что не годится для её характера».

Чтобы читатель представил себе парня из далёкой ангарской деревни, выходца из простонародья, на многолюдных улицах областного центра или среди безунывной студенческой вольницы, хочу в двух словах передать особенности нашей жизни тех лет. Вы бы не заметили большой разницы в одежде, привычках и запросах студентов, может быть, потому, что в массе своей мы были детьми колхозников, заводских работяг и скромных служащих. По анкетам равенство нарушали отпрыски партийных и хозяйственных начальников, но и они не были избалованы и не носили на челе той спеси, которая отличает нынешних богачей. В нашей группе, например, занимались дочери главных редакторов партийных газет двух сопредельных регионов, и обе были такими скромными и свойскими, что о высоких постах их папаш мы и не вспоминали.

Каким открылся Вале большой город на Ангаре и новая, студенческая, жизнь в нём, он рассказывал в своих очерках не раз. И так как живые красочные впечатления молодых лет для каждого человека, а тем более для будущего писателя, — клад бесценный, обратимся к этим воспоминаниям:



«Иркутск 50-х — начала 60-х годов прошедшего века был значительно меньше и „домашней“, без громоздких микрорайонов, опоясывающих его теперь, и без высотных зданий, деревянная и каменная старина тогда ещё не превратилась в музейность и жила как Бог даст в общем ряду. Улицу Большую<sup>[5]</sup> (а она всегда, сколько я помню, коренными иркутянами иначе не называлась), закрытую для машин, по вечерам заполняли студенты, посреди неё, выставляя себя напоказ, медленно вышагивали „стиляги“ в узких брюках, а возле Ангары, напротив фундаментальной университетской библиотеки буряты водили, раскачиваясь в огромном кругу, свой ёхор<sup>[6]</sup>, и заунывная их песнь со вскриками улетала и за реку, и за улицы. Мы все тогда были заметней; мне кажется, в университете я знал всех, по крайней мере, в лицо — и ничего удивительного: университет занимал только одно здание, и мы постоянно друг у друга были на виду. Да и всё тогда представлялось розовым, без дробления, повторения и умножения: и студенты, и профессора, и умницы, и спортсмены, и яркие девушки, и громкие судьбы, — всё имело свою неповторимость. Или это только грезится теперь? Нет: в каком-то общем и не совсем осознанном порыве, так же, как из бедности, мы стремились вырваться из безликости — и разве, глядя на наше поколение, можно утверждать, что не получилось? Сам воздух в ту пору был туже, и крылья, которые точились для полёта, держал он лучше. А вскоре и Гагарин полетел».

В нашем общежитии существовала студенческая коммуна, её создали ребята и девчата с физико-математического факультета. В отличие от филологинь, ангельских муз желторотых поэтов, юные физматчицы были практичнее. Они умудрялись дважды в день, утром и вечером, сносно кормить своих однокурсников.

Валя вошёл в чужую коммуну, и это было для него благом: передать нищую стипендию в общий карман и весь месяц не страдать от недоедания.

О том, как он столовался в кругу новых друзей, Валентин позже и серьёзно, и с юмором припоминал:

«Братское было отношение друг к другу. Буряты, русские, ребята с Украины... Всё покупали в складчину и ели из одного котла. У нас даже тарелок не было, все своими ложками в одну кастрюлю ездили. Скоро заметили, что у меня да ещё у одного парня скорость повыше, и, чтобы всем поровну доставалось, ребята вынуждены были купить нам алюминиевые тарелки».

Отец его вернулся из зоны, как уже было сказано, «доходягой», и рассчитывать на поддержку семьи студенту не приходилось. Помню, как весенним днём, вернувшись после лекций в общежитие, я застал в комнате Валу лежащим на койке и скучным, глуховатым голосом распеваящую детскую песенку:

Взвейтесь кострами,  
Синие ночи!  
Мы — пионеры,  
Дети рабочих.

Впору было упасть от неожиданности на соседнюю койку.

— Готовлю репертуар, — с усмешкой объяснил Валентин. — Собираюсь после сессии поехать в пионерский лагерь вожатым...

Выход был отработанным. Чтобы на время каникул отправиться пароходом в родную деревню за четыреста километров, нужны были немалые, по нашему кошельку, деньги, а где их взять?

В архиве университета сохранились документы, касающиеся работы студента Распутина в пионерских

лагерях. Летние каникулы в таких случаях не сокращались. Студент писал заявление на имя ректора с просьбой разрешить ему досрочно, в мае, сдать экзамены за очередной курс, к заявлению прилагались два ходатайства — от деканата и комитета комсомола. Разрешение выдавалось, студент сдавал экзамены в мае, а июньские дни (когда сокурсники корпели над учебниками) проводил в живописных загородных местах, на государственных харчах. Играл с малышами на спортплощадке, ходил в неуютительные походы и в конце благословенного месяца уезжал на заработанные деньги, скажем... в Аталанку. Так что, когда жизнь прижимала, никаким тихим, застенчивым да неразговорчивым Валя не был. Знающие себе цену такими не бывают!

## Дом, где оттачивались перья

В университете студенты-филологи выделялись. Они были самыми плодовитыми авторами вузовской многотиражной газеты. А творческие люди на поприще журналистики, пусть даже только-только пробующие перо, всегда виднее, чем, скажем, способные юные физики или математики. «Приближённые» к университетской редакции оповещали о результатах сессий, «продёргивали» нарушителей порядка в общежитиях, затевали на газетных страницах разного рода дискуссии. Чуть ли не в каждом номере публиковались рассказы и стихи ребят и девчат, как правило, студентов-филологов. Ежегодно вчерашние школьники, придя в университет на первое занятие, с открытыми ртами разглядывали на стене широкого коридора трёхметровую стенную газету, которая, как и известная писательская, называлась «Литературной». В студенческой «литературке», лирической, насмешливой и бойкой, авторов тоже хватало. Если бы припомнить всех сочинителей одного только пятилетия, в которое учился Валентин, — тех, кто стал писателем, и тех, для кого бумагомарание оказалось забавой молодости, — наберётся не один десяток.

Отделения журналистики в Иркутском университете ещё не было, оно выпустило первый набор только в 1966 году. И как-то сложилось, что большинство парней, учившихся на нашем филологическом факультете, мечтали связать свою жизнь с журналистикой. Тем более что нужда в сотрудниках газет, радио и телевидения была огромной. Почти для всей Сибири их готовил только один университет — Свердловский.

Распутин, став писателем, часто говорил в беседах и интервью, что на творческую стезю он ступил случайно. Тому же Евгению Осетрову он повторил то, что рассказывал и прежде:

«Получилось так, что я остался без стипендии. Помощи ждать было неоткуда. Друзья помогли мне определиться на нештатную работу в иркутскую молодёжную газету. Через несколько месяцев, ещё до окончания университета, был зачислен в штат... Трудясь в газете, выполняя различные редакционные поручения, я мало-помалу приобщался к журналистскому труду, да и вся атмосфера, окружавшая меня, была насыщена литературными и общественными интересами».

Чистая случайность? Это вроде бы так, но и не так.

В многостраничном библиографическом указателе, выпущенном в Иркутске и посвящённом жизни и творчеству писателя, перечень корреспонденций, которые Валентин опубликовал в студенческие годы, начинается с тех, что напечатала областная газета «Советская молодёжь». Первая помечена мартом 1957 года, когда автор учился на третьем курсе. Но публиковаться он начал раньше в соавторстве с Рафаилом Градом и Михаилом Ворониным, учившимися курсом выше. Первоначальные журналистские навыки он получил рядом с ними, а когда нужда заставила искать заработок, друзья-старшекурсники и в самом деле помогли ему найти дорогу в редакцию «Молодёжки».

За два последующих года корреспонденции студента Распутина появлялись в областной газете более двадцати раз. Можно удивляться, что он не писал тогда рассказов. Осенью 1957 года в университете сложилось литературное объединение. Руководил им доцент Василий Прокопьевич Трушкин, человек очень дружелюбный и общительный. Мы, не страдающие

скромностью бумагомаратели, пошли туда толпой. Уже весной следующего года в литобъединении на ура приняли юмористический рассказ Александра Вампилова «Стечение обстоятельств». Вскоре юмореска появилась в университетской газете. До конца учёбы Саша напечатал в разных газетах и альманахе «Ангара» около двадцати рассказов, составил из лучших первую книжку, вышедшую в свет в 1961 году. В том же году Валентин напечатал в иркутском альманахе первый рассказ «Я забыл спросить у Алёшки» (позже имя было изменено на «Лёшку»). Говорится это единственно для того, чтобы подчеркнуть: у одних талант оказывается «на виду» в очень молодые годы, а у других позже и вызревает подспудно. Но и утверждается прочно.

На пятом курсе, весной 1959 года, Валентин был приглашён в редакцию газеты «Советская молодёжь» штатным сотрудником<sup>[7]</sup>. А летом он получил диплом об окончании университета.

Самостоятельная жизнь у нашего брата, холостого выпускника вуза или техникума, начиналась в те годы одинаково. Квартир, как правило, не предоставлялось, снимали угол где-нибудь на окраине города, питались, как и в студенчестве, в столовках.

Валентин вместе со «старожилом» молодёжной газеты, многолетним студентом-заочником университета и начинающим прозаиком Евгением Суворовым устроился на квартире у одинокой бабуси. Двадцать с лишним лет спустя Распутин со сдержанным юмором реалиста рассказывал Валентину Курбатову:

«Мы жили с ним недолго под одной крышей у бабки, которая разводила белых мышей для противочумного института. Наверно, ей платили хорошо, потому что мышей была прорва. Денег у нас не было, и иногда мы пускались на хитрость. Женька отворял клетки, и мыши разбегались по дому. Старуха (а она была толста и

малоподвижна) просила помочь. Женька ссылался на  
брезгливость. Нам обещали напечь оладушек, и мы  
загоняли мышей до следующего приступа голода».

## **«Он любит меня такой, какой сделала любовь к нему...»**

Летом 1960 года Валя познакомился с обаятельной, спортивного вида девушкой Светой, дочерью известного не только в наших краях поэта Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского<sup>[8]</sup>. Она училась на физмате, была младше Вали, но, можно предположить, дочь поэта почуяла в начинающем журналисте литературный дар. Не случайно 20 сентября того же года она записала в дневнике: «Часто сейчас мне стало казаться, что В. Р. — судьба моя».

В очерке Эдуарда Анашкина «А сердце в Читу, всё в Читу возвращается...» приводятся строки из дневника юной Светланы Молчановой, а также воспоминания ее младшей сестры Евгении.

«Светлана Ивановна Распутина, жена Валентина Григорьевича, была незаурядной, многогранной личностью. После её смерти остались дневники, которые она вела до замужества: две общие тетради, в которых она записывала все свои сокровенные мысли, размышления о жизни, понравившиеся ей стихи, отрывки из прозаических произведений, впечатления о прочитанном. Я очень благодарен сыну Распутиных Сергею, который разрешил кое-что использовать мне в этой статье. Вот слова Светланы Ивановны в дневнике:

„19 января 1958 года.

Кем я буду? Я сама не знаю. Кем я хочу быть? Не знаю. То есть, я чувствую, что я могу быть Человеком. Я есть, я существую сейчас. Я тонко всё чувствую. При виде неба, деревьев, снега, солнца, реки, людей, при звуках музыки внутри всё трепещет и бьётся.

Я люблю жизнь. Я хочу жить, жить светло, чисто, бурно и ярко. Но во что выльется всё то, что я имею?



Претворятся ли мои хрустальные мечты в жизнь? И кто поможет сделать это? И есть ли он, человек, которого я люблю? Жизнь с которым будет счастливой. Человек, который будет любить меня, поймёт меня?

Я думаю, он живёт, он ищет меня. Он уже любит меня такой, какой меня сделает любовь к нему...”

Светлане, написавшей это, — 19 лет. Удивительным образом слова её перекликаются со стихами её папы, Ивана Молчанова-Сибирского, написанными в двадцатилетнем возрасте в 1923 году:

Я жить хочу... Я страстно жажду жить,  
Но чтобы не обыденно и пусто!  
Хочу гореть и всей душой любить,  
Всей полнотой нетронутого чувства...

Дочь и отец были очень похожи во всём: и по внешности — высокие, статные, с правильными тонкими чертами лица, синеглазые, и по характеру — честные, прямые, справедливые, отзывчивые. Их связывала большая дружба, они могли говорить на любые темы, делиться своими рассуждениями о жизни, обсуждать прочитанные книги.

„Читала Светлана очень много, — пишет её младшая сестра Евгения Ивановна, — у нас была прекрасная библиотека. Когда папа приезжал из Москвы, а ездил он исключительно по делам писательской организации, — всегда привозил новые книги, и мы с нетерпением ждали, когда же он начнёт распаковывать чемоданы и вручать каждому долгожданные издания.

Когда умер папа, всем нам, его детям (а нас было шестеро), очень его не хватало. Светлане же, старшей, особенно. Она лишилась верного друга, собеседника“.

Вот строки из дневника:

„10.06.1959.

Я знаю, вернее, знала, только одного красивого мужчину. Он красив всем, красив и внешне, и внутренне. Это папа. Таких больше нет. И его нет. Нет нигде. О боже, как это страшно. Навеки...”

„20.12.1959.

То, что пишу здесь, это какая-то очень малая частица моего ‘я’. В жизни столько весёлого и грустного, просто милого, и радостного, и печального, и тревожащего, а я пишу как-то немного однобоко. И иногда становится страшно, что многое растеряю в памяти и, быть может, никогда не вспомню. Но ведь эти маленькие человеческие подробности и являются основой больших человеческих чувств”.

<...> А вот и жизненное кредо Светланы Ивановны:

„28 августа 1960 года.

Надо жить в полную силу. Дерзать. Творить. Не бояться повседневности. Подчинять её себе. Всегда, везде быть сильной, независимой. И чтобы все это знали. И никогда не раскисать, по крайней мере, чтобы никто не видел этого”.

Этим принципам она следовала всю свою жизнь».

Думаю, здесь к месту будет привести воспоминания Галины Николаевой, подруги Светланы со студенческих лет, о времени их общей юности.

«В Свете меня привлекало многое: её интересные суждения о прочитанном, всегда глубокие и часто неожиданные, её любовь к музыке, к которой она не без успеха пыталась приобщить и меня. В конце пятидесятых в Иркутске ещё не было симфонического оркестра, а вот исполнители приезжали самые известные, к примеру, Святослав Рихтер. А как мы любили областной драматический театр! Ни одной премьеры не пропускали.

Света увлекалась большим теннисом. Она прекрасно смотрелась на корте: стройная, загорелая, длинноногая

блондинка. С нарядами, конечно, было непросто, но ей удавалось красиво выглядеть, перешивая какие-то наряды старшей сестры, из которых та выросла. Так и вижу её в синей шерстяной кофточке с матерчатыми заплатками на локтях, но зато какая походка! И как этот синий цвет подходил к её глазам!»

В начале следующего года Валентин Распутин и Светлана Молчанова стали мужем и женой, а 11 октября 1961-го официально зарегистрировали свой брак.

# **Глава третья**

## **ВВЕРХ, НА ТЕЧЕНИЕ**

## Навыки журналистские и семейные

В молодёжной газете той поры почти все журналисты были начинающими прозаиками да стихотворцами. Первые два года работы в редакции Валентин участвовал в их бесконечных литературных посиделках скорее как читатель и слушатель, а не как сочинитель. Замечу, что его рассказ «Я забыл спросить у Алёшки» (позже — «Я забыл спросить у Лёшки») «вырос» из очерка, напечатанного в газете.

Но журналистом он с самого начала был плодовитым. В городе Распутин проводит едва ли только половину рабочих и выходных дней. Как и друзья по редакции, он не вылезает из командировок. Едет то в бурятский колхоз Усть-Ордынского национального округа, то в золотonosный Бодайбо, за восемьсот километров от областного центра, то в Тофаларию, высокогорный край обитания малочисленной народности, то в Братск, где заканчивается сооружение крупнейшей в мире ГЭС, то в заповедную тайгу, сквозь которую тянут высоковольтную линию электропередачи. словно сама судьба предлагает корреспонденту Распутину вперемежку адреса «старинные», не связанные с громкими стройками, и новые, только что явившиеся на карте Восточной Сибири. Мол, посмотри, как люди жили испокон веку на дедовской земле и что принесла сюда новина. Заголовки газетных публикаций молодого журналиста очень показательны: «Голос ближних и дальних полей», «Всех понятней тайга», «Край возле самого неба», а рядом — «Сильные ждут сильных» (о бетонщике Братской ГЭС), «Эту жизнь раскрашивать не надо» (о строителе Мамаканской ГЭС), «Рассказ о

лэповце Сашке» (о монтажнике линии электропередачи).

\* \* \*

В конце ноября 1961 года у Распутиных родился сын Серёжа. Чувство отцовства Валентин смолоду ощущал остро. Наверное, сказывалось пережитое в детстве постоянное ожидание аталанскими мальчишками беды: был отец, а вот принесли с почты проклятый конверт — и ты стал сиротой. И мать, не раз принимавшаяся голосить в доме, никак не может привыкнуть к слову «вдова».

Уже в первые годы занятий литературой Распутин написал два рассказа о детстве: «Мы с Димкой» и «Мама куда-то ушла». В первом узнаваемо переданы характеры двух малышей военной поры, их почти взрослые заботы. А во втором тонко прорисовано поведение человечка, которого мама ненадолго оставила одного в квартире, и душа его с болью и страхом только начинает осознавать себя.

«— Мама, я проснулся!

Никто ему не ответил.

— Мама! — позвал он. — Я молодец, я проснулся.

Тишина.

Мальчишка подождал, но тишина не прошла.

Тогда он спрыгнул с кровати и босиком побежал в большую комнату. Она была пуста...

Мальчишка бросился на кухню, потом в ванную — там тоже никто не прятался...

— Мама, — как можно спокойнее сказал мальчишка, — я проснулся, а тебя нету.

Молчание.

— Тебя нету, да? — спросил он.

Его лицо напряглось в ожидании ответа, он поворачивал его во все стороны, но ответ не пришёл, и мальчик заплакал...

Он стоял посреди комнаты, и крупные тёплые слёзы выкатывались из его глаз и падали на крашеный пол. Потом, не переставая плакать, он сел...

Это продолжалось долго, а сколько, он не знал.

В конце концов он лёг на пол и стал плакать лёжа. Он так устал, что перестал чувствовать себя и уже не понимал, что плачет. Этот плач был так же естественен, как дыхание, и уже не подчинялся ему. Наоборот, он был сильнее его...

— Я больше не буду плакать, — сказал он себе. — Придёт мама, я буду молодец.

Он подошёл к кровати и одеялом вытер своё заплаканное лицо...

Надо было что-то делать. „Я сейчас поиграю, и мама придёт“, — решил он. Он пошёл в угол, где были все его игрушки, и взял зайца. Заяц был его любимцем. У него отклеилась одна нога, отец несколько раз предлагал мальчишке приклеить эту ногу, но тот никак не соглашался. С двумя ногами зайца любить было бы не за что, так он и оставался с одной, а вторая валялась где-то здесь же и теперь существовала сама по себе.

— Давай играть, зайка, — предложил мальчишка.

Заяц молча согласился.

— Ты больной, у тебя ножка болит, я тебя сейчас буду лечить.

Мальчишка положил зайца на кровать, достал гвоздь и ткнул им зайца в живот, делая укол.

Заяц к уколам привык и никак на них не отзывался...

— Нет, не так, — сказал мальчишка. — Теперь я буду зайкой, а ты маленьким мальчиком. Ты будешь меня лечить.

Он посадил зайца на стул, а сам лёг в кровать, поджал под себя одну ногу и заплакал.

Заяц, сидя на стуле, удивлённо смотрел на него своими большими голубыми глазами.

— Я заяц, у меня ножка болит, — объяснил ему мальчишка.

Заяц молчал.

— Заяц, — спросил он потом, — куда ушла мама?

Заяц не ответил.

— Ты не спал, ты знаешь, говори, куда ушла мама? — потребовал мальчишка и взял зайца в руки.

Заяц молчал...

— Говори, говори! — требовал он.

Заяц продолжал молчать.

Мальчишка швырнул его на пол, спрыгнул с кровати и, бросившись на зайца, стал его пинать.

Заяц катался по полу, подскакивал, крутился, и мальчишка тоже подскакивал и крутился вокруг него и всё повторял: „Говори, говори, говори!“ — но заяц не отвечал и не мог от него никуда убежать, потому что он был с одной ногой. И мальчишка вдруг понял это. Он остановился. Он стоял и смотрел, как заяц, уткнувшись лицом в пол, беззвучно плачет. И он услышал этот плач. Он наклонился над зайцем, развёл руками и виновато сказал:

— Мама куда-то ушла.

И вдруг мальчишке показалось, что по лестнице кто-то поднимается.

— Мама! — закричал он, бросаясь к двери, но запнулся о кресло и упал. Он поднялся, прислушиваясь, но за дверью никого не было. И тогда мальчишка снова заплакал. Он плакал от боли и одиночества. Что такое боль, он уже знал. С одиночеством он встретился впервые».

Сын писателя Сергей Валентинович в разговоре со мной заметил, что в таком возрасте одного в доме его не оставляли, да и мал он был для расспросов.



Впрочем, это и не нужно, я думаю, писателю. Дело не в подробностях события, а в правде, убедительности поведения маленького героя. Тут включается душа автора.

\* \* \*

Осенью 1961 года Валентин перешёл из «Молодёжки» в редакцию литературно-драматического вещания Иркутской студии телевидения. Думалось, что здесь будет интереснее: театр и словесность всё же ближе творческой душе. Но ожидания не оправдались. Как-то вместе с другим молодым журналистом Распутин подготовил передачу о сибирском писателе Петре Петрове, репрессированном в тридцатые годы. Авторы передачи использовали письма П. Петрова из тюрьмы жене. На предварительном просмотре материала председатель областного телерадиокомитета потребовал убрать из видеоряда и текста места, которые ему не понравились. Молодые журналисты отказались. Тогда начальник уволил обоих с работы, объяснив это словами: «Они гнут не ту линию».

Парни обратились к собственному корреспонденту газеты «Известия» по Восточной Сибири Леониду Шинкарёву. Тот написал в защиту коллег статью «Дурное настроение».

Л. Шинкарёв вспоминал позже:

«„Известия“ эту историю опубликовали. Авторитет аджубеевской<sup>[9]</sup> газеты был велик, и после публикации коллектив телевизионщиков, который до этого воспринимал происходящее как дело обычное, тоже поддержал своих товарищей. Обком партии объявил председателю комитета выговор и обязал восстановить уволенных на работе».

Но парни не захотели трудиться под началом такого чиновника. Товарищ Валентина перешёл в редакцию газеты «Советская молодёжь», а Распутин уехал в Красноярск.

## Та же студенческая жизнь...

Выбор этого города не был случайным. Светлана окончила университет и при распределении выпускников попросила направить её в Красноярск. Уезжать с крохотным сыном из Иркутска, из-под крыла заботливой Виктории Станиславовны, матери Светланы, Распутиным было нелегко, но Валентин, как всегда, показал твёрдый и самостоятельный характер. Раз в Иркутске торжествует чиновничья дурь — поищем работу в другом месте!

Светлане предложили место преподавателя высшей математики в Технологическом институте, выделили комнату в общежитии для преподавателей. Хотя повсюду в стране строили панельные дома с квартирами, названными народом «хрущёвками», миллионы семей ютились в рабочих общежитиях, коммунальных квартирах. Все тяготы бездомья испытали и Распутины. С августа шестьдесят второго до конца шестьдесят четвертого года мыкались они с малышом на руках в пятиэтажке, напоминающей шумный улей.

О том, как Валентин устраивался на работу, рассказал журналист Владимир Зыков:

«Впервые я увидел Распутина в редакции „Красноярского комсомольца“ в 1962 году. В ту встречу „сопровождающим“ его в редакторский кабинет был собкор газеты „Известия“ по Красноярскому краю Бессонов. Все „комсомольцы“ невольно и в какой-то мере заинтересованно оказались рядом, пока собкор беседовал с редактором Полустарченко. Моя соратница по отделу комсомольской жизни Лиля Моисеева шёпотом объяснила мне, что Валентин работал в Иркутске, написал какую-то „крамолу“, а „Известия“

взяли его под свою защиту и добились справедливости в борьбе с ретивыми администраторами.

Красноярский край в шестидесятые годы был „передним краем страны“, краем Всесоюзных ударных комсомольскихстроек, таких как Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, „трасса мужества“ Абакан — Тайшет, Красноярский алюминиевый завод и многих других пониже рангом. Это не могло не привлекать молодого журналиста.

Помню, как Бессонов живо объяснял, что к чему, а Валентин молча, не улыбаясь и как-то понуро стоял рядом и не вставил ни слова в эмоциональный монолог своего „ведущего“.

Когда через полвека после нашего знакомства классик русской литературы Валентин Распутин выступал перед красноярцами в гостеприимном Педагогическом университете в компании с земляками-иркутянами и свердловской киногруппой, проехавшей с ним от истоков до устья Ангары, он вёл себя точно так же отстранённо и сдержанно — прямая противоположность азартному Виктору Астафьеву.

Осенью 1962 года вакантного места для Валентина Распутина в „Красноярском комсомольце“ не нашлось, и его „первой ступенькой“ в журналистской карьере в нашем крае стал „Красноярский рабочий“. Он трудился там, наверное, с полгода и, говоря по правде, совсем измаялся. Наша молодёжная редакция располагалась тогда на верхнем, пятом этаже только что построенного в центре Красноярска дома, а „Красноярский рабочий“ с полным комфортом устроился пониже. Валентин по соседски частенько заглядывал к нам „излить душу“...

Как я понял, в иркутской „Молодёжке“ (газета „Советская молодёжь“. — *А. Р.*), где он раньше работал, были несколько иные взгляды на жизнь, чем в красноярской партийной газете. Точно так же „покомсомольски“ вольготно было и у нас в редакции.

Валентин с первых „газетных“ лет привык писать легко и без оглядки. Именно поэтому в „Красноярском рабочем“ с первых же дней всерьёз взялись за его перевоспитание, с чисто партийных позиций: учили уму-разуму, как писать „правильно“. Валентин признавался: „Иногда я специально перебарщивал с затёртыми штампами или же выдавал полнейшую сухомятину, пародируя навязываемый мне стиль. И тогда в секретариате оживлялись: ‘Вот так, именно так и надо!’“.

К счастью, страдания молодого журналиста продолжались недолго. Он перешёл к нам в редакцию на правах „специального корреспондента“. Его феерический стиль буквально ослепил всех. Ну, может быть, и не всех, но наша заведующая отделом комсомольской жизни Римма Иванова добрейшей души человек, никак не могла уразуметь его ярких эпитетов и заковыристых метафор.

А Валентин Распутин вскоре выдал одну из первых зарисовок о семнадцатилетней телятнице. Называлась она, как сейчас помню, „Весна в распахнутых руках“. Была в те годы у всех на устах такая жизнерадостная песенка: „Хорошо свою весну нести на распахнутых руках! Солнце нашей вечной юности не померкнет в облаках!“ Вся зарисовка была — обаяние молодости, наив и радость жизни. Валентин весело, искренне и задушевно расхваливал семнадцатилетнюю простодушную телятницу, которая нигде не бывала, кроме родной деревни, но так много красоты видела вокруг! И заканчивалась зарисовка словами: „Завтра ей исполняется восемнадцать лет. О ней ещё никогда не писали в газетах“.

Хороший подарок получила хакасская девчонка ко дню рождения! И даже наша строгая Римма Леонтьевна была покорена, хотя и несколько озадачена: „Разве можно писать в газете так несерьёзно!“».

О первых годах семейной жизни Распутиных с весёлыми подробностями рассказала уже упоминавшаяся подруга Светланы Галина Николаева.

«В июле 1964 года у меня раздался телефонный звонок. Света с мужем приехала в Иркутск, в отпуск, и приглашала меня отметить своё двадцатипятилетие. Я, конечно, с радостью согласилась. В тот вечер я впервые оказалась за одним столом с Сашей Вампиловым. Были и другие друзья Вали, журналисты, поэт Пётр Реутский, с которым я была знакома раньше. Он, кстати, написал предисловие к первой книжке рассказов Вампилова, выступившим под псевдонимом Санин. Реутский всё вопрошал меня: „А ты знаешь писателя Санина? Ты ещё будешь гордиться, что сидела с ним рядом!..“ Как интересно было в компании весёлых, остроумных людей! Светочка выглядела такой счастливой и красивой рядом с Валей.

А время какое было! Какие замечательные произведения публиковались в журналах „Иностранная литература“, „Новый мир“. Стейнбек, Хемингуэй, Апдайк, Харпер Ли. А ведь существовал ещё и самиздат. Помню, какое ошеломительное впечатление произвёл на нас роман Хемингуэя „По ком звонит колокол“ в самиздатском варианте.

Однажды просматриваю „Книжное обозрение“ и узнаю, что вышел четырёхтомник Хемингуэя. Мне очень хотелось приобрести это издание. Сидим со Светой у неё на кухне, говорим о чём-то, я вспоминаю про четырёхтомник. Проходит сколько-то дней, звонит по телефону Валя: „Подходи к кинотеатру ‘Гигант’, пойдём в бибколлектор, думаю, ты обрадуешься!“ Видимо, Света рассказала ему о моём несбыточном желании. Так я стала обладательницей четырёх книг любимого писателя. Валентин и позже частенько одаривал меня: то двухтомником Цветаевой, то трёхтомником Бунина, то книгой избранных стихотворений Ахматовой.

Однажды (Распутины жили уже в Иркутске) Валя решил одарить знакомого журналиста. Невольной участницей события оказалась я. Звонит Валя:

— Слушай, Галка, ты по-прежнему не любишь свою напольную вазу?

— Ну да!

— Мы можем её забрать?

— Да, ради Бога.

А ваза эта, пока она стояла на полу в углу, меня не раздражала, но, когда мы с мужем купили тахту и места для неё не хватило, мы не придумали ничего лучшего, как водрузить вазу на рояль. Муж, большой любитель помузицировать, крышку рояля никогда не открывал, то есть рояль использовался как пианино, так что ваза не мешала. Но она так вызывающе смотрелась, так меня раздражала, что Валина просьба обрадовала. С кем он пришёл — не помню. Но ваза исчезла. И куда исчезла? Оказывается, шутники решили подарить её в день рождения другу-журналисту. Могу представить себе его „радость“, если жил он в крохотной комнатухе, заваленной книгами — не протолкнуться. А как Распутин и его товарищ несли по улице эту громадную вазу — вспомню и смех берёт!

Не забыть мне просмотр фильма Сергея Герасимова „У озера“ с последующим обсуждением его в конференц-зале обкома партии. Вход строго по пропускам. Видимо, Валя сумел получить их для себя, Светы и меня. Мне фильм понравился, всё в нем показалось убедительным. Но на Валю и Свету он произвел совсем другое впечатление. Обсуждение началось с очень эмоционального выступления Сергея Аполлинариевича, продолжили его на той же ноте другие участники киногруппы. Все были единодушны в том, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат необходим стране и не опасен для „священного моря“. Ведь, говорили выступающие, вода после очистки

становится безвредной, что и продемонстрировал в фильме инженер Черных, отведавший её.

По пути домой Валя возмущался таким отношением к Байкалу. Это был 1970 год, страна еще только начала узнавать писателя Распутина, к голосу которого позже прислушивались и „наверху“. Впрочем, лишь прислушивались, но не всегда учитывали его мнение.

В марте 1972 года мы отметили тридцатипятилетие Вали. Народу в его доме собралось много: писатели, журналисты, родственники. Было весело, звучали остроумные тосты. Вся жизнь впереди!

А потом наступил печальный август, 17-е число. Гибель Саши Вампилова, похороны. С этим событием как бы ушла молодость, ушла беспечность...

Когда Валентин стал знаменит и многие рвались к нему на правах знакомых, Света очень его оберегала. Она была той женой, про которую говорят „жена-соратница“. Думаю, что при её литературном вкусе, при её чувстве слова она была первым и самым строгим критиком для своего мужа.

Вспоминаю совершенно спокойную реакцию Светы на рассказ „Я забыл спросить у Лёшки“. А мы-то, подружки, радовались: Валю напечатали в столичном журнале „Смена“. И абсолютно противоположное впечатление произвела на Светлану повесть „Живи и помни“. Она восхищалась всем в этой повести: и сюжетом, и языком. Единственное, что она хотела бы изменить — оставить Настёну живой.

На меня повесть произвела сильнейшее впечатление. Я даже решила, что с неё начался какой-то новый период в литературе. Ты настолько погружался в книгу, что начинал испытывать всё, что испытывают персонажи.

После повести „Живи и помни“ я стала воспринимать Валю уже не просто как писателя, а



писателя великого. Но так и не смогла называть его „Валентином Григорьевичем“».

## **Край возле неба. И возле сердца**

В Красноярске Распутин продолжил работу над небольшой книгой очерков и рассказов, начатой в Иркутске. Первый очерк, давший название сборнику, — «Край возле самого неба», был напечатан им в газете «Советская молодёжь» ещё в феврале 1961 года. Валентин рассказывал о Тофаларии, высокогорном крае в Нижнеудинском районе области, где живут охотники малочисленной и отважной народности тофаларов. До отъезда в Красноярск Распутин опубликовал ещё три очерка о малодоступном и поразившем его уголке в Саянах. Правда, они, чисто зарисовочные по форме, не вошли в книгу. Но было ясно, что тема захватила молодого журналиста и он не оставит её.

Уже после отъезда из Иркутска Валентин печатает здесь, в молодёжной и партийной газетах, очерки и рассказы из будущего сборника. Так, очерки «В Саяны приезжают с рюкзаками» и «На снегу остаются следы» опубликованы в «Молодёжке» в январе и мае 1963 года, ещё один, «От солнца до солнца» — в двух декабрьских номерах 1964 года. Рассказ «Человек с этого света» появился сначала в той же газете в ноябре 1963-го, а затем, ровно через год, — в «Восточно-Сибирской правде». В декабре шестьдесят пятого «Молодёжка» напечатала ещё один рассказ своего бывшего сотрудника «Эх, старуха». Наконец, в 1966-м в Иркутске вышла в свет небольшая книга, включавшая девять очерков и рассказов о людях, живущих «у самого неба».

В сборнике не было восторгов комнатного журналиста, а были уважение повествователя к своим скромным героям и удивление их необычайной укоренённостью среди заоблачных гор и немереной тайги. Заголовки большинства произведений кажутся

«сниженными», прозаичными. Зато они точно передают особенности труда и быта тофаларов: «На снегу остаются следы», «И десять могил в тайге», «От солнца до солнца», «Старая охотница», «Продаётся медвежья шкура». И чуть ли не в каждом очерке и рассказе молодой прозаик стремился открыть для читателя душу удивительного племени. Она, эта душа, сохранилась в заговорах, сказках, напевах, поверьях, обращениях к духам, к сородичам, ушедшим из жизни. Автор сборника бережно воспроизвёл всё это.

Обычно первые произведения называют «пробами пера». Возможно, и о сборнике Валентина можно было сказать так. Однако у молодых авторов, ставших в творческой зрелости большими мастерами, уже в первой книге видна самобытность. Во всяком случае, так обстояло дело с Распутиным.

В очерках и рассказах, рисующих жизнь малочисленной народности, оторванной от Большой земли, нет ужасов и страхов: вот как смертельны обледеневшие скалы, вот как коварны горные реки, вот как беспощадна занесённая снегом тайга. Здесь нет прямых публицистических оценок. Тут хорошо видны подступы молодого писателя к психологическому письму. Чем жив человек? Как остаётся он не соперником и не хозяином, а сыном и охранителем природы? Как относится к соплеменнику, переживает свои и чужие горе и удачу? Когда мы находим ответы на эти вопросы, то понимаем, *что* это за земля такая — «край возле самого неба» и *что* это за люди, оказавшиеся ближе всех к родным высям. Название книги оказывается яркой художественной метафорой, освещающей и быт героев, и их характеры, и их духовную жизнь.

Посмотрите, как живо и, можно сказать, искусно передаются особенности народного характера,

сложившегося за века. Старая тофаларка-охотница отвечает на вопросы (может быть, автора):

«— Елена Андреевна, — сказали ей, — а как многие женщины совсем не работают? Ни капельки.

— У меня когда ребятишек шибко много было, я маленько тоже в тайгу не ходила.

— Да нет, так и без ребятишек, когда в годах — не работают. А бывает и так: муж большие деньги получает, а жена по магазинам ходит. Вот и вся работа.

Она долго думала, потом засмеялась, недоверчиво и отрывисто.

— Ой, врать любишь!

И ушла в тайгу».

А то к старому неграмотному охотнику Николаю Николаевичу пришёл малознакомый человек и попросил помощи: весна голодная, зверь ушёл далеко. Старик предложил: «Возьми у меня корову». Благодарный таёжник взял. Но спохватился: надо оставить расписку. Хозяин махнул рукой: хочешь, так оставь.

«Они вошли в дом. Николай Николаевич вырвал из тетради, в которой он кривыми палочками вёл счёт убитым медведям, лист чистой бумаги. Гость неторопливо, как соболь, уходящий от погони, наследил на нём маленьким, всё время подпрыгивающим карандашом».

А что «наследил» — духам известно.

В книге о закалённых и простодушных тофаларах нет умиления. Иные очерки трагичны. Но и о бедах автор рассказывает словами своих героев. Их горькие воспоминания о пережитом, беседы с тенями дорогих людей лучше любого стороннего слова показывают душу обитателей Саян. В очерке «И десять могил в тайге» мы становимся тайными участниками исповеди охотницы, самой себе задающей вопросы и отвечающей на них:

«Где твои четырнадцать детей, старуха?.. Двое из них остались в живых... двое из них лежат на деревенском кладбище... десять из них разбросаны по саянской тайге, по бесконечной тайге... сын на Тагуле, сын на Гутаре, сын на Мархое, дочь возле Покровского, сын на Агуле... она садится рядом и подолгу рассказывает им о живых. Она говорит, и они слушают, она жалуется, и они понимают, она радуется, и они тихонько хихикают — шёпотом хихикают, шёпотом жалуется, шёпотом кричат. Надо только назвать их по имени, и тогда всё поймёшь, обязательно поймёшь. Надо только быть матерью».

И обратите внимание, каким торопливым, задыхающимся, мчащимся то ли к пропасти, то ли к взрыву оказывается конец этой трагической исповеди:

«А лицо, вот это лицо, видел кто-нибудь это лицо, когда он, четырёхлетний, тот, что похоронен здесь, падал вот с этой скалы, а она кричала, и когда он, двенадцатилетний, тот, что похоронен на Гутаре, умирал возле юрты шамана под крики всех птиц и зверей, и когда она, та, что похоронена возле Покровского, замерзала под вой голодных волков на блестящем льду, и когда он, двадцатилетний, пищал, как ребёнок, вдавленный в землю упавшим кедром во время грозы, и ещё восемь раз, когда смерть, как собака, по чёрному запаху находила их юрту, — видел кто-нибудь это лицо, лицо матери — пусть он скажет, что этого мало!»

Не знаю, можно ли утверждать, что подобные строки — это «заготовки» для будущих книг. Скорее это ростки, из которых поднимется дерево с добрыми плодами. Даже если какие-то очерки совершенно непохожи на то, что выйдет из-под зрелого пера прозаика, всё равно в книге «Край возле самого неба» ощущаются затаённая поэзия, природная чистота, застенчивая чувствительность, то есть глубинные черты

распутинской прозы. Дочитаем до конца очерк о матери:

«Где-то там... далеко, где-то там... высоко, где-то там... глубоко — то ли укатилось через горы и взошло зёрнышком, то ли в небо поднялось и стало звёздочкой, то ли в землю ушло и стало новой землёй — имя, имя, сыновье имя — неужели зёрнышку нечем питаться, а звёздочке нечем гореть, неужели ей красного цвета зари уже не отпущено, а чёрного цвета кострами уже не разбавить, сердце её, неужели и сердце отстучало и просится в звёзды?»

Добавлю ещё несколько строк — о том, как тофалар воспринимает первый снег:

«Земля накрылась снегом, как ночной рубашкой. Снег был тёплый и тихий. От него пахло шубой и зимними унтами. От него пахло чистотой ненюшеных вещей. И ещё от него пахло утром, когда не взошло солнце!»

В книге о Тофаларии чуть ли не на каждой странице находишь картины природы, неповторимой, почти волшебной. Они написаны так, как может рисовать лишь человек зоркий и очарованный торжеством земных стихий. Они, эти стихии, не застыли, а лишь на мгновение замерли перед точной кистью молодого художника:

«Горные реки — это бунтари, которых никому не удалось сломить. Они режут, набрасываясь на камни, ворчат, злятся неизвестно на кого, бесстрашно ныряют с порогов, а потом, успокоившись, трутся о скалы. Горы боятся речек. Горы никогда не спят, наблюдая за ними, боясь, что вода смочит их, разнесёт маленькими камешками по саянской тайге, разотрёт своими сильными холодными руками и утопит навсегда в своей пучине. Страшно горам. Дода-речка, точно иглой прошила, прошла через скалу, и теперь смеётся злобно, показывая каменные зубы и выплёвывая пенистую

слюну. Там, где мчится Казыр-река, ёжатся горы, жмутся от страха друг к другу, прикрываются по утрам туманами, перекликаются звериным рёвом: „Держись! Держись! Держись!“ Эх, Казыр, Казыр, злая непутёвая река! Горы держатся за небо».

\* \* \*

На книгу «Край возле самого неба» откликнулись многие издания. Иные критики рассматривали её вместе с двумя следующими сборниками, вышедшими в свет вскоре. Эти авторы высказались, например, на страницах журналов «Смена» (Франц Таурин), «Дружба народов» (Леонид Теракопьян), альманаха «Сибирь» (Василий Трушкин). Критик Феликс Кузнецов рассуждал о ранней прозе сибиряка в своём предисловии к повести «Деньги для Марии», изданной через пару лет отдельной книгой в Москве. Мы познакомим читателей с мнением двух авторов, написавших о сборнике Распутина раньше и подробнее других.

Первым, что неудивительно, был университетский педагог Валентина Василий Прокопьевич Трушкин. Человек, занимавшийся литературной критикой с молодых лет, неустанный летописец сибирской словесности, он всю жизнь не упускал из виду своих вузовских питомцев, ступивших на писательскую стезю. Распутин и Вампилов были у него под особым, любовным «контролем». Дождавшись выхода трёх книжек Валентина, Василий Прокопьевич написал о них подробную статью для альманаха «Сибирь». Первому сборнику в этой публикации отведено немало места. Приведём несколько строк:

«Валентина Распутина экзотика почти не занимает. Молодого писателя в первую очередь интересуется сам человек, его внутренний мир и мир, его окружающий:

человек и природа здесь неразделимы, это нечто единое и цельное...

И над всем этим миром, одухотворяя его, трепещет авторская влюблённость в своих героев, в Саяны с их первозданной, неповторимой и ни с чем не сравнимой красотой. Некоторые его рассказы по сюжетной занимательности не уступят лучшим охотничьим историям первоклассных рассказчиков. Так, небольшая новелла „Продаётся медвежья шкура“, рассказывающая о том, как долго и упорно зверь может выслеживать и преследовать причинившего ему зло человека, может поспорить с лучшими рассказами если не Джека Лондона, то уж во всяком случае Джима Корбетта».

Почти восторженный отзыв напечатал в журнале «Дружба народов» Владимир Турбин. Заметим, что в этом издании вначале высказался о книге Распутина он, а позже, через два года, в обзоре раннего творчества писателя — Леонид Теракопян.

От такого серьёзного, строгого критика, как В. Турбин, трудно было ожидать высоких похвал, но вот поди ж ты... Что-то «зацепило» требовательного автора статьи «Путешествие в Тофаларию». Что же?

«...через книжку его чудесных рассказов, набросков и зарисовок проходит саркастически поданный образ туриста, дилетанта, невежды... Сарказмы у Распутина от неуверенности, от молодости: все острят и я поострю. А талант у него не саркастический вовсе, а нежно-угрюмый и мечтательный: всё понять, всё объединить и чтобы люди вели себя в мире, как тофаларцы после добычливой охоты, — всё поровну...

Отрадное и страшное у Распутина сливаются, как сливается у него всё на свете: очеловеченная природа — это весело, разумеется, но это до жути весело, как у Гоголя. Только всяческая жуть у Распутина документальна, хроникальна; его стиль — стиль подчёркнуто достоверных репортажей о жутком».



Как пример этого Турбин называет рассказ «Продаётся медвежья шкура».

А заканчивает автор свою статью словами:

«Хорошая это книжка — „Край возле самого неба“. И мало сказать, что хорошая, — создана она молодым мастером, который с первого же своего шага в литературе оказался вправе главенствовать в избранной им художественной зоне — там, где искренне любят естественное, первоосновное, рвутся к нему и рассказывают о нём в меру таланта убедительно, но всегда любовно и всегда радостно».

Точно назвал критик особенности распутинского письма. И путь прозаика предугадал. Если и авансом назвал его молодым мастером, то всё же — пророчески.

## Основатели снежноградов

Должность специального корреспондента давала Валентину возможность, не участвуя в рутинной работе какого-либо отдела издания, готовить материалы о самых заметных событиях и интересных людях огромного края. Причём чаще всего адреса командировок Валентин выбирал сам. За три года работы в газете он напечатал на её страницах и в других изданиях десятки очерков и репортажей о строителях железнодорожных трасс Абакан — Тайшет и Решоты — Богучаны, Красноярской ГЭС, города Талнаха. Как и раньше, в Иркутске, его привлекали проблемы сибирского села. О жителях глубинных деревень Валентин писал, радуясь их сохранённой основательности, душевной открытости, общинности. Тёплое чувство к ним, поэзия, которая витает над их простым и добрым миром, сквозит в заголовках распутинских публикаций: «Хорошее слово — хозяин», «Эту песню ещё подхватят», «Для улыбки много слов не надо», «Крепка та цепочка».

В сентябре 1963 года мы с Валентином встретились в Новосибирске. Накануне слёта молодых строителей Сибири и Дальнего Востока ЦК ВЛКСМ решил выпустить совместный многостраничный номер комсомольских газет всех регионов от Урала до Тихого океана. В город-миллионник нас, бойких молодых журналистов, съехался не один десяток. Несколько дней шумной компанией мы обсуждали будущий номер. Каждый привёз для него очерк, зарисовку или репортаж и хотел, чтобы его регион был представлен большим, интересным материалом. Голос Распутина на этих ежедневных летучках звучал весомее, чем другие. Ведь Иркутская область и Красноярский край, которые он

объездил из конца в конец, были местами строек не только общесоюзного, но и мирового звучания. Корреспонденции, которые он привёз, шли «гвоздём» номера, а при обсуждении тех, что предлагали ребята из других краёв и областей, его мнение много значило.

Позже, читая рассказы и повести Распутина, я постоянно вспоминал многоголосье дневных и задушевность вечерних гостиничных разговоров в Новосибирске. Мне кажется, что тогда Распутин вдумчивее, чем его ровесники, вглядывался в перемены на родной земле, всей душой откликался на боли и радости сибирской деревни.

В начале 1966 года одновременно с иркутской книгой, о которой шла речь, в Красноярске вышел сборник Валентина Распутина «Костровые новых городов». В выходных данных помечено, что обе они сданы в набор в январе.

Наше поколение сибирских журналистов не только видело вблизи огромные стройки, но и дружило с ровесниками, которые проложили тысячевёрстные стальные магистрали, построили десятки современных городов в таёжных захолустьях. Сейчас задним числом много пишется и говорится о молодых людях шестидесятых-семидесятых годов, будто бы поддавшихся ложной романтике, одураченных тогдашними наставниками и двинувшихся на сибирские стройки чуть ли не против своей воли. Надуманная, из бодрых книг и песен, романтика, конечно, была. Но были и дети солдат Победы, поражавшие мужеством, бесребничеством, истовым желанием проверить свой характер в тяжких обстоятельствах. Сочинять о них высосанные из пальца или заведомо лживые байки честный журналист никогда бы не стал. И книга Распутина «Костровые новых городов» подтверждает это.

На строительстве таёжной магистрали Абакан — Тайшет он живёт в вахтовке с монтажником Владимиром Стофато, который обустроивает разъезд, уже получивший имя его отца, изыскателя этой трассы, трагически погибшего в здешних местах в военном сорок втором году. На другой таёжной просеке журналист проводит дни с укладчиками рельсов будущей дороги Решоты — Богучаны. В январскую стынь он спускается в котлован Красноярской ГЭС. Летом оказывается на маршрутной тропе рядом с геологами, открывшими залежи руды, и во времянке строителей, которые уже начали разметку будущего горного комбината и первых кварталов города Талнаха.

Его очерки о строителях, как правило, сверстниках самого автора, документальны, деловиты. Но всё же в них есть некая романтическая дымка, которая, конечно, не искажает облик молодых героев, но делает их тяжёлый быт, физические и нравственные испытания прикрытыми как бы лёгкой кисеёй. Достаточно привести, к примеру, такую сценку из жизни строителей тоннеля в Саянах, чтобы почувствовать это:

«В телогрейках, касках, в резиновых сапогах, они удивительно похожи друг на друга.

— Брат и сестра?

— Нет, муж и жена.

Это она сказала: Чистоград. А он сказал: Снежноград. А перед ними были Чистые ключи, в снегу и в солнце, и они, выйдя из тоннеля, щурились от снега и от солнца.

— Ну, пойдём?

— Пойдём.

Сначала они поднялись по длинной-длинной лестнице, а потом снова опустились и пошли в посёлок. И были они похожи друг на друга, как брат и сестра. И был вокруг белый снег, и было солнце.

— Слушай, ведь это же Чистоград.

— Нет, Снежноград.

И снова они шли рядом, только что за руки не взялись. Но они шли с работы, после смены.

А потом она сказала:

— Он у меня молодец!

Она стала загибать пальцы: во-первых, он маркшейдер участка, во-вторых, он в вечерней школе преподаёт физику, химию, астрономию и черчение, потому что преподавателей не хватает, в-третьих, он самостоятельно учит английский язык и ночами просиживает возле радиоприёмника, а в-четвёртых, он охотник, причём хороший охотник, сколько раз приносил зайцев, а недавно добыл соболя.

И она, улыбаясь, смотрела на него, а когда она закончила, он сказал:

— Нет, это она молодец!

Теперь он загибал пальцы: во-первых, она вечерами выучилась на маркшейдера смены, а это совсем не просто, во-вторых, она не хуже его бьёт рябчиков, а в-третьих, в-четвёртых и в-пятых, она просто хороший человек.

И пока растапливалась печь, они не раздевались, так и ходили по комнате в телогрейках. Только потрескивали, разгораясь, дрова да позванивало в окно солнце.

А в окно было видно, как по длинной-длинной лестнице в тоннель спускается смена и как у самого портала полыхает громадный костёр».

Лишённые «кудрявых», выдуманных подробностей, очерки Распутина точно передают основательность и достоинство рабочих парней:

«...Обыватель в тундру не поедет, там для его обывательского существования нет никаких условий. Любители длинного рубля здесь водятся, но долго не задерживаются, сбегают. Остаются действительно

лучшие, которые избрали трудный, суровый Талнах своей родиной».

Чувствуются ли литературные влияния в первых сочинениях Распутина? Да, чувствуются. Ими тогда переболели и молодые журналисты, и начинающие прозаики. Открыв недоступную ранее зарубежную классику — произведения Ремарка, О. Генри, Хемингуэя, Фолкнера, Борхерта, они переняли у одних рубленую фразу, у других — напористость и экспрессивность диалога, у третьих — речевые повторы. Достаточно открыть очерк «Продолжение саянской легенды», чтобы почувствовать чужой слог, чужую интонацию. Автор рассказывает об изыскателях трассы Абакан — Тайшет А. Кошурникове, М. Журавлёве и К. Стофато, погибших в 1942 году в Саянских горах:

«Но они всё шли и шли. Шли и ночью, и днём. Они шли там, где никто, кроме них, не смог бы пройти. Когда нельзя было больше сделать ни одного шага, кто-нибудь из них спрашивал:

— Вы не устали?

— Нет, — говорил один.

— Нет-нет, — отвечал второй.

— Я тоже не устал, — признавался тот, который спрашивал.

И они шли дальше. Они срывались с гор и снова ползли на них, как одержимые. Они тонули в реке, но, выбравшись на берег, снова шли дальше».

Можно привести несколько строк из очерка Александра Вампилова «Белые города», написанного тогда же, — признаки литературного поветрия одинаковы:

«Хорошо родиться где-нибудь в Мелитополе, в безмятежном южном городе, провести детство в яблонях и полусне, коллекционировать марки, презирать девчонок, учиться играть на кларнете, стать пловцом-разрядником. Хорошо быть смешным и

легкомысленным, в белом городе шататься с друзьями по улицам, бесцельно и беспечально, провалиться на экзаменах, побродить по другим городам, поссориться с приятелями, влюбиться, помрачнеть, задуматься, послать всё к чёрту и вдруг уехать в Сибирь, на стройку. Хорошо ехать в Сибирь бывшим футболистом, ценителем сухих вин, остряком и сердцеедом. Из окна вагона смотреть на живописный осенний тлен и думать свою думу. Угадать в тёмную глухариную тайгу, в суровые морозы, к суровому бригадиру, выстоять, перековаться и зажечь по-новому. Не жизнь, а роман!»

И всё же стремление нарисовать картины тогдашней сибирской жизни художественными красками видно и в книге Распутина. О том же Талнахе, например, он пишет:

«Гора Отдельная. Отсюда хорошо виден Норильск, и его заводские дымы, как серые флаги, бьются на ветру. Озёра внизу, словно богатая вкраплённость руды в земной породе, блестят на солнце удивительными красками. Это сравнение с рудой не случайно. Здесь все говорят о руде. Куда ни посмотришь — над озёрами, над лесом — буровые вышки. Даже на горе, почти на самой вершине, как диковинная птица, уселась буровая. На язык руды на Талнахе переводится почти всё. Слава Иващенко так рассказывал мне о заполярных комарах:

— Летит — его не слышать, трубы свои вниз опустит, усядется и давай бурить».

Очерки Распутина «Пять последних шагов», «Моё открытие Талнаха», «Володя и Слава» и другие читались как единый цикл. Можно представить, как автор, всегда стремящийся найти для сборника броский, запоминающийся заголовок, искал и, наконец, вынес на обложку ещё одну метафору: сибирские строители — это «костровые новых городов».

## Литературное крещение

В сентябре 1965 года в Чите состоялось совещание молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Этот сбор талантливых прозаиков, поэтов, драматургов огромного региона страны организовали Союз писателей РСФСР и Центральный комитет комсомола. Отбор участников был строгим: как правило, направляли в Читу только авторов книжных публикаций. Валентин попал туда в числе трёх соискателей из Красноярска потому, что рукописи двух его книг уже лежали в местных издательствах. Охотно печатали его и в альманахах — иркутской «Ангаре» и красноярском «Енисее». В первом он опубликовал к началу конференции, кроме упоминавшегося рассказа «Я забыл спросить у Алёшки», ещё два — «Старая охотница» и «Человек с этого света», а во втором — очерк «Возвращение». И даже в столичном «Огоньке» появился очерк сибиряка «Разъезд Стофато».

В забайкальском городе высадился большой десант опытных писателей, приглашённых руководить творческими семинарами: прозаики Виктор Астафьев, Антонина Коптяева, Анатолий Иванов, Владимир Чивилихин, Франц Таурин, Юрий Рытхэу, Борис Костюковский, поэты Сергей Наровчатов, Дмитрий Ковалёв, Михаил Львов, Марк Соболев, драматург Николай Кладо. Возглавлял их бригаду председатель Союза писателей РСФСР Леонид Соболев.

Довольно подробный рассказ о конференции оставил Эдуард Анашкин, в те годы молодой рабочий-железнодорожник с забайкальской станции Хилок, начинающий прозаик. В местной писательской организации ему дали гостевой билет. И это неожиданное везение радостно отзывается в рассказе:



каждая подробность события ясно отложилась в молодой и счастливой памяти. Восстановил Эдуард Константинович и предысторию знаменитого сбора молодых талантов в Чите:

«Правление Союза писателей РСФСР и секретариат ЦК ВЛКСМ вынесли совместное постановление: „В целях выявления молодых литературных сил и оказания им практической помощи провести в сентябре 1965 года семинар молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока в г. Чите“.

Первый секретарь Читинского обкома комсомола Дуфар Ахметов обрадовался постановлению: в важной бумаге прозвучало название его организации.

— Он тут же потащил меня ко второму секретарю обкома партии Никифору Тартышеву, — вспоминал руководитель читинских писателей Георгий Граубин. — Тот сказал мне, озабоченно потеряв переносицу: „Задали вы задачу. Долгострою-гостинице не видно конца, теперь всем читинцам придётся отрабатывать на её строительстве. Иначе ваших писателей и разместить негде. Ладно, эту работу возьмёт на себя город, а вы организуйте творческие дела. И продумайте всю программу — от встречи гостей и до последней минуты их отъезда“.

— А когда мы с Ахметовым покидали его кабинет, — добавил Граубин, — Никифор Никифорович посоветовал: хорошо бы вам каким-нибудь образом приглядывать за строительством гостиницы. Прорабы — большие мастера втирать очки. Придумайте там какой-нибудь пост, чтобы иметь точную информацию.

В начале июня в отделение Союза писателей стали поступать бандероли. Рукописей было так много, что они лежали в помещении писательской организации не только на столе и диване, но даже и на полу.

На завершение строительства гостиницы выходили целые коллективы — после работы и в выходные.

Прораб Борис Хаймовский заказал символический ключ от здания для торжественного открытия. Были подготовлены просторные комнаты для проведения творческих семинаров неподалёку друг от друга: в медицинском и педагогическом институтах, в здании облисполкома, в отделении Союза писателей. При гостинице был открыт круглосуточный штаб, которому выделили отдельный номер.

Военторговская столовая на время семинара стала „кормилицей“ руководителей и участников семинара. В аэропорту и на железнодорожном вокзале были постоянные дежурные для встречи гостей.

И вот первая встреча в аэропорту. Всем гостям комсомольцы из штаба вручили букеты цветов. Особенно роскошные Леониду Соболеву и Антонине Коптяевой.

Писателей увезли в новенькую гостиницу, в холле которой прошёл небольшой митинг. Борис Хаймовский собрал своих строителей — они были торжественны и нарядны. Сказав приветственное слово, он вручил символический ключ от гостиницы Леониду Соболеву. Дежурные горничные развели гостей по номерам. На столах в каждом номере стояли цветы, минеральная вода из местных источников „Кука“ и „Молоковка“, кедровые орехи.

Перед началом семинарских занятий перед молодыми коллегами выступил Соболев:

— Пожалуй, — сказал он, — только здесь я понял значение и масштаб встречи, которую мы с вами начинаем сегодня в гостеприимной столице Забайкалья. Она как радушная хозяйка встретила нас лазоревым сибирским небом и улыбками горожан...

А потом начались будни: обсуждение рукописей в двенадцати семинарах. Вот что рассказывал Георгий Граубин:

— Я переходил от одного семинара к другому, видел то радостные, то расстроенные лица участников. Хвалили далеко не всех, иные после этого семинара вообще перестали писать. И, наверное, хорошо сделали — литература не для слабых духом людей.

Читатели тоже времени не теряли — незабываемым событием для Читы стал праздник книги. В первый день совещания, утром, на центральной площади города открылся книжный базар. Сюда с группой писателей пришёл Леонид Соболев. В ту же минуту на площадь въехали две машины. На одной — эмблема семинара, сине-белый транспарант с голубем на острие пера на фоне раскрытой книги с надписью „Сентябрь-1965“. На другой машине — стилизованный Рыцарь книги с огромным пером вместо копья и хозяйка книжного базара — Дульсинея Читинская.

За „именными“ столиками сидели авторы книг и, как говорится, не разгибая спины, писали автографы. Книги штамповались памятными экслибрисами. Заводились знакомства писателей с читателями. А читатели в Чите тогда (надеюсь, что и сегодня!) были особенные, с особым чувством художественной красоты и отзывчивостью на правдивое слово. Наверное, не случайно уже в самом названии города „Чита“ звучит намёк на чтение.

Помнится, я подошёл к столику Георгия Граубина, купил его книгу для детей „Говорящие каракули“ и получил тёплый автограф. Обратив внимание, что под мышкой я держу не так уж много книг, Георгий Рудольфович посоветовал мне присоединиться к группе молодых писателей: „Может, они тебе какие-то книги подарят...“ Ребята, стоявшие тесным кружком, вели запальчивый спор. На моё приветствие почти не отреагировали. Позже я познакомился с ними. Это были иркутяне Геннадий Машкин, Дмитрий Сергеев, Вячеслав Шугаев, Александр Вампилов и, как мне показалось,

устранившийся от разговора, молчаливый Валентин Распутин. К нему я и обратился с просьбой подарить книгу. Распутин как-то по-детски улыбнулся:

— Пока не могу. Вот выйдет книга — тогда подарю...

Вечером по Чите гуляло шутливое выражение директора издательства „Молодая гвардия“ Юрия Верченко, что Чита вышла на первое место в стране по количеству писателей на душу населения.

Но хочу рассказать про рабочие будни семинара. Молодых авторов распределили в двенадцать творческих „бригад“: пять групп — прозаиков, пять — поэтов и две группы драматургов. Мне посчастливилось принять участие в работе двух семинаров прозаиков.

Интересно было на обсуждениях в обеих группах, но меня почему-то особенно тянуло в здание мединститута, на первый этаж в 32-ю аудиторию. Там работала группа прозаиков под руководством Владимира Чивилихина. Здесь собирались ребята из Якутска, Читы, Иркутска, Красноярска и Абакана».

Прерву воспоминания Эдуарда Анашкина, чтобы сказать несколько слов о Владимире Чивилихине.

Имя этого писателя было на слуху, и Распутин, конечно, читал его книги. Документальная повесть Чивилихина «Серебряные рельсы» была посвящена событиям, о которых писал и сам молодой журналист, — трагической судьбе экспедиции Александра Кошурникова, проводившей изыскательские работы на трассе будущей железной дороги Тайшет — Абакан. А кроме того, Распутину, выросшему в таёжной глухомани, имевшему друзей и знакомцев на всех громких стройках Сибири и в её сельской глухомани, не мог не нравиться человек, без устали, мужественно защищающий в своих книгах заповедные уголки страны от ретивых преобразователей природы. Через годы Валентин с обычной скромностью и самокритичностью говорил: «...от фактографического очерка я переходил

к рассказу. К увиденному и услышанному журналистом стал как бы добавлять от себя. Во мне проснулось авторское „я“. Я стал ощущать себя наряду с героями моих очерков и рассказов. Многие из написанного выглядело прямолинейно. Думаю, что едва ли было достойно даже снисходительной похвалы.

Мне повезло, что я попал в семинар к Владимиру Чивилихину. Его-то я и считаю крёстным литературным отцом. Он поддержал меня, обратил внимание на достоинства и недостатки моей прозы».

Но вернёмся к рассказу Эдуарда Анашкина:

«Владимир Алексеевич оценивал своих подопечных по степени значимости и относил к трём группам. К первой он отнёс тех, чей уровень литературной подготовки был невысок и кого пригласили участвовать в семинаре как бы авансом. Однако и на них опытные писатели времени не жалели. Во вторую группу попали семинаристы, пишущие умело, даже профессионально, но, как говорили тогда, „не заставляющие читателя переживать, не допускающие под черепную коробку ежа“. А третья группа — это открытые на семинаре таланты. К ним принадлежал, прежде всего, Распутин, чей рассказ „Ветер ищет тебя“ появился в „Комсомолке“. Помню, 9 сентября у книжного киоска около окружного Дома офицеров ещё до открытия его выстроилась длинная очередь. „Комсомольская правда“ шла нарасхват, многим даже не хватило экземпляра газеты. А 10 сентября „Литературная Россия“ дала рассказ Валентина Распутина „Я забыл спросить у Лёшки“. К этому приложил руку сам Леонид Соболев.

Он сказал во время обсуждения о Валентине:

— Прозаик ещё очень молодой, весь в поисках, иногда удачных, иногда неудачных... Мы имеем дело с редким дарованием, он привлекает углублённой психологичностью, смелостью, с которой берётся за сложные вещи. В языке у него нет бесцветности, фразы

иногда сложные, но они сработаны из точного лексического материала. Мы верим, что из него получится хороший писатель.

Когда закончилось обсуждение рукописей, участники и руководители семинаров собрались на заключительное заседание. Руководители творческих семинаров, подводя итог творческому разговору, единодушно сочли, что в нашу литературу пришло талантливое пополнение. Тринадцать человек, в том числе и Распутин, были рекомендованы для приёма в члены Союза писателей. Некоторые рукописи передали в издательства.

На заключительном сборе молодых авторов Владимир Чивилихин точно предсказал:

— Мне почему-то кажется, что великий художник, которого мы с нетерпением ждём, придёт из Сибири. В Сибири есть всё: есть язык нетронутый, есть правда особая, бодрящая, которая зовёт не к созерцанию, а к действию. В Сибири характеры крепкие, крупные. Наконец, Сибирь живёт на земле, дорогой для всех народов. И в Сибири сложнее, чем где бы то ни было. Мы уверены, что именно Сибирь даст художника, которым будет гордиться человечество...

Эти слова Владимира Чивилихина оказались поистине пророческими.

Сам Валентин признавался:

— Благодаря Читинскому семинару я стал писателем. Неизвестно, как сложилась бы моя судьба, не получи я одобрения первым своим рассказам там. Для меня Читинский семинар — одно из самых памятных и этапных событий в жизни.

После совещания одни молодые литераторы и их руководители разъехались по районам Забайкалья для творческих встреч с читателями. А другой писательский десант направился на Дальний Восток, чтобы принять участие в „Неделе молодёжной книги“.

Распутин выполнил своё обещание, данное мне на центральной площади Читы: подарил книгу... и не одну. В моём шкафу очень много книг Валентина Григорьевича с дарственными подписями. Сборники, изданные в Москве и Иркутске, Калининграде и Китае, много журналов с его произведениями. Стоит здесь и моя книга рассказов и повестей „Запрягу судьбу я в санки“, предисловие к которой под названием „На добро — добром“ написал Валентин Григорьевич».

\* \* \*

Интересный рассказ о читинских уроках мастерства и о своём отношении к тогдашнему Валентину Распутину оставил Виктор Петрович Астафьев. Вспомнил он о давних днях в девяностые годы, когда оба прозаика резко разошлись во взглядах, и это обстоятельство наложило отпечаток на публикацию Астафьева, появившуюся в красноярском журнале «День и ночь» к шестидесятилетию Распутина. Виктор Петрович оценивает первый опыт молодого земляка резко критически (речь, как можно догадаться, идёт о рассказе «Я забыл спросить у Лёшки»). И пишет Астафьев о давнем с некоей издёвочкой. Но грубоватая откровенность мастера и тут, как всегда, привлекает.

«На историческом уже Читинском семинаре я работал с другими авторами, и на „посторонних“ у меня времени не оставалось. Но в дальние те, сумерками покрытые годы возле молодой литературы обреталось много энтузиастов. Нет-нет, не только от комсомола и всех любящей партии, куда ж без них-то, пропадёшь, а сами по себе работники, чаще работницы издательств, журналов — искали, опекали, лелеяли, двигали вперёд молодые дарования...

Думаю, среди тех, кого захочет назвать сам Валентин Григорьевич, вспомнит он в те лета работавшую редактором издательства „Советская Россия“ Ольгу Васильевну Трунову. Эта вот редакторша, вечно озабоченная проталкиванием книг молодых талантов, каких-то серий и библиотек для юных дарований, уже издавшая мою книжку (в серии „Короткие повести и рассказы“), — налетела на меня буйной, взъерошенной птицей и завосторгалась, и запела, и заворковала очарованной голубицей: „Какой у нас в семинаре парень! Какой талант! Гений! Гений!.. Ты не читал?“

Не читал, говорю.

„Да как же так?! Он же тоже сибиряк. В твоём родном городе первую книжку выпустил!..“ — и примчала мне рукопись рассказа, который написан был не просто чисто и уже профессионально, но даже с эффектом. Однако отправная его суть или, как говорят наши критики, любящие иностранные слова, квинтэссенция — так ложно-патриотична, в такой привычно-бодряческий тон погружена, от которого и без того уже стонал и кренился рассохшийся корабль советской литературы и вот-вот должен был сделать оверкиль (этому выражению научил меня капитан-писатель Конецкий — ему и ответственность нести). Я, помню, спросил восторженную редакторшу, знает ли она, что такое сверхпатриотизм? Она ответила, что знает, и начала приводить примеры из войны и героического труда советских людей. Я сказал ей, что всё это чушь собачья, что сверхпатриотизм — это когда в притворе дверей зажмут мужику яйца, а он поёт „Интернационал“. „Вот и рассказ твоего гения примерно того же рода“.

Редакторша, помнится, сказала в гневе, что я хам и ничего в литературе не понимаю...



И... долго после Читы ничего распутинского я не читал».

Ну, в девяностые годы такой взгляд Виктора Петровича на «дела давно минувших дней» объясним. В рассказе молодого Распутина не было никакого «сверхпатриотизма», а просто сквозила романтика того времени, такая понятная и объяснимая в поведении молодых людей. Так что спишем резкий отзыв Астафьева на его настроение тех разрушительных лет.

## Какие мы, люди с этого света?

Можно определённо сказать, что, вернувшись из Забайкалья, Валентин чувствует прилив сил и бóльшую, чем раньше, уверенность в себе. В течение года он, продолжая работать в газете, пишет около десяти рассказов и к концу 1966-го сдаёт в красноярское издательство рукопись нового сборника. В нём только четыре публиковавшихся ранее рассказа, остальные созданы за благословенное время творческого подъёма.

Чудесный заголовок был найден Распутиным и для новой книги: «Человек с этого света». Опять он, человек с этого света, обыкновенен, родственно близок. Но достоин внимания художника. Рассказы сборника ещё неравноценны. И не едины по стилистике, по языку, однако в них чувствуется «творческий ген» Распутина-прозаика. Я имею в виду душевную теплоту, неизбывную, то печальную, то простодушно-светлую, нежность к герою, рядом живущему и не знающему, что о нём кто-то может поведать другим людям. Думается, вы согласитесь с этим, прочитав рассказы «Мама куда-то ушла», «Мы с Димкой», «В общем вагоне», «День рождения», «Как-то в середине зимы» (позже этот рассказ получил название «Встреча»).

Первыми, как и следовало ожидать, своё мнение о книге высказали коллеги автора — красноярские журналисты. Владимир Зыков вспоминал:

«Много раз я встречал в печати название книги с характерной ошибкой — „Человек с того света“. Извечный стереотип держал в плену некоторых критиков и рецензентов. Но наш автор был человеком именно „с этого света“ и проблемы современной злободневной жизни были для него первостепенными.

Говорят, первое впечатление — самое яркое. Вот каким было моё впечатление о „Человеке с этого света“, опубликованное в „Красноярском комсомольце“:

„Книга поразила меня необычной манерой письма. Вернее, разнообразием этой творческой манеры. Казалось, сборник написал не один, а несколько начинающих писателей, настолько рассказы были не похожи по стилю, по выбору темы. Автор словно демонстрировал свои творческие возможности со щедростью и озорством юности“.

Наиболее значительным в небольшой книжке на 120 страниц мне показался рассказ „Василий и Василиса“. Именно в его героях были заметны ростки распутинских характеров сибиряков и сибирячек из будущих повестей „Деньги для Марии“, „Последний срок“, „Живи и помни“, „Прощание с Матёрой“ — людей несгибаемых, обаятельных и ярких.

Редактировать книгу дебютанта выпало на долю старейшего и наиболее опытного редактора Красноярского книжного издательства Ольги Александровны Хониной, „поставившей на крыло“ не одного начинающего красноярского писателя.

На этот раз опытнейшая и поднаторевшая в литературных делах Ольга Александровна была в совершенной растерянности.

„Впервые встречаю такого автора, — откровенно признавалась она. — Да мне с этой рукописью совершенно нечего делать: ни советовать, ни улучшать её“».

Журнал «Москва» откликнулся на сборник Валентина рецензией Виктора Шишова. Он писал:

«Распутин исследует, и подчас довольно тонко, внутренний мир своих героев, фиксируя, казалось бы, неуловимые движения человеческой души, тончайшие оттенки чувств.

Оригинальность лучших его рассказов — от глубины и остроты писательского взгляда, от желания видеть и понимать жизнь такой, какая она есть, такой, какой она может быть».

Не нужно думать, что все рассказы молодого прозаика вызывали только восторги, что никто не видел недостатков в его книге «Человек с этого света», а если видел, то не хотел говорить о них так же справедливо и жёстко, как тот же Виктор Астафьев.

О трезвом взгляде критиков, зорких и требовательных к писателю, особенно к новичку в литературе, можно судить по рецензии Юрия Мосткова в журнале «Сибирские огни». Правда, он оценивал не книгу Распутина, а лишь два рассказа, опубликованных в периодике; но одна из этих новелл вошла в сборник «Человек с этого света». Название её — «Там, на краю оврага». Рецензент писал:

«Рассказ повествует о мальчике — единственном сыне женщины. Бродя по полям, он подрывается на фашистской mine, оставшейся с войны.

Мальчик не назван по имени — это *вообще* мальчик, „маленький, недавно спущенный на воду корабль, плывущий по великому Летнему морю“. Его мать — *вообще* мать, *вообще* женщина, как и её муж — *вообще* погибший мужчина. Громкие и претенциозные определения, вроде только что приведённого, характерны для рассказа. „Несколько дней — так себе, мелкая звонкая монета, на которую ничего не купишь“, — пишет автор. Или: „Через два года крепко-накрепко его расцеловала немецкая проститутка — маленькая пуля-хохотушка“. Или: „Жизнь, как игрок, не признаёт вечного шаха и всякий раз ищет новый ход...“

Но дело не в этих фразах, каждая из которых — образец безвкусицы, а в той нарочитой условности, которая словно бы имеет целью подчеркнуть, что никакого отношения к жизни, к реальной

действительности она не имеет. Обобщённость — начисто снимает возможность судить о характере героев, потому что в данном случае герои — условные фигуры и характеров не имеют. Только и остаётся прятать безликих персонажей за эффектные, но пустые фразы».

Однако есть в сборнике «Человек с этого света» первый шедевр писателя — новелла «Василий и Василиса». Сам Распутин именно с него начинал отсчёт литературного пути. В беседе со мной Валентин Григорьевич признался:

«Я чувствовал натужность, с которой писал первые рассказы. Но когда я обратился к родным истокам, к родному языку, а это произошло, к примеру, в рассказе „Василий и Василиса“, в основу которого легла история моей бабушки и моего дедушки, то всё повествование сложилось естественно, без натуги. Я почувствовал, что внутренние запоры исчезли, и мне стало свободно дышать при работе. Дальше пошло гораздо легче».

Добавим, что в издательствах тоже видели: талант прозаика набирает силу. От книги к книге здесь назначали всё больший их тираж: если сборник «Костровые новых городов» вышел в количестве пять тысяч экземпляров, «Край возле самого неба» — десять, то «Человек с этого света» — тридцать тысяч. Это считалось тогда массовым тиражом.

## **В отчете краю: радость и боль**

В конце 1964 года Распутины, наконец, получили в Красноярске квартиру. И стали обдумывать свой переезд в Иркутск. Валентин понимал, что город, в котором он написал и напечатал свой первый рассказ, в котором живут его ровесники — молодые писатели, составившие, по чьему-то образному выражению, «иркутскую стенку», ближе ему. Отсюда легче попасть и в родные места, в новый посёлок Аталанка, куда перенесли его отчую деревеньку и где всегда нетерпеливо ждут сына стареющие родители.

В марте 1966 года супруги обменяли красноярскую квартиру на иркутскую. Светлана Ивановна приступила к работе в Институте народного хозяйства, заняв ту же должность, что и в Красноярске, — преподавателя математики. Валентин Григорьевич, наконец, осуществил свою мечту — стал «свободным художником».

Уже летом он уехал с сынишкой к родителям, в Аталанку. Агния Григорьевна с радостным удивлением рассказывала, когда мы сидели за чаем в её отчетном доме:

«Меня спрашивают: как вы помещались здесь, когда собирались летом? Валентин с сыном. Приезжала Света, бывала в Аталанке и Валина тёща, Виктория Станиславовна. Я с двумя детьми. А тут мама, бабушка, которая в последние годы болела. В доме всего две кровати. А мы — я да дети — ляжем на полу, Валя уйдёт ночевать в баньку. И всем хорошо!

Однажды я приехала на теплоходе с маленьким сыном. Мама встречала нас на причале. Помню, гроза, молния ударила в дерево, треск... Я — с ужасом: „Страх-

то какой!“ А мама говорит: „На родине и страх — в радость“.

Валя от неё много взял. Она была приметливая, всегда рассказывала Валентину деревенские новости. У неё все соседки вокруг были подружками. А самая близкая — тётка Улита, наша родственница. Она любила поговорить. И все люди у неё выходили хорошими. Я никогда не слышала, чтобы она кого-то осуждала.

Валя очень любил ходить за ягодами, грибами. Особенно за рыжиками. Утром, чтобы никого не беспокоить, уйдёт в лес один. Он здесь все места знал. Мама ждёт его, поглядывает на лесную дорожку... Он приходит и приносит целое ведро рыжиков! Мастер был собирать...»

А вот как рассказывает о своей жизни в Аталанке Сергей: «Первый раз мы с отцом поехали в деревню, когда мне было пять лет, и ездили туда каждое лето вплоть до 1971 года. Сейчас, вспоминая своё детство, я понимаю, что эти поездки, совершенно непохожие на городскую жизнь, оставили в моей памяти самые яркие воспоминания. Особенно мне нравились покосы, которые я воспринимал как праздник. Всей семьёй мы уходили на восемь километров в тайгу, разбивали там табор и по неделе-две заготавливали сено. Хорошо помню, как дед сделал для меня небольшую, под мой рост, литовку и я с огромным удовольствием косил вместе со всеми. К сожалению, тогда я не знал ни про то, что он прошёл всю войну, ни про Колыму: говорить об этом, почему-то даже про войну, было не принято. И я иногда мечтаю вернуться снова в детство, сохранив каким-то чудом моё теперешнее сознание, чтобы постараться получше сблизиться с дедом и порасспросить его о том, что он пережил на фронте и в лагерях».

А как воспринимали Григорий Никитич и Нина Ивановна необычную для родовой Распутиных стезю сына? Читал ли Валентин отцу и матери свои рассказы? Привозил ли он в деревенский дом собственные книги?

Агния Григорьевна припомнила:

«Родители с первых лет работы Вали интересовались его очерками и рассказами в газетах, журналах. А уж книги просматривали придирчиво, особенно отец. Для него была странной, непривычной деревенскому жителю профессия сына. В те годы статья в газете, даже заметка... это же было каким-то указанием. Особенно для начальства. За журналистом да писателем стояла такая сила, что их отличали от других, даже боялись. В деревне об этом знал каждый».

Сам Валентин Григорьевич о своей ранней «славе» вспоминал в документальном телефильме «На родине» с улыбкой.

— Я был «популярным» в основном у старушек Аталанки. Говорили: «Раз писатель, значит, умеет писать жалостливо». Просили меня: «Будь добр, напиши моему сыночку, как я живу. Все мои горести и радости распиши!» А вообще меня поначалу не признавали как писателя. «Что за тоненькие книжечки привозишь? Настоящую, толстую не можешь написать, что ли?» Не признавали, пока я не привёз первую объёмистую книгу.

\* \* \*

Осенью 1968-го у Распутиных родился второй сынишка. Его назвали Романом. Но ему суждено было прожить недолго: через год малыш заболел скоротечной пневмонией и умер.

В Доме литераторов, куда часто заходил Распутин, сотрудниками были в основном женщины, а



это народ жалостливый. Любя Валентина, они каждый раз утешали его. Нэлли Семёновна Суханова, проработавшая много лет бухгалтером писательской организации, рассказала:

У меня тогда маленькая дочка тоже заболела воспалением лёгких. И попала в ту же больницу, где до трагедии лежала Света с малышом. Валя говорил мне: «Эта больница ненадёжная. Во всякую мелочь вникайте...»

Когда-то у меня был разговор с Валентином Григорьевичем о том, как отражаются в творчестве писателя события его личной жизни, перипетии его судьбы. То, что пережито автором, его близкими, — это всегда материал особый. Он дает возможность рассказать о схожих событиях в судьбе героев психологически и художественно точно. А кроме того, вносит особую исповедальность в повествование. Это хорошо видно во многих произведениях Распутина. Помнится, с этой мыслью писатель согласился.

Вот и переживания Валентина Григорьевича и Светланы Ивановны, потерявших маленького сына, мне кажется, нашли своеобразный отзвук в повести «Последний срок». Старая Анна вспоминает о потере нескольких своих детей с неутихшей за годы болью. С особой, ранящей читательское сердце печалью восстанавливает она мысленно ангельскую кончину малютки-сына, всё время растерянно и непонимающе спрашивая себя: «Ему-то за что эта кара? Чьи грехи оплатил он, непорочный?»

«Четверо хоть хворали, а пятый, мальчишечка, тот умер и совсем ни от чего. Ещё с вечера был здоровенький, целенький, спокойно уснул, а среди ночи закричал, как все они кричат, когда им что-нибудь надо, и разбудил мать. Она подняла его из зыбки на руки, дала грудь, считая, что он проснулся от голода, и сама тоже задремала над ним. Потом услышала, что он

откинулся, но ещё посидела, подержала его, чтобы он уснул крепче, а когда собралась подниматься, будто кто в бок её толкнул: что это от него тепла нету? Хватилась — а он уж и зубки приоткрыл. Она думала, он сосать хочет, а он на руки к ней просился, чтобы возле матери умереть, не одному. А за что, за какие грехи? Какие у него там грехи, когда он даже ходить не умел и только смотрел, как ходят другие, когда он даже говорить не умел и только понимал, ласковое или нет ему говорят другие? Если он почти ничего из человеческого не умел — только есть да спать, но и этому научился не здесь и не сам, а ещё раньше, когда не по своей охоте и не по своей молитве выправлялся в человеческий росток.

Старухе не один раз за свою жизнь приходилось успокаивать себя: Бог дал, Бог и взял. Но сюда эта поговорка не подходила. Как можно взять то, что, разобравшись если, ещё и не дал, а только посулил да показал? А больше того — как можно, едва надоумив маленького, что он есть, что он, засыпая, проснётся и откроет глаза, чтобы научиться и понять больше, чем он знал и умел, и подрасти больше, чем он был, — как можно после этого сорвать его с корешков, на которых он едва держался, и бросить в ноги? Грех, грех».

**Глава четвёртая**  
**ОН ПРИШЁЛ СКАЗАТЬ ПРАВДУ**

## **Дверь, открытая «Василием и Василисой»**

Он пришёл сказать правду извечную, выношенную поколениями... Эта правда жила в народе, но не могла широким и властным потоком пробиться в литературу. Привести её на страницы книг — на это могли решиться и старые, и молодые писатели. Но отстаять своё право на правду, не поступиться ею ни при хвале, ни при хуле могли только творцы непреклонно твёрдые. Характер Распутина, человеческий и творческий, позволял ему стоять на своём.

Подлинная распутинская проза началась с рассказов «Встреча» (1965), «Рудольфио» (1965), «Василий и Василиса» (1966) и с повести «Деньги для Марии» (1967). Вспомните рассказ «Василий и Василиса», в основу которого, по признанию писателя, он положил историю бабушки и дедушки. Два человека всю жизнь любили друг друга, во всяком случае, и детей нарожали, и всегда оставались друг подле друга. Но неуправляемые характеры трагически разводили их, и только под конец жизни, после изломов, душевных ран, после странного для родных и соседей обитания в одном дворе, обитания враждебного и в то же время неразрывного, они простили друг друга и опять обрели родство, определённое им Богом. Разве этот рассказ вписывался в тогдашнюю литературу, разве он воспитывал «нового человека», прославлял советский образ жизни? Избитые клише принадлежали идеологии, а рассказ молодого Распутина жил по своим художественным законам, их на века определила классика. Но создать такое произведение — для этого требовался собственный взгляд на жизнь и творчество.

Пожалуй, в течение всей творческой жизни Распутина критика норовила пристроить его к какому-нибудь «направлению» текущей литературы. То к «молодёжной прозе», то к «деревенской». О «деревенской» речь впереди. А в шестидесятые годы сибиряк частенько проходил в критике по разряду прозы «молодёжной». Но фрондёрство «звёздных мальчиков», их претензии на свою особость, поднятые уже на этой основе проблемы «отцов и детей» — всё, что обсасывалось в модных повестях и романах «молодёжной прозы», совершенно не интересовало Распутина. Аналогии к рассказу «Василий и Василиса» легче было искать в русской классике, чем в текущей литературе. Кажется, писатель привел своих своенравных, кремневых, справедливых и прощающих друг друга героев из глубинной России. Достаточно прочесть несколько строк, чтобы увидеть характер не сломленной жизнью и мудрой Василисы:

«— Не могу, когда бабы плачут, — обращаясь к опешившей Тане, которая лежала в кровати, объяснила Василиса. — Для меня это нож острый по сердцу. Жисть, как пятак, — с одной стороны орёл, с другой решка, все хотят на орла попасть, а того не знают, что с той и с другой стороны он пять копеек стоит. Эх, бабоньки, — она вздохнула. — Много плакать будем — сырость пойдёт, а от сырости гниль заводится. Да кто вам сказал, что ежели плохо, то плакать надо?

Она ушла на кухню и загремела там самоваром.

— Ну? — вернувшись, спросила она у Александры и показала в сторону амбара. — Он, ли чо ли?

— Нет, — замотала головой Александра. — Это из-за мальчика, из-за сына».

И в следующем произведении писателя — повести «Деньги для Марии» тоже правдивы каждое слово и каждый звук.

Дед Гордей, колхозный сторож, пришедший поддержать утешающим словом Кузьму и Марию, сетует:

«— ...И живут люди вроде неплохо, а всё на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребятишки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, ещё хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто вёрст кругом такой же мужик живёт.

Дед заговорил о том, о чём Кузьма со страхом думал и сам: денег в деревне лишних скорей всего нет. На трудодни выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласиться с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

— Найдём, дед, найдём».

Это была сермяжная правда. Когда мы в студенческом общежитии, случилось, коротали дни без единой копейки, то никогда не ожидали спасительных денежных переводов из родных деревень. Их не могло быть. В колхозе на трудодни делили зерно, овощи, у нас в рыбацьем селе — ещё и рыбу. У Распутина герой повести называет, как удачный, год, в который на каждый трудодень пришлось к тому же и по полтиннику денег. У нас, в байкальском селе, больше двадцати-тридцати копеек на трудодень не выпадало: колхоз сдавал государству зерно и рыбу по бросовой цене, других доходов у деревни не было. И даже пышущий здоровьем мужик, справляя ежедневно без прохладцы артельную работу, имея четыреста-пятьсот трудодней в год, получал за них по итогам двенадцати месяцев восемьдесят — сто рублей.

Но, как и у сибиряка в повести, деревня приноровилась к такой жизни. Двадцать лет спустя после войны уже ели вдоволь, на одежду и обувь какие-

то копейки выкраивали, а к житейским излишествам или к роскоши крестьянин сызмала не привык.

Впрочем, герой повести и об этом сказал с привычной правдой:

«К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть — хорошо, нет — ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая, сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги... Он слышал о колхозах, где на трудодень приходится по полтора и даже по два рубля, верил, что так оно в самом деле и бывает, но у них в таёжном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там, никто ещё больше полтинника на трудодень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних, годовых расчётах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежка на них горит как на огне. Ещё удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже других; старших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится испокон веку, донашивали одежку старших...

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остаётся сверх того, что уходит на жизнь. Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он мог думать о запасах хлеба и мяса — без этого нельзя обойтись, но мысли о запасах денег казались ему забавными, шутовскими, и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел».

В повести «Деньги для Марии» виден опыт, добытый писателем в работе над первыми рассказами. Прежде всего в том, как автор представляет читателям своих

героев. Их более десятка. Кузьма, муж Марии, пытается собрать злополучную тысячу рублей для погашения недостачи, обходит многих односельчан. Посвятить каждому из них большое число страниц писатель не мог. Это сделало бы повествование растянутым и рыхлым. Каждому земляку Кузьмы автор отводит страничку-две, а то и несколько строк, но и их оказывается достаточно, чтобы перед нами предстал человек со своим характером, манерой поведения и речи, иногда даже со своей непростой судьбой. Председатель колхоза, отсидевший семь лет в лагере за то, что в страду, когда районное и областное начальство оставило артель без горючего и вся её техника простаивала, купил на пришвартованной у деревни барже две бочки бензина, — добрый и честный человек, не потерявший и в чёрные дни свою душу; директор школы, заботившийся больше не о том, чтобы помочь семье Кузьмы, а о том, как бы не потерять в глазах односельчан свой дутый авторитет; шофёр Василий, оказавшийся на высоте давней дружбы; его старая мать, Наталья, пожертвовавшая для Марии скудные копейки, припасённые за годы на собственные похороны; жадная и скупая Степанида, скопидомство которой не могут поколебать ни чужие просьбы, ни страдания; простодушный и участливый дед Гордей, протянувший Кузьме старческой рукой свою скудную дольку денег, — кажется, вся многоликая деревня сошлась в этой повести, чтобы выказать безоглядную готовность помочь и мелкую расчётливость, вековое чувство взаимовыручки и нанесённую какими-то поветриями глухоту к чужой беде. Да многое-много подняло из глубин народной жизни неожиданное деревенское происшествие.

И ещё: крепнущее мастерство молодого прозаика показало себя в скупых, но запоминающихся красочных картинах природы. Это сельские пейзажи, увиденные



глазами героев повести. Каждый раз природа словно бы понимает, что переживает в эти минуты человек, и старается «соответствовать» его настроению.

«Кузьме стало невозможно оставаться больше дома, и он ушёл.

День стоял пасмурный и низкий, с тяжёлыми обвисшими краями. Было тихо, всё вокруг выглядело заброшенным и неприбранным, будто один хозяин уже выехал с этого места, а другой ещё не нашёлся. Так оно и было — не осень и не зима. Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись ползли над избами дымки, не осмеливаясь подняться в небо, словно время для этого ещё не наступило. С тоскливым видом, не зная, чем заняться, бродили по деревне собаки. Выглядывали из окон ребятишки, но на улицу не шли, и улица была пуста. Неприкаянно и сиротливо темнел за деревней лес».

Гнетущее ожидание развязки для Кузьмы продолжается, и природу вокруг он не может видеть иначе, чем в предыдущие дни. Но писателю нельзя повторяться, его кисть должна найти новые краски той же угнетённой природы. И он находит:

«День был всё такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит, но ветра не было, и дунуть на него было некому. Потихоньку что-то вокруг шумело, звучало, лаяло — будто шелестели стенки этого бумажного дня. Дали были мутными. Кузьма подумал, что сегодняшней день, наверно, наступил для бухгалтера — он под стать его постной роже». (Бухгалтер с утра объявил мужу Марии, что истратил зарплату, которую, по уговору, полагалось передать Кузьме.)

Но по-особому рождающееся мастерство автора видно в описаниях психологического состояния героев, их меняющихся и влияющих на ход событий чувств. Тут

не может быть неточности, приблизительности. Тут каждый мелкий штрих может добавить что-то очень важное для нашего сопереживания. Вот какой застаём мы Марию, рассматривающую семейные фотографии, — и разве мало прибавляют строки об этом к трагическим переживаниям женщины:

«Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрёпанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошёл, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжёлой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым толстощёким лицом — невеста невестой, нерожавшая, нестрадавшая, плакавшая только детскими, пустячными слезами. Ничего ещё тогда она не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне, и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятах, о магазине, о недостатке, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей, чтобы все эти напасти могли выбрать её, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой — той, которая ничего не знала, завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от той девчонки, ничего, кроме имени и воспоминаний, всё остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать».

## Не притча ли это?

По сути дела, Распутин уже в первой повести коснулся проблемы, которую нельзя было не назвать общечеловеческой. Она была важна для людей на любом континенте и в любые времена. Готовы ли мы откликнуться на чужую беду, помочь в несчастье человеку дальнему, не родному по крови и духу, но так нуждающемуся в сочувствии и братской помощи? Недаром Кузьме снятся удивительные, вещие сны.

«Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина едет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно.

— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.

— Деньги для Марии, — отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идёт дальше, опять в полной темноте. Но как только на её пути попадает дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно, и его снова спрашивают:

— Что вам надо?

— Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз».

Это — в начале повести. И в середине её:

«Ему снится странный сон. Будто идёт общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчётные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди всё идут и идут...

Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. „Мария, — испуганно шепчет он, — посмотри: народ-то не наш, чужой“. — „Да ты что? — отвечает она. — Что с тобой, Кузьма? Все наши“. Кузьма всматривается в зал внимательней и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле свои, деревенские.

— Товарищи колхозники! — говорит председатель. — Есть предложение помочь Марии.

Снова звучат аплодисменты.

— Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, — продолжает председатель, — и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по сколько рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

— Нет.

— Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

— Двести двадцать пять человек, — кричат из зала.

— Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек, — подсчитывает председатель за трибуной, — на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

— Чего там — по пять рублей на брата, — округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидят Кузьма и Мария, — уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слёзы, как горошины, падают на деньги и со звоном падают внутрь».

И, наконец, в самом конце повести:

«Потом он (Кузьма. — *А. Р.*) лёг, и ему повезло — он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама знает, где они есть, и останавливается, а он только стучит в окно и просит, чтобы ему их вынесли. Деньги выносят, и машина идёт дальше».

О том, что этот евангельский мотив — любите друг друга — не случаен, свидетельствуют и самые последние слова рассказчика о герое:

«Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он приехал — молись, Мария!»

Вся повесть, от первой до последней страницы, пронизана тревогой по поводу того, что кто-то окажется безучастным к беде Марии, кто-то не захочет помочь ей. Тревогой, которую то усиливает мрак неизвестности, то рассеивает свет надежды.

Притчевый характер первой повести Распутина чутко уловили театры. Сценическая версия произведения была представлена зрителям во многих городах страны. Интересны заголовки рецензий, появившихся в центральных, республиканских и областных газетах, журналах «Театр», «Театральная жизнь» и других: «Кто даст деньги для Марии?», «Что мы за люди такие?», «Право на звание человека?», «Деньги для Марии, а история — для нас», «Дороже денег», «Чужой беды не бывает».

Критик Инна Вишневская, вспоминая московские спектакли по повести Распутина «Деньги для Марии» и пьесе Вампилова «Двадцать минут с ангелом», размышляла:

«Ангел входит на призывы жаждущих выпить командированных, ангел, предлагающий нужную им

сумму на обычную бутылку, — вот вампиловская расстановка сил. Земля и небо встречаются в маленьком анекдоте, чтобы случились впоследствии глобальные обобщения. Так учил Вампилова Гоголь, любивший говорить, что чем незначительнее сам сюжетный анекдот, тем труднее, серьезнее будут из него нравственные и социальные выводы».

И повесть Распутина, перенесённую на подмостки театров страны, автор заметок рассматривала с той же точки зрения:

«Если бы „Деньги для Марии“ были сыграны в театрах как простая история о казённых деньгах, о ревизии, о добрых и недобрых колхозниках, а не как притча о Марии, раздающей благо, но не всегда получающей благо взамен, — мы бы не имели превосходного писателя Распутина, не только наблюдающего, но и осмысляющего жизнь».

Когда обращаешься к названным выше рассказам Распутина, его первой повести, как, впрочем, и к пьесам Вампилова, то невольно приходишь к мысли: оба молодых писателя стремились восстановить в тогдашней литературе классические традиции. Они через временную пропасть взяли из рук классиков волшебное перо и начали писать, как писали русские классики. Они отбросили тогдашние идеологические постулаты, обязательные требования о партийности литературы, о положительном герое, о борьбе старого и нового и продолжили традиции Пушкина, Толстого, Достоевского, Горького, Шолохова — писать о глубинной народной жизни, о её трагедиях, изломах и её немеркнущей красоте, рисовать характеры не кукольные, а живые, противоречивые, с обвалами в грязь и мрак, но зато и с постоянным, может быть, судорожным, смертным желанием вырваться наверх, к свету и вере.

Помните, в конце повести «Деньги для Марии» пятый день, который судьба отвела Кузьме для спасения жены, начинается у дверей городской квартиры его брата. Каким будет этот день — со счастливой развязкой или с ужасной бедой? Наступлению какого дня поспособствовал бы каждый из нас? Этот прямой вопрос задал нам молодой писатель. И его услышали читатели.

Так обычно происходит с Большой литературой.

## «Избегайте высоких слов...»

Писать только правду — этим творческим требованием Распутин руководствовался и в оценке чужих произведений. А делать это приходилось часто, с молодых лет. Посмотрите биографический справочник, в котором учтены все публикации писателя. Сколько там названо его предисловий, напутственных слов, рецензий, рассыпанных по страницам чужих книг, по журналам и газетам! И какой теплотой, родственным участием, дружеской поддержкой полны его слова.

А переписка с молодыми авторами, которые знакомы только по их рукописям, присланным в редакцию альманаха «Ангара» или в областную писательскую организацию. Молодой Распутин охотно участвовал в благородной работе старших коллег, помогавших новичкам усвоить азы литературного мастерства. В Иркутском областном архиве я нашёл десяток писем Валентина начинающим прозаикам<sup>[10]</sup>. Все эти послания относятся к концу шестидесятых — началу семидесятых годов, когда Распутин входил в редколлегию альманаха и в правление писательской организации.

Приведу строки из нескольких его писем, относящихся к концу шестидесятых годов. Читатель, думаю, сразу отметит, что взгляд их автора на творчество, тон разговора с адресатами в каждом слове и звуке совпадают с тем, что позже составит особенность Распутина — художника и человека. В них — этих письмах тогда ещё совсем молодого писателя к собратям по литературе — уже видны и понимание сложности жизни, человеческой души, и необходимость точного, выверенного и согревающего слова, и ответственность за него. А ещё в этих письмах — забота



о каждом пробивающемся таланте, дружеское участие в его судьбе, задушевность творческого разговора.

«Уважаемый тов. Грешнов!

Рассказ — я имею в виду „Сибирские звёзды“ — написан, в основном, чисто, те небольшие шероховатости в языке, которые я подчеркнул, в общем-то легко исправимы. Жаль только, что Вы, поддавшись газетной моде, поездку в Сибирь двух молодых людей на постоянное местожительство расцениваете как проявление романтики, жажду экзотики. Ох, уж эти романтика да экзотика! Сколько вреда принесли они Сибири и всей нашей стране, когда тысячи людей едут в дальние суровые края в поисках чего-то необыкновенного, душещипательного и, не найдя его, бросаются обратно. У Вас подобная ситуация повторилась, хотя я не думаю, что рассказ Вы писали именно об этом.

Сложнее тут другое. Взяв за основу рассказа классический „треугольник“, Вы почему-то прибегли к самому облегчённому пути его решения — легче, пожалуй, и не бывает. Тамара не знает, что Володя любит Аню, Володя не знает, что Тамара пишет письма отцу и просится обратно в Ленинград, собираясь оставить мужа в Сибири, в школе никто ничего не знает о тайнах Володи и Тамары. И только секретарь райкома партии совершенно необъяснимыми путями узнаёт о связи учителя и фельдшерицы из дальнего села и вызывает Володю для разговора (почему, кстати, это должен делать секретарь райкома?) — в это время Тамара, воспользовавшись отсутствием мужа, сбегает в Ленинград. Простите, но получилась некая странная для рассказа игра в прятки вместо сложного и открытого (хотя бы для автора) решения той извечной и всегда важной проблемы, которая встала перед героями рассказа.

Вопросы только поставлены, да и то очень робко, а ответов на них нет совсем — впечатление такое, что Вы их сознательно избегали, но от этого работа Ваша стала просто пересказом одной случайной и довольно мелкой истории.

С уважением В. Распутин».

«Уважаемый Анатолий Макарович!

Ваши „Три дня на постоялом дворе“ решено дать в третьем номере альманаха „Ангара“ (май — июнь). К сожалению, мы так и не дождались от Вас хотя бы маленькой справки о Хайларе и Маньчжурии теперешних (помните, я просил Вас?). Пришлось делать небольшое вступление к „Трём дням...“ самим. Оно очень небольшое, и ошибок в нём произойти не может. А очерк пока идёт в полном виде, если, конечно, не считать редакторской правки.

Что касается последних рукописей — их, как видите, приходится возвращать обратно. У рассказа „До финиша близко“ явное несоответствие между первой половиной и второй — он начат широко, эпически, подробно, фундамент подготовлен для большого здания, а закончен быстро и поспешно, психологическая достоверность материала нарушается, появляются сомнения именно в этом повороте темы, именно в этом исходе. Вы и сами признаётесь, что начинали писать роман, затем решили перевести его в рассказ, и это, конечно, не могло не сказаться.

„Чудная поездка“ могла бы пойти среди других, подобных же материалов, где она стояла бы вполне на месте, лучше всего в книжке о Трёхречье (хорошая и нужная, кстати, была бы книжка). Но, согласитесь, публиковать её отдельно, причём на материале чуть ли не стороннем, требующем специального и немаленького разъяснения, покажется несколько странным и непонятным.

И последнее. Было бы очень хорошо, Анатолий Макарович, если бы Вы сделали для нас большой очерк о русском Трёхречье — не этнографический, нет, а скорее, социальный — о жизни русских в стороне от России, об их отношении к ней, о связях между собой, о внутреннем управлении, об отношении к японцам, китайцам, к своим старым авторитетам (к Семёнову, например) и т. д., и т. п. Хорошо, если будут фамилии, конкретные люди. Насколько возможно, будьте откровенней и свободней в нём — я думаю, что мы сумеем напечатать весь Ваш материал.

С искренним уважением к Вам В. Распутин».

«Уважаемый Михаил Яковлевич!

Всё присланное Вами в альманах носит, на мой взгляд, случайный характер.

Две юморески — „Мудрый заяц“ и „Охотничьи были“ — принадлежат к тем анекдотическим устным рассказам, которые давно уже кочуют от одного охотничьего костра к другому. В более или менее похожем виде слышал их и я. В Вашем изложении, перенесённом на бумагу, они потеряли непосредственность, тот слегка грубоватый и всё же милый юмор, который дополняется мимикой, голосом, жестами, не вызывают теперь ни смеха, ни улыбки.

Попытка на серьёзную, уже далёкую от анекдотов прозу сделана в рассказе „Тысяча извинений“. К сожалению, эта попытка так и осталась попыткой. Рассказ, мне кажется, не состоялся. Нельзя на нескольких страничках раскрыть всю глубину той темы, за которую Вы взялись, и нельзя так легко, с ходу, в двух-трёх фразах показать нравственное убожество одного человека и нравственное богатство другого. Слишком это серьёзно. Каждый поступок и каждый характер в литературе нуждаются в доказательстве, и в не меньшем, чем какое-либо положение в математике

или физике, — только здесь в художественном доказательстве.

Сказка „Танкага-Басутук“ выдержана в тоне северных сказок — на первый взгляд наивных, но по своему мудрых, неторопливых, степенных. Из четырёх Ваших вещей она, пожалуй, интересней всего остального, но, к сожалению, она остаётся в гордом экзотическом одиночестве. Если у Вас есть ещё что-нибудь похожее, пожалуйста, присылайте.

С уважением В. Распутин».

«Уважаемый тов. Тютрин!

У итальянского писателя Альберто Моравиа есть одноимённый с Вашим рассказом роман, в котором показывается, насколько это сложная и серьёзная штука — презрение. У Вашего героя это чувство слишком скороспешно и однозначно, и не потому, что оно ошибочно, как раз нет, а потому, что оно должно быть само собой разумеющимся, естественным. Если Андрей нормальный, порядочный человек, то его презрение (это, пожалуй, даже слишком сказано; обыкновенное отвращение) к этой девице является нормальной защитной реакцией уважающего себя человека. Едва ли стоило писать рассказ, чтобы сказать, что зрячий видит свет.

Видимо, у Вас это первый опыт в литературе. Пока он неудачен. Но уже сейчас надо искать в человеке более сложные чувства, а в жизни — более сложные проблемы.

С уважением В. Распутин».

«Уважаемый тов. Шинкарёв!

Ваша рукопись „О чём говорят могилы“ вызвала во мне двойственные чувства. С одной стороны — банальная история, из тех, которые бывают часто и о которых уже знаешь-перезнаешь и слышал-

переслышал; с другой стороны — эта банальная история рассказана интересно, вдумчиво и волнующе, хотя и с некоторыми претензиями на детективные сверхинтерес и сверхволнение, особенно в начале рукописи. С одной стороны (я продолжаю говорить о двойственности своих чувств) — хорошие, порой даже прекрасные картины Байкала и природы; с другой — неправдашние, какие-то театральные отношения между героями и конечная сентиментальность всей вещи в целом. Автор — поэт и мудрец, когда он остаётся один, он зорек, наблюдателен, психологичен, умеет понять движения человеческой души. Но как только ему приходится остаться со своими героями с глазу на глаз, то есть когда идут непосредственные их отношения друг с другом, связанные прямой речью, это совсем иной человек, который кажется неопытным и наивным, знакомым с жизнью только по книжкам. Я понимаю, что не прав в последнем своём предположении, и всё-таки впечатление такое остаётся — впечатление, что эту вещь писали два разных человека.

Ясно, что литературные способности у Вас есть. И, мне кажется, не стоит считать неудачей эту работу, хоть напечатать в таком виде её мы и не сможем. Будем ждать от Вас новых работ.

С уважением В. Распутин».

В одном из писем этих лет Валентин посоветовал молодому автору: «Только избегайте красот и высоких, не в меру высоких слов при изображении нашей грешной жизни. Это всё равно что на работу выходить со знамёнами». Для самого прозаика эта мысль к тому времени стала творческим правилом.

## «Среди друзей-товарищей»

Слова, вынесенные в заголовок этой главки, принадлежат Распутину. Так назвал он своё предисловие к сборнику «Александр Вампилов в воспоминаниях и фотографиях». А как чувствовал себя сам Валентин среди «друзей-товарищей»?

Здесь к месту будет рассказать о творческой жизни сибирского города, в котором начиналась литературная судьба Валентина Распутина. Один из тогдашних руководителей писательской организации поэт Марк Сергеев писал в воспоминаниях, что к середине шестидесятых годов творческий союз здесь «был резко разделён на две половины: на тех, кто долгое время, с ещё довоенных пор, занимал все ключевые позиции, и на тех, кто пришёл во второй половине этого десятилетия и кого окрестили „иркутской стенкой“».

Ещё с 1957 года, рассказывал М. Сергеев, «у нас стала проводиться необычная для творческой жизни той поры конференция „Молодость, творчество, современность“. Необычность её состояла в том, что своих молодых творцов приглашали все союзы одновременно: открывалась выставка юных художников; в театрах шли спектакли, в которых главные роли исполняли молодые артисты; фотохудожники, музыканты, кинематографисты, а позднее и архитекторы занимались в профессиональных семинарах, их вели крупные деятели искусства, приглашаемые из Москвы, Ленинграда и сибирских городов. Все удивлялись, как это творческим союзам, комсомолу и профсоюзу работников культуры удавалось собирать около двухсот „семинаристов“, обеспечивать помещения, транспорт, гостиницы, питание и, главное, — плодотворное общение. Все

успевали побывать и на вернисаже, и на спектакле, и на вечерах поэзии, перезнакомиться, передружиться, завязать творческие связи. Из этой нашей конференции и выросло, как принято ныне говорить, судьбоносное Читинское совещание молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока».

Валентин всегда относился к творческим семинарам начинающих авторов как к делу личному. Запомнив понравившиеся ему публикации прозаиков Владимира Крупина и Виктора Петелина, критиков Николая Котенко и Владимира Шапошникова, познакомившись в Красноярске и Чите с поэтами Романом Солнцевым и Виктором Шульжиком, он предложил писателям-землякам пригласить их в Иркутск. Сам Распутин перед разговором с молодыми авторами читал множество их рукописей, дружески опекал многих из них.

В воспоминаниях литераторов-иркутян есть живые подробности творческой жизни города. И кое-какие строки хочется привести. Как всегда, в мелких и обыденных происшествиях, описанных их участниками, встаёт заправдашний, не отретушированный облик человека, и этим интересен летучий рассказ.

Наш университетский наставник Василий Прокопьевич Трушкин с постоянной улыбкой вспоминал общение со своими бывшими студентами — Александром Вампиловым и Валентином Распутиным.

«Однажды в Союзе писателей шло какое-то совещание. Только что выступил В. Распутин. Я вышел в коридор, увидел там опоздавшего Вампилова и поздоровался: „Здравствуйте, Валя!“ Саня отреагировал тотчас же: „Всё это очень мило, Василий Прокопьевич, но только немножко неточно“».

Ещё об одной встрече с Александром Вампиловым, получившей продолжение в доме Валентина, Трушкин рассказал тоже как старший друг обоих:

«Однажды повстречал я его на улице Ленина. Саня предложил попроведать Валентина Распутина, у него жена в то время находилась в роддоме, и Валя коротал время на положении холостяка. Мы зашли в магазин, взяли бутылку коньяка и отправились на бульвар Гагарина, где тогда жил Распутин. У нас получился славный мальчишник. Вспоминали студенческие годы, забавные эпизоды из журналистской практики».

Прозаик Дмитрий Сергеев упомянул случай, который с поправкой на его постоянную занятость основной работой геолога можно считать обычным. Он, один из друзей Вампилова, читал очередную пьесу драматурга в... московской гостинице, в дни какого-то писательского сбора — иного времени не нашлось. И читал в компании с Валентином:

«Мы читали её... передавая друг другу страницы... И, конечно, дружески обсуждая».

Как говорится, в «контексте» таких рассказов кажутся неувидительными и истории защиты новых сочинений друг друга от идеологических надсмотрщиков. Колоритно поведал одну из них тот же Марк Сергеев:

«Возникла однажды ситуация: иркутская цензура задержала повесть Валентина Распутина „Деньги для Марии“ в корректуре альманаха „Ангара“. Назавтра я отправился в обком к секретарю по идеологии Е. Антипину. Мы сидели, наверное, более часа, я попытался раскрыть Евстафию Никитичу неординарность сюжета и талантливость автора, говорил, что придёт час, когда Иркутск будет гордиться именем Распутина и нас не поймут, если эту повесть раньше нас опубликует Новосибирск (это было правдой, я отвёз повесть в журнал „Сибирские огни“, и её там уже читала редколлегия). Кончилось тем, что Антипин попросил свою секретаршу связать его с главным цензором, и разговор у них вышел такой:



— Мы вот тут сидим с Марком Давидовичем и рассуждаем о повести Валентина Распутина „Деньги для Марии“. У нас с Марком Давидовичем проблем нет!

Уже через час корректура альманаха была возвращена из цензуры в издательство<sup>[11]</sup>, и „Ангара“ с повестью вышла...»

1967 год стал для Валентина особо памятным. В мае его приняли в Союз писателей СССР, в июле — августе в альманахе «Ангара» была напечатана его повесть «Деньги для Марии». С этого времени талантливый прозаик — в центре многих крупных литературных событий в стране и за рубежом. Он участвует в очередном съезде писателей России, в заседании советско-болгарского клуба творческой молодёжи, состоявшемся в столице одной из республик Советского Союза — Киргизии, по приглашению этого же клуба совершает поездку в Болгарию. Он получает первые литературные и государственные награды: в родной области становится лауреатом литературной премии им. Иосифа Уткина, правительство страны награждает его орденом «Знак Почёта». Произведения сибиряка переводятся на многие языки СССР и зарубежных стран. Повесть «Деньги для Марии» выходит на болгарском языке в Софии, на чешском — в Праге. Рассказ «Мама куда-то ушла» публикуется на польском и литовском языках, другие новеллы — «Продаётся медвежья шкура» и «Встреча» — на латышском.

И с первых своих шагов в литературе Распутин близко к сердцу принимал всё то, что омрачало жизнь страны, шло во вред народному благу. Позже писатель признавался:

«...я слишком много времени отдал так называемой общественной работе. Охрана памятников истории и культуры, Байкал, борьба против поворота северных и сибирских рек, борьба, борьба, борьба... Многие из этого

было необходимо, потому что речь шла о России, но вдесятеро больше пристёгивалось к главному второстепенного, наваливалось только потому, что ты показал себя ломовой лошастью.

Впрочем, это не только моя судьба, но и многих моих товарищей по литературе. Таково в России отношение к писателю. Стал известным, заметным — послужи-ка для дела мирского, будь ходатаем за правду. Во мнении народном это считалось второй необходимой обязанностью писателя. Литература у нас невольно рассматривалась в двух ипостасях — заявление своих гражданских и нравственных принципов в книгах и последующая активная защита этих принципов в жизни.

Одним я могу быть удовлетворён, оглядываясь на свой литературный путь: всю жизнь я писал любовь к России».

И добавим: в своих публичных выступлениях утверждал и защищал ту же неизбывную любовь.

# **Глава пятая**

## **ДОРОГИЕ ИМЕНА**

## Чем близка чужая книга?

Распутин с дружеским участием и вниманием интересовался тем, что пишут или писали до ухода из жизни его земляки — литераторы опытные, пользующиеся известностью. Как и ровесники, надеющиеся на признание. И откликался на просьбы издательств, журналов, газет написать о книгах или рукописях отзыв, предисловие, рецензию. Пожалуй, редко кто из литераторов-иркутян напечатал в первое десятилетие своей творческой работы столько откликов на произведения сибирских писателей.

В 1967 году Распутин напечатал очерк о прозаике Петре Петрове, имя которого упоминалось выше. Автора романов «Борель», «Шайтан-поле» и «Золото» не зря ставили рядом с Вячеславом Шишковым. Как и создатель эпопеи «Угрюм-река», он открыл для читателя подлинную Сибирь — не мрачный тюремный край и не кладовую дармовых богатств, а суровую землю, обжитую людьми особого закала, невиданного упорства, необыкновенных судеб. Распутина привлекли в творчестве П. Петрова резкие и точные краски, которыми он рисует характеры своих героев.

Творчески очень близким Распутину оказался и писатель-фронтовик Алексей Зверев. Его повести «Раны», «Гарусный платок» и «Выздоровление», которым Валентин посвятил обстоятельную статью, опубликованную сначала в областной газете, а затем как предисловие к книге Зверева, открывали тот русский характер, который особенно виден в драматических испытаниях. По признанию Распутина, повести стали для него примером художественной правды, которая всегда поучительна и нравственна.

Тут не хочешь да выпишешь утверждение Распутина, ещё молодого, но уже заглянувшего в глубины искусства, равного жизни по трагизму и сложности:

«Когда есть правда — не надо других, надстроенных, выдуманных, вымученных зачастую проблем, она есть главная и единственная проблема, и столько из неё вырастает всего, успевай лишь убирать да осмысливать этот урожай. Но и писать правду не просто, она требует не только решимости и не только таланта, но вместе с ними и правильной, не склонной к конъюнктурным соблазнам, духовной ориентации. Всем этим писатель Алексей Зверев, мне кажется, наделён щедро и распоряжается точно».

Но это были книги мастеров, которые обладали иным житейским и творческим опытом, нежели молодые прозаики. А чем могли «зацепить» душу сочинения ровесников? Конечно, главное автор повестей «Деньги для Марии» и «Последний срок» видит в том, как литературные новобранцы усвоили уроки русской классики и вместе с тем проявили свою самобытность.

Распутин написал предисловия к журнальным и газетным публикациям, книгам Геннадия Машкина, Валентины Сидоренко (к тому времени она была самой молодой из талантливых местных прозаиков), Анатолия Преловского, Геннадия Николаева, Евгения Суворова, далёких от Иркутска писателей Ивана Евсеенко, Виктора Шульжика, Валерия Золотухина. С особым вниманием следил он за творчеством своих близких друзей — Владимира Крупина, Станислава Куняева, Виктора Лихоносова. Уже сам список имён внушительный, а ведь здесь названы не все молодые литераторы, дружеское слово о которых сказал получивший известность сибиряк.

Кажется, что при чтении близкой ему книги Распутин тонким чутьём сразу угадывал в ней русское: подлинно русскую жизнь, русскую душу, русский язык. Можно сказать, что он чувствовал в авторе русский талант. И в любом предисловии, в любой статье об известном ли, начинающем ли авторе говорил он о духовной стати, особой «выправке» этого таланта, а в итоге — о притягательной самобытности своего собрата. Он указывал читателю на почву, которая взрастила его. Это только «граждане мира» считают, что человеку не важно место его рождения и последующего обитания. Нет, душа писателя питывается только соками своей родины, она обретает духовное зрение только здесь, на отчих дорогах, и сокровенное Слово его выговаривается только там, где с детства вели с ним таинственные разговоры травы, деревья, облака...

В предисловии к книге Ивана Евсеенко «Крик коростеля», говоря о заглавной повести, Распутин писал:

«Герой её, Николай, похоронив в деревне мать, берёт с собой в город молоток, которым он заколачивал перед отъездом окна опустевшего родного дома. „Почему-то стало жалко оставлять его здесь в бездействии, в безработице, показалось, что ему будет горько лежать в темноте кладовки, постоянно вспоминая свою последнюю, такую тяжёлую и такую неблагодарную работу“. Попробуйте представить, что такое могло быть написано где-то помимо России. Не получится. И это не выдуманно, сказано не для красного словца и не ради каких-то ухищрений писательского ремесла — это замечено удивительно верно, оно есть во всех нас, в одном меньше, в других больше, но невольная вина и ответственность за всё, что находится в одном с нами жизненном кругу, существовали в нас издавна. И если в ком нет теперь подобной вины и

ответственности — не вышел ли он в соблазнительно раскрытый расхожий мир, где не хотят знать своего родного дома и его обычаев?»

Особый вопрос для Распутина, говорящего о чужой книге: сколько своей души вложил в повествование автор, сколько сочувствия и тепла, восторга и боли израсходовал, чтобы мы порадовались, возмутились, обрели силу? «Трудно найти сейчас другого такого писателя, который был бы в этом смысле так близок к читателю, как Владимир Крупин (в поэзии можно назвать Николая Рубцова)», — утверждал Валентин в предисловии к книге своего друга «Дорога домой». А речь в этом сборнике рассказов и повестей Крупина — о нашей вине перед осиротевшей и обесславленной отчизной. В повести «Во всю Ивановскую», писал Распутин, один из героев рассказывает, как он ездил на место своей исчезнувшей деревеньки и раскладывал на местах домов полевые цветы. А ведь бывшие односельчане ставят даже памятники на пепелищах родных деревень. Это переворачивает душу. И достигается такой читательский отклик безоглядной искренностью художника.

Суждения Распутина о книгах всегда словно бы «одомашнены». О художественной новинке, если она задела его сердце, он говорит с живым впечатлением замороженного искусством человека близкого, родственного. С читателем беседует не критик, не толкователь текста, а единомышленник писателя, видящий в его творчестве плодоносные ростки. Таково, например, мнение сибиряка о романе Виктора Лихоносова «Ненаписанные воспоминания». Произведение посвящено кубанскому казачеству, которое ещё Екатерина II выделила в особый отряд служилых людей. «Это роман-воспоминание не только по материалу, но и по форме его изложения, — заметил Распутин. — Чисто авторские страницы, где Виктор

Лихоносов является в полное своё замечательное лирическое перо, то и дело перемежаются хроникой».

Книга даёт возможность автору статьи высказать сокровенные мысли о Памяти как главном «герое» отечественной литературы. И романа Лихоносова в том числе. Память, по мнению Распутина, «вечность и непрерывность человека, постоянное движение из поколения в поколение духовного вещества. Нельзя жить на земле, не помня, чем здесь жили прежде, не зная о трудах, славе, присяге и искренних заблуждениях наших предков. Не помня по именам самых знаменитых из них и праведных, чьими мыслями и заслугами мы продолжаем пользоваться как само собой разумеющимся, как извечно существующим, подобно творениям природы... Собственность, в чьих бы руках она ни была, должна иметь духовное наследование. Мы уверенней и сильнее себя чувствуем, когда получаем не только власть над нею, но и право на неё, от этого мы становимся продолжительнее во времени и надёжнее в своих внутренних связях. Наконец, мы обретаем совесть, обретаем её не на словах, а на деле...».

И так естествен вывод Валентина Григорьевича: «Виктор Лихоносов предпринимает... усилия восстановить земной облик Времени не в столь отдалённом его течении по кубанским пределам. И это ему удаётся вполне. Читатель не однажды с удивлением поймает себя на том, что он словно бы не читает, а прислушивается: так звучало Время. Роман впустил в себя множество голосов, и по ним, а не наоборот, отыскивал автор своих героев. Отыскивал иногда за тридевять земель, чтобы по возможности составить полное свидетельство принадлежавшей им эпохи. Судить или возвеличивать их — это уже наше дело, однако, кроме нашего приговора, они уже возвеличены Временем».



## «Возле Вампилова было теплее...»

Впервые пронзительно, с неутихающей скорбью Валентин выразил свои чувства к Александру Вампилову в статье-реквиеме «От имени друзей его...», вышедшей в областной газете «Советская молодёжь» в сороковины гибели драматурга. Здесь, в печальных словах, — ужас от потери, последнее «прощай» душе, рядом с которой было тепло и надёжно:

«Я сошёлся с ним в первые же наши университетские годы, вместе затем мы работали в газете, почти в одно время начали писать рассказы, вместе обсуждались в 1965 году на Читинском семинаре молодых литераторов и были приняты в Союз писателей, а в последние годы довольно часто вместе оказывались в различных поездках. Случались у нас споры, к которым мы возвращались снова и снова, особенно когда дело касалось литературных привязанностей, случалось, говорили друг другу не очень приятные слова, когда кто-то бывал не прав, но ни разу, сколько я теперь ни вспоминаю, не было в наших отношениях хитрости или какой-нибудь даже мало-мальской недосказанности. И благодарить за это прежде всего, конечно, нужно Сашу с его открытым, откровенным и честным характером, не выносившим никакой фальши...

Он был интеллигентным человеком в самом добром, уважаемом смысле этого слова. Умел слушать и умел сказать — точно, интересно и независимо ни от кого, что заставляло слушать его всех. Порой казалось, что у него какой-то особый строй мышления, потому что он подходил к сути разговора с той стороны, о которой отчего-то все забывали, он не удлинял, а расширял и углублял разговор, делал его как бы многомерным. У

Саши прекрасно было развито и организовано то, что называют внутренним тактом, а в это понятие входят и вкус, и мера, и согласие — стройность, мягкость, смелость и музыкальность человеческой души...

Мы все тянулись к нему, потому что видели в нём натуру не случайную, не заученную, а исключительно цельную и богатую, созданную чьим-то счастливым даром, видели в нём его естественность, если хотите, даже природность. Это качество в человеке переоценить нельзя. Саша ничего не умел делать походя — ни работать, ни дружить, ни любить, ни разговаривать, ни жить — ко всему относился искренне, с полной душой. О многих ли из нас можно сказать то же самое?»

В последующие годы Распутин многократно возвращается к наследию драматурга, его месту в отечественной литературе. И, может быть, главная заслуга писателя состоит в том, что он придал разговору о театре Вампилова ясность и глубину. Сколько авторов рецензий, статей, монографий витиевато, туманно рассуждали о «загадке Вампилова», о странной непохожести его героев на литературные типы других авторов, о том, что коллизии в пьесах драматурга «строятся на случайностях, нарочитых совпадениях» и проч., проч. Распутин одним из первых показал жизненную правдивость характеров и поступков вампиловских героев, открыл духовную сущность творчества сибиряка.

Уже вскоре после гибели драматурга, когда его пьесы, по слову прозаика, принялись ставить «пожаром по всей стране», Распутин начал разговор по существу:

«О Вампилове теперь пишут много и охотно: критики, перебивая друг друга, спорят о его героях и говорят настолько разное, что появилось даже выражение „восторженное непонимание Вампилова“. Непонимание это идёт от предпосылок искусства, а не

от предпосылок жизни, с которыми всякий раз начинал творить своё искусство Вампилов. Его герои вечерами выходят на сцену чуть ли не каждого большого театра страны, и его же герои, не всегда ведая, что это они и есть, смотрят на себя из зала и смеются... Впрочем, не только смеются, этого было бы слишком мало: Вампилов писал пьесы отнюдь не для того, чтобы зритель со спокойной душой отдыхал в театре, он не признавал искусства, создаваемого для отдохновения. Зритель, приходя в театр на Вампилова, невольно попадает под нелёгкое нравственное испытание, своего рода исповедь — его, зрителя, исповедь, в которую он, один раньше, другой позже, так или иначе вовлекается ещё во время спектакля и которая долго продолжается после спектакля, — в этом незаменимая, но удивительная сила и тихая страсть его таланта. И когда говорят о „театре Вампилова“, следует, очевидно, иметь в виду не только то, что предлагается зрителю, но и то, что случается с ним, сторону глубокого психологического воздействия его пьес, которую театральная условность словно бы даже ещё и увеличивает, а не снижает...»

Далее приведу размышления Распутина о том, почему его друг выбирал для своих пьес таких героев — совсем незаметных в жизни, иногда прекраснодушных, как Сарафанов из пьесы «Старший сын», а чаще — жестоких, как Пашка из «Прошлого лета в Чулимске», или пустых, как Камаев из «Провинциальных анекдотов». Ведь в тогдашней литературе так чётко разделяли героев на «положительных» и «отрицательных», и никогда «положительные» не совершали скверных поступков, не роняли своего ампула образцовых, а «отрицательные» не могли кому-то нравиться, вызывать сострадание, не могли отмыться от своего чёрного клейма. И вот писатель, создавший рассказы «Василий и Василиса»,

«Рудольфио», «Уроки французского», со счастливым удивлением обнаруживает, что Вампилов придерживается тех же творческих правил, что и он, пишет жизнь как она есть — сложной, жестокой, исцеляющей, а человека — ущербным, запутавшимся, рвущимся к свету, чистым. Распутин хорошо видит и отстаивает в пьесах Вампилова общее, дорогое, незыблемое для них обоих:

«Те люди, которых мы за редкую самосбережённость готовы принимать за юродивых, состояются особыми частицами, подобно тому, как в природе рождаются драгоценные минералы. В теперешней литературе принято насмехаться над ними, брать в герои только для того, чтобы показать полную их несостоятельность, но для Вампилова они — удерживающее начало жизни, и он пишет их, любуясь, радуясь им, относясь к ним с нежностью и необыкновенным почитанием. Чтобы дать героям такой свет, нужно и самому быть освещённым...

„Зачем ты пишешь их? — можно было бы с таким же недоумением спросить у Вампилова. — Жизнь жестока, и люди не хотят жить по заповеданным им человеческим законам. Их ломают, твои прекраснотушные создания. Посмотри, что делается вокруг“. — „А я всё равно буду писать их“, — подобно Валентине (из пьесы „Прошлым летом в Чулимске“. — А. Р.) отвечает Вампилов».

И далее — новые и новые доказательства особой чуткости драматурга к своим героям, к их жизни, нравственной или безнравственной, к поучительному опыту каждой человеческой судьбы:

«Особенности души и таланта Александра Вампилова в том, что ни над одним из своих персонажей он не произносит последнего приговора... все они, вольные или невольные слуги греха, выставляются не для суда, а для того лишь, кажется,

чтобы вызвать к себе и своей нелепой роли снисхождение.

В. Розанов говорил: „Никакой человек не достоин уважения, всякий человек достоин только любви и прощения“.

Смейтесь над этими людьми, возмущайтесь ими, страдайте от их множества, но не отвергайте их, ибо это не сделает лучше ни вас, ни их, — таков, кажется, главный мотив всех пьес Вампилова. Помогите сочувствием неразумному, заблудившемуся, запутавшемуся, всего лишь сочувствием — для духовной атмосферы жизни это так много и так нужно. Помогите — и воздастся вам...»

В замечаниях писателя о театре Вампилова так много было от собственного взгляда на творчество, от того, что Распутин сам утверждал в литературе. Без этой убеждённости невозможно, например, написать такое:

«В пьесах Вампилова былая жизнь отнюдь не приукрашивается: там могут и скандалить, и смертельно шутить, и врать напропалую, и не отказывать себе в удовольствиях, и истово любить... Но то герои, им полагается. Автор же нигде не позволит себе ни непристойного, ни фальшивого слова. Это не одно и то же — интонация автора и интонация героев. Собственное слово автора, надстоящее надо всем, что говорят персонажи, его позицию, „коридор“ его присутствия в пьесе читатель и зритель интуитивно различат, даже не задумываясь над этим. Герою позволяется лгать — автору нет. Сегодняшнее вызывающее бесстыдство литературы не в счёт, оно пройдёт, как только читатель потребует к себе уважения».

И, наконец, в раздумьях Валентина Григорьевича, уже поздних и, кажется, окончательно отстоявшихся, мы найдём ответ на главный вопрос (о чём путано и

неглубоко рассуждают подчас другие): что же пришло в отечественный и мировой театр с этим именем — Вампилов?

«Вместе с Вампиловым в театр пришли искренность и доброта — чувства давние, как хлеб, и, как хлеб же, необходимые для нашего существования и для искусства. Нельзя сказать, что их не было до него — были, конечно, но не в той, очевидно, убедительности и близости к зрителю; до последнего предела раскрылась перед нами наивная и чистая душа Сарафанова в „Старшем сыне“ и стоном застонала, уверяя старую истину: „все люди — братья“, которая в повседневности часто превращается почти в смешной парадокс. Вышла на сцену Валентина („Прошлым летом в Чулимске“), и невольно отступило перед ней всё низкое и грязное — вышла не просто героиня, несущая в себе черты добродетели, вышла сама страдающая добродетель. Слабые, незащищённые и не умеющие защищаться перед прозой жизни люди, но посмотрите, какая стойкая, какая полная внутренняя убеждённость у них в главных и святых законах человеческого существования. И в слезах, и в отчаянии не перестанут они веровать, как фанатики, в лучшую человеческую сущность, не замечая, как слепые, сущности худшей...»

И ещё о Вампилове:

«Театр помолодел с его приходом — и не только благодаря возрасту молодого драматурга, но и от свежего и чистого чувства, принесённого им на сцену. И теперь наш театр должен будет вернуться к нему как к одному из самых надёжных и верных друзей, без которых никакой успех никогда не будет чистым.

Талант Вампилова, непритязательный и обаятельный, естественный и добрый, есть собрание, подобно пчелиному труду, разлитой в мире душевности и красоты. Возле Вампилова теплее, добрее, этим теплом до сих пор греются те, кто знал его, оно исходит

от его книг, и оно же дышит со сцены вампиловского театра, начинающего новую и прочную жизнь без старения».

## **«Твой сын, Россия, горячий брат наш...»**

Когда читаешь строки Распутина о близких ему писателях, не покидает ощущение, что перед тобой главки одной книги. Только оставил его размышления о Вампилове на словах: «Кажется, главный вопрос, который постоянно задаёт Вампилов: останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли ты превозмочь всё то лживое и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно различимы даже и противоположности — любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, благо и порабощение?» — как в разговоре о творчестве Василия Шукшина оба вопроса им подхватываются и получают продолжение:

«Будь человеком... Всё, что сделано Шукшиным в искусстве, освещено у него этим требовательным понятием, этой страстью и этой болью, которым он заставил внимать всех — кто умеет и не умеет слушать. Не было у нас за последние десятилетия другого такого художника, который бы столь уверенно и беспощадно врывается во всякую человеческую душу и предлагал ей проверить, что она есть, в каких просторах и далях она заблудилась, какому поддалась соблазну, или, напротив, что помогло ей выстоять и остаться в верности и чистоте».

Это не повторение по забывчивости или недостатку доводов, а всё тот же сокровенный разговор о духовных ориентирах, которых придерживались и придерживаются, к сожалению, немногие в современной литературе.

Василий Шукшин — счастливое исключение. Его героев называли «чудиками». «Они, — напоминает



Распутин, — во многих рассказах Шукшина, которые читаются то со смехом, то с грустью, а чаще всего — с тревогой и которые все вместе создают пёстрое и, однако же, целостное впечатление. Потому что всё это отдельные штрихи, отдельные черты одного характера, который Шукшин писал от начала до конца и который в основном успел написать. Это характер человека свободного и самостоятельного по своей натуре, „бесконвойного“, как Костя Валиков, всеми возможными способами и чудачествами старающегося отстаивать своё естественное право быть самим собой, иметь собственное мнение и до всего на свете доходить своим умом и своим опытом. В немалой степени подверженный стихии, случаю, дёрганый, импульсивный, органически не переносящий никакой фальши, во имя чего бы она ни творилась, раздираемый противоречиями, страдающий от недостаточности яви и недоступности мечты, герой Шукшина при всём том как характер целен и органичен, ибо он не даёт поставить себя в общий ряд, а живёт отдельно и самостоятельно, как и положено жить человеку. И уже тем одним он вызывает у нас расположение к нему и беспокойство по отношению к себе».

Может быть, впервые в литературе второй половины XX века Шукшин пристально всмотрелся в русскую душу, и она для этого писателя — главная тайна. И главная ценность, о сохранности и красоте которой он печётся. «Обойти её стороной, — замечает Распутин, — не удастся, потому что это значило бы, притворяясь глухим, не услышать и не понять Шукшина».

И опять Валентин Григорьевич стремится дойти до глубинной сути творчества писателя, в данном случае Шукшина, которого назвал в заглавии своего очерка «твоим сыном, Россия, горячим братом нашим»:

«Жизнь, не подтверждённая смыслом души, есть случайное существование; герой Шукшина с этой

случайностью мириться не хочет, он выше её, но он ощущает также и свою недостаточность и шаткость для жизни направленной, это мучает его и заставляет совершать поступки как бы вне себя самого и обычно во вред себе. Непредсказуемость, стихийность и последовательная нелогичность действия, и вообще тайно любимые в себе русским человеком качества, в „чудике“, ничем не сдерживаемые, доходят до восторженно-разрушительного градуса, когда он сам себе и жертва и палач.

Странное, однако, дело: у Шукшина, казалось бы, нет ничего, что напрямую говорило бы о близком обретении души его героем, и тем не менее в читателе это становится почти убеждением. Та боль и страсть, с какой он мечется в растерянности и тоскует по душе, превращает её в нечто чуть ли не материальное, в нечто такое, что имеет место, где её можно отыскать. На этот отчаянный призыв не откликнуться, кажется, невозможно».

Вернёмся к началу этого монолога. Не кажется ли вам, что слова: «Жизнь, не подтверждённая смыслом души, есть случайное существование» — могла бы принять близко к сердцу распутинская старуха Анна из «Последнего срока» или её ровесница Дарья из повести «Прощание с Матёрой»? Дарья при этом подумала бы, что вся её судьба подтвердит эти слова, как и судьба её родителей, деда и бабушки. И ещё бы подумала, что душу её воспитали родная Матёра, Ангара, могучие леса и скромное поле за околицей деревни... Это без сомнения. Сам Распутин это знает, и Шукшин был уверен, что его герои думают так же о колыбели русской души. Не зря же Валентин Григорьевич утверждает дальше в своём очерке:

«Что касается места обитания души, его предположить не так уж и трудно. Это родина

человека, земля его рождения, на первых порах давшая ему всё, что необходимо для прочности в жизни».

Ну а как же писатель, во множестве представивший читателям «чудиков», людей странных и не управляемых в поступках, наивных или необузданных в мечтах, считал, что «народ знает правду»? Да, знает, поддерживает Распутин, «ибо то и есть народ, что живёт правдой, как бы ни тяжела была эта ноша, то и есть правда, что составляет первооснову и первосмысл этого понятия, не подверженную ампутации истину о человеке и его жизни». Герой шукшинского рассказа «Генка Пройдисвет», парень не без изъянов, развязавший драку со своим дядей, кричит почти исступлённо: «Если я паясничаю на дорогах, — Генка постучал себя с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами, — то я знаю, что за мной — Русь: я не пропаду, я ещё буду человеком. Мне есть к кому прийти!»

«Золотые слова» — соглашается Распутин и продолжает: «...эта истовая вера в Русь и даёт нам право на самую большую надежду в судьбе своей родины и народа. И оттого, что сказаны эти слова таким непутёвым внешне, бесшабашным, неустроенным в жизни парнем, как Генка, — крепче уверенность, что духовная твердыня народа там, в глубинах народного сознания, находится по-прежнему в крепости и силе... И только одно может иметь для любого народа самые тяжёлые и непоправимые последствия: самодовольство поколения или нескольких поколений, забвение корней своих, сознательный или бессознательный разрыв с многовековым опытом прошлого, ведущие через последующие связи к утрате национального чувства и исторической памяти, к разобщению, обезличенности и безродности. Тогда и народ — население, и родина — место жительства и прописки, тогда мы перестаём слышать токи одной крови в другом человеке и остаёмся одни. Глухота к ближнему грозит затем общей

глухотой и вседозволенностью, человек принимает себя за случайность и уповает на случайность, случай превращается у него в судьбу».

Эти трезвые и строгие слова так согласуются с тем, что Василий Шукшин написал незадолго до смерти — их привёл в конце своего очерка Распутин:

«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совесть, доброту... Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши невероятной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

## Литературное поле Абрамова

Очерк Распутина о Фёдоре Абрамове, уже ушедшем к тому времени из жизни, — это, скорее всего, душевное воспоминание о человеке необыкновенном и близком. Представьте себе, как молодой прозаик познакомился с мастером. Во время перерыва в работе писательского съезда, в толчее у книжного развала Валентин, выбираясь, столкнулся с Фёдором Александровичем, и тот обронил — с подтекстом:

— Зачем так бьёшься? Без чего жить не можешь?

«Я засмеялся, счастливый от такого внимания...» — объяснял Распутин своё состояние в ту минуту. «Много раз и у меня, и при мне, — позже рассказывал Валентин, — он спрашивал: есть молодые? есть молодые? — для него было чрезвычайно важно, в чьи руки после нас попадёт литература, которая в великих мучениях, в том числе и в его мучениях, снова соединилась с совестью и правдой».

А то, что Абрамов неустанно и бесстрашно помогал ей «соединиться с совестью и правдой», Распутин хорошо видел. И старался быть в тех же рядах, что и Фёдор Александрович. В 1982 году на юбилее Василия Белова кто-то из «московских литературных гурманов» в отсутствие Абрамова заявил, что он «известным письмом к односельчанам оклеветал русский народ». Напомню читателям: в открытом письме «Чем живём-кормимся», опубликованном в 1979 году в районной «Пинежской правде», Фёдор Абрамов с болью, без обиняков сказал землякам-веркольцам, что кроме высокого начальства и они сами повинны в разорении деревни, его родины. «Меня, — пишет Распутин о приговоре „гурманов“ в очерке „Его сотворённое поле“, — возмутили не тон и не формулировка, даже не

присвоенное право говорить от имени народа... но то, как высоко поднялось это патронажное мнение: на юбилей к Василию Белову случайные люди попасть не могли. Позднее в других, не менее авторитетных устах я слышал его и в адрес Юрия Бондарева, и в адрес Виктора Астафьева по поводу „Игры“ и „Печального детектива“, и всякий раз, когда с непререкаемостью высшего судьи произносилось это „оскорбление интеллигенции“, „оскорбление народа“, всякий раз вспоминал я слова Фёдора Александровича о том, что правде, входящей в литературный салон, где любят толковать о правде, обидней всего быть неузнанной».

С такими старшими соратниками легче шагалось. И чтобы пояснить другу-читателю или недоброжелателю свою позицию, хотелось напомнить их судьбу, опыт, пример. А у Абрамова было что перенять. «Это был художник и труженик проникающего, мускулистого ума, что чувствовалось даже в разговорах, — свидетельствовал Распутин. — Вместе с ним говорить было трудно, он вёл мысль как борозду, распахивая её из глубины, выворачивая из-под слоя поверхностного и случайного, и, как всему, что достаётся в трудах, знал ей цену, умел добиться, чтобы его слушали».

И в нашем сознании, кроме нетускнеющего впечатления от эпопеи «Пряслины», других произведений Абрамова, останется и рассказ о нём Распутина — бережный и красочный:

«...в том, что происходит теперь по возрождению русского поля в широком смысле, есть и его работа, в которой он себя не жалел, и его правда. Так и вижу: стоит, только что услышав радостную весть об окончательном прекращении работ по переброске (северных и сибирских) рек, Фёдор Александрович посреди вновь распаханной запусти и говорит, обращаясь в родные просторы упрямо и уверенно: „А

как иначе? Так и должно быть! Или мы не великий народ?!“».

## «Талант астафьевской мощи...»

Наше поколение взрослело и творило свои судьбы с книгами Виктора Астафьева. Казалось, что во вчерашнюю литературу, высившуюся путеводными вехами, оставленными Шолоховым и Леоновым, Твардовским и Ахматовой, другими корифеями, пришёл мастер, которому сама народная душа поручила безбоязненно говорить о милосердии и жестокости, богатстве и убогости нашего бытия. Валентин Распутин будто бы и от лица поколения сказал Виктору Петровичу благодарные слова в своей статье о писателе «Все краски жизни»:

«Талант астафьевской мощи и страсти — явление редкое, в нынешней литературе по точности, красоте и эпическому полнозвучию народного языка он не имеет себе равных. Не слишком ли? Нет, не слишком. Писателей, обладающих народным словом, у нас немало, но для них оно, как правило, — профессиональный инструмент для наиболее верного и полезного выполнения мыслей, для Астафьева же оно — его жизнь и стихия. Когда читаешь его книги, такие, как „Последний поклон“, „Ода русскому огороду“ (а выше Распутин назвал и „Царь-рыбу“, „от начала до конца наполненную нежной и дерзостной любовью к родной земле“. — *А. Р.*), трудно отделаться от впечатления, что он как автор не извне брал, приискивая слово за словом в общем хранилище языка, а обходился могучими собственными недрами, и основная работа состояла в том, чтобы в интересах доступности и простоты повествования отбрасывать лишнее. словно бы безбрежная, словно бы языческая наполненность, играющая всеми красками подлинной жизни, — таково письмо Виктора Астафьева. Слово его



телесно и чувственно, образ его, что называется, кровь с молоком, людей в его книгах как-то не с руки называть героями или действующими лицами, они люди и есть, к которым трудно что-либо прибавить».

Правда, не знающая боязни. Вот что лежало в основе творческого характера писателя-фронтовика и что, без сомнения, принималось как завет его младшими сподвижниками. Далее Распутин писал:

«Такой дар мог быть дан, казалось, лишь для того, чтобы славить жизнь. Это талант праздника, торжества раздольной осанны. Астафьев её и славит, но его утверждение человеческого и природного бытия с немалыми трудами продирается сквозь боль и сомнения. Мироощущение наталкивается на практику жизни с её несправедливостью, несправедностью, совесть не всегда соглашается с натурой. И писатель подчиняется совести. Астафьев отнюдь не ломает голос, когда говорит и об одном, и о другом, и о здоровом, и о больном...»

Можно сказать, что в трезвом взгляде на жизнь, на литературу Валентин Распутин был схож с Виктором Петровичем. И слово иркутянина в данном случае воспринималось как их общее раздумье. Но прежде всего оно звучало как откровение самого автора статьи:

«Достигают ли цели усилия литературы по нравственному и духовному выправлению человека — сомнения такие навещают многих из нас. И всё-таки: не по племени освободившихся от души и от совести, от Родины и от веры следует судить о работе литературы... Огромный и беспокойный талант Виктора Астафьева — это талант действия и убеждения, нескончаемых хлопот по обретению человеком своей лучшей сути. Он не может мириться с заржавевшей правдой бытия, говорящей, что всегда и во все времена были добро и зло, поровну того и другого. Он против зла в любых долях. Однако литература — это не

„шприцевание“ добра, а только его предложение и доказательство. Чтобы оно стало частью человека, необходимо потрудиться и ему, человеку.

Над этим и бьётся неустанно писатель Виктор Астафьев, для этого и созданы все его книги. И бьётся с немалой пользой».

Это написано в начале восьмидесятых годов. Пройдёт только десять лет, и жесточайшая ломка народного бытия — житейских, нравственных, общественных устоев — разведёт двух писателей, оценивших по-разному трагедию Отечества. У каждого найдутся свои устные и письменные слова в эти дни, но уважение к таланту друг друга останется как огонь под пеплом новых суждений. И скорбное посещение Распутиным могилы Виктора Петровича в Овсянке останется в памяти соотечественников как пример благородства писательского сердца...

## «Евгению Носову можно верить...»

Думается, произведения писателей-фронтовиков Валентин Распутин читал чуткой душой, поверяя каждую строку рассказами своего отца. Неудивительно, что он не во всём согласился с автором романа «Прокляты и убиты», написанного Виктором Астафьевым уже в новейшие времена. Уж очень коробили сцены эковских порядков и правил, которые будто бы увидел в воинской части призывник первых дней Отечественной войны — герой этого романа. В статье «Мой манифест» Распутин без обиняков высказал своё мнение: «Теперь нашлись баталисты, которые и ратную службу в Великую Отечественную описывают как службу рабскую. Люди прекрасно понимали, что за Россию, за свою Россию, можно заплатить и чрезмерную цену...»

Это замечание попутное. А подробнее на тему, без преувеличения, кровоточащую Распутин высказался в очерке «Последнее... К девяностолетию со дня рождения Евгения Носова» о друге Виктора Петровича, фронтовике, тоже не согласившемся с автором романа «Прокляты и убиты».

«Уверен, — заметил Распутин, — что в рассказе „Памятная медаль“ Евгений Носов продолжил негласный спор со своим другом Виктором Астафьевым о том, как следует им, фронтовикам, писать войну. После публикации романа „Прокляты и убиты“ он отправил Астафьеву большое письмо, по пунктам разъясняя, где и почему он расходится с автором романа. К чести Астафьева, он напечатал это письмо в своём собрании сочинений. Но не согласился с Носовым. В войну они были окопниками, знали её нутро, помнили каждой клеточкой своих израненных тел, и вдруг

оказалось, что в нравственной оценке событий их воспоминания расходятся, будто один наблюдал их только глазами, а второй ещё и сердцем. Война — штука жёсткая, самая жёсткая из всего, что существует в мире. Евгений Носов испытал её на своей шкуре не менее, чем Астафьев, и описывал её не однажды, а в конце описал и в „Памятной медали“».

И дальше разговор, очертивший предмет разногласий двух близких людей, продолжен Распутиным как зрелым художником, твёрдо уяснившим для себя, что есть правда в литературе и как писатель отвечает за неё:

«Война ожесточает людей. Но по нравственному статусу писателя бывший воин не имеет права ожесточаться и переходить на грубый язык, в скверну окопного бытия, отдаваться, как клятвенный свидетель, тому низкому и звериному, без чего никакая война не обходится, и потом делать из этого окончательные выводы. Правда события не есть ещё историческая правда. Тем более не духовная правда и не художественная. Смертью персонажа можно грубо, как дубиной, пришибить читателя, а можно его и вдохновить. Такую ответственность и чтит Евгений Носов, автор „Усвятских шлемоносцев“, повести, несомненно, самой пронзительной и печальной о начале войны, известие о которой застаёт жителей деревни Усвяты за сенокосной страдой, но и самой вдохновенной, духоподъёмной повести, когда парни и мужики вынуждены переодеваться из крестьянского в ратное. Орадай, то есть пахарь, и ратник, то есть воин, — слова однокоренные, так случалось прежде в крестьянской России множество и множество раз: сегодня ты с сохой, а завтра — с мечом. Они уходят, эти усвятские шлемоносцы, далеко-далеко от родных околиц, но уходят не с обречённостью пушечного мяса, а со священной решимостью отстоять землю предков».

Распутин всегда связывал сочинения автора и его человеческую, духовную сущность. Для него это едино, одно дополняет другое, создавая образ цельный, живой. Вот и беседуя с читателем о творчестве Евгения Носова, он стремился передать и своё впечатление от встреч с писателем, и самочувствие вчерашнего солдата, и его взгляд на нынешние события, и его творческий настрой:

«Невольно вспоминаю, как в году 1989-м или 90-м, когда всюду правили бал в нашей стране пустые и злобные люди, когда окаянство, как государственный флаг, витало над улицами и площадями, мы с Евгением Ивановичем оказались в одной московской гостинице и по вечерам сходились у меня на чай. Жалобы и требования, разоблачения и ультиматумы, угрозы и подлости — едва ли не одни только эти „жанры“ и были тогда в обществе в ходу. И вдруг Евгений Иванович показывает мне массивную общую тетрадь с вклеенными в неё газетными вырезками и собственноручными записями о благородных человеческих поступках, которые, несмотря на непогоду, не попрятались в укрытия. Думаю, эта тетрадь с особой летописью добросклонности нашего народа сохранилась где-нибудь среди бумаг Носова. А может быть, и не одна. „Помогает?“ — спросил я тогда в гостинице, перелистывая тетрадь. Евгений Иванович покряхтел, покряхтел и отвечать не стал. А ответил он на него всей своей работой в последнее десятилетие».

Какие же качества выделил Распутин в «последних работах» старого мастера? Как всегда, главные, сохраняющиеся и в его собственной душе, неотменяемые. О них и говорить-то он привык как об отцовском завете:

«По этим рассказам видно, в какой прекрасной писательской форме до последнего дня оставался Евгений Иванович Носов. А ведь ему было 77. „Уже к

последним рядкам укос подобрался: к двадцать пятому да к двадцать шестому году“ — это из рассказа „Памятная медаль“, одного из прощальных, завещательных, написанных под занесённой косой. Но как написанного, как выпетого, с какой щедростью сдобренного золотой россыпью русского языка! Подобное долгожительство неувядающего таланта, даже в одном ряду с классиками, случается редко. Такое впечатление, что его творческий запас и не мог убыть, его духовная и нравственная чуткость, его мудрость и добродушие и не могли иссушиться, потому что личное, индивидуальное находилось в нём в непрекращающейся связи со всем лучшим, что сохранилось в нашем народе. Творческий источник писателя Носова, наделённого таким „сообщением“, был неиссякаем. Невольно любишься: сколько добрых, светящихся ласкательных слов находит он для самой суровой военной поры, — и когда находит? — почти в подобное же лихолетье! Но без них, считал он, нельзя. И пока не надышит он каждое слово добром и теплом — не поставит».

И как нравственное правило для каждого художника, выделяет Распутин в своём старшем собрате его незыблемое правило: «Писателю Евгению Носову можно верить. Никогда ничего, не утвердившись в своей правоте, он не сказал».

## Музыка жизни — музыка литературы

В книге «Георгий Свиридов в воспоминаниях современников» есть очерк Ивана Вишневого, который начиная с 1986 года работал сотрудником музыкальной редакции Всесоюзного радио и ко времени выхода в свет названного сборника, в 2006 году, оставался на той же должности и на том же (конечно, изменившем свой статус) радиоканале. Собственно, текст воспоминаний самого автора невелик, но ценность очерка заключается в том, что в нём он воспроизвёл магнитофонную запись своей беседы с великим композитором — о его сочинениях, о классической и современной русской музыке, о литературе, словом, разговор на темы самые разные, волновавшие Георгия Васильевича. Чувствуется, что каждое рассуждение его было искренним и выношенным.

В преамбуле Ивана Вишневого для начала стоит выделить такие строки:

«Свиридов был первым на том пути, по которому потом пошли многие — например, композитор Гаврилин или писатели Шукшин, Распутин, Белов. С 1936 года, с пушкинских романсов, продолжив в 1949 году „Страной отцов“, в 1955-м бёрнсовским циклом, а ещё отчётливее в 56-м году „Поэмой памяти Сергея Есенина“, Свиридов вернул русскому национальному искусству права гражданства в собственном отечестве, вырвав его из обыденных хоровых подделок под русское и выведя на ту орбиту, откуда светят нам „Страсти по Матфею“ Баха и „Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии“ — русская мистерия Римского-Корсакова. <... >

Я остро ощущал себя русским в стране размываемой русскости, и Свиридов был моим поводырем и наставником».

Я обращаюсь к записи Ивана Вишневского, поскольку в ней есть размышления Георгия Свиридова о литературе и писателях, в том числе о Распутине.

*«И. В.: Георгии Васильевич, мне кажется, что есть очень близкие к вам сейчас писатели-прозаики — по духу, по направленности своих сочинений — это Астафьев, Белов...*

*Г. С.: Распутин...*

*И. В.: Крупин...*

*Г. С.: Да, конечно, Крупин... Это люди, которых я высоко чту, очень уважаю и люблю их. Это замечательные люди. Без них наша жизнь лишилась бы очень многого.*

*И. В.: Не кажется ли вам, что они и вы делаете практически одно и то же, преследуете одни и те же цели в разных областях искусства? Вы видите эту близость?*

*Г. С.: Они близки моему сердцу, да. Я с восторгом их читаю. Это правдивая, замечательная литература. Но они и как люди — замечательные. С ними наслаждение общаться, разговаривать — это глубокие, страстные люди, живущие не для себя. К сожалению, многие люди сейчас живут только для себя. Либо они совсем зашибленные жизнью, либо, например, занимаются искусством и любят его только для себя. Честолюбие играет очень большую роль... А эти люди, о которых мы говорим сейчас, живут даже не то что сознательно, а всем существом своим живут для высшего. Без них наша жизнь была бы ужасна».*

Невольно думаешь: как интересно притяжение людей друг к другу. Они чувствуют, что близки по духу, тянутся один к другому, становятся друзьями, единомышленниками. И в итоге о Распутине можно



говорить словами, сказанными о Свиридове, и наоборот. Размышления композитора и писателя окажутся очень созвучными.

Примеров этому в книге воспоминаний о Георгии Васильевиче не счесть.

Валентин Распутин писал в очерке «Рядом с Мастером» после кончины Свиридова о сути его творчества — и слышится, что он исповедуется о своём:

«Свиридов сам дал и объяснение своему феномену, богатству и высоте своего дара: „Для меня Россия — страна простора, страна песни, страна печали, страна минора, страна Христа“. И всему этому он внимал так пристально и вдохновенно, что в духовных этих „упражнениях“, повторяемых ежедневно и ежечасно, щедро напитал и мускулатуру ума, и дивные переливы души <...>...как пахарь, засевающий и убирающий поле, творящий беспрестанно кормную работу, знает только одну Россию и этим знанием, этой работой не даёт ей распасться, так и Георгий Васильевич во все периоды своего творчества слагал лишь одну Родину — с тысячелетней историей, песенную, светлую, бессмертную...

Всю жизнь Свиридов писал не по принципу „несмотря на...“ — несмотря на суровую эпоху, заказные ритмы, грубое вмешательство в святая святых творческого процесса и т. д., а, напротив, „смотря на...“ — смотря на всё лучшее и святое, не подвластное никаким запретам, что сохранялось в человеке и жизни. Такие у него были глаза, такой слух. И такова была мощная и красивая устремлённость его раздольного светозарного таланта, под которым только греться да греться, ощущая своё счастливое восхождение к красоте».

А теперь слова композитора, записанные И. Вишневым, — не о Распутине ли они:

«Великое искусство обращено к людям. Мусоргский или, например, Бетховен, который написал Девятую симфонию: „Обнимитесь, миллионы!“ Он обращается к миллионам людей. И все настоящие, большие композиторы обращаются, говоря торжественно, к человечеству. Но они не то чтобы специально хотят понравиться. Настоящий художник не пишет для того, чтобы понравиться. Он пишет о том, что его волнует, но он хочет, чтобы его слышали. Он хочет что-то людям сказать, убедить их в чём-то».

И как совместное заявление двух художников, как общее мнение о своём служении искусству — высказывание Георгия Свиридова из записанной беседы, которую И. Вишневский озаглавил в своём очерке очень точно: «Заветное слово»:

«Часто у нас ведётся разговор об искусстве традиционном, об искусстве новом, новаторском и так далее. Искусства не нового не бывает! Не бывает искусства не нового — тогда оно не воздействует, если это повторение. Оно быстро отмирает, потому что есть всегда перед глазами лучший образец. Значит, искусство может быть только новым. Но искусство без традиции также не существует. Не бывает. Каждое искусство имеет свою генеалогию. Оно от каких-то корней развивается, растёт, — оно как дерево растёт. Другое дерево может быть рядом, от других корней растёт. И мне кажется, что сейчас для нашего искусства, которое очень много испытывало разнообразных влияний, особенно в двадцатый век, — самое, мне кажется, новое и самое ценное — это возврат к своим глубоким отечественным традициям. Это, мне кажется, самое свежее. Это самое новое сейчас. Музыка такого характера — её не так много, но она звучит очень свежо. Этот язык очень свеж, очень убедителен, и мне кажется, что это было бы самым

ценным, если бы наше искусство возвратилось к глубоким национальным традициям».

Сравните: не о том же ли говорил Валентин Распутин в статье «Мой манифест» — по-своему, не повторяя никого и не потрафляя никому, но так же выстраданно, с той же художественной убежденностью:

«...когда принимаются уверять с наслаждением, что русская литература приказала долго жить, — не там высматривают нашу литературу, не то принимают за неё. Она не может умереть раньше России, ибо, повторю, была не украшением её, которое можно сорвать, а её выговаривающейся духовной судьбой.

Не она умерла, а мертво то, что выдаёт себя за литературу, — приторная слащавость, вычурная измышлённость, пошлость, жестокость, рядящаяся под мужество, физиологическое вылизывание мест, которые положено прятать, — всё, чем промышляет чужая мораль и что является объедками с чужого стола. Таким обществом наша литература брезгует, она находится там, где пролегают отечественные и тропы, и вкусы.

...у национальной литературы нет и не может быть другого выбора, как до конца служить той земле, которой она была возвращена».

**Глава шестая**  
**ПОСЛЕДНИЙ СРОК —**  
**ПОДЕЛИТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ**

## Сага о матери

Летом 1970 года в журнале «Наш современник» появилась новая повесть Валентина Распутина «Последний срок». В ней писатель, по сути дела, продолжил разговор, начатый в повести «Деньги для Марии», — болезненный и важный не только для XX века. Если в первой из повестей речь шла о том, способны ли мы — каждый из нас — отвести беду от человека дальнего, некровного, то в новом произведении вопрос звучит жёстче: способны ли мы сохранить родство семейное, подаренное нам материнским и отцовским домом?

В новой повести в предсмертные часы матери сошлись её дети, и оказалось, что они почти чужие друг для друга. Что это — беда только деревни? И только русской? Нет и нет. Вектор нынешней жизни оказался полон ложных указателей.

Кажется, трагедию осознаёт лишь один человек — мать, старуха Анна. В её сердце остаётся ещё нерастраченная любовь к детям, боль за каждого из них, страстное желание свести их в одну дружную семью.

Эта повесть — песнь о матери, о её великой душе. Тринадцать детей родила Анна Степановна. Четверо умерли от болезней, один нежданно-негаданно младенцем, трое погибли на фронте, пятеро остаются на земле, в разных её уголках. И все эти тринадцать жизней, как негасимые свечи, теплились в материнской памяти. Не сказать, что пятеро живущих только радовали мать, случалось, и огорчали, и обижали, но рассказ об умирающей женщине — это не повествование о её обидах, это именно песнь о её великодушном, любящем, всепрощающем и потому

бессмертном сердце. Трудно удержаться, чтобы не напомнить, как старуха Анна любит свои неангельскими детьми.

«Они все были тут, возле неё, она обвела их неверным и всё-таки гордым взглядом и уже спокойнее, сохраняя силы, продолжала:

— Меня будто в бок кто толкнул: ребята приехали! Нет, думаю, я сперва на ребят своих погляжу, а уж после помру — боле мне ниче-о не надо.

Говорить ей всё же было трудно, она поневоле умолкла. Но радость, оттого что она видит перед собой своих ребят, не давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь, забивала горло. Они все были возле матери и, чтобы она не отзывалась им, тоже молчали, берегли её. Старуха несколько раз принималась плакать, глядела на них суматошно и нетерпеливо, вздрагивая маленькой головой, когда переводила глаза с одного на другого, и только узнавала их: это Илья, это Варвара, это Люся, но от слёз ли или глаза сами по себе видели ещё плохо, не могла рассмотреть их как следует и от этого сердилась на себя. Ей вдруг опять пришло в голову, что всё вокруг неё неправда — сон или видение, последнее воспоминание о прожитой жизни — потому и стоит перед глазами туман».

«— Ну, мать, молодец ты у нас, — с весёлым удивлением покачал головой Илья. — Давно ли слова не могла сказать, и вот, пожалуйста, всю разговорила. Прямо как по писаному чешешь...

— Это всё вы, — просто объяснила старуха. — Из-за вас. Я и там уж была. Там, там, я знаю. А вы приехали — я назад. Мёртвая не мёртвая, а назад, сюда к вам воротилась. — Голос её тянулся тонкой, западающей ниточкой, которая то терялась, то находилась снова. — Бог помог. Он мне и силу дал, чтоб я маненько на

человека походила. Чтоб вам не сильно меня пугаться, чтоб рядышком со мной сидеть можно было.

— Интересно ты, мать, рассуждаешь.

— У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Чё тут говорить! Да ишо если столько не видала их. Мне тоже охота под послед словом с вами перекинуться. Я от рук, от ног последнее отыму, а голосу добавлю. А он и сам идёт, без меня. Я только зачну, а дальше он сам, покуль не устанет. От начать, правда что, тяжело. Вроде сперва на вышину надо запрыгнуть. И одышка ишо берёт. От и сичас. Погодите».

«— Побудьте. Я не стану вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это я сичас разговорелась, долго не видала вас. От радости сама над собой не владею. Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим делом, каким охота, а я за день хоть раз на вас взгляну, и мне хватит...

Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:

— Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нить, как птица какая, и всем рассказала бы... Господи...»

И мир вокруг, и комната, где лежала Анна, озарились иным светом, этот свет бесследно стёр все давние беды и страдания матери:

«Солнце теперь доставало до потолка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам. Всё здесь было знакомо, всё было родное старухиным ребятам, и всё, казалось, чутко повторяло мать: заговаривало вместе с ней или умолкало, вглядывалось в них с ласковой и горделивой настойчивостью и отзывалось тихим, неназойливым вниманием. Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своём месте после неё, — похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты и держатся

только благодаря друг другу. По полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах — везде».

И вновь — неукоснительная правда. Писатель словно открыл завесу над жизнью людей, с которыми решил познакомить читателя, и эта жизнь предстала без всяких утаек и преувеличений, такая, какая есть. И даже удивишься, если найдётся охотник что-то оспорить в этой картине жизни: да что же тут прибавлено или убавлено, если автор и не пытался вести героя туда, куда тому не надо, и не подсказывал герою того, что тот не хотел сказать!

Может быть, на вопросы, откуда берёт писатель своих героев и как он сохраняет в неприкосновенности правду их судеб и характеров, ответил отчасти сам Валентин Распутин в нашей беседе, опубликованной, как упоминалось, в 2002 году:

«Я в предисловии к двухтомнику<sup>[12]</sup> написал, что если бы мне было дано две жизни, то и тогда мне не хватило бы времени описать всех интересных людей даже своей родной деревни в сорок с небольшим дворов. Люди самые обыкновенные, но в каждом было что-то такое, что сразу замечалось тогда, в детстве, и что теперь, с возрастом, отыскивается в их облике трудней. А то, давнее, впечатление осталось навсегда: у каждого была своя речь, своё отношение ко всему на свете. Есть у меня рассказ „Тётка Улита“. В нём я описал свою односельчанку, совершенно замечательную старуху. В жизни у неё удивительная по красочности, по меткости речь. И своё, какое-то дотошное, отношение к жизни, страсть доискиваться до корней. Эта тётка Улита появляется у меня в рассказах и повестях не один раз, только не везде она названа своим именем.



К примеру, в „Последнем сроке“ это — Мирониха, соседка старухи Анны, главной героини. И в последних моих рассказах тётка Улита присутствует. А казалось бы, незаметный человек. Но необыкновенный! Часто забывается какой-то человек и вдруг — всплывают в памяти его поступки, подробности его жизни, вспоминаются слова, которые он говаривал. Это, знаешь, похоже на тайное требование, не от него исходящее и не мною вызванное. Это какая-то третья сила говорит: „Вот ты забыл об этом человеке, а он достоин того, чтобы о нём написать“».

## С заглядом вперёд

Тогда, во время упомянутой беседы, я спросил писателя:

— Эти повести — своего рода художественные прозрения? Или настоящая литература и должна исследовать жизнь с заглядом вперёд, с глубинным пониманием того, куда направлен ход бытия, как писал Есенин, «куда несёт нас рок событий»?

Валентин Григорьевич ответил:

— Те перемены, социальные и нравственные, которые приносило время, — они невольно откладывались в сознании, в душе. Первые мои повести «Деньги для Марии», «Последний срок»... в них шла речь о переменах, которые случились в деревне, в крестьянской артели, в крестьянском обществе. Эти нравственные перемены тогда ещё мало были заметны, но уже чувствовались. Происходил поворот к индивидуализму, который никогда не был присущ русскому крестьянину и который сейчас начинает проявляться во всей своей безобразной наготе. А тогда это чувствовалось лишь по сравнению с первыми послевоенными годами, когда люди в деревне жили, как одна семья, помогали друг другу переносить лихолетье.

Повесть «Деньги для Марии» написана в шестьдесят седьмом году, тогда уже, пусть малозаметно, чувствовалось, что каждая деревенская семья замыкается в себе. В «Последнем сроке» это показано ещё нагляднее: семья, которая была слитным организмом, жила, как один корень, начала разъединяться.

Отток из деревни в город увеличивался. И если создавалась молодая семья, то она ставила свой дом не

на родном подворье или около него, а ставила отдельно, часто вдалеке. Это географическое расстояние превращалось в нравственное отъединение.

Дети старухи Анны, которые разъехались в разные стороны, встречаясь дома накануне смерти матери, уже не понимают друг друга. Их соединяют только воспоминания о днях, которые они провели когда-то в отчем доме. Тут они искренни, тут их чувства неподдельны. Но как только разговор заходит о современной жизни, они понимают друг друга всё хуже и хуже. Одна из моих героинь, Таньчора, самая любимая дочь старухи, уехала куда-то на Украину, её ждут не дождутся в доме умирающей матери. Может быть, она опаздывает по уважительной причине, а может быть, очерствела больше других. Критики тогда писали, что вот, мол, Распутин выводит некую закономерность: чем ближе человек к родной земле, тем он нравственнее, тем больше в его душе доброго и чистого. Скажем, Варвара уехала совсем недалеко, в район, поэтому свои истоки она ещё помнит, хотя и не скрывает отчуждения. Люся оказалась в городе, эта уже с трудом понимает родных. Илья помыкался по белому свету, отвык от дома, ему приходится делать усилия, чтобы вспомнить о родстве, восстановить душевную близость с братом и сёстрами. И только Михаил, который остался в родительском доме, этот грубоватый, пьющий человек, сохранил в себе больше всех. С ним всё, что он получил от рождения. Последние страницы повести свидетельствуют, что он-то, может быть, и оказался самым нравственным из всех детей старухи Анны.

## Врачующее слово — «Господи»

Вдумчивый читатель обратит внимание на православный дух многих страниц повести «Последний срок». «Откуда это? — удивится иной. — Книга написана в конце шестидесятых годов. Попробуй тогда заикнись о православии! Да и писатель-то в молодости, наверное, был атеистом. Нет-нет, не надо натяжек...»

Но не будем горячиться. Старухе Анне восемьдесят лет, она с достоинством напоминает о себе и о своей подружке Миронихе: «Мы ить крещёные, у нас Бог есть». И всякий раз свои воспоминания о прожитой жизни, предсмертные видения, которые не только не пугают её, но просветляют и умиротворяют её душу, связывает она с Божьим промыслом. То ей слышится небесный ангельский звук:

«В ушах легонько зазвенело дальним приятным звоном, и так же неожиданно, как возник, этот звон прекратился. Старуха стала вспоминать, откуда он мог взяться, и решила, что он сохранился в ней ещё с той поры, когда она была молодой, — тогда она часто его слыхала и запомнила на всю жизнь. Он не мог обмануть её, он был живой.

— Господи, — прошептала старуха. — Господи».

То утренний свет, как посланец жизни, опять возвратит ей надежду — дождаться небесного обещания судьбы, приезда дочери Таньчоры:

«Она подняла глаза и увидала, что, как лесенки, перекинутые через небо, по которым можно ступать только босиком, поверху бьют суматошные от радости, ещё не нашедшие землю солнечные лучи. От них старухе сразу сделалось теплее, и она прошептала:

— Господи...»

То горестно расскажет дочери Люсе, как она ждала нового утра:

«Ночь сильно длинная мне показалась, с целый год. Об чём я только не передумала! И с мамкой со своей поговорела, сказала, что вскорости буду. И про Таньчору Богу помолилась, чтоб пропустил он её к мне, когда видал где. Только бы она сёдни приехала, а то ить я могу и не дожждаться. Я уж по себе вижу, что я не своей жистью живу, что это Бог мне за-ради вас добавки дал, а у ей, подимте, тоже конец есть. Как нету — есть, есть».

И эти речи, эти чувства старой женщины с пониманием, тепло и бережно переданы автором. Было бы естественным читать повесть вслед за произведениями Лескова, Бунина, Шмелёва, Зайцева; там и здесь совпадал взгляд на человеческую судьбу. Это не натяжка; попробуйте прочесть ещё несколько отрывков из «Последнего срока», не вспоминая того, что уже почерпнули вы из книг упомянутых и не упомянутых классиков. Думаю, у вас не получится.

«Её завораживало солнце, но не тот огненный шар, который сиял в небе, а то, что попадало от него на землю и согревало её, вот уже второй день старуха, напрягаясь, искала в нём что-то помимо тепла и света и не могла вспомнить, найти. Она не тревожилась: то, что должно ей открыться, всё равно откроется, а пока, наверно, ещё нельзя, не время. Старуха верила, что, умирая, она узнает не только это, но и много других секретов, которые не дано знать при жизни и которые в конце концов скажут ей вековечную тайну — что с ней было и что будет. Она боялась гадать об этом и всё-таки в последние годы всё чаще и чаще думала о солнце, земле, траве, о птичках, деревьях, дожде и снеге — обо всём, что живёт рядом с человеком, давая ему от себя радость, и готовит его к концу, обещая свою помощь и утешение. И то, что всё это останется после неё,

успокаивало старуху: необязательно быть здесь, чтобы слышать их повторяющийся зовущий голос — повторяющийся для того, чтобы не потерять красоту и веру, и зовущий одинаково к жизни и смерти».

Мне кажется, это мог написать тот человек, который не только вдумчиво читал, но и перечитывал, например, строки из романа Толстого «Война и мир» о предсмертных минутах князя Андрея — речь не об ученическом подражании, не о стремлении показать, что и «мы не лыком шиты». Пожалуй, тут другое: автор на ином уровне попытался открыть сокровенные тайны жизни и смерти. У Толстого это звучит так:

«Князь Андрей не только знал, что он умрёт, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчуждённости от всего земного и радостной и странной лёгкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далёкое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той странной лёгкости бытия, которую он испытывал, — почти понятное и ощущаемое.

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его мгновенно, как бы освобождённый от удерживавшего его гнёта жизни, распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней».

Распутинское описание последних часов жизни старухи Анны созвучно строкам Толстого именно

ощущением божественной сущности нашей жизни  
*здесь и там.*

## В глубинах духа

Эта особенность творчества Валентина Распутина — открывать глубины духа, — проявившаяся уже в первых его произведениях, почти не была замечена критиками. А ведь она почерпнута из русской классики. Книги Гоголя и Достоевского, Л. Толстого и Чехова, Шмелёва и Бунина давали важный для любого художника урок. Как это ни покажется странным, суть его наиболее чётко выразил Александр Блок в статье «О назначении поэта»:

«На бездонных глубинах духа, где человек перестаёт быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир.

Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира...

Первое дело, которого требует от поэта его служение, — бросить „заботы суетного света“ для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину.

...вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения».

Не здесь ли ключ к размышлениям старухи Анны и старухи Дарьи, к душевным терзаниям Марии и Кузьмы, к поведению Василия и Василисы, к странным для взрослых чувствам Ио, юной героини рассказа «Рудольфио»?

Вспоминаю, как осенью семидесятого года, приехав на двухгодичную учёбу в Москву, встретился здесь в



очередной раз с Александром Вампиловым. Чуть не первым вопросом Александра был вопрос о новой повести Валентина Распутина:

— Ты прочитал «Последний срок»?

— Конечно. Я уже несколько лет выписываю журнал «Наш современник». И как раз перед отъездом сюда прочитал повесть.

— Валя широко-о пошёл, — выделяя, удлинняя звучанием второе слово, сказал Вампилов. Надо было знать Сашу, чтобы за его сдержанным, но явным одобрением и восхищением почувствовать многозначный смысл его оценки. «Широко пошёл» — вовсе не значило, что друг начал широко печататься, что его признали и о нём заговорили. Нет, «широко пошёл» — значило: написал вещь с широким охватом жизни, с глубинным, как у классиков, пониманием скрытых мотивов и чувств героев. Вампилов, написавший к этому времени свою великую драму «Утиная охота», уже постиг подлинные черты настоящей литературы...

Впрочем, и популярность молодого писателя тоже была бесспорна. Повесть «Последний срок» вышла одновременно в издательствах Иркутска, Новосибирска, Москвы, в переводе на эстонский язык — в Таллине, на словацкий — в Братиславе. Некоторые рассказы, не публиковавшиеся ранее за рубежом, появились в журналах Польши, Болгарии, Чехословакии, ФРГ. Имя Валентина Распутина всё чаще упоминалось европейскими критиками.

## **В имени слышится: Русь...**

В мае 1971 года в семье Распутиных появилось пополнение: родилась дочка. Назвали её Марией, но с первых же дней все родственники стали звать её по старой русской (а точнее — деревенской) традиции Марусей. Валентин был счастлив. Ещё с рождения сына Серёжи вошло в правило, что отец ежедневно гуляет с ребёнком, читает ему сказки, а когда малыша снарядили в школу, папиной обязанностью стало посещение родительских собраний.

Валерий Хайрюзов, в то время начинающий прозаик, оказавшись однажды в иркутском Доме литераторов вместе с Валентином и другими молодыми писателями, заметил, как Распутин торопился домой:

«Всей компанией мы пошли вдоль Ангары в сторону Белого дома. Незаметно дошли до драмтеатра, остановились. — Мне пора, — сказал Распутин. — Маруся болеет». Сохранилось письмо Валентина его тобольскому знакомому Василию Юровских, автору книги для детей «Материнское благословение». Распутин, всегда внимательный к своим коллегам, благодарит за присланный писателем сборник и с дружеской теплотой добавляет:

«Книжка прекрасная. Я имею в виду и то, как издана, и, главное, то, что в ней. Это большая редкость и радость, чтобы тексту, духу книжки было найдено столь точное, уютное и добротное жильё, этакий терем-теремок. У меня ведь дочь, которой исполнилось на днях восемь лет, и мы с ней твою книжку по вечерам читаем».

Забавную подробность о «литературном вкусе» ещё маленькой, но самостоятельной Маруси упомянул Владимир Крупин в своих мемуарных записках:

«Как-то, отправляясь за рубеж, отец спросил у Маруси: „Доченька, что тебе привезти?“ — „Стихи о Ленине“, — не задумываясь, ответила она».

О детях часто говорят: это дочь (или сын) своего отца или своей матери. В случае с Марусей такое утверждение касалось обоих родителей. Она переняла не только внешнее сходство с ними, она унаследовала их душу. Валентин Григорьевич описал пятилетнюю Марусю и её зарождающийся характер в рассказе «Что передать вороне?». Характер складывался похожим на отцовский:

«Я забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врождённый, но не затвердевший ещё характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею».

Вероятно, это Маруся, учась в школе, «распорядилась» так, чтобы отец взял «шефство» над её классом. Любимая учительница девочки, классная руководительница Александра Ивановна Бушмагина, вспоминала позже:

«Валентин Григорьевич был первым помощником во всех наших внеклассных начинаниях. То зайдёт в школу, то позвонит мне: „Какие у вас заботы, чем помочь?“ Дарил классу книги. И не только свои, но и тех авторов, которых отличал, ценил. Ребята любили „классные часы“, которые он проводил. Мы выбирали тему беседы, а Валентин Григорьевич готовился к разговору. И всегда детям было интересно с ним. Он был в нашей школе своим человеком».

«Светлана — моя сестра и Марусина мама — рассказывала, как они любили ходить на пляж, проводили там целый день, — писала в воспоминаниях Евгения Ивановна Молчанова. — Серёжа с воодушевлением разводил костёр, варил с помощью мамы в котелке похлёбку, кипятил чай. Вместе сооружали из веток шалаш, где и укладывалась после обеда спать младшая сестра, и отцу предоставлялась возможность спокойно в тишине работать. Здесь Валентину очень хорошо работалось. Именно здесь, на даче, в порту Байкал написаны его знаменитые произведения: рассказы „Что передать вороне?“, „Наташа“, „Век живи — век люби“, повесть „Прощание с Матёрой“. Через несколько лет Распутины купили дачу поближе к городу, на 28-м километре байкальского тракта. А домик в порту Байкал был подарен нам, чему мы были очень рады и благодарны. Живём в нём уже более тридцати пяти лет. Маруся, приехав на Байкал, сразу предлагала отправляться „в походы“: на маяк, где можно было полюбоваться прекрасным видом, а заодно и пособирать душицу; в лес за грибами, за старыми коричневыми листьями бадана, которыми можно заваривать очень вкусный и ароматный чай; на первый туннель, на который мы забирались и разглядывали диковинную заячью капусту...»

**Глава седьмая**  
**КАКИЕ МЫ ДЕТИ ТВОИ, МАТЬ-**  
**ЗЕМЛЯ?**

## Без чего нельзя жить

В 1972 году Валентин Распутин публикует повесть «Вниз и вверх по течению» (в журнале «Наш современник» — «Вниз по течению»), которую назвал в подзаголовке «очерком одной поездки». Её сюжет — поездка молодого писателя в родные ангарские места после долгого перерыва. В нём угадывается сам автор. В отличие от предыдущих художественных произведений, где Распутин устами героев с любовью говорил о благословенном уголке Сибири и с болью — о нависших над ним бедах, в новой повести он ведёт рассказ словно бы от своего имени. Эта особенность сказывается и на выстраданности размышлений, и на эмоциональном «градусе» повествования.

Майским вечером, добираясь в деревню на теплоходе, который плывёт уже не по реке, а по рукотворному морю, разлившемуся после сооружения мощной ГЭС, рассказчик переживает мучительное чувство:

«...чистые, негромкие звуки, пятнавшие наползающую на землю тишину, чуткость, отзывчивость и ненадёжность всего этого, вызывали в нём сладкое и томительное чувство благодарности и любви. „Как же так? — упрекая и сокрушаясь в забытьи, рассуждал он. — Почему мы на вред себе не хотим замечать то, что нам необходимо знать и видеть в первую очередь? Почему так много времени мы проводим в хлопотах о хлебе едином, и так редко поднимаем глаза вокруг себя, и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это моё и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?“».

Это было редкое для тогдашней литературы стремление: описать не только земную, но и тайную, «небесную» жизнь души, её устремлённость в иные, вечные пределы. Речь не о загробной жизни, а о постижении высших смыслов бытия и сопоставлении с ними каждого нашего поступка и каждого шага. В этом сказывался творческий урок русских писателей и православных философов второй половины XIX — начала XX века. В 1970-е годы в одной из бесед Валентин Распутин признавался:

«Сейчас писателю нельзя без классики, без постоянного перечитывания Достоевского, Толстого, Тургенева, Гоголя, Лескова, Бунина и других. Если говорить о моём круге чтения, то... постоянно приходится перечитывать, заново читать то, что было пропущено... Наша литература всегда была высоконравственной. Это относится не только к художественной литературе, это относится и к нашей философии, к нашим писателям-философам. А их действительно нужно называть писателями, потому что это были философы необходимого нравственного направления. Мы их, к сожалению, знаем очень мало, знаем не полностью, знаем по нескольким статьям или книгам. А знать их необходимо. И этот пробел я постоянно стараюсь восполнять».

Любопытно, что в эти годы молодой писатель и на своё творчество смотрит сквозь призму такого отношения к жизни. В повести «Вниз и вверх по течению» он ставит себе жёсткий вопрос: а знаешь ли ты душу своего героя настолько, чтобы касаться тайны его чувств, поступков, наконец, божественной сути бытия?

«Давно уже, года два назад, Виктор видел запомнившийся ему сон. Собственно, это был даже не сон, а что-то среднее между сном и обыкновенными, вполне контролируемыми размышлениями,

составившими в забвении горячую картину, бред истерзанного сомнениями мозга. У Виктора тогда только что вышла книжка рассказов, в которой была одна история об умирающем старике, со всеми вытекающими отсюда вздохами, ахами, мыслями и чувствованиями — не чувствами, а именно чувствованиями, поскольку последнее предполагало более тонкий разрез человеческой души. Мало того — как всякий неопытный и потому смелый писатель, Виктор пошёл ещё дальше: попытался перебраться за черту, которая отделяет одно состояние от другого. Потом он догадался, что этого делать не следовало, но догадался, разумеется, поздно.

И вот будто встал на пороге человек старого, почти прозрачного вида, очень похожий на дедушку Виктора, но с более тонким, благообразно-удлинённым, интеллигентным лицом (дедушка у Виктора был обыкновенный медвежатник; впрочем, подобная обыкновенность теперь уже стала редкостью). Встал этот человек из своего небытия и говорит:

— Прочитал я твою книжку.

— И как? — спрашивает Виктор, конечно, с надеждой, что книжка понравилась.

— А так, — вздохнув, отвечает тот. — Я не понимаю... — Он долго и задумчиво, с печальной пронизательностью качает головой. — Не понимаю, зачем нужно писать о том, чего ты не можешь знать. Совсем не можешь, никак. Это не похоже ни на что совершенно, что у вас есть. Это настолько больше и значительней, настолько невероятней того, что может придумать ваша бедная фантазия... И потом... — полудедушка-полупрофессор грустно улыбается, — ваши слова не годятся для этого. Они слишком мелки, слишком коротки. Вы о своём-то, — опять вздох, — о человеческом не можете говорить как следует, а тут вон куда захотел, в такую тайну! Так, кажется, просто



сказать, что хочешь, — нет, не можете. Что-то видите, что-то слышите, что-то чувствуете, а что именно, не скажете или скажете неточно, приблизительно, невпопад. До чего же вы любите говорить приблизительно, ходить вокруг да около. Ах, Боже мой... А ты спрашиваешь: как? Когда ты встанешь на моё место и будешь знать то, что знаю я, тогда лишь ты по-настоящему поймёшь, как слаб сейчас и немощен. Вот так. Если ты и впредь собираешься писать — дело твоё, но только не ходи никогда дальше своих сил».

Какой мудрый совет человеку, решившему описывать чужие души и чужие жизни со всеми их тайнами, приобретениями и потерями: «не ходи никогда дальше своих сил». Распутин и брался лишь за то, что было подъёмно для его духовных сил, но силы эти он постоянно стремился приумножать.

Собственно, при чтении распутинских произведений той поры, в которых он так проникновенно вспоминает о своём детстве, на ум приходят страницы его великих учителей — «Детство» и «Отрочество» Толстого, «Степь» Чехова, «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Лето Господне» Шмелёва. И здесь мы говорим не о подражании, а о духе сочинений, их нравственном тоне.

В повести Чехова «Степь» мальчик Егорушка едет вместе с ямщиками, сопровождающими обоз с тюками шерсти, на юг России. Рядом с бывалыми путниками он открывает большую родину, взрослую жизнь, и всё это производит на нас чарующее впечатление:

«Попадается по пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная бог весть кем и когда, бесшумно пролетит над землёю ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полёте ночной птицы,

во всём, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа даёт отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей...»

А разве у Распутина в повести не то же ощущение счастливой полноты бытия при виде могучей реки, необъятной тайги до горизонта, плывущего к родному дому парохода? Сходны сам тон рассказа, чувство окрылённости, столь естественное в такой поездке:

«Он (Виктор. — *А. Р.*) плыл в воздухе, совсем один, сворачивая то к дальним молчаливым горам или чёрным пашням, то снова возвращаясь к реке, и всё, что оставалось позади него, уходило ко сну. Он плыл, благословляя открывшиеся ему в свой сокровенный час родные места на отдых и силу, и слышал, как они отзываются ему благодарным шёпотом.

Как хорошо теперь на островах, где поднимаются мягкие и нежные, будто мех, травы и особенно ярко и щедро цветут цветы, где запахи воды, земли и буйной зелени смешиваются в тонкий и острый хмельной настой, который, несмотря на вечные ветры, никогда не пропадает, лишь к осени становится острее и суше. От ветров гнутся в одну сторону деревья, но стоят крепко, кряжисто, широко раскинув цепкие и тугие корни. Возле воды заросли ольхи и тальника, а в нём ягодник — больше всего смородины. И всегда на острове возникает удивительное — обманчивое и одновременно верное — ощущение движения, словно ты на корабле, на пароходе, плывущем медленно и важно, и возникает оно не столько от воды кругом, сколько от волнующего чувства какой-то приподнятости над землёй, пьянящего и желанного паренья. Знаешь, что стоишь на твёрдой земле, но под ногами, передвигаясь, мелко вздрагивает, поворачивает то влево, то вправо, и ты

уже не в состоянии сопротивляться — плывёшь куда-то осторожно и загадочно».

## Скорбит душа

Однако в повести «Вниз и вверх по течению» уже пробивается та скорбь, которая зазвучит лейтмотивом в новой книге «Прощание с Матёрой». Молодой писатель плывёт на пароходе по рукотворному морю через несколько лет после затопления ангарских берегов. Ему, выросшему в заповедном уголке Сибири, всё, что он теперь видит, кажется апокалипсисом, дьявольским надругательством над его родной землёй.

«...Виктор проснулся от странного и длинного скребущего звука — будто теплоход трётся обо что-то бортом. Он прислушался: нет, теплоход двигался, его мерные и частые, подхватывающие друг друга толчки чувствовались отчётливо... Зевая и морщась ото сна, Виктор поднялся с постели, опустил вниз и с трудом закрепил на задвижке срывающуюся решётку и вдруг отшатнулся: перед его лицом, едва не задев, подпрыгнула и исчезла грязная острая ветка. Впору было перекреститься: теплоход двигался по лесу. Мимо, царапая ветвями борт и оставляя на палубе сучки, проплыли две стоящие рядом берёзы, потом показалась верхушка сосны, потом снова берёза.

Виктор торопливо оделся и вышел на воздух. Теплоход пробирался внутрь какого-то неведомого широкого залива, с берегов которого далеко в воду уходили деревья. Они торчали и впереди и сзади. Первое впечатление двоилось и подменялось; неясно было, что удивительней и невероятней: то ли считать теплоход, осторожно ползущий среди деревьев, огромным доисторическим чудовищем, то ли смотреть на деревья, растущие из воды, как на какую-то фантастическую картину».

В первые же минуты встречи героя со своими близкими в доме на новом, обезображенном берегу он чувствует, что небывалые перемены перевернули не только уклад жизни деревни, но и самочувствие людей. Потрясение, душевное смятение, невозможность в одночасье приспособиться к чуждому быту — всё это с болью видит Виктор. словно родные люди пережили светопреставление, он нетерпеливо спрашивает:

«— А как вода поднималась?..

— Ты думаешь, валом? — заговорил отец и покачал головой. — Нет. Но ходко. — Он ещё помолчал. — А я перед тем всё спускался туда. На бережку посижу, по улице, где избы стояли, пройдусь...

— Тянуло, — подтвердил Николай. — Я тоже ходил. Она ругается, — он кивнул на Настю, — то, сё надо по дому, а меня туда манит. Уж знали, что вот-вот будут затоплять. Жалко. Вроде как прощаться ходили. С работы приду, поем — не поем, а уж под гору надо. Воровски убегу и прячусь где-нибудь. Видишь: в одном месте наш бродит, в другом... Дядю Егора Плотникова Мишка каждый день матом оттуда выгонял. Сядет и сидит, ночь — не ночь, он как пристынет.

— Ага, — вскинулась бабушка, слушавшая до того с нетерпеливо-мучительным напряжением на лице. — А мёртвых утопленниками сделали — это как? Они уж померли, а с ними всё равно не посчитались. Это как?

— Да что уж сейчас про мёртвых говорить...

— А пошто не говорить? Там твоя бабка лежала. Все наши там лежали. А теперь где их искать, под каким берегом?

— Ну вот, — стал продолжать отец. — А в последний раз так было. Только с горы спускаться, гляжу: река уж взбучилась, кипит. Я скорей туда. Боюсь, не утонуть бы, а ноги несут, не удержишь. До дороги добежал, а вода с другой стороны, как раз до нашего двора дошла. И лезет, лезет, глазом видно, что лезет. Я прячусь от неё,

но смотрю, не убегаю. Сор подняло, какой был, угли, крапиву, лебеду теревит. До избы докатилась, где изба наша стояла, и воронкой давай крутить — в подполье, значит, кинулась. Пока смотрел, оглянулся, а она уж меня со стороны обошла, уж брести надо. На первую гору за Егоровым огородом залез, вижу, народ из деревни бежит. А сначала один был, никого больше, первый её, холеру, встретил.

— А мы в тот день на покос ходили, — вспомнила Настя. — Ты был тогда, нет ли? — повернулась она к Николаю.

— А кто с тобой, интересно, ещё был, если не я? Может, Стёпка-казак на нашу корову косил?

— А, был, был. Туда утром ушли — всё ничего, обратно к речке подбегаем — батюшки вы мои! — это что ж такое на белом свете деется! Мостик через речку сорвало, он, голубчик, посередке плавает, а вода по траве — ш-ш-ш — так и шумит, так и шумит. Как домой попадать? Полезли мы опять в гору. Далек-о пришлось обходить, до старой верховской дороги дошли — нигде больше не перебраться. Бегу и боюсь: а ну как всё на свете этой водой затопило — и старую деревню, и новую. Он, — на Николая, — на меня кричит: дура да дура. А что дура? Ежели никогда такого не бывало, поневоле испугаешься. Откуда что знаешь? Долго ли ошибиться, кто эту воду пускал. Потом её разве остановишь? А там ребятишки — конечно, сердце не на месте. В потёмках уж на поле выскочили — слава Богу, живы наши избёнки, стоят. А там, где старая деревня была, вода блестит».

И сам писатель, которому было так понятно и близко потрясение родных людей, тоже не мог оправиться от потери — ушли в чёрную темь отчее село, могилы бабушек и дедушек, близкие с детства тропинки, лесные лужайки, приречный песок. Ушла такая часть прошлой жизни, без которой будто

осиротела душа, затмились вековая любовь и надежда. Рассказчик говорит о своём герое:

«Виктор никак не мог привыкнуть к тому, что он уже приехал, ему казалось, будто он всё ещё в дороге и остановился где-то неподалёку от родной деревни... Он был рядом и всё-таки в стороне, и там, где он теперь находился, висело другое небо — однобокое и неровное, сильно смещённое в один край над водой; лежала другая земля, в редкие сокровенные минуты напоминающая ту, на которой он рос, и всё же чужая и неясная; гнулись под небом другие горизонты и стояло в центре всего этого другое село — большое, пёстрое и шумное. Он готов был поверить, что приехал сюда не вовремя — или слишком поздно, или рано, но не в свой час, затерявшийся неизвестно где по ту или другую сторону от этих дней».

Мы понимаем, что потеря эта не просто житейская, потеря эта духовная: погибшее богатство имело отношение к народной судьбе, к истории малой и большой родины. Недаром же в другом месте повести автор заметил, откуда, из каких глубин пришла красота его края и для каких сиюминутных выгод цивилизации она погублена:

«Не витал в поднебесье над этими многими водами чистый и ветхий дух тайны, заставляющий в детском изумлении перед красотой вопрошать ежедневно и ежечасно: как, зачем, с каких пор, откуда это взялось и продолжает браться? Перестала трепетно и пламенно, обмирая от глубины, биться душа над пропастью времени, и ушло, закрылось прочной крышкой ощущение вечности. Всё здесь было понятно — и как, и зачем, и с каких пор, и с какой целью».

От этой повести было уже недалеко до «Прощания с Матёрой»: осознание нравственных потерь, которые несёт с собой рациональный век, было выражено в

новом произведении с потрясающей исповедальностью и художественной мощью.

А что касается места повести «Вниз и вверх по течению» в творчестве сибиряка, то Виктор Астафьев заметил: «Завершив очень важный начальный этап в работе, он (В. Распутин. — *А. Р.*) как бы отошёл чуть в сторону, чтобы взглянуть на ту дорогу, какую он сам себе торил, да и поразмыслить о дальнейшей своей судьбе, стало быть, и о судьбе родной земли».



**Глава восьмая**  
**«НАПИСАЛ ЧТО-ТО**  
**ПОТРЯСАЮЩЕЕ...»**

## «Ой, дадут Вале за повесть...»

Новая публикация Валентина Распутина в журнале «Наш современник» — повесть «Живи и помни» — появилась осенью 1974 года. Бывают в спокойной, размеренной жизни события необыкновенные, никем не ожидаемые, вроде взрыва или пожара поблизости, на глазах у всех. В привычном течении тогдашней литературы появление распутинской повести напоминало этот неожиданный взрыв. «Как, — думалось одним, — молодой, не воевавший человек насмелился писать о войне?» «За что он взялся, очертя голову? — удивлялись другие. — Рассказать о дезертире... На это даже писатели-фронтовики не отваживались».

Виктор Астафьев, которому никто бы не отказал в художественной смелости, так выразил своё впечатление от повести в письме Валентину Курбатову:

«Валя Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, что-то потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека, по языку и той огромной задаче, которую он взвалил на себя и на своих героев повести „Живи и помни“. И вот что страшно: привыкшие к упрощению, к отдельному восприятию жизни и литературы и приучившие к этому общество, неустойчивое, склизкое, всё время как бы пытающееся заняться фигурным катанием на самодельных коньках-колодках (которые мы оковывали отождествлённой проволокой), оно, это общество, вместе со своими „мыслителями“ не готово к такого рода литературе. Война — понятно; победили — ясно; хорошие и плохие люди были — определённо; хороших больше, чем плохих, — неоспоримо; но вот наступила пора, и она не могла не наступить — как победили? Чего стоила нам эта победа? Что сделала она с людьми?»

Что, наконец, такое война, да ещё современная? И самое главное — что такое хороший и плохой человек?..

Ой, дадут они Вале Распутину за повесть! Он не просто палец, а всю руку до локтя запустил в болячку, которая была когда-то раной, но сверху чуть зарубцевалась, а под рубцом гной, осколки, госпитальные нитки и закаменевшие слёзы...»

Можно привести и мнение другого фронтовика, Константина Симонова, много написавшего в стихах и прозе о Великой Отечественной войне. По свидетельству одного из мемуаристов, он с одобрением отозвался о повести молодого прозаика:

«„Живи и помни“ — замечательная книга. Очень сильная книга, хотя, я знаю, нашлись люди — мол, о чём он пишет? О ком? О дезертире? Неважно, с какого боку подошёл человек, если — правда. Правда — она одна. А это мы, писатели, с разных сторон к ней идём. Много-много хороших книг появляется о войне, о мужестве наших людей, о муках наших, и это правильно».

Много позже, в начале двухтысячных годов, Валентин Распутин в нашей беседе, которая упоминалась выше, уже спокойно объяснил, как он смотрит на это давнишнее своё произведение и — отчасти — почему тогда оно вызвало такой интерес:

«О повести „Живи и помни“ немало говорилось. Понимаешь, тогда наступило время нового осмысления многого в нашей жизни. Религии, например. Да и нравственности. Герой повести — дезертир. Дезертирство приравнивалось к предательству, никаких оправданий не принималось. Я тоже не оправдываю Андрея Гуськова, но я всё-таки пытаюсь понять его. Почему он, провоевав достаточно долго и хорошо, решился на дезертирство? Это привело к трагическим последствиям не только для него самого, но и для жены Настёны, для будущего их ребёнка, которого они так ждали и которым можно было как-то

оправдать свой поступок. Нередко трактуют эту повесть как оправдание дезертира. Нет, это не оправдание. Кара, которая выпала на долю Гуськова, — это наказание, жестокое наказание. Страшней его не может и быть: всё, чем могла продолжаться жизнь Андрея, Настёны и их первенца, Гуськов уничтожает своим дезертирством».

Напомню, что после тяжёлого ранения и лечения в новосибирском госпитале Андрей был уверен, что ему дадут краткосрочный отпуск домой, благо что дом рядом, в той же Сибири. Но отпуска не дали. И тогда Гуськов решил хоть на минутку заскочить к семье. Пусть потом накажут — за счастливое свидание после трёх лет войны он готов был нести самое строгое наказание. Солдат вскочил в поезд, идущий на восток. Но уже в Иркутске, за пятьсот вёрст до родного села, понял, что не успеет обернуться. Клеймо труса и дезертира теперь пристало к нему...

«— Но как, как ты на смелился? — вырвалось у Настёны. — Это ж непросто. Как у тебя духу хватило?»

— Не знаю, — не сразу ответил он, и Настёна почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает. — Невмоготу стало. Дышать нечем было — до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал... до части скорей доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу: куда ж ворочаться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! Свинья грязи найдёт».

И всё же едва ли кто возразит, если сказать о повести: она пронизана чувством сострадания. Чувством сострадания не только к Настёне, к отцу и матери Андрея Гуськова, но и к нему самому. Может быть, это чувство к солдату автор, а вслед за ним и мы, испытывает потому, что за неожиданную «слабину», которую допустил Андрей, казнит себя прежде всего он

сам? Гуськов сознаёт свою тяжкую вину, он безоговорочно признаёт, что за своё дезертирство заслуживает смерти, он внутренне готов к справедливой каре. Да, собственно, эта кара уже и наступила. О ней он с холодным рассудком говорит Настёне:

«— Нет, это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнова подымать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шёл и думал: приду, погляжу на Настёну, попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изгалялся, когда можно было жить. И правда — чего не жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что дурость, не совсем ведь остолоп, понятие какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось как: успеем, наживёмся, налюбимся — век большой. Вот и успели. Думаю, приду, покажусь Настёне на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не остался, погляжу со сторонки на отца, на мать, и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть — и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить...

Настёна подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он помедлил, подождав, и продолжал:

— На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молиться буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в

тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали. Чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу. — Он приподнялся и сел на нарах, лицо его заострилось и побледнело. — И ты — слышишь, Настёна? — и ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мёртвый тебе язык вырву.

— Ты что, Андрей? Ты что?! — испугалась Настёна и тоже приподнялась, теперь они сидели рядом, касаясь локтями друг друга, и она слышала его тяжёлое, гудящее, как в полости, дыхание.

— Я тебя не пугаю. Тебя ли пугать, Настёна?! Ты для меня весь свет в окошке. Но помни, всегда помни, живой я буду или не живой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда всё это кончится, ты ещё поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может случиться, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за своё счастье выпростать себя до конца, сказать всё, что в тебе есть. Это не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду, остальные пускай думают что хотят. Ты им не помощница».

## «Возьмутся судить. А понять?»

Свои поступки, включая главный — предательство, Андрей Гуськов оценивает трезво и беспощадно. Проверая вечерами на реке чужие уды и унося с собой добычу, крупных налимов, он так оценивает это воровство:

«Работал он чисто и аккуратно, не оставляя за собой следов».

«Хорошо сказано — „работал“, такую работу Андрей сам раньше называл пакостью».

Чуть ли не при каждой тайной встрече с женой он проклиная себя:

«Господи, что я наделал?! Что я наделал, Настёна?! — И убрав руки, повернул лицо к Настёне. — Не ходи больше ко мне, не ходи — слышишь? И я уйду. Совсем уйду. Так нельзя. Хватит. Хватит самому мучиться и тебя мучить. Не могу».

И опять, и опять:

«Думаешь, думаешь до одури, а мысли всё колючие... Жалят, жалят... Думаю: если пойти, сдать — получай, что заслужил: и чем больше, тем лучше. Заслужил — прими. Чем на себя руки поднимать — пускай закроют, кому велено, это дело со мной, заткнут моей смертью. И им спокойней, и мне тоже. — Настёна замерла, стараясь не пропустить ни слова, но он поднял голову и решительно, широкими взмахами покачал головой. — Нет, не пойду. Не за себя боюсь — мне бы, может, это в радость было: встать под расстрел. Там хоть зарюют, а здесь и спрятать некому. Не хочу вас марать. А если узнают, что родила от меня, — съедят тебя. Я-то ладно, с меня спрос особый, а тебе за что? И родишь ты — на ребёнка слава упадёт, век ему маяться с ней. Нет, не пойду...»

Но душевные муки Гуськова хоть заслужены им. Это муки человека, честного перед собой и людьми, но в какую-то минуту давшего себе предательскую поблажку. А Настёна-то чем провинилась, ей-то за что казнь? Если повесть «Последний срок» я назвал гимном матери, то повесть «Живи и помни» можно назвать гимном жене, которая перед Богом, людьми, а прежде всего — перед собой, готова принять и разделить вину, позор и смертную муку своего мужа. Взять равную долю его грехов на себя, не отвергая земной суд, не ища никаких оправданий.

Настёна — человек нерастраченной нежности, но в беде душа её кремнёвая. Проследите, страница за страницей, рассказ о её недолгой жизни. И вы согласитесь: судьба её — чистый, незамутнённый родник, а ложе этого родника — твёрдая порода. Чуть ли не в первую тайную встречу она убеждает Андрея:

«— ...Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я — этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была — неужели ты не видел? Где ты, там и я. А ты здесь был со мной. Нам и сны одни снились — зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хочешь, а мы везде были вместе, по одной половине здесь, по одной там. Ты что считаешь: если б ты пришёл героем, я бы была ни при чём? Что мне и порадоваться с тобой не разрешилось бы? Ну да! Я бы себя получше твоего героем почитала: мой мужик, не чей-нибудь. Я бы козырем по деревне вышагивала: глядите, бабы, завидуйте — вот она я, вот как я отличилась!

— Ты бы уже не поминала такое, не сравнивала...

— А что? Почему нельзя? Тебе выпало другое — плохо, значит, я тебя остерегала. Или не верил ты мне, раз не выдержал, или не хватило на тебя моей заботы, или что ещё. Ты от моей вины не отказывайся, я её всё равно вижу. А если вот: скажем, если бы я тебя не



дождалась, выскочила за другого, всё бросила и уехала с ним неизвестно куда — ты бы одну меня виноватой считал?

— А кого ещё?

— Нет, и ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы помог на такое пойти. Может, ещё задолго до того, может, и сами забыли, когда решились, но вместе решились, одна бы я не посмела. Господи, о чём я говорю? Я-то бы никогда и не посмела, я к тому, что незачем нам делить: тебе одно, мне другое. Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда всё хорошо, легко быть вместе, это как сон: знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо, — вот для чего люди сходятся. Я не могла родить — ты меня не выгнал. Ты согласился на меня, какая я есть, не кинулся искать, что получше. А кто, интересно, мне позволит сейчас от тебя отъединиться? Я бы потом извела, исколесовала себя...

— Плохое плохому рознь, Настёна. Я преступник, против меня сам закон. Зачем ещё и тебе заодно со мной быть преступницей?

— Теперь поздно спрашивать. Надо было думать раньше, когда ты на это пошёл. А пошёл — значит, и меня за собой повёл. По-другому я не умею. Ты сам говорил: мы одной верёвочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне, верь, а то нам обоим придётся плохо, мы сами себя измотаем. — Настёна умолкла, ожидая, чем ответит Андрей, но он замешкался, и она, подумав, добавила: — Я бы, может, хотела себе другую судьбу, но другая у других, а эта моя. И я о ней не пожалею. Она моя...»

Настёна могла бы жаловаться, как тяжело перемогала она три военных года: без единой радости, без малой мужниной ласки, без всякого продыха в ломовой работе. Чем же держалась она, на какую

память опиралась? И об этом она сказала словами безгрешными и незаёмными:

«— ...И все эти годы, покуда я тебя ждала, я же тебя ждала, не кого-нибудь. Я ни разу спать не ложилась, покуда с тобой не поговорю, и утром не вставала раньше, чем до тебя не дотянусь, не узнаю, что с тобой. Мне и вправду казалось, что я вижу тебя, сначала нет никого, только шум, вроде как ветер свистит, потом всё тише, тише — значит, до тебя уж недалеко, а потом вот он ты. Всегда почему-то один. Сидишь или стоишь во всём солдатском, печальный такой, печальный, и никого возле тебя нету. Я взгляну, что живой, и обратно: задерживаться или там разговаривать нельзя. И дальше перемогаюсь, и дальше день ото дня. Я, может, даже чересчур тебя ждала, свободы тебе там не давала, мешала воевать. Откуда я знала, что можно, чего нельзя, — делала, как могла, да и всё, никто не научил, не подсказал. И ты молчал...»

При чтении всё время кажется, что это из-за Настёниных воспоминаний Андрей заново смотрит на годы, проведённые с женой до войны, что это она мягким и тёплым светом преображает всё, что они вместе пережили тогда. И это благодаря ей Гуськов по-новому видит, какое счастье было обещано ему, какой любви лишился он из-за своей измены солдатскому долгу.

И ещё одно, на этот раз не житейское, а словно бы подсказанное свыше осмысление беды, настигшей Настёну и Андрея, приходит при чтении повести. Нет ли в прошлой жизни её героев чего-то, смягчающего их нынешнюю вину, возвышающего их души даже в подсудном положении? Есть. Это родная земля — любимая кормящая мать, это бережное и сладостное единение с ней, и работа, работа, помогающая ей одаривать всех чудесными плодами. В самые тяжкие,

почти предсмертные часы Настёна с упоением вспоминает сенокосную страду:

«...всегда в эту пору чувствовала она себя просветлённо и празднично, податливо к любому покосному делу. Любила ещё до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести её сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда ещё не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; весёлой, зудливой страстью загорается душа — и вот уже идёшь, не помня себя, с игривым подстёгом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаённо-родное...»

И Андрей, выбравшись из своего волчьего логова на поля близь родной деревни, оглядывая их, вдруг ощущает гордость, словно бы стирающую с души нынешнюю вину:

«Он имеет право пройтись здесь хозяином, он работал на этих полях не меньше других, он наизусть помнит, сколько в каждом из них земли, где что до войны было засеяно и сколько собрано. И то, что они до сих пор не заросли и продолжают приносить хлеба, есть и его потяга — там, в прежние годы. Он здесь не чужой — нет. Здесь сейчас в воздухе стоит, что он нашёлся и идёт мимо — поля натянулись и замерли, узнавая его, он теперь только такой памяти и доверял. Люди не умеют помнить друг о друге, их проносит течение слишком быстро; людей должна помнить та земля, где они жили. А ей не дано знать, что с ним случилось, для неё он чистый человек».

После этих строк понимаешь признание писателя, высказанное в беседе с корреспондентом

«Литературной газеты» в марте 1977 года, — признание, не оправдывающее героя его повести, но подчёркивающее стремление художника к более тонкому пониманию человеческой души. На вопрос: «Когда по прошествии времени вы перечитываете написанное вами, всё ли вас самого устраивает?» — Валентин Григорьевич ответил: «Нет, конечно. Теперь едва ли я стал бы писать в „Живи и помни“ те картины „озверения“ Гуськова, когда он воет волком или когда убивает телёнка — слишком близко, на поверхности по отношению к дезертиру это лежит и опрощает, огрубляет характер».

## **«Сладко жить, страшно жить, стыдно жить...»**

Есть произведения, над которыми думаешь: как же ты сложна, неисповедима, земная жизнь! Точно сказала измученная Настёна: «Нет, сладко жить, страшно жить, стыдно жить!» Жизнь плетёт смертельные петли, но как нарисовать и объяснить её невыносимые извивы писателю? Кто дарует ему способность передать обжигающий накал человеческих чувств, необъяснимую логику поведения героев, наконец, жестокое крушение их судьбы?

Было ясно, что русская классическая литература пополнилась ещё одним, достойным её произведением. Можно называть учителями сибиряка и Фёдора Достоевского, и Ивана Бунина, и Михаила Шолохова, других корифеев родной словесности — и это будет справедливо. Но каждый мастер приходит в литературу со своим постижением жизни, со своим творческим характером, со своим словом. Какое это слово — по точности в передаче психологического состояния героев, чарующей живописности изображаемой природы, богатству смыслов и звуков народного языка — с радостью открываешь на каждой странице повести «Живи и помни». Под пером Распутина трагическая история Андрея и Настёны — это деревенский шитик, подхваченный грозным ангарским течением и летящий на камни смертного переката.

«Настёна просыпалась от этих снов и с бьющимся, прыгающим сердцем подолгу лежала недвижно, боясь пошевелиться и всё думая и думая об Андрее, любя его горькой и заботливой любовью. Она любила его жалея и жалела любя — эти два чувства неразрывно сошлись в ней в одно. И ничего с собой Настёна поделать не

могла. Она осуждала Андрея, особенно сейчас, когда кончилась война и когда казалось, что и он бы остался жив-невредим, как все те, кто выжил, но, осуждая его временами до злости, до ненависти и отчаяния, она в отчаянии же и отступала: да ведь она жена ему. А раз так, надо или полностью отказываться от него, петухом вскочив на забор: я не я и вина не моя, или идти вместе с ним до конца хоть на плаху. Недаром сказано: кому на ком жениться, тот в того и родится. Ему в тысячу раз тяжелей, он под худой, под позорной смертью ходит, да ещё надумал никому, ни единому глазу не выдать себя, чтоб не оставить по себе злую славу. Виноват — кто говорит, что не виноват! — но где теперь взять ту силу, чтоб вернуть его на место, с которого он прыгнул не туда, куда полагалось прыгать. Он бы что угодно отдал за эту силу, да где она?»

А Андрей? Как меняется день ото дня его, волчья теперь, жизнь? Даже вид его жестоко терзает жену:

«Настёна старалась не смотреть, с какой жадностью он ест, и сползла с колодины на землю, удобно вытянув задеревеневшие в лодке ноги, но нет-нет да поднимала голову и украдкой косилась на Андрея, удивляясь, поражаясь уже и не ему, а тому, что этот оборванный, запущенный мужик, выколупывающий сейчас из бороды хлебные крошки, и есть тот, о ком она не спала ночей и к кому стремилась изо всех своих сил. Господи, как же чувства человеческие капризны и смутливы! До чего они требовательны и изменчивы! К нему ли, к этому ли человеку она плыла, о нём ли страдала, он ли получил над ней страшную и желанную власть? Не верится. Но Настёна остановила себя: а не так ли и он спрашивал, впервые увидев её после фронта: к кому бежал? Ради кого наломал дров? А ему ведь было не Ангару переплыть — почище. И тоскливо, безысходно сжалось сердце: ничего не знает о себе человек. И сам себе он не верит, и сам себя боится».

Такие строки, как чёрный кружливый омут, втягивают ещё живую, чувствующую радость и боль душу и над бездной шепчущую: не хочу умирать, нет! А беспощадная сила толкает человека в эту смертную темь!

«Андрей откашлялся и продолжал:

— А мне? Что мне делать? Ты, поди, не один раз подумала: ни черта бы там со мной не доспелось. Не отказывайся, я знаю. Я сам так думаю. Оно теперь, когда война кончилась, дивля так думать. Может, правда, ни черта бы не доспелось. Выжил бы, пришёл. — Он наклонился к Настёне, вплотную приблизив лицо и пуще обычного прищурив, спрятав глаза, и зашептал жутким, хриплым и сдавленным шёпотом: — А если доспелось бы и я счас бы тут с тобой не сидел? Никто не знает. А я сижу. И ты не спрашивай, не толкай меня делать. Сделать я могу только одно. — Он выпрямился и качнул рукой вниз. — Погоди, не перебивай. Я знаю, я верю тебе. Я тогда как сказал: до лета. Вот оно и лето прикатилось. Давно ли ты ко мне по заметели бежала, а сегодня уже по воде. Пропасть, Настёна, не штука, всё равно от этого никуда не деться. Я за эти четыре месяца здесь прожил все сорок годов. Да тридцать своих. Пропасть, я говорю, не штука, но я должен знать, что не зазря пропадаю. Мне верить охота, что я ещё пригожусь тебе, что ты прибежишь сюда не для меня, а для себя. Чтоб полегче тебе стало.

— А я и счас не знаю, для кого прибежала, — призналась она.

— На всё плюнь, обо всём забудь — рожай. Ребёнок — всё наше спасенье. Ты тоже в этом деле моём немаленько заляпана. А ты совестливая, тебе беспокойно. Родишь — будет легче. Ребёнок спасёт тебя ото зла. Да разве есть во всём белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребёнком? Нету такой вины, Настёна. Так и знай. Я ждал тебя, каждый час

ждал, чтобы сказать: готовься. Возьми сердце в камень, завяжись в узелок, зажми уши и не слушай, что на тебя понесут. Я знаю: тебе придётся ходить по раскалённым углям... вытерпи, Настёна. Но чтоб ему не повредило. А станет невмочь — прибегай. Я тебя буду ждать. Я для тебя и буду жить, больше мне тут делать нечего. А станут совсем донимать тебя — всех порешу, всех пожгу, родную мать не пожалею.

Судорожно, уставив безумные глаза на ту сторону Ангары, он втянул голову в плечи.

— Андрей! Андрей! — испугалась Настёна.

Он невидяще глянул на неё и, отходя, освобождаясь от припадка тихой удушливой ярости, надолго умолк. Настёна тоже не знала, что говорить... Нет, в каждом из них с руками-ногами на одного сидит всё же не один человек — несколько: вот и тянут в разные стороны, разрывают на части, покуда не сведут в могилу. А он-то, бедный, ещё говорит, что чужая душа — потёмки, будто хоть немножко знает свою».

И в этой отравляющей душевной сумятице оба, не без потерь, конечно (чего стоит садистское убийство Гуськовым маленького телёнка в окрестностях родного села!), стремятся сохранить в себе понимание добра и зла, правомерность Божьего и людского суда над ними. И тем большее сострадание к ним испытывает писатель, увлекая за собой и нас, читателей. Вот каким был Андрей в последнюю встречу с женой:

«Лаская её и тоже чуть не плача от встречи, он каялся, называл себя дураком, умоляя не сердиться, не верить тому, что нагородил, говорил, что если б она не приплыла, то он угнал бы лодку и стал её караулить, чтоб просить прощенья, — от всего этого Настёна ещё сильнее зашлась, потерялась душой и пообещала:

— Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь — так и знай».



А Настёна, святая душа, за минуту до гибели в водах Ангары, думает о судьбе таких, как она сама: почему счастье отступает от них?

«До чего легко, способно жить в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни несчастные! Почему не дано человеку запасать впрок одно, чтобы смягчить затем тяжесть другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Где ты был, человек, какими игрушками ты играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем ты, не задумавшись, дал отсекать себе крылья именно тогда, когда они больше всего необходимы, когда требуется не ползком, а лётном убежать от беды?..»

Она шагнула в корму и заглянула в воду. Далеко-далеко изнутри шло мерцание, как из жуткой красивой сказки, — в нём струилось и трепетало небо. Сколько людей решилось пойти туда и скольким ещё решаться!»

Над этими словами, конечно, прольются слёзы. Но едва ли и те, кто мучительно пережил судьбу героини, тотчас задумаются: в чём тайна прочитанной книги? Почему она, как сама жизнь, нет, жгуче и больнее реальных историй, задевает сердце? Может быть, потому, что человек, ставший свидетелем подлинной истории или узнавший о ней из чужого рассказа, не успевает, а то и не умеет связать в ней причины и следствия, душевные предпосылки и объяснимый конец. Приоткрыть эту завесу, высветить нравственную картину происшедшего, объяснить психологическую подоплёку поведения участников события смог писатель. И его рассказ произвёл неотразимое впечатление на читателя.

## На перекрёстке мнений

Уже через месяц-другой после публикации повести «Живи и помни» стали появляться рецензии на неё в газетах и журналах страны. Отзывы напечатали «Литературная Россия», «Дружба народов», «Звезда», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Сибирские огни», «Сибирь»...

В Красноярске, где с особым вниманием следили за новыми произведениями Распутина, считая, что как писатель он родился в городе на Енисее, откликнулись на повесть первыми. Владимир Зыков не только напечатал в местной газете рецензию, но и послал её Валентину и получил от него ответ. Эта переписка интересна, и мы приведём строки из неё.

«Как известно, — напоминал Зыков в своих мемуарах, — повесть была опубликована в журнале „Наш современник“ накануне 30-летия Великой Победы. И встретила глухое молчание. Пресса не знала, как реагировать, как совместить юбилей Победы и злосчастного дезертира. Похоже, что и „власть предержащие“ были в замешательстве, какую отмашку дать своей команде. Но поскольку никаких „руководящих указаний“ на сей счёт не поступило, я, ничтоже сумняшеся, написал рецензию на понравившуюся мне повесть для „Красноярского комсомольца“ и отослал газету в Иркутск. Помню, рецензию я назвал, как и книгу, „Живи и помни“ и в письме запоздало каялся, что лучше бы назвать её „Настёна“: ведь именно Настёна — центр всей повести.

„О Валентине Распутине, — писал я, — в последнее время много говорят и пишут, хотя им самим создано ещё немного. Но, видимо, не по количеству изданных книг определяется подлинное значение писателя.

Глубоко современный и в то же время глубоко чуждый поверхностным поделкам на 'злобу дня', Распутин берётся за самые коренные, изначальные человеческие проблемы, выбирая сложные, часто трагические, но всегда бесконечно жизненные ситуации. То, о чём он рассказывает тебе, не надо запоминать — оно само западает в душу. Автор словно даёт тебе в руку ниточку, по которой ты вместе с нимходишь в доселе неведомую, но такую близкую для тебя жизнь, как будто всё случившееся с его героями касается лично тебя. И вот уже судьба этих незнакомых людей тревожит тебя, не отпускает душу. Они входят в твою жизнь и остаются в ней. Ты учишься у них жизни, переживаешь за них, чувствуешь себя с ними богаче и крепче на этой земле. А расставаясь с ними, уносишь с собой неназойливый авторский завет: живи и помни. И помнишь их“.

Валентин ответил очень быстро. Вот что он написал мне 26 января 1975 года (даты Валентин ставил обязательно — и одним этим любое сообщение превращалось в документ времени):

„Володя, здравствуй! Рад был получить от тебя письмо, а с газетой — рецензию, первую рецензию на 'Живи и помни'. Прочитал я её и ещё раз убедился, что самые лучшие и искренние рецензии пишутся не критиками, которые любое человеческое чувство зафразировали до того, что невозможно понять, о чём речь, — а умными и понимающими людьми. Спасибо тебе, Володя, особенное спасибо за Настёну, которую ты совершенно верно понимаешь. Я ведь ради неё и затевал и писал эту вещь“».

По-своему увидел героя повести Андрея Гуськова такой опытный писатель, как Сергей Залыгин:

«Страх смерти — это и есть единственная сила его жизни. Другой у него нет, да и не может быть... даже гибель жены, матери его не родившегося ребёнка... не в

состоянии заронить в душе Андрея ни чувства раскаяния, ни жалости, ни самоосуждения, ничего кроме звериного желания жить. Если потребуются — убивать ещё и ещё — отца, мать, односельчан, кого угодно, но существовать».

Ту же дань господствующему взгляду на вольных или невольных дезертиров, как не имеющих оправдания преступников, известный прозаик, думается, отдал и в следующем суждении о жителях деревни Атамановки:

«И то, что дезертир из их же среды, из их деревни, ещё усиливает чувство ненависти к нему».

Интересно мнение Виктора Астафьева о повести «Живи и помни». Выше приводилась его оценка, высказанная в письме сразу после выхода повести. Подробнее писатель-фронтовик высказался в 1978 году — в своём предисловии к изданию повести в «Роман-газете». Вот лишь несколько строк:

«Печальная и яростная повесть, несколько „вкрадчивая“ тихой своей тональностью, как, впрочем, и все другие повести Распутина, и оттого ещё более потрясающая глубокой трагичностью, — живи и помни, человек: в беде, в кручине, в самые тяжкие дни и испытания место твоё с твоим народом, всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразумением ли, оборачивается ещё большим горем для твоей Родины и народа, а стало быть, и для тебя. Так от изображения, от размышлений о людях маленьких и самых что ни на есть простых автор незаметно, но настойчиво переходит и ведёт за собой читателя к многомерному, масштабному осмыслению не только прошедшей войны, но и современной действительности, ибо человеческое бытие вечно и, стало быть, вечно движение жизни. А она задаёт загадки, пробует на прочность не одних только деревенских парней Гуськовых, она в любой миг любого человека может испытать „на излом“».

Позже, спустя двадцатилетие, когда само время могло подтвердить или оспорить какие-то суждения о повести, изменилось ли мнение Виктора Петровича? Этот вопрос задаёшь себе, читая статью Астафьева, посвящённую шестидесятилетию младшего собрата по перу и опубликованную в журнале «День и ночь».

Прежнюю свою оценку повести Виктор Петрович не пересматривает. Он касается новой стороны описанной Распутиным трагедии, расширяет её нравственный смысл. Критика семидесятых годов почти единодушно осуждала и клеймила дезертира Гуськова, она словно бы не слышала многократно высказанных Распутиным слов:

«Я тоже не оправдываю Андрея Гуськова, но я всё-таки пытаюсь понять его <...>...я не старался навязывать читателю авторскую точку зрения. Пусть читатель сам проделает мыслительную работу и придёт к выводу, к которому его подталкивает логика событий и характеров».

Вот к этой душевной работе и подталкивает читателя Виктор Петрович, делаясь с ним пережитым на фронте:

«Когда-то я писал предисловие в „Роман-газету“ к этой повести и изо всех сил старался подстроиться к хору критиков, не повредить повести и автору, городил что-то насчёт верности Родине и долгу, осуждал отступничество, отдавал должное страданию и величию русской женщины. И в повести всё это было и есть, но мне-то хотелось заглянуть и за борт её, подумать и потолковать о том, о чём и сам автор, быть может, не подозревает, что почувствовал, нащупал интуитивно. А „нащупал“ он ту грандиозность трагедии, по сравнению с которой история мадам Бовари или Анны Карениной — бумажные игрушки, и бабёшки эти с жиру бесятся, и страдания их той же Настёне покажутся блажью иль порчей, на самих себя напущенной... <...>

Обжившись в своей части, в своём взводе, мы, бойцы, сами или командиры наши давали человеку поспать, умыться, выжарить вшей — и снова годились в работу, снова готовы были исполнять боевые обязанности. И дай тому же Гуськову краткосрочный отпуск — повидаться с родными, повстречаться с женой, помыться в бане, поуспокоить плоть и выспаться, так он, всё умеющий, здоровый мужик, исполнил бы свои обязанности с удесятёрённой силой, любил бы жену, родителей, дом родной ещё крепче. Но это невозможно было сделать. Мы, русский народ, исправляя ошибки вождей и полководцев наших, должны были воевать до полного изнурения, тащить послевоенный воз до предельного истощения...»

Оригинальное суждение высказал о повести критик Владимир Турбин. Мы упоминали его мнение о первой книге рассказов Валентина Распутина. На этот раз он словно бы продолжил тот разговор с читателями: вы видите, что мой прогноз оправдался: перед нами — большой мастер! «Теперь и удивительно даже, как же мы жили без него?» — в простодушном порыве написал критик.

В Российском государственном архиве литературы и искусства хранится чистовой автограф статьи Турбина о повести «Живи и помни». Называется статья необычно «Так кто же последний?». Приводим цитату по этому экземпляру, в нём нет редакторских правок.

«Специфически распутинское художественное свойство начинается, пожалуй, с того, что в течение многомерной и таинственной жизни неизменно выделяется что-то, кто-то, оказавшийся... последним в её кружениях, сплетениях и узлах. Последние месяцы, недели, дни, часы деревни Матёры. Последняя надежда человека: последнею попыткой мужа раздобыть деньги для угодившей в беду жены-продавщицы кончается повесть „Деньги для Марии“. И в повести „Живи и

помни“ последняя пора войны, её срез, её окончание; а в окончании её — последние дни для человека, поставившего себя куда-то в последний ряд тех, кто делал, исполнял работу победы. Вдумаемся, что же стоит за влечением художника к чему-то замыкающему видимое нами бытие, к последней, что ли, букве алфавита. А стоит за ним большая традиция.

Например, „Борис Годунов“. „Последнего человечешку“ поэт уравнил с первым — с царём. Последние у Гоголя, у Достоевского, у Горького... Сумасшедший чиновник — у первого, князь-„идиот“ или новорождённый младенец в „Бесах“ — у второго. Новорождённый — он тоже последний в обществе: и неразумен, и беспомощен, да и по времени — последний. Как ему, последнему, жить?

И — Распутин, „Живи и помни“: дезертир последнего года войны Андрей Гуськов, и последнее прибежище его, и последние встречи с женой, с Настей, с Настёной. Он готовил себя к тому, что идёт по последнему кругу... „Он прожил последнюю осень, последнюю зиму, пропускает последнюю весну, впереди последнее лето... Он наметил для себя последний поворот, за которым наступит последний недолгий срок его существования“. В этом нагнетании слов, понятий „последний“, „последнее“ — глас, голос традиции, ведущей Распутина к равноправному диалогу с 19 веком: похоронно тянутся последние дни человека, оказавшегося последним в государственной жизни, ибо если первые люди войны — полководцы, герои, то последние — дезертиры.

Распутин написал о войне и, казалось бы, о ней только. Но проблема-то шире, сегодняшнее. Кто последний? И как ощущает себя последний? Как быть с ним?

И лишь одно слово в мире, которому лучше бы побольше молчать, надо, необходимо найти в себе силы

и высказать, и произнести: покаянное слово. Покаяние есть спасение для последних.

Андрей никуда не уходит. Но с каждым днём уходит он гораздо дальше, чем в Заполярье; он уходит в себя. И он пропадает: в конце-то концов, он же и Настёну свою погубил. И нерождённого сына. Тем погубил, что не сделал последнего шага: не вышел из пещеры своей, чтобы родиться заново, — выйти покаяться. Выйти на казнь, может быть. На позор. Но и на рождение новое выйти: душу свою спасти, жену спасти, сына.

Что делаешь, делай скорее, и даже оказавшись последним, спасёшься.

Спеши.

Спеши сына подарить миру. Спеши покаяться, если что. И тогда не будет, не будет тебе страшен вопрос: „Кто последний?!“

Ибо последние — те, кто побоялся раскаяться: неприкаянные они...»

Повести сибиряка, в том числе «Живи и помни», вызвали волну откликов за рубежом. Французский критик Клод Фриу писал в журнале «Революсьон»:

«Распутин, один из наиболее значительных современных русских писателей, создаёт в своих шедеврах хронику человеческой жизни, раскрывает её высокий смысл и духовность. „Последний срок“ и „Живи и помни“ — это две грандиозные поэмы любви и смерти, одиночества среди людей, где образ дезертира, безусловно, самый волнующий».

С последним утверждением можно, конечно, поспорить: почему образ Гуськова — «самый волнующий»? А драма Настёны, потрясающая своей жестокостью, — менее волнующа? Впрочем, каждый человек имеет право на личное восприятие.

Меня, к примеру, одинаково ранит трагедия обоих героев. Читатели заглянули в такие глубины человеческих душ, которые мог открыть только



отважный поводырь. Писатель словно бы прошёл вместе со своими героями их страшный путь и не утаил от нас ничего из их нравственных мук. Он пояснял в одной из своих бесед с журналистом:

«...о Настёне. Читатель был готов к ситуации, когда она или сама выдаст своего мужа, или заставит его прийти с повинной. Но Настёна не делает ни того, ни другого. И я должен был это доказать — и доказать так, чтобы у читателя было полное основание поверить в необходимость и правомерность её поступков. Если бы она поступила по-иному, это уже была бы другая повесть, которую должен был бы написать другой автор. А мне кажется, что я сумел доказать естественность поступков Настёны. Если бы Гуськов сам пошёл и признался в содеянном, была бы одна расплата, а то, что он губит ближних своих, — расплата другая, и, на мой взгляд, гораздо более суровая».

## Погружение в сороковые...

В конце 1974 года умер Григорий Никитич. Сын успел рассказать ему, что повесть «Живи и помни», которую он писал в последние два года, опубликована. По свидетельству Агнии Григорьевны, отец одобрил «фронтовые» странички нового сочинения Валентина. «Рассказ, конечно, скупой, — будто бы сказал Григорий Никитич, — но хорошо, что вранья в нём нету».

Из деревни Распутин сообщал Зыкову в январском письме 1975 года:

«Недавно похоронил отца. Мать осталась одна. Я и приехал к ней хоть на месяц. Отдохну от суеты. Может быть, немного поработаю, да и опять туда-сюда, когда не понимаешь, что ты делаешь и зачем делаешь. Что тебе жаловаться? — ты всё это сам прекрасно знаешь.

Выйдет книжка, Володя, — пришли, пожалуйста (речь шла о книге В. Зыкова „Слушайте Дивногорию!“ про молодых строителей Красноярской ГЭС. — *А. Р.*). А я тебе потом „Живи и помни“. Она, если всё будет благополучно, должна появиться летом. Ещё раз спасибо за то, что помнишь. Сердечные приветы от меня всем нашим „комсомольцам“. Ваш В. Распутин. Аталанка, то бишь Атамановка».

Валентин, несомненно, понимал, какую необычную для того времени повесть он написал. Но в письмах, которые приведены ниже и публикуются впервые, по-прежнему видна его строгая самооценка. А учитывая, каким адресатам направлены послания, с уважением отмечаешь, что он и тут независим в общении, смел в выборе новых знакомств.

В начале 1975 года Распутин получил послание двух литераторов, Льва Копелева и его жены Раисы Орловой. К тому времени они были известными критиками и

литературоведами, специалистами по немецкой литературе. Раиса Давыдовна, выпускница знаменитого московского Института философии, литературы и истории (ИФЛИ), в своё время работала во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей, в редакции журнала «Иностранная литература», была знакома со многими выдающимися деятелями культуры не только СССР, но и зарубежных стран.

Легендарный Лев Зиновьевич Копелев окончил романский факультет столичного Института иностранных языков, преподавал в ИФЛИ. Был на фронте, но в конце войны арестован и приговорён к десяти годам заключения «за пропаганду буржуазного гуманизма». В «шарашке» познакомился с А. Солженицыным. В 1954 году освобождён, реабилитирован, даже восстановлен в партии и допущен к преподавательской работе в московских вузах. К середине семидесятых Лев Копелев был автором работ о творчестве Г. Манна и Б. Брехта, о «Фаусте» Гёте, многочисленных статей о германоязычной литературе. Чуть позже он написал три книги о своей трудной жизни: «И сотворил себе кумира» (о детстве и юности), «Хранить вечно» (о последних днях войны и своём аресте), «Утоли моя печали» (о заключении; книга озаглавлена по названию церкви, перестроенной под «шарашку» для заключённых). К слову, Лев Зиновьевич стал прототипом Рубина в романе Солженицына «В круге первом».

Копелев и Орлова активно участвовали в правозащитной деятельности. Вместе с единомышленниками выступали против гонений властей на Б. Пастернака, И. Бродского, А. Солженицына, А. Сахарова, а также против суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем. В 1968 году Лев Зиновьевич был вновь исключён из партии, а заодно и из Союза писателей. Раису Давыдовну эта участь

постигла в 1980 году. Тогда же семейная пара вынуждена была эмигрировать за границу.

Как можно судить по ответу Распутина, в письме к нему супруги высказали лестную оценку повести «Живи и помни». Распутин сообщил Р. Орловой 21 апреля 1975 года:

«Уважаемая Раиса Давыдовна!

Простите меня за поздний ответ: письмо Ваше пришло на старый адрес, где и пролежало больше месяца. А затем и я собрался ответить не сразу.

Сердечное Вам спасибо за письмо. Как бы ни был писатель уверен в себе (а я в себе уверен не очень), поддержка литераторов, этих профессиональных и даже более чем профессиональных читателей, знающих о литературе всё и вся, значит для меня очень многое. Критика наша или ленива, или пристрастна из-за своего деления на всяческие группы, признающая лишь „своих“ и не желающая знать „чужих“, а письма, такие, как Ваше, искренни и добры, и значат они — для меня, по крайней мере, — гораздо больше, чем печатная критика.

Я, быть может, и не прав, судя столь категорически и огульно о всей критике, но впечатление такое от многих и многих нынешних критических статей тем не менее остаётся. Хорошо Вам: Вы занимаетесь американской литературой<sup>[13]</sup>, а она очень сильна, и о ней можно говорить много интересного.

Повесть свою, хоть Вы и отзываетесь о ней хорошо, я, похоже, не совсем „вывез“, скомкал в конце: это я говорю не с чужих слов, а со своего собственного ощущения. Последние шаги и последние дни героев надо было писать подробнее и убедительней.

Плохо, что я не умею переписывать свои вещи, — не потому, что ленюсь, а действительно не умею, сколько ни пытался. Быть может, позже, по прошествии какого-

то времени, что-то удастся поправить, а сейчас пока сел за новую работу.

Ещё раз спасибо за добрые слова о „Живи и помни“. Если позволите, будучи в Москве, когда-нибудь позвоню Вам.

Поздравляю Вас и Вашего мужа с праздниками.

С самыми добрыми пожеланиями

В. Распутин».

Можно предположить, что, бывая в Москве, Распутин общался по телефону с Копелевым и Орловой. Во всяком случае, следующее сохранившееся письмо сибиряка к супругам, датированное 19 апреля 1978 года, отправлено уже после посещения их дома. Скорее всего, приглашение было получено в телефонном разговоре (без этого встреча была немыслима). Валентин писал из Иркутска, в первых строках простодушно оправдываясь за свою оплошность:

«Дорогие Раиса Давыдовна и Лев Зиновьевич!

Выйдя от вас, я схватился за голову, вспомнив, что Раиса Ивановна — это не Раиса Ивановна, как я с уверенностью почему-то величал, а Раиса Давыдовна.

Простите, ради Бога. Это оттого, что мы не были знакомы, память в таких случаях замечает и отличает одно от другого; зато теперь я уже не смогу ошибиться.

Книжку высылаю с опозданием не потому, что тоже подвела память — вовсе нет, а потому, что свалились сразу по приезде домашние и не только домашние дела. Теперь потихоньку разгружаюсь. Часто и с радостью вспоминаю тот час с небольшим, что я провёл у вас. Сердечное спасибо вам за него. Надеюсь, что он не станет последним.

Будьте здоровы, это самое главное.

В. Распутин».

Валентин не забывал о их тёплом внимании к нему — об этом можно судить по его записке (без даты, но,

вероятно, последней перед их отъездом), хранящейся в архиве:

«Спасибо за Вашу книжку, Раиса Давыдовна. И не в ответ — хотелось сделать это раньше, но Вы опередили — посылаю свою.

Сердечно Ваш В. Распутин».

С повестью «Живи и помни» связано ещё одно письмо молодого писателя, на этот раз редактору издательства «Современник», где произведение вышло в свет отдельной книгой летом 1975 года. Валентин получил весточку и авторский экземпляр книги от Георгия Самсоновича Брейтбурга. Этот старейший сотрудник издательства был знаком со многими видными литераторами страны. Возможно, именно он свёл талантливого сибиряка с литературоведом и критиком Борисом Леонтьевичем Сучковым. Признанный знаток немецкой классики, Б. Сучков посвятил свои исследовательские работы творчеству Э. М. Ремарка, К. Гамсуна, М. Пруста, Т. Манна, Ф. Кафки, С. Цвейга. Его книга «Лики времени», в которой были собраны статьи об этих писателях, впервые открытых массовому читателю нашей страны, тоже способствовала огромному интересу к ним. Многолетний директор Издательства иностранной литературы, а затем Института мировой литературы им. М. Горького, член-корреспондент Академии наук Борис Леонтьевич выделил среди молодых писателей Распутина как прозаика самобытного и редкого, «классического», таланта. Об этом можно смело судить по тому, что он нашёл время и написал предисловие к повести «Живи и помни» для её первого книжного издания. Кроме того, при его содействии это произведение было опубликовано в Италии. Миланское издательство повторило предисловие Б. Сучкова к повести. По сути, итальянский сборник Валентина

Распутина открыл широкий путь его произведениям к читателям западноевропейских стран, Северной и Южной Америки.

К сожалению, Борис Леонтьевич не увидел отечественного и зарубежного издания повести «Живи и помни». 2 декабря 1974 года он скончался.

Но приведём письмо Распутина Г. Брейтбургу:  
«Дорогой Георгий Самсонович!

Приехав на день с Байкала, где я летом живу, я нашёл в Иркутске и письмо Ваше, и книгу, которым был очень и очень рад, потому что не надеялся так скоро эту книгу увидеть. И тем более не надеялся увидеть её со словами Бориса Леонтьевича, я считал, что он не успел написать предисловие. Теперь я уже не могу поблагодарить его, примите, пожалуйста, мою искреннюю и сердечную благодарность Вы, Георгий Самсонович. Вы тоже в немалой степени причастны к появлению этой книги и не только как член редколлегии этой серии, но и как человек, относящийся, очевидно, к моей работе с доверием и благожелательностью.

Борис Леонтьевич для меня сделал очень многое. Я не был с ним близко знаком, но недолгие разговоры у нас были, и я их хорошо помню. При всей склоняемости моего имени (чаще всего в интересах литературной политики) я о себе как о писателе мнения не весьма высокого, поскольку не только пишу, но и читаю и знаю, что такое хорошие книги. Поддержка Б. Л. — и в разговорах со мной, и в его высказываниях — мне немало помогла преодолеть (или преодолевать) некую свою скованность при работе; уж кто-кто, а он-то занимался в литературе делами вечными, и ему можно было доверять. И в том, что меня сейчас стали переводить, я вижу его благословляющую руку: дважды, по крайней мере, мне говорили о его рекомендации.

К несчастью нашему, такие люди смертны раньше других. Ещё раз спасибо, Георгий Самсонович. Для меня эта книга — и радость, и честь, которой я, возможно, не достоин.

Буду в Москве, постараюсь повидать Вас. Всего Вам самого наилучшего.

Ваш В. Распутин. 12 июля 1975 г.».



**Глава девятая**  
**СЛЕД В ЖИЗНИ МНОГИХ**

## За что его любили

Сборников воспоминаний о Валентине Распутине пока нет. Какие-то чёточки его характера, особенности в поведении названы в статьях, очерках, корреспонденциях, посвящённых писателю, но подробных и цельных мемуаров ещё не появлялось. Однако короткие свидетельства разных людей, сведённые вместе, всё же дают представление о личности Распутина.

Поэт и прозаик Александр Щербаков, с которым Валентин общался, живя в Красноярске, писал:

«В 1974 году в Иркутске проходил семинар молодых писателей. Среди красноярских „семинаристов“ были мы с Анатолием Третьяковым, уже не слишком молодые пииты. А Валентин Григорьевич, почти наш ровесник, которого мы по привычке называли Вале́й, вместе с Евгением Носовым и Виктором Астафьевым руководил семинаром прозы. Но, лишённый всякого зазнайства и высокомерия, он в перерывах не раз подходил к нам, беседовал, а однажды пригласил к себе пообедать. И вот там, в его квартире с окнами на Ангару, мы под великолепные щи, поданные его доброй женой Светланой, и под рюмочку, предложенную Вале́й (сам он отказался „принять“, сославшись на бремя семинара), обстоятельно поговорили о жизни и литературе, в том числе красноярской. А на прощанье, естественно, оставили хозяину образцы своих шедевров. Не знаю, чем одарил Анато́ль, а я передал краткую повесть „Поют полозья по Руси“. Валентин откликнулся на неё письмом, сдержанно похвалил, но посоветовал поискать „второй план“. Я прислушался, и повесть эта потом появлялась в московских журналах и моих книжках».

Александр Щербаков рассказал и о теплоте отношений Валентина с ровесниками — сотрудниками красноярской молодёжной газеты:

«Вообще красноярцы должны знать, что Валентин Распутин любил и всегда помнил наш город, наш край. У него здесь было (да и осталось) много друзей и приятелей, читателей и верных почитателей. К примеру, мне довелось когда-то поработать в книжном издательстве, куда перекочевали бывшие сотрудницы молодёжной газеты. Так они не иначе как только с обожанием говорили о своём Вале, следили за каждым его шагом. Особенно преданной оставалась ему Маргарита Ивановна Николаева. Она до конца дней переписывалась с ним, отзывалась в печати на все его книги и крупные публикации. И он отвечал ей тем же, писал письма, высылал книги, журналы. И когда она ушла „с этого света“, при встрече со мной расспрашивал о подробностях её ухода».

Впрочем, и сам Распутин пронёс через годы дружеское чувство к своим коллегам из Красноярска. Это видно из его посланий Владимиру Зыкову:

«Прочитал я твоё письмо, и захотелось в Красноярск, захотелось собраться старыми „комсомольцами“, посидеть за рюмкой или даже без рюмки и говорить, говорить... Вспоминать чудачества, жалеть, что были мы осторожными и скупыми в отношениях друг с другом — а время-то ведь было самое золотое. Оно, очевидно, не так сложно и в Красноярск попасть, да всё как-то недосуг. Сейчас вот пишу тебе из своей родной деревни, а это от Иркутска 400 км.

Всё-таки в этом году (разбередил ты меня) я собираюсь показаться дня на два, на три в Красноярске.

У „Комсомольца“ был недавно, слышал я, юбилей. Ко мне в начале января подходил какой-то парень из редакции (он, видимо, учится заочно на журналистике у

нас<sup>[14]</sup>) и сказал, что редакция пришлёт просьбу что-нибудь сказать в юбилейном номере. Но от редакции я ничего не дождался — там и народ-то, наверно, сплошь новый, — а присылать самостоятельно свои воспоминания и поздравления я не посмел. Да дело не в этом, конечно, а вот очутиться там было бы здорово. Приди приглашение, я бы, пожалуй, не сдержался: чтобы посидеть с вами, посмеяться с Аидой и Таней, в тёмном уголке шлёпнуть с Капусто лишнюю рюмку. Ну да не уйдёт. Пусть только подольше живёт Капусто. 26 января 1975 года».

Ещё во время работы в Красноярске тридцатилетний Распутин завёл разговор о вере с Владимиром Зыковым. Позже коллега Валентина писал:

«В наше молодое безбожное время мы не очень-то часто вспоминали Господа. И сейчас мне припомнилось, как в самом начале семидесятых я разговаривал в Красноярске с Валентином, не так давно отъехавшим от нас обратно в родной Иркутск, о Божьем Слове. Он поведал мне о своих долгих беседах с православным иркутским епископом, умнейшим, по его словам, человеком, достойным всяческого уважения. Для меня, проработавшего перед этим пять лет на строительстве Красноярской ГЭС, „в нашей буче, боевой, кипучей“, в знаменательные годы перекрытия Енисея и пуска первых агрегатов, епископы казались по меньшей мере инопланетянами. И такой разговор „о духовном“ был у меня первым в жизни. Тогда, наверное, больше из любопытства или из-за впервые пробудившегося интереса к „неведомому“ я попросил Валентина „достать“ мне Библию, не запрещённую, но абсолютно недоступную для простого народа (позднее я не смог купить её даже в тогдашнем Загорске, Сергиевом Посаде, центре русского православия, куда специально

ездил из Москвы познакомиться с Троице-Сергиевой лаврой). Распутин пообещал посодействовать».

Зыков не сообщает, «посодействовал» ли ему Валентин Григорьевич. Но известно, что сам писатель начал приобщаться к вере уже в семидесятых годах. Мы можем судить об этом по отрывку из его очерка, опубликованного в книге о замечательной женщине, видном общественном деятеле Нине Васильевне Поповой<sup>[15]</sup>. С семьёй Нины Васильевны Распутин дружил многие годы. В тёплом рассказе о Поповой писатель и припомнил, как вместе с её дочерью, кинорежиссёром Ренитой Григорьевой, другими спутниками ездил на Поле Куликово и в Елец, где в год 600-летия знаменитой битвы принял крещение.

Валентин Григорьевич с трепетным чувством поведал о том, что хранится в душе как сокровенное желание и может быть высказано только в особые минуты. Тут и слова-то приходят сами собой, не требуя писательской огранки:

«В 1978 году мы (с Р. Григорьевой, В. Крупиным и др. — А. Р.) поехали в Елец через Оптиную пустынь и Куликово поле. Помню, поразила тогда бедность и даже разрушения, которые мы увидели в Оптиной пустыни. Казалось, что это уже поднять невозможно, что нельзя уже ничего возродить. После этого, при тяжёлой погоде и тяжёлом настроении, поехали на Куликово поле. Подъезжаем к Полю уже вечером и вдруг видим растянутый на щитах плакат „Да здравствует Святая Русь!“. После всего, что мы видели в Оптиной, — „Да здравствует Святая Русь!“. И вдруг разлилось удивительное сияние. Была мрачная погода и вдруг такое солнце разлилось. Такой свет вокруг. Это было как Преображение. Это был Знак: ничего, всё ещё вернётся. Ничего напрасно не бывает.

Приехали в Елец. Прошли к Знаменскому монастырю. А вот и улица Шевченко, дом 12. Дом отче, Николая Александровича Овчинникова, в прошлом выдающегося хирурга, а теперь одного из служителей Вознесенского собора. Помню слова, с которыми он встретил нас, усталых от бездорожья: „Воинство, воинство приехало! Вот то воинство, которое будет возвращать славу Поля Куликова!“ Тогда это казалось просто словами, но сам вид отче, обыкновенные слова, сказанные искренним и добрым голосом, не могли не повлиять на нас тогда. Я, помню, опустился на колени перед ним. Мало что помню из нашей беседы, но помню только, что, когда выходил от него, понял: это случилось. Случилось какое-то духовное преображение. Уже тогда было ясно, что без крещения нельзя и крещение должно произойти здесь, в Ельце, который обладал каким-то особым сиянием...

В 1980 году, 21 сентября, в день Рождества Богородицы (именно в этот день 600 лет назад происходила битва) мы снова были на Поле Куликовом, куда пришли тысячи и тысячи людей. Все записи, которые мы читали в Книге Памяти, просто слёзы вышибали, и ясно было, что Россия, придя на Поле Куликово, возвращается уже и в Святую Русь, возвращается к своей вере.

С Поля Куликова, как и два года тому назад, мы приехали в Елец, где я принял, наконец, долгожданное крещение. Крестил меня архимандрит Исаакий, в миру И. В. Виноградов, один из насельников Троице-Сергиевой лавры, который перебрался к тому времени в Елец и устроил там Сергиево подворье. Там я и крестился. Крёстным отцом согласился быть наш отче, крёстной матерью Ренита Андреевна Григорьева. После крещения мне многое открылось. Открылось прошлое, открылось настоящее и то преображение души, которое заставляет человека быть добрее, принимать всё,

дурное и хорошее. Как принимать дурное? Понимать причины его возникновения и понимать способы его устранения. Я стал добрее, я стал внимательнее к иным мелочам, которые всегда проходили мимо. Я стал строже и к тому слову, которое необходимо было искать для того, чтобы показать человека. Обычно крестных детей передают, уходя из жизни, кому-нибудь из достойных пастырей. Отче не передал нас никому. Он оставил нас у себя. Это не просто доверие, это нечто большее. Это вечное духовное приближение. Мы с отче, отче с нами. Мы пока ещё на этом свете. Но и молитвы его до нас доходят, и наши молитвы обращены к нему, и эти взаимные потоки встречаются и приносят облегчение».

После таких признаний ясней понимаешь душу художника, точнее осмысливаешь его учительские, наставляющие слова.

О крещении Распутина вспоминал и Владимир Крупин. Среди прочего он писал:

«Валентин Григорьевич не считал себя талантливым, приговаривая: „Что особенного я пишу?“ Когда читаешь литературные произведения других авторов, то замечаешь строчки. Но когда соприкасаешься с творчеством Распутина, то вместо строк перед глазами предстают образы героев из его повестей и рассказов. Мальчишечка из „Уроков французского“ бежит вслед за матерью с криком: „Мама!“... Распутин обладал необыкновенной силой выразительности. Как он потрясающе описывал красоту пейзажа и психологически тонко выстраивал диалоги! В его творчестве чувствуется необыкновенная жалость к людям, которые живут не для себя, как герои многих зарубежных романов, а для своих близких, для Родины.

У него была ранимая возвышенная душа. Каждое соприкосновение с суровыми буднями ранило его. Но

несмотря ни на что, он всех любил, в особенности детей, и его все любили...

В его характере преобладали грустные нотки. Он любил юмор, но всё же был чаще печальным. Всю жизнь Валентин Распутин прожил в тяжелейших условиях, но вышел из всех испытаний, сохранив душу. В семидесятые — восьмидесятые годы мы жили бедно. Бывало, он вырубал меня деньгами, но когда я ему пытался вернуть долг, он отказывался... Когда собиралась писательская компания, то он всегда за всех платил, но не оттого, что был богат, а его великодушное сердце желало избавить друзей от необходимости тратиться».

В разговоре со мной Владимир Николаевич добавил:

«Придёт в гости, обязательно спросит:

— Как с деньгами — туго?

— Перебиваемся на зарплату жены.

Вынимает из кармана деньги:

— Вот, возьми.

— Да ты что? Мы же не голодаем...

Не беру. А когда пойду провожать его до метро, он скажет:

— Ты посмотри на шкафчике под вазой, я кое-что оставил.

И точно: опять деньги».

Иркутский фотохудожник Борис Дмитриев, сделавший десятки запоминающихся снимков Распутина — от его молодых до преклонных лет, говорил о дружеском общении с писателем:

«Валя был человеком в себе. Он больше заглядывал в свою душу. Бывало приду к нему, сидим, десять минут молчим. Потом искра какая-то пробежит, он начинает разговор. Идём пить чай. Любил хорошую шутку, обладал прекрасным чувством юмора».

Владимир Бондаренко, литературный критик, главный редактор газеты «День литературы», часто



встречался с Распутиным, но написал об этом коротко:

«Я познакомился с Валентином Григорьевичем в восьмидесятые годы, бывал у него дома и в Иркутске, и в Москве, бывал на его байкальской даче. Довелось не раз брать у него интервью для нашей газеты. Рад, что Валентин Григорьевич доверил мне право сделать инсценировку его знаменитой повести „Прощание с Матёрой“ для доронинского МХАТа имени Горького. Спектакль по этой инсценировке шёл более десяти лет с неизменным успехом. Бывал на этом спектакле и сам Распутин. Всегда поражали его скромность и такое чисто христианское смирение, при том что от позиций своих он никогда не отказывался, не боясь навлечь на себя гнев правителей. Он равно говорил и с земными „царями“, и с коллегами-писателями, и со своими земляками. Потому и на самом деле его повести были истинно народной прозой. Не было в нём никогда и гордыни, мол, знаменитый писатель, гений земли русской. Он был просто — одним из крестьян, одним из сибиряков, одним из писателей. А если уж сумел показать трагедию русской деревни, исчезновение старого народного уклада, характер русского человека, значит, и дано было ему от Бога — многое...»

## Слово тихое, а эхо всемирное

Сохранились записки (правда, короткие) выдающегося актёра Михаила Ульянова о беседах с писателем. В ельцинские времена взгляды их на перемены в отечестве оказались различными. Но в 1987 году, когда Ульянов набрасывал свои строки, душевное дружество ещё сохранялось. Каких-то монологов сибиряка автор записок не приводит, в основном высказывает своё сердечное отношение к писателю. Судите сами:

«Как-то мне пришлось плавать с Валентином Григорьевичем Распутиным по Байкалу. Маленький катер, где каждый сантиметр чем-нибудь занят, гостеприимные хозяева, два матроса и капитан этой скорлупки, бесконечно парящие и варящие дары Байкала в малюсеньком камбузе, непрерывно пьющие крепкий чай и не мыслящие отправиться в плавание без пачки чая, ледяной ветер при ясном июньском высоком небе. И вот среди этого тесного и дружного единения, может быть, самый байкальский, что ли, самый местный, самый скромный и терпеливый был Распутин. Какая-то редкая по нашему крикливому, настырному веку скромность и сосредоточенная внимательность ко всему окружающему.

Есть люди, которые воспринимают мир только как часть их самих, притом малую часть по сравнению с их персоной. А есть люди, которые воспринимают себя как малую часть мира. И смотрят на окружающее такие люди удивлённо, влюблённо и всегда как на нечто новое, ибо понимают, что ты сам мало меняешься, а мир бесконечен.

Вот к таким людям, как мне кажется, относится Распутин. Надо не только хорошо знать мир „Матёры“,

надо ещё уметь увидеть и услышать его, как это сумел Валентин Григорьевич. А для этого, вероятно, нужен особый дар писателя — дар не только видеть и слышать, но и подробно и явственно, ощутимо рассказать обо всём этом...

Распутин не шумлив и не декларативен. Он внимателен и подробен в передаче движений человеческой души. Его письмо не рваное, не галопирующее, но и не простое. Он добирается до самых потаённых и самых заветных уголков души героя.

Как-то мне показали в одной редакции его рукопись. Мельчайшим, бисерным и аккуратнейшим почерком написана была эта рукопись. Причём остро отточенным карандашом. Какая-то удивительная подробность и тщательность чувствовались в этом почерке. Я, конечно, не графолог, но так мне показалось. Потом как-то я спросил Валентина Григорьевича, почему он таким старым „способом“ работает и так тщательно и мелко пишет. „Тогда я сосредоточиваюсь и как бы погружаюсь в мир, о котором я сейчас пишу“, — такой был ответ. Наверное, сосредоточенность необходима ему, как главное условие работы.

Распутин с великой болью и тревогой пишет о проблемах Байкала... Но если внимательно прислушаться к его словам, то и здесь больше доказательств и убеждений, чем нервов и обвинений. Да, он не щадит ни министров, ни учёных, которые способствуют загрязнению Байкала, но ему важно не обвинить, а убедить, не только возмутиться, а вразумить горячие головы, которые дальше „сегодня“ не хотят смотреть. И тут, в этом горячем, дискуссионном вопросе, Распутин достоин, доказателен, несгибаем и не криклив, хотя его сердце рвётся от боли и ярости.

Наверное, это чисто сибирская черта — основательность, достоинство и уважительность по отношению к противнику. Тайга, природа и борьба за существование во времена освоения Сибири выковали такие характеры. Но Распутин современный, жгуче современный писатель, и его тревожит сегодняшний человек, его тревожит размытость нравственных границ, когда всё дозволено, когда никого и ничего не стыдно, его тревожат разобщённость людей и их неучастие в общих вопросах жизни.

Мне посчастливилось несколько дней в составе одной делегации поехать по Италии вместе с Валентином Григорьевичем. Времени было много — переезды частые. И мы много разговаривали. Вернее, я расспрашивал и слушал Распутина.

Из этих рассказов я явственно и определённо для себя понял: Распутин — писатель и человек с абсолютно ясной и, я бы сказал, непоколебимой жизненной и писательской позицией. Да она яснее ясного видна и в его книгах, и в его публицистике. Это всем видно. А вот то, что она проявляется в обычных мимолётных разговорах и встречах, — это надо слышать.

Удивительная скромность и даже какая-то замкнутость чувствуется в его разговорах. Распутина не столкнёшь с его пониманием мира, но он и не навязывает своё восприятие жизни, сознавая, должно быть, что его точка зрения, даже если она и выстрадана и серьёзна, ещё не единственная.

Драться за своё понимание мира он готов, но кричать об этом на всех перекрёстках и каждому встречному он не будет, не считая это нужным и достойным. А сколько я встречал сорок, кричащих о своей позиции и настырно вдавливающих её во все рядом находящиеся головы. Притом в их крике не чувствуется уверенности в своей правоте. И чем меньше уверенности, тем больше крика. Утомительно и шумно

рядом с такими крикунами. С Распутиным же как-то спокойно и определённно. Веришь каждому его слову, хотя он на них и скуп. И веришь: всё, что он защищает, что любит и что ненавидит, — это его суть, а не модная одежда. Он из глубин, а не с поверхности. Он и пришёл в литературу, чтобы рассказать о глубинах. Это он и делает так талантливо, так несуетливо, так неопровержимо, так основательно, так честно и так по-распутински».

Владимира Солоухина критика всегда относила к той же когорте писателей, что и Распутина. Казалось бы, эта общность взглядов на судьбу Родины, на долг художника исключала высокую и свежую оценку своего младшего коллеги. Но нет, и на Владимира Алексеевича сибиряк производил сильное впечатление:

«Для Распутина его повести и есть его поведение, а его поведение — это его повести. Ну прибавим сюда ещё его блестящие очерки, статьи, устные выступления. Ничего лишнего, пустопорожного, мелкотравчатого. Всё в цель, в точку, в дело и ради дела. А дело выпало горькое, трудное. Потому и несчастливейший. Велико ли счастье смотреть почти беспомощно, как терзается родная мать, а потом отдавать ей последний поклон и последнее целование?

Таких писателей, как Валентин Распутин, таких своих сыновей народ и рождает для того, чтобы не забыть своего прошлого, трезво оценить настоящее и не потерять надежды на будущее».

## Особая родня — земляки

Это не преувеличение. Для Валентина Григорьевича земляки из Аталанки или Усть-Уды в самом деле были особой роднёй, пусть не кровной, но душевно близкой и дорогой.

Я убедился в этом весной 1997 года, в дни шестидесятилетия писателя, когда мы с Распутиным и журналистом Константином Житовым приехали в районный центр, где Валентина Григорьевича нетерпеливо ждали. К вечеру, уже в сумерках, машина подкатила к дому Николая Александровича Проклова, работника местного Дома культуры. В просторной квартире народу — яблоку негде упасть, женщины в красивых костюмах сидят обочь длинных столов, уже подготовленных к приёму гостя. Оказалось, супруга Николая Александровича, Анна Ивановна, пригласила своих подруг, участниц народного хора, который она вместе с мужем создала в Усть-Уде. Распутина, разумеется, знали все, но и он, здороваясь и обнимая, называл чуть ли не каждую певицу, кого по имени, а кого и по имени-отчеству. Никакой натянутости, неловкости — шутливые восклицания, смех. И весь вечер за домашней колбаской и рыжиками, чаем и пирогами ни на минуту не утихала родственная беседа, прерываемая только песней. И виделось в очередной раз, что людская сердечная приязнь — это отсвет характера Валентина Григорьевича, это токи от его слова, взгляда, пожатия руки...

Есть у Распутина один необычный рассказ — «На родине», написанный в конце 1990-х годов. Его сюжет прост: повествователь приезжает в родную деревню и описывает свою, лишённую внешних событий, жизнь там. Это первая особенность. А вторая — и сам

рассказчик, и его односельчане не спрятаны под вымышленными именами, а выступают под своими. И вот тут начинается магия высокого искусства. Понимаешь, что сюжет рассказа вовсе не прост. Рассказчик с болью видит перемены в родном селе — что всё, радовавшее здесь вчера, погублено, что и привычный быт, и нажитые традиции ушли в тартарары, и кажется, будто земляки живут на какой-то пересылке, на временном расхристанном бивуаке, а не оседло на отчей земле. Люди-то те же, давние, родственно близкие, но теперь растерянные, потерявшие себя.

Аталанцы читают рассказ «На родине» с особым, ревнивым вниманием: не затемнил ли знаменитый земляк какую-нибудь чёрточку в характере каждого, не упустил ли какую отметинку, привычку, чудинку.

Да нет, похоже, не исказил, не запамятовал. Приведу строки, посвящённые им, — так можно говорить только о родных, душевно близких людях.

«Поверх забора видно: выходит в огород Нина, соседка моя по правую сторону с улицы, вяло ступает в домашних тапочках по межгрядным дорожкам, что-то высматривает и бормочет. Нагибается, щиплет лук, начинающий уже желтеть, и снова головой туда-сюда. Я не выдерживаю, взбираюсь на чурку под умывальником, чтобы и меня было видно, и кричу:

— Нина, что потеряла?

— А позапрошрое лето, — тотчас отзывается она и поворачивает ко мне красное тугое лицо, устанавливается на узкой дорожке прочней. — Какое было лето!.. <...> тебя в то лето, однако что, не было. Какое лето! — и тепло, и полив, и всё-то как по заказу. Мы в то лето на этих-то, на толстомордых-то чихать хотели! — брезгливо добавляет она... <...> мне не надо объяснять, кого она задевает. — Хоть лопните вы там! Мы без вас проживём! В то лето чё было не прожить!.. А

нонче... Нонче так-то не погарцуешь!.. Ой, Валентин, окорот, кругом окорот! За горло берут. Чё вот мы нонче будем делать?

...Нина уже уходит, направляясь к калитке, я уже гляжу мимо неё, но она оборачивается, спрашивает:

— Надя молоко не приносила?

— Нет. Но у меня есть, вчерашнее не выпил.

— Вчерашнее завтра пей, раз кислое любишь. А сёдни я сёднешнее принесу».

Это Нина Филипповна Вологжина. «Роман, муж её, — заметил Распутин, — приходится мне дядей, не то двоюродным, не то троюродным...» Роман всю жизнь работал в леспромхозе, на трелёвочном тракторе, а Нина — почтальоном, а позже оператором в местном аэропорту. У Вологжиных пятеро взрослых детей.

Но продолжим чтение рассказа:

«Надя — вторая моя соседка, слева. У неё три дочери, все три замужем за гуцулами, которые в старые времена наезжали в леспромхоз на заработки, все три учительницы. И вот две дочери съехали... в райцентр, там жизнь не должна совсем остановиться... третья доживает с матерью лето и тоже уедет. И говорливая Надя примолкла, прибрала свой певучий голос. У неё и окрик был певучий, не сибирский, когда загоняла она корову в стайку. Теперь, видать, и корова стала послушней. Не слышать Надю. Утром подымусь иной раз — на крыльце белеет банка молока. Это от неё. Днём увидит, спросит:

— А хлеб-то, хлеб-то, поди-ка, надо?

— Не надо, мне вчера Муська доставила.

— У Муськи хлеб хороший. Муська мастерица. — И вспоминает без спохвата: — Лида в коммерцию свечки привезла. Велела сказать.

Свечки я возьму. Но едва ли пригодятся они: при свете ложишься, при свете встаёшь. Но это я же по приезде спросил, а Лида приняла заказ».



Упомянутая Муська — это Мария Галастифоновна Крайденко, лучший пекарь на всё село. А заботливая Надя — это Надежда Петровна Немчинова. Она не аталанская по рождению. В конце пятидесятых годов Надя Журавлёва приехала из Мордовии по комсомольскому призыву на строительство Братской ГЭС. Вышла замуж за аталанского тракториста Анатолия Немчинова и осталась на всю жизнь в родном селе супруга. Здесь ей после рождения дочек, как и Нине Вологжиной, досталось место почтальона. В начале восьмидесятых Надя потеряла мужа. Но человек стойкий, особого закала, она дала дочерям образование, помогла им вырастить не только шестерых детей, но и восьмерых внуков. (Вот сколько у неё самой внуков и правнуков!) И жить бы ей, радуясь родному подросту, да жестокая новинá заставляет переменить привычную колею...

Теперь о Лиде. В деревне не стало магазина. «И вот Лида, продавщица из продовольственного, в духе времени завела „коммерцию“ на Верхней улице в амбарушке на трёх полках. Если дверка в „коммерцию“ приоткрыта, надо кликать Лиду со двора. За день раз-два и окликнут, а то и ни разу. Я спросил у неё в первый приход: „Когда выходной?“ — и она посмотрела на меня недоверчиво, как после неудачной шутки: „Какие теперь выходные — все проходные!“ Выходя вслед за мной из тёмной „коммерции“ без окна, натакнула: „А масло на почте спросите, там, говорят, было“. — „Почему на почте?“ Ничему удивляться было нельзя, но иной раз удивление срывалось. „А там теперь тоже торговля. Там старикам в зачёт пенсии мало-малышку привозят“. Я пошёл на почту. Почтовое дело захирело: телеграмму дать нельзя, письмо из города за четыреста километров может идти с осени до весны. „Нет, — говорит почтарка о масле, — только вчера последнюю бутылку взяли, подсолнечное было“. На нет и спроса

нет. Та же Надя, соседка моя, через день сообщает: эта бутылка теперь у Лиды, её Лиде в обмен на чай принесли. Я к Лиде — уже из интереса, догоню ли. „Была бутылка, — говорит Лида, развеселившись, беззвучно смеясь, глядя на меня. — Была. Полдня только и простояла. Развозжаевы две банки тушёнки за неё принесли“.

Вот такая „коммерция“. И Лида, баба бойкая, крепко и аккуратно сбита, быстрая и решительная за магазинским прилавком, ловко насыпающая, отрезающая, взвешивающая и поторапливающая, повяла в какой-то беспрестанной думе. Да и дума ли это? Что это — вязкое, непроходящее, не имеющее уже ни обид, ни желаний... тюря эта, которую слабенько качает сердце?»

Думала ли Лидия Моисеевна Коржак, бывший продавец крупного леспромхозовского магазина, образцовая хозяйка в доме и в огороде, мать и бабушка умных, обходительных детей и внуков, — думала ли она когда-то, что будет добывать хлеб насущный мелкой торговлишкой в клетке-амбарушке?

Есть в деревне ещё одна душа, которая пытается раздавать родным землякам хлеб, на этот раз духовный. Это Ирина Витальевна Вологжина, единственный библиотекарь в местной читальне. Зарплата у неё нищая, но страшит её меч разящий, взметнувшийся не над зарплатой, а над книгой: изгоняют милую из таёжного угла!

«Я вчера был у неё в библиотеке, — рассказывает дальше писатель. — Шёл в клуб, библиотека была там, а Ирина выскочила из леспромхозовской конторы: библиотека теперь здесь, чуть наискосок от сгоревшей школы. Тут как бы центр, на улице сгоревшей школы, поссовет тоже рядом. И пожаловалась вчера мне Ирина, что библиотеку вот-вот, должно быть, закроют. Есть норма: если в селе меньше полутысячи жителей,

библиотека отменяется. У нас уже меньше. Я пообещал постоять за библиотеку. И вот теперь благодарная Ирина, уже за то благодарная, что не промолчал, пускай и в сердечной муке, что нашёл слова для обещания и одел их в твёрдость, прибежала с отобранными карточками (библиотечными карточками читателей. — А. Р.).

— Читают?

— Читают, — замямшись, отвечает она.

— Меньше?

— Меньше.

— Сами же говорите, что делать нечего. Ну и читали бы.

— Знаете, — не сразу отвечает она. — Когда дело есть, оно другого дела просит. А нету дела — ничего не надо.

Под „делом“ надо понимать леспромхоз. А леспромхоз... завалился. Здесь так и говорят: „завалился“, „наш-то завалился“, не подаёт признаков жизни. Не называя по имени, что такое „наш“. У северных народов есть обычай: когда ребёнок тяжело болен, имя его не упоминают, чтобы отвести бродящую рядом смерть».

А ведь запустение накрывает отчую землю не каких-то там неумех и лодырей, а истовых работяг, мастеров на все руки. О своём друге с детских лет Деомиде (по-деревенски — Демьяне) Ивановиче Слободчикове Распутин рассказывает не просто с сочувствием к нему, а с душевным потрясением: какой же враг разорил его родовое гнездо, столкнул с привычной дороги?

«...мне кажется, что отъезд Демьяна, поспешный его побег из посёлка для посёлка потеря не меньшая, чем завалившийся в глубокую яму леспромхоз. Вот они стоят передо мной: невысокий, лысоватый, с небольшим морщинистым лицом Демьян... и Галя, крупнотелая, внешне спокойная, но с постоянно ищущими глазами на

широком лице: то не сделано, это не сделано. Они стоят каким-то наплывом, возможным лишь в кино, и Демьян говорит по обыкновению: „Вот оно, значит, как...“».

Демьян собирался прожить в Аталанке всю жизнь. «Поэтому и дом родительский перешёл к нему по наследственному праву не оставившего этот дом. Рядом срубил он летнюю кухню, с прежний дом, одно окно пустил смотреть на родовое жило, на восход солнца, второе — на Ангару, на закат. Здесь же, под боком, поставил новую баньку, весёленькую, с прищуром в чуть косолатом оконце. От баньки в глубь огорода уходил навес, а под ним погреб — я видел такой простор только на севере, в вечной мерзлоте, где и стены, и потолок, и ступени в голубом сказочном льду. И простор этот у Демьяна с Галей заполнялся. Демьян любил показать припас лицом, я спускался, смотрел, дивился. Включит свет — и всё озаряется: сотни трёхлитровых банок с огурцами, помидорами, луком, черемшой, грибами, ягодами и Бог знает с чем ещё. Взблескивает и выставляется, приседает и выпрямляется, на полках и в ящиках. Капуста засаливалась в кадках, ей полагалось мёрзнуть наверху. Сало млело в тряпицах, вымоченных и проложенных приправами. Кедровые орехи пузатились в белых китайских кулях из-под сахара. Картошка мерилась не мешками, а подпольями: в летней кухне, всю зиму топившейся, тоже открыто было подполье. Сначала две коровы, потом три, сначала один огород, потом два, нет, был ещё и третий огород где-то на елани, под картошку. И зелёнка засеивалась на горе, и загораживался телятник. Два покоса в разных местах, туда и туда по воде.

И всё это от жадности. Есть жадность к деньгам, есть жадность к водке, к греху... У Демьяна была жадность к работе. И Галя, жена его, такая же была жадная, две одинаковые руки, одна правая, другая

левая. Весь этот припас расходился. Отправлялось дочерям в город, куда-то ещё, по красным летам гостей собиралось невпросчёт. Я, собираясь на родину, знал уже, что не суждено мне проедать творог, сметану... Господи, какая сметана! — так и пышет сытостью и сладью, так и подаётся к ложке! Что будут у меня и пироги с рыбой и луком, ранние огурцы и помидоры из-под какого-то особого ухода, что станут меня караулить у ворот, чтобы затащить за стол и поговорить о жизни».

И что же теперь? А то, что новые хозяева страны создали для деревни условия, при которых она стала «брошенной землёй». «Выжатой, ободранной, изуродованной и брошенной». И даже такие её работники, как Демьян, вынуждены были бежать:

«Как сквозь бельмо гляжу я на Демьянов двор, как сквозь бельмо же — на Ангару. Очертания неясные, неживые. Или едва живые, с удаляющейся жизнью. Какое продолжение может предложить судьба посёлку? Не может же всё оборваться разом. Странные бывают продолжения. Крыша на Демьяновой избе чуть недораскрыта с северного бока. Да нет, это угол избы заново закрыт, вместо шифера старые доски. Это в кухне, рядом с печкой, появился новопоселенец. Из пройдисветов, дальний родственник кого-то из поселковых. Бурная жизнь запросила покоя. Где ещё такой покой сыщешь? Полными днями сидит на воде в лодчонке, дёргает рыбу. Показывает потом, что рыба травленая, с червями, с чёрными пятнами. Но она и эта дёргается плохо. И есть что-то надо. Вот и выковыривает из сорожек глисты, выбирает язвочки».

Такое обжигает сердце. Из какой же боли, из какого «пыточного огня», по слову писателя, родился его рассказ «На родине»? И понимаешь, что стоит за его желанием тут, на родине:

«Пойду-ка я на елань да забьюсь в ельник, во мхи. Берёза в огороде обвисла, плотный воздух, куда ни

глянь, курится. Забьюсь во мхи... люди уходят на кладбище, а прошлая жизнь этих людей, картина к картине изо дня в день в каких-то прозрачных нетленных рамах... им уходить, кроме как во мхи, некуда. Наберусь-ка я этих картин побольше, пропитаюсь ими, надышусь, постелю их себе под глаза...»

И только любовь к людям, которые прошли перед нами в рассказе, любовь да сострадание к ним освещают повествование. Кажется, нельзя было, уезжая, оставить этих людей в тягостном, иссушающем мареве — и вдруг послало небо обильный, освежающий дождь. И соседка Нина — помните не названную в рассказе по фамилии Нину Филипповну Вологжину, весь день хлопочущую по хозяйству? — подставляет своё лицо дождю с улыбкой и слезами. Это знак: земляки писателя, любящие его, и он, любящий их, перемогут беды. Иначе — не стоило жить.

## **И редкие встречи — памятные**

Ну а какое впечатление оставил Валентин Григорьевич у тех, кто имел с ним редкие, а то и единичные встречи?

Прозаик Владимир Карпов рассказывает:

«Мне говорили, что Распутин предисловий не пишет. Но я к нему обратился. И он взялся. Принёс ему рукопись на квартиру в Старо-Конюшенном переулке... Он сказал мне, что в день способен только один час или читать, или писать: что-нибудь одно. Я уж, было, обратно рукопись взять, но — это же Распутин! „Нет, нет, Володя, я напишу“. „А куда подевалось в России родство?“ — называлась его статья о моей книге „Можно ли Россию пешком обойти?..“.

Меня пригласили в Иркутск на литературные встречи „Этим летом в Иркутске“. Не ради бахвальства хочу сказать — хотя здоровый человек не может в данном случае не гордиться. Выхожу на сцену Иркутского академического театра, полон зал (таков исторически Иркутск), и на пятом-шестом ряду вижу Валентина Григорьевича с чуждой его женой Светланой. Светлана была — воистину женщина-свет! Красива, улыбчива, скромна до невероятного! Пара! Иркутское издательство „Сапронов“ выпустило маленькую книжку моих рассказов. Она там же, в театре, продавалась. И после встречи на сцене выстроилась очередь людей с книжками, чтобы автор оставил свой автограф. Я сижу, пишу пожелания, голову поднимаю — ба, Распутин в очереди с моей книжкой стоит! „Валентин Григорьевич, да вы что, я бы сам вам подписал и принёс авторский экземпляр!..“ — „Ну, зачем же, Володя, я купил...“ Плакать, братцы, охота — слеза просится... Такие люди разве возможны?»

Оценил Владимир Карпов и юмор Распутина:

«...мы сидели в кабинете директора театра (Иркутского драматического. — А. Р.) Анатолия Стрельцова — красивого человека с безупречными манерами, чувством такта, идеального соответствия в одежде. Стрельцов вдруг задумчиво и размеренно повёл рассказ: „Вчера посмотрел на карту мира...“ И мгновенно, не меняясь в лице, Распутин добавил: „Не понравилась“.

Это было очень смешно: не понравилась карта мира! Но ещё и лицо Валентина Григорьевича: абсолютно отстранённое. Он, вроде, здесь, и его нет».

Поэтесса Елена Родченкова в девяностых годах оказалась с Распутиным в одной группе, совершавшей поездку в Китай. Она увидела писателя впервые, так сказать, «вблизи». В своих путевых заметках Родченкова написала:

«Китайцы более 20 лет переводят Распутина. На встрече со студентами Шанхайского университета студенты-русисты устроили настоящий праздничный концерт с русскими песнями и танцами, читали на русском и китайском стихи классиков, отрывки из прозы Распутина.

Валентин Григорьевич — удивительный человек. Он почти всегда молчит, а когда выступает, говорит сложно, но очень мудро, красиво. Фразы его похожи на тонкие деревца с пышными кронами, в которых трудно пересчитать и перечислить все веточки и листики нашему переводчику Андрею. Смуглые щёки Андрея становятся пунцовыми, он переводит эмоционально, старательно, и картина получается необыкновенная: сдержанный голос Распутина и восторженный, энергичный, заряженный открывшимися с ходу истинами перевод Андрея...

Едем с Русского кладбища в Харбине. Нас обещали завести на шёлковую фабрику. Все под впечатлением



посещения погоста: русские имена и фамилии, человеческие судьбы, закрытая православная часовня...

Садимся в автобус. Все молчат. Трудно. Единственным лекарством может стать покупка шёлковых кофточек и шарфов.

— Теперь мы едем на шёлковую фабрику? — спрашиваю я и слышу от Валентина Григорьевича:

— Нет.

— Не едем?

— Нет, конечно. После кладбища как можно думать о мирском, о покупках и развлечениях?

— А тогда не пойдём и на банкет! Зачем мы будем на банкетах думать о мирском? — слёзы навернулись на мои глаза.

Валентин Григорьевич понял, что я ослабла духом в этой трудной поездке, оборачивается через плечо и улыбается тихо:

— Лена, я валяю дурака...»

Тут к месту будет привести рассказ зарубежной знакомой Распутина, как раз китайки, доктора наук Ван Лидань. Свою докторскую диссертацию она посвятила творчеству Валентина Распутина. Об интересе к его книгам, а затем и о своём общении с ним Ван Лидань написала с особой душевностью:

«Моё заочное знакомство с писателем началось очень давно, ещё в студенческие годы. Тогда в учебнике для китайских студентов была помещена повесть Распутина „Деньги для Марии“, которая сразу же меня заинтересовала. Такой простой, но необыкновенно притягательный язык, такой волнующий сюжет, такая грустная история, полная теплоты и нежности. После этого я нашла и прочитала все произведения писателя и поняла, что его книги можно перечитывать всю жизнь.

Но если до личной встречи с ним сильное впечатление на меня произвели его произведения и

неповторимые образы персонажей, то после знакомства к этому добавились тихий, сдержанный голос, грустные глаза, в которых запечатлелась человеческая и художническая мудрость, и спокойные шаги писателя. Не знаю, почему мне думается, что именно такая внешность отражает неизъяснимую внутреннюю силу этого человека, надёжность и благородство его духа.

Я познакомилась с ним в Москве в 2004 году. Я тогда проходила стажировку в МГУ и собирала материалы для монографии. Мне дали телефон, и я ему позвонила. На мою просьбу о встрече он сказал, что надо подумать, а на другой день позвонил сам и пригласил приехать в гости, если есть необходимость в личной встрече.

Конечно же, такая необходимость была! Валентин Григорьевич ждал меня у метро „Кропоткинская“. Мы встретились, как будто давно были знакомы. У меня почему-то не было никакой неловкости при общении с великим русским писателем, а что он великий писатель, я понимала давно.

Мы сидели у него дома, говорили о культуре, о литературе, русской и китайской. Тогда я как раз читала его последнюю повесть „Дочь Ивана, мать Ивана“. Повесть получила китайскую премию в номинации „Лучшая зарубежная книга 21 века“ (2005 г.), и уже было принято решение перевести её на китайский язык.

Второй раз, когда мы виделись с Распутиным, — это март 2005 года. Писатель мне позвонил и сообщил, что уезжает в Иркутск, и при встрече подарил мне картину в каменной рамке. На картине была его родина — Сибирь, Ангара и берёзы. Я тогда чуть не заплакала от этой его щедрости и внимания, и потому, что не знала, придётся ли ещё мне увидеть этого человека...

В 2005 году, получив государственный грант, мы приступили к созданию монографии о писателе,

которая вышла в свет в 2009 году.

Я передала ему книгу в Иркутске. И в том же году мы хотели пригласить его к нам, в Далянь. Но прилететь он не смог, потому что сам был не совсем здоров и очень болела его жена Светлана Ивановна».

## За строками писем

Много интересного о характере Распутина, его каждодневных раздумьях и переживаниях, литературных пристрастиях и житейских привычках можно узнать из его писем, которые есть в нашем распоряжении. У него, человека деревенского и вроде бы не обученного «тонким манерам», были черты врождённого благородства, что читатель, несомненно, отметит, хотя речь в них чаще идёт, казалось бы, о событиях бытовых или творческих — важных только для писателя и его адресата.

10 августа 1979 года Валентин Григорьевич писал В. Крупину:

«Дорогой Володя!

Я ждал, что ты напишешь после Алтая<sup>[16]</sup>, что и как там было, но тебе, наверное, не до того.

Обидно, что не смог ты приехать<sup>[17]</sup>, очень обидно. А я уж растрезвонил тут, что будешь обязательно, и ждали тебя многие, а пуще всего, конечно, Глеб<sup>[18]</sup>, который при его нетерпении и безудержной фантазии сочинял, что ты уже приехал и живёшь у него на Байкале, а пойманный на этом вранье, сваливал на меня, что это я виноват — плохо приглашал.

Может, как-нибудь по осени теперь? Я уж боюсь больше и загадывать. В этот раз как нарочно сошлось одно к одному, чтоб и мне на Алтай не попасть, и тебе дальше не двинуться. Как судьба... А я приготовился что-то сказать вслух — да не только вслух, просто нужда большая была поговорить всем вместе — Белову, Астафьеву, тебе, мне. И по поводу Поля Куликова тоже<sup>[19]</sup>. Говорил ли ты об этом с ними? В любом случае — куда бы ты ни дал письмо о Поле и как бы оно ни выглядело, в большом или малом тексте, подпись мою

можешь ставить без всякого сомнения. Дело это святое, и заниматься, наверное, надо было им ещё раньше.

А я сижу у моря... сижу в городе ничего не делая и жду квартиру. И уехать никуда нельзя, и не подвигается ничего от сидения. Вот-вот, говорят, вот-вот... а без толку. Квартира не в новом доме, сейчас там четыре семьи, которых расселяют, а расселяются они с трудом: то в принятых уже домах, как это водится, чего-то нет, то семья начинает требовать большего, чем в начале, то ещё что-нибудь.

Сходил, правда, дважды за ягодой, набрал смородины, черники и жимолости, сам опять варил и толлок на Байкале, а теперь и сходить больше нельзя. А хуже всего — не получается пока съездить к матери. И сам извёлся, и она заждалась.

Где теперь твои? Вернулись ли? Приветы. Черкни чуть-чуть, как найдётся время.

Обнимаю

В. Распутин».

В одном из московских издательств Распутин познакомился с Никой Николаевной Глен, переводчицей с болгарского языка. Как это часто бывает в писательской среде, она загорелась желанием «открыть» знаменитому прозаику мир болгарской литературы, близкой нам, и начала, конечно, с книги, к которой сама приложила руку. В СССР вышел в её переводе сборник Й. Радичкова. Его Н. Глен послала в Иркутск и получила ответ:

«10 февраля 1980 г. Иркутск.

Дорогая Нина Николаевна!<sup>[20]</sup>

Сердечное спасибо Вам за книгу Йордана Радичкова, а более того спасибо за память, настолько ныне редкое качество, что, когда встречаешься с ним, когда обещанное, спустя какое-то время, всё-таки

делают и слово держат, то впору плакать от умиления и благодарности.

Я успел пока прочесть у Радичкова только две вещи — „Последнее лето“ и „Воспоминания о лошадях“, но и по ним видно, насколько это серьёзный и добрый писатель. У меня, признаться, было поначалу нечто вроде сопротивления манере его письма, которая у нас принята мало и к которой мы не привыкли, но скоро оно, сопротивление это, прошло и письмо его полностью убедило меня.

Ещё раз спасибо Вам.

Надеюсь, я не напутал ничего с Вашим именем-отчеством. Помнится, так. А ежели всё-таки сбился — простите великодушно.

Доброго Вам нового года, который, будем надеяться, попугает-попугает нас да и успокоится.

Сердечно

В. Распутин».

В Российском государственном архиве литературы и искусства хранятся два неопубликованных письма Валентина Григорьевича главному редактору журнала «Дружба народов» Сергею Баруздину. Это ответы сибиряка на просьбу Сергея Алексеевича. Послания Баруздина в архиве нет, но мне легко догадаться, о чём шла речь. В начале восьмидесятых годов одинаковые письма за подписью Баруздина получили многие литераторы страны. У меня сохранилось его письмо:

«Обращаюсь к Вам с большой просьбой. Подошлите мне, пожалуйста, в редакцию одну-две книги своих с автографами для нашего подшефного Нурека<sup>[21]</sup>: „Интернациональной библиотеке ‘ДН’ в славном Нуреке от автора...“ и т. д. Хорошо?

О нашей уникальной коллекции книг с автографами в Нуреке, которая насчитывает сейчас уже более 13 500 томов, Вы, видимо, слышаны. О ней много пишут и

говорят. По мнению специалистов ЮНЕСКО, она не имеет себе равных в мире.

Итак, дело за Вами!

Жду!

Всего Вам самого-самого доброго!

Искренне Ваш Сергей Баруздин».

Распутин ответил редактору журнала 18 июня 1980 года:

«Дорогой Сергей Алексеевич!

Я получил оба Ваши письма — и в Иркутск, и в Новосибирск — и только от Вас узнал, что я переехал в Новосибирск.

До сих пор даже и в мыслях этого не было.

Книжку я, конечно же, пришлю с радостью, но позднее, потому что она ещё до Иркутска почему-то не дошла. Только что звонил и справлялся — говорят, нет. Как только будет, сразу вышлю.

С книжкой проще. Что касается второй Вашей несколько зашифрованной просьбы<sup>[22]</sup> — надеюсь когда-нибудь выполнить и её, но, к сожалению, не скоро. Пока же ничего за душой нет.

Пользуясь случаем, без лести скажу, что Ваш журнал сейчас — лучший, по моему мнению.

Доброго Вам здоровья!

С поклоном В. Распутин».

А через двадцать дней, не забыв в круговерти дел просьбу Баруздина, Валентин Григорьевич сообщает ему:

«Уважаемый Сергей Алексеевич!

Книжка нынешнего издания так и не дошла до Иркутска и, возможно, не дойдёт. Поэтому посылаю ту же самую книжку, но первого и, на мой взгляд, лучшего издания.

Всего Вам самого доброго!

С поклоном В. Распутин».

## **Его не слушали — ему внимали**

Осмелюсь и я сказать несколько слов о Распутине после полувекового общения с ним.

Мне не раз приходилось присутствовать на многолюдных сборах людей умных, знающих жизнь основательно, понимающих искусство и давно служащих ему. Такое собрание не удивишь; имя очередного оратора, часто знаменитого, оно воспринимает спокойно, без видимого проявления чувств. Но стоит объявить Распутина, стоит ему, устраиваясь за кафедрой, только-только произнести первое слово — публика уже натянулась, как струна; все замерли, насторожились, приготовились не слушать, а внимать, ибо произнесено будет что-то особенное, важное, чуть ли не пророческое.

В повести «Пожар» есть одно примечательное место. Герой её, Иван Петрович, который, по признанию писателя, имел своего прототипа, односельчанина Ивана Егоровича Слободчикова, пересматривает свою жизнь. Перед собой он честен, поэтому и оценки его предельно честны. И каковы же они?

«Когда нужно было говорить правду, он говорил; когда требовалось дело — делал. Да он только и делал, что не сворачивал с правды и дела. И разве не важно для них оставаться в границах, какими они были представлены человеку? Правда — это река, ложе которой выстелено твёрдым камнем и берега которой в песчаной и каменистой линиях, река с чистой и устремлённой вперёд водой, а не подпёртая масса с гуляющим уровнем гниющей жидкости, с хлябкими и подмытыми берегами. Правда проистекает из самой природы, ни общим мнением, ни указом поправить её нельзя...»



В случае с Валентином Распутиным правда тоже проистекала из самой его природы, и никогда, ни в общественных, ни в житейских поступках, он «не сворачивал с правды и дела».

Наверное, этим качеством и определяется удивительная цельность его творчества. Все его повести, рассказы, очерки, заметки по поводу и представления чужих книг — всё основано на крепчайшем, нерушимом фундаменте, сцементировавшем веру, трудолюбие и терпение народа. О Распутине можно сказать, что в многоликой и многопутной отечественной и мировой литературе он проложил глубокую, видную отовсюду писательскую тропу, каждый раз не теряя свои следы и заботясь, чтобы «нигде и ни в чём они, эти следы, не отвернули от родного».

У философа начала XX века Ивана Ильина, которого нередко цитировал сибиряк, есть суждение о Пушкине. Оно, пожалуй, очень точно объясняет сущность и Валентина Распутина как художника: «Пушкин, как никто до него, видел Россию до глубины. Он видел её по-русски. А видеть по-русски — значит *видеть сердцем*. И он сам знал это; потому и написал: „Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви“».

**Глава десятая**  
**И ОТЗЫВАЕТСЯ В СЕРДЦЕ:**  
**«МАТЁРА!»**

## Могут ли святые уйти в небытие?

Прошло только два года после публикации повести «Живи и помни», а в журнале «Наш современник» (1976, № 10) появилось новое произведение писателя «Прощание с Матёрой». И снова — трагедия, история беды, которая имеет не национальные, и тем более не местные, а планетарные истоки и последствия.

Сам Валентин Григорьевич в беседе со мной обронил:

«Если говорить о повести „Прощание с Матёрой“, она мне далась легче. То, что происходило на Ангаре во время строительства электростанций, я видел воочию, это надо было только осмыслить. Моя деревня тоже испытала переселение — трагедию, которая, в сущности, стала знаком времени. Это действительно трагедия: уходят в небытие родные могилы, вся прежняя жизнь, не один пласт, на котором стояла деревня, а все ценности и святые, которые она нажила. Об этом надо было написать, окунувшись в глубины народной беды. Возможно, что-то не удалось. Может быть, оказалось не по силам, а может быть, я считал тогда, что написать нужно именно так».

Но, как и предыдущие сочинения прозаика, повесть эта — о глубинной русской жизни, о том национальном характере, который сложился за века и продолжает удивлять мир. Кажется, что автор не искал для своего произведения каких-то особых героев, он просто вошёл в первый, и второй, и третий дом родной деревни и рассказал о том, что увидел во время трагического разора — не случайного, не природного, а подготовленного и осуществлённого людьми. Предчувствие беды, её наступление и, наконец, её

последствия — это фон, на котором и оказались высвечены русская душа и русский характер.

В Матёре, деревне, обречённой на гибель и уже теперь безжалостно уничтожаемой, одна из жительниц, старуха Дарья, не может успокоиться после варварского разрушения кладбища. Заглянувшему к ней ровеснику, Богодулу, она говорит не о чём-то житейском, а о... совести.

«Раньше её видать было: то ли она есть, то ли нету. Кто с ей — совестливый, кто без её — бессовестный. Теперь холера разберёт, всё сошлось в одну кучу — что одно, что другое. Поминают её без пути на каждом слове, до того христовенькую истрепали, места живого не осталось. Навроде и владеть ей неспособно. О-хо-хо! Народу стало много боле, а совесть, поди-ка, та же — вот и истончили её, уж не для себя, не для спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах совесть, однако, что железная, ничем её не укусишь. А наша совесть постарела, старуха стала, никто на неё не смотрит. Ой, Господи! Чё про совесть, ежели этакое творится!»

И Дарья, и её деревенские подруги, старухи Настасья и Катерина, оценивают любое событие последних дней и часов перед переселением, поведение каждого человека, местного и пришлого, даже свои воспоминания сквозь призму укоренившихся в их жизни понятий, нравственных правил. И всякий раз оказывается, что эти понятия и правила есть главные заповеди, на которых и держится народная жизнь.

Расставаясь с внуком, раньше других покидающим Матёру, Дарья с болью чувствует его душевную отъединённость с деревней, в которой он вырос:

«Утром, в отъезд, Дарью обидело, что Андрей стал прощаться с нею в избе, не хотел, чтобы она проводила его до лодки. Она всё-таки проводила. Но сильнее и

больней этой обиды была другая, которую и назвать нельзя, потому что нет для неё подходящего слова. Ею можно только мучиться, как мучаются тоской или хворью, когда непонятно, что и где болит. Она помнила хорошо: со вчера, как приехал, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошёлся по Матёре, не погоревал тайком, что больше её никогда не увидит, не подвинул душу... ну, есть же всё-таки, к чему её в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завёл мотор».

## Удержать в себе человека

И может быть, главные слова произносит старая Дарья в разговоре с внуком, парнем «продвинутым» и «современным»:

«— Бабушка, ты сказала тогда, что тебе жалко человека. Всех жалко. Помнишь, ты говорила?

— Помню. Как не помню.

— Почему тебе его жалко?.. Ты говорила: маленький он, человек. Слабый, значит, бессильный, или что?..

— А чё, не маленький, ли чё ли? — спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь к тому, что могла сказать. — Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и есть... А жисть раскипяти-и-ил... страшно поглядеть, какую он её раскипятил. Ну дак сам старался, никто его не подталкивал. Он думает, он хозяин над ей, а он давно-о-о уж не хозяин. Давно из рук её упустил. Она над им верх взяла, она с его требует, чё хочет, погоном его погоняет. Он только успевай поворачиваться. Ему бы попридержать её, помешкать, оглядеться округ себя, чё ишо осталось, а чё уж ветром унесло... Не-ет, он тошней того — ну понужать, ну понужать! Дак ить он этак надсадится, надолго его не хватит. Надсадился уж — чё там!

— Как это он, интересно, надсадится, если есть машины?..

— Я знаю, про чё говорю... Я про тебя, про вас толкую тебе... Пуп вы щас не надрываете — чё говорить! Его-то вы берегёте. А что душу свою потратили — вам и дела нету. Ты хоть слышал, что у его, у человека-то, душа есть?

Андрей улыбнулся:

— Есть, говорят, такая.

— Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что ежли видом не видать, ежли пощупать нельзя, дак и нету. В ком душа, в том и Бог, парень. И хошь не верь — изверься ты, а он в тебе же и есть. Не в небе. А боле того — человека в тебе держит. Чтоб человеком ты родился и человеком остался. Благость в себе имел. А кто душу вытравил, тот не человек, не-е-ет! На чё угодно такой пойдёт, не оглянется. Ну дак без её-то легче. Налегке устремились. Чё хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноеет, не заболит. Не спросит никто. Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно уж не оне на вас, а вы на их работаете — не вижу я, ли чё ли! А на их мно-ого чего надо! Это не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне свас жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки...

И в ранешнее время робили, не сидели руки в укладку, дак ить робили в спокое, а не так. Щас всё бегом. И на работу, и за стол — никуды время нету. Это чё на белом свете деется! Ребетёнка и того бегом рожают. А он, ребетёнок, не успел родиться, ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. Куды, на што он такой годится?

— Да что ты говоришь-то, бабушка? Галопом, бегом... Живём, и всё. Кто как может, так и живёт...

— Живите... Она, жисть ваша, ишь какие подати берёт: Матёру ей подавай, оголодала она. Однуё бы только Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильнее того затребует. Опеть давай. А куда деться: будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы её из вожжей отпустили, теперь её не остановишь. Пеняйте на себя.

— Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю. Я спрашиваю, почему тебе человека жалко?

— Путаник он несусветный, человек твой. Других путает — ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево... Это ж надо так не держать себя, под угон пустить. Живёшь-то

всего ничего, пошто бы ладом не прожить, не подумать, какая об тебе останется память. А память, она всё-о помнит, всё держит, ни одной крупинки не обронит...

Ить ничё не стоит сделать как надо — нет, ноги не туды идут, руки не то берут. Будто как по дьяволу наушенью. Ежли это он, много он успел натворить, покуль народ хлестался, есть Бог али нету. Прости, Господи милосливый, прости меня, грешную, — перекрестилась она в дверь, мимо Андрея. — Я чё?! Не мне людей судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе боле того скажу, Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне, а всё ж таки топют.

— Значит, нельзя по-другому. Необходимость такая.

— А нельзя, дак вы возьмите и срежьте Матёру — ежли вы всё можете, ежли вы всяких машин понаделали... Срежьте её и отведите, где земля стоит, поставьте рядышком. Господь, когда землю спускал, он ни одной сажени никому лишней не дал. А вам она лишняя стала. Отведите, и пуцай будет. Вам сгодится и внукам вашим послужит. Оне вам спасибо скажут».

Оттого и разрывается сердце у Дарьи, у других старух, что Матёру-то, по сути, предают люди близкие, родные или земляки, тоже не посторонние. Явно не согласен с бабушкой внук Андрей; собственными руками поджигает отчий дом спившийся сын бабки Катерины Петруха; ждёт не дожждётся переезда из опостылевшей Матёры разбитная бабёнка Клавка Стригунова. Да и сын Дарьи Павел, и сноха Соня, и глава трудолюбивого семейства Афанасий Кошкин, и работающая мать-одиночка с детьми Вера Носарева не прочь начать новую жизнь в рабочем посёлке, где и удобств больше, и общество многолюднее. Первым бесполезно толковать о том, что всяк из живущих отвечает за судьбу родного гнезда, а вторые хоть и согласны с наставлениями старух, но не хотят упустить



новых выгод. К тем и к этим с неутихающей мукой обращается Дарья на последнем общем сборе:

«...С тоски Клавка вязалась к Андрею, расспрашивала его про городских мужиков: каких они нынче любят баб — полных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал плечами. Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший, весёлый разговор поневоле померк, мало-помалу перешёл опять всё к тому же — к Матёре, к её судьбе и судьбе материнцев. Дарья, как обычно, решительно и безнадежно махнула рукой:

— А-а, ничё не жалко стало...

— Жалко-то, поди, как не жалко... — начал Афанасий и умолк: сказать было нечего.

— Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету, — отстав от Андрея, вдруг вцепилась в разговор Клавка, будто ожгли её. — Нашли над чем плакать! И плачут, и плачут... Да она вся назьмом провоняла, Матёра ваша! Дыхнуть нечем. Какую радость вы тут нашли?! Кругом давно новая жисть настала, а вы все как жуки навозные, за старую хватаетесь, всё какую-то сладость в ей роете. Сами себя только обманываете. Давно пора сковырнуть вашу Матёру и по Ангаре отправить.

Афанасий же первый и ответил, задумчиво поджав голос, словно и не Клавке отвечал, а себе, своим сомнениям.

— Хошь по-старому, хоть по-новому, а всё без хлеба не прожить.

— Без хлеба, чё ли, сидим? Вон свиней уж на чистый хлеб посадили.

— Покеда не сидим...

— Ну горлодёрка ты, Клавка! — вступила, опомнившись, Дарья. — Ну горлодёрка! Откуль ты такая и взялась, у нас в Матёре таких раньше не было.

— Раньше не было, теперь есть.

— Да как вижу, что есть, не ослепла. Вы как с Петрухой-то вот с Катерининым не смыкнулись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе говорю. Как это вы нарозь по сю пору живёте? Он такой же. Два сапога — пара.

— Нужон он мне как собаке пятая нога, — дёрнулась Клавка.

— А ты ему дак прямо сильно нужна, — обиделась, в свою очередь, Катерина.

— Вам чё тут жалеть, об чём плакать? — наступала Дарья. Она одна, как за председательским местом, сидела за столом и, спрашивая, от обиды и волнения дёргалась головой вперёд, точно клевала, синенький выцветший платок сползал на лоб. — У вас давно уж ноги пляшут: куды кинуться? Вам что Матёра, что холера... Тут не приросли и нигде не прирастёте, ничё вам не жалко будет. Такие уж вы есть... обсевки.

Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:

— Тётка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житьё по себе выбираете. По Сеньке шапка. А жисть-то идёт... почему вы ничё не видите? Мне вот уже тошно в вашей занюханной Матёре, мне посёлок на том берегу подходит, а Андрейке вашему, он помоложе меня, ему и посёлка мало. Ему город подавай. Так, нет, Андрейка? Скажи, да нешто жалко тебе эту деревню?

Андрей замялся.

— Говори, говори, не отлынивай, — настаивала Клавка.

— Жалко, — сказал Андрей.

— За что тебе её жалко-то?

— Я тут восемнадцать лет прожил. Родился тут. Пускай бы стояла.

— Вот ребёночек! Чё тебе детство, если ты из него вышел? Вырос ты из него. Вон какой лоб вымахал! И из Матёры вырос. Заставь-ка тебя здесь остаться — как

же! Это ты говоришь — бабуку боишься. Бабуку тебе жалко, а не Матёру.

— Почему...

— Потому. Меня не проведёшь. А бабуке твоей себя жалко. Ей помоложе-то не сделаться, она и злится, боится туда, где живым пахнет. Ты не обижайся, тётка Дарья, я тебе всю правду... Ты тоже не любишь её прятать.

Но Дарья и не собиралась обижаться.

— Я, девка, и об етом думала, — призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что да, думала, и налила себе чаю. — Надумь другой раз возьмёт, дак всё переберёшь. Ну ладно, думаю, пушай я такая... А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после нас придёт. Мы тут в самой малой доле на ей. Дак пошто ты её, как туё кобылу, что на семерых братьев пахала... ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвёл. Она не твоя. Так и нам Матёру на подержание только дали... чтоб обихаживали мы её с пользой и от её кормились. А вы чё с ей сотворили? Вам её старшие поручили, чтоб вы жисть прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют. Вы детишек-то нашто рожаете? Только начни этак фуговать — поглянется. Мы-то однова живём, да мы-то кто?

— Человек — царь природы, — подсказал Андрей.

— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет».

Дарья и на кладбище, припав к могилкам родителей, продолжает этот надрывный разговор — то ли с отцом-матерью, то ли с неразумными Клавками, то ли с собою:

«... — Ты мне, тятка, говорел, чтоб я долго жила... я послушалась, жила. А нашто было столь жить, надо бы к вам, мы бы вместе и были. А теперь чё? Не помереть мне в спокойе, что я от вас отказалась, что это на моём,

не на чьём веку отрубят наш род и унесёт. Ой, унесёт,  
унесёт...»

## **Мы — не последние!**

«Ей представилось, как потом, когда она сойдёт отсюда в свой род, соберётся на суд много-много людей — там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды — все, кто прошёл свой черёд до неё. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца, — все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. А на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше её было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чём они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растерянности, в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступятся за неё перед всеми остальными, но они виновато молчат. А голоса всё громче, всё нетерпеливей и яростней... Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего...

„Устала я, — думала Дарья. — Ох, устала, устала. Щас бы никуда и не ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом узнать всю правду... И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто такие глупые-то?.. Это только вам непонятно, а здесь всё-всё до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами, мы и глядим во все глаза, кто чё делает, кто чё помнит. Правда в памяти“.

Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.

Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это сполна

виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную правду. Она с трудом поднялась и пошла».

И в самом деле: правда Дарьи — не вся правда. Жизнь, как всё сущее, необъятна, душа человека труднопостижима не только для других, но и для него самого. Что он ищет, к чему устремлён?

У писателя нет готовых ответов. Он может лишь показать в меру таланта, в чём сладость жизни, что стоит за страхом и стыдом совестливого человека. Посмотрите, какие восторженные слова приходят к автору, рассказывающему о последнем сенокосе уже разгромленной и разъединённой в людских судьбах деревни:

«И работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. Махали литовками так, словно хотели показать, кто лучше знает дело, которое здесь же, вместе с этой землёй, придётся навеки оставить. Намахавшись, падали на срезанную траву и, опьянённые, взбудораженные работой, подтачиваемые чувством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали, подначивали друг друга старым и новым, что было и не было. И молодели на глазах друг у друга немолодые уже бабы, зная, что сразу же за этим летом, нет, сразу за этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, тут же придётся на десять лет и стариться. Гомонили, играли, дурили, как маленькие; чуть обсохнув от пота, с визгом кидались в Ангару, а кто не хотел кидаться сам, того гурьбой ловили и втаскивали в чём был, и стыд не в стыд, когда кругом свой табор, — с лёгкой руки Клавки Стригуновой раздевались до голых грудей, с отчаянным и разбойным видом выступали перед мужиками, которых было меньше, даже гонялись за ними, чтобы столкнуть в воду. И, приступая опять к работе, приходили в себя, говорили: „Ну, совсем обезумели бабы, дорвались до

Матёры. Она, поди-ка, и не верит, что это мы“, но и в следующий роздых с удовольствием безумели снова.

Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слёз. И подступали с вопросом:

— Чё вам надо было? Чё надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас некому.

И соглашался народ, задумываясь:

— Некому.

Клавка Стригунова и та помалкивала, не лезла спорить.

Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше к трезвой песне мужики подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили и выстраивались вдоль улицы все, кто оставался в деревне, — ребятишки, старухи, а также понаехавшие со стороны, когда такие были; в последнее время движение стало больше, моторки то и дело тарахтели и стригли туда-сюда Ангару. Приезжали не только из совхоза — из городов, из дальних краёв наезжали те, кто когда-то здесь жил и кто не забыл совсем Матёру. Это был горький, но праздник, когда бросались друг к другу двое, не видевшиеся много лет, успевшие уже и потерять, забыть друг друга, и, встретившись, найдясь, обнявшись среди улицы, вскрикивали и рыдали до опустошения, до того, что отказывали ноги. Матери и отцы, бабушки и дедушки везли с собой ребятишек, зазывали и вовсе посторонних людей, чтобы показать землю, из которой они вышли и которую позже будет уже не увидеть и не сыскать. Казалось, полсвета знает о судьбе Матёры...

Покосники возвращались с работы неторопливо, устало и важно... Песня то одна, то другая, то старая, то новая, но чаще всё-таки старая, прощальная-поминальная, которую, оказывается, помнил и знал

народ, которую словно для этой поры и хранил в себе... Кто пел, тем легче, слушать же их, несущих песню как дружное и безнадежное заклинание, было до того больно и пытко, что подплывало кровью сердце».

Трудно остановиться, перечитывая страницы этой повести, потому что каждая строка — будто о нашем родном гнезде, деревенском или городском, будто кто-то жестокий и беспамятный хочет вытравить из нашей души самое сладостное и сокровенное.

Вот Дарьина подруга Настасья впадает почти в детство, прощаясь в последнюю ночь перед отъездом из Матёры с каждой немудрящей вещицей в своём доме. И стоит ли удивляться? За этим — любовное отношение простой русской женщины ко всему, что лелеялось тёплыми руками долгую жизнь, что нуждалось в ласке, как собственное малое дитя:

«Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она — дома, не дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, в межоконье — большой круг от зеркала; голые заборки, голый пол, раскрытые двери, надпечье, откуда сняли занавески; пустые вешалки, пустые углы — кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованный сундук и рядом три узла, куда столкано всё добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья сняла и их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, повесила обратно. Потом достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место у порога с ласковым приговором: „Тебе ли, родненький, в город ехать, жизнь менять? Оставайся, где лежал, дома оставайся. Тебе уж не мы с Егором нужны, тебе чтоб под своим порогом находиться. Это уж так. И находишься, никто тут тебя не тронет. Будешь как на пензии“. После этого она стала наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась.



„А ты поедем, поедем, не прячься. Тебя я не оставлю. Это так я бы и сама осталась, а нельзя“. „Ой, а про тебя совсем забыла. Ты тоже полезай, тут место есть. Полезай, полезай“. „Я бы рада, а как? Как я тебя возьму? Оно хорошо бы взять, дак не выйдет. Оставайся — чё ж делать! Я приеду — мы с тобой ишо повидаемся“».

И вот как старуха, проведя в родном доме прощальную ночь, ведёт себя утром, перед самым отъездом:

«Настасья вышла на улицу, постояла на крыльце, греясь под только что выехавшим солнцем и осматриваясь кругом, видя перед собой свою Матёру, деревню и остров, потом, вздохнув, подумав, набрала беремья дров, вернулась и затопила русскую печку. Егор услышал и заворчал:

— Ты, никак, старая, совсем рехнулась?

— Нет, Егор, надо напоследок протопить, — торопливо возразила она. — Пущай тепло останется. Покамест шельшевели, она прогорит. Долго ли ей? Это уж так. Как холодную печку после себя оставлять, — ты чё, Егор?

И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнеток».

И Дарья решила, что не по-христиански оставлять под затопление родную избу неприбранной. Это же для избы смерть, а родную плоть перед похоронами всегда обмывают и обряжают.

«Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году по два раза — после осенней приборки перед Покровом и после зимней топки на Пасху. Подготовив, подновив избу, выскоблив косарем до молочно-отстойной желтизны пол, принимались за стряпню, за варево и жарево, и крутиться возле подбелённой же печки с гладко вылизанным полом, среди чистоты и порядка, в предчувствии престольного

праздника, было до того ловко и приятно, что долго-долго не сходило потом с души Светлое Воскресение.

Но теперь ей предстояло готовить избу не к празднику, нет...

Увидев наведённую извёстку, Катерина виновато сказала:

— А я свою не прибрала.

— Ты ж не знала, как будет, — хотела успокоить её Дарья.

— Не знала, — без облегченья повторила Катерина.

Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась, перед глазами протягивались сверкающие огнистые полосы, ноги подгибались. Боясь свалиться, Дарья торопливо присаживалась, зажимала голову руками, потом, подержав, приведя её в порядок и равновесие, снова поднималась: сначала на четвереньки — хорошо, стол был невысокий и нешаткий, — затем на ноги. Макала кисткой в ведро с извёсткой и, держась одной рукой за подставленную табуретку, другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными, размашистыми, движениями водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается, Сима просила:

— Дай мне. Я помоложе, у меня круженья нету.

— Сиди! — в сердцах отвечала ей Дарья, злясь на то, что видят её немощь.

Нет, выбелит она сама. Дух из неё вон, а сама, эту работу перепоручить никому нельзя. Руки совсем ещё не отсохли, а тут нужны собственные руки, как при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заёмные слёзы. Белить её не учить, за жизнь свою набелилась — и извёстка ложилась ровно, отливая от порошка мягкой синевой, подсыхающий потолок струился и дышал. Оглядываясь и сравнивая, Дарья замечала: „Быстро сохнет. Чует чё к чему, торопится. Ох, чует, чует, не иначе“. И уже казалось ей, что

белится тускло и скорбно, и верилось, что так и должно белиться...

В тот же день она выбелила и стены, подмазала русскую печь, а Сима уже в сумерках помогла ей помыть крашеную заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были выстираны раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились, в голову глухими волнами плескалась боль, но до поздней ночи Дарья не позволяла себе остановиться, зная, что остановится, присядет — и не встанет. Она двигалась и не могла надивиться себе, что двигается, не падает — нет, вышло, значит, к её собственным слабым силёнкам какое-то отдельное и особое дополнение ради этой работы. Разве могла бы она для чего другого повернуть такую уйму дел? Нет, не смогла бы, нечего и думать...

И утром чуть свет была на ногах. Протопила русскую печь и согрела воды для пола и окон. Работы оставалось вдоволь, залёживаться некогда. Подумав об окнах, Дарья вдруг спохватилась, что остались небелены ставни. Она-то считала, что с белёнкой кончено, а про ставни забыла. Нет, это не дело. Хорошо, не всю вчера извела извёстку.

— Давай мне, — вызвалась опять Сима.

И опять Дарья отказала:

— Нет, это я сама. Вам и без того таски хватит. Последний день сёдни...

Дарья добеливала ставни у второго уличного окна, когда услышала позади себя разговор и шаги — это пожарщики полным строем направлялись на свою работу. Возле Дарьи они приостановились.

— И правда, спятила бабка, — сказал один весёлым и удивлённым голосом.

Второй голос оборвал его:

— Помолчи.

К Дарье подошёл некорыстный из себя мужик с какой-то машинкой на плече. Это был тот день, когда пожарщики в третий раз подступали к „царскому лиственю“. Мужик, кашлянув, сказал:

— Слышь, бабка, сегодня ещё ночуйте. На сегодня у нас есть чем заняться. А завтра всё... переезжайте. Ты меня слышишь?

— Слышу, — не оборачиваясь, ответила Дарья.

Когда они ушли, Дарья села на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя спиной её изношенное, шершавое, но тёплое и живое дерево, вволю во всю свою беду и обиду заплакала — сухими, мучительными слезами: настолько горек и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. Вот так же, может статься, и перед её смертью позволят: ладно, поживи ещё до завтра — и что же в этот день делать, на что его потратить? Э-эх, до чего же мы все добрые по отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно, все вместе творим зла!»

## Иваны, не помнящие родства

Читая повесть, мы постоянно ощущаем два полюса: душевную чистоту и стойкость одних и ущербную мораль других. Люди, которых в народе всегда называли перекасти-поле, впадают в бесовщину, устраивают в обречённой на гибель деревне чёртовы пляски. К примеру, уничтожить, сровнять с землёй сельское кладбище пришли люди с очевидно омертвевшей душой, бесчувственные роботы:

«Те, кого Богодул называл чертями, уже доканчивали своё дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнём. Здоровенный, как медведь, мужик в зелёной брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нёс в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперёд, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил:

— Ты чего, ты чего, бабка?!

— А ну-ка марш отседова, нечистая сила! — задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил.

— Но-но, бабка. Ты это... ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты... вы... — Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. — Вы откуда здесь взялись? Из могил, что ли?

— Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломлённый её страшным, на всё готовым видом. — Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить... — Дарья взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, поганца, отца

с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?! — Она взглянула на собранные, сброшенные как попало кресты и тумбочки и ещё тошней того взвыла. — О-о-о! Разрази ты его, Господь, на этом месте, не пожалей! Не пожалей! Не-ет, — кинулась она опять на мужика. — Ты отсель так не уйдёшь. Ты ответишь. Ты пред всем миром ответишь.

— Да отцепись ты, бабка! — взревел мужик. — Ответишь. Мне приказали — я делаю. Нужны мне ваши покойники».

Собирать на полях последний урожай на Матёру тоже послали людей, о которых в народе говорят «оторви да брось».

«Хорошо работать они не могли: не своё собирают — не им и страдать... Кто-то уезжал, кто-то взамен приезжал; лодка сновала в посёлок и магазин чуть не каждый день... К обеду вылезал из двери какой-нибудь парень, почёсываясь и зевая, щурился на солнце, шёл справлять нужду и задумывался, что дальше — снова спать или жить?»

А копать картошку сюда привезли школьников из посёлка. Они такие же «земледельцы», как их родители. «Это шумное, шныристое племя, высыпав на берег, первым делом устремлялось искать по курятникам и закуткам птичье перо... Куриное перо работнички втыкали в картофелины и с силой подбрасывали вверх — игрушка летела обратно со свистящим красивым рулением. А всего потешней, если она находила цель, угадывала на чью-нибудь склонённую спину. Просто швырять картошку — хулиганство, а с пером — игра. Играли — такой народ! Что с него взять? Но, рассыпавшись по полю, иногда для чего-то и нагибались, что-то подбирали, что-то отвозила на берег машина... Новому совхозу разрешили в первые годы вести хозяйство не в прибыль, а в убыток — чего ж было на приговорённых, затопляемых пашнях

подбирать колоски или выколупывать всю до единой картошку?»

Так же по-разбойничьи чужаки палили хозяйственные постройки, мельницу, прилегающие к деревне леса.

«На подъезде возле горящей мельницы... толпились одни приезжие... Эти как с ума посходили: они прыгали, кричали, бросались под жар — кто дальше забежит, дольше подержится, погеройствует, и, не выдерживая, падая на опалённую бурюю землю, с гиком откатывались назад. Взвизгивали бабёшки, их было здесь две, когда их, пугая, подталкивали к огню, замахивались на мужиков кулаками, стучали по спинам и были довольны, веселы, счастливы. Какой-то парень, совсем ещё молоденький, глупый, залез на берёзу и, болтая ногами, ошалев от огня, выкрикивал оттуда частушки».

Старые жители Матёры понимают: когда всё побоку, человек дичает, звереет, он становится источником хаоса на земле, разорителем разумной жизни. И рьяно помогают ему в окаянном деле люди без корней, без привычки созидать. Мелкие на первый взгляд события последних дней деревни, события, увиденные зорким сердцем, оказываются совсем не мелкими, а судьбоносными и трагическими для будущего. Вот как выглядела «орда», нагрянувшая вроде бы на уборку последнего урожая:

«В первый же день, захватив Матёру и почуяв вольницу, они перепились, передрались меж собой, так что назавтра двоих пришлось отправлять к врачу. И назавтра они шумели, разбираясь, кто прав, кто виноват, снарядили лодку в магазин за добавкой, к вечеру добавили, но уже полегче, без боя. Матёре хватило одного дня, чтоб до смерти перепугаться; мало кто без особой нужды высовывал нос за ограду, а уж

контору, где обосновалась орда, старались обходить за версту».

Мудрая Дарья раздумывает:

«Уйдёт под воду Матёра — всё так же будет сиять и праздновать ясный день и ясную ночь небо. „Что небуто до Матёры? — поправляла себя Дарья. — Это людское дело. Она у людей в руках, оне над ей распоряжаются“».

Трагедия державы как раз и заключалась в том, что ею начали распоряжаться — в глухости и в высоких кабинетах — хозяева на час, предтечи «архаровцев» из следующей повести Распутина «Пожар». Выходило, что разбой и разграбление, к которому мы пришли позже, начался ими ещё тогда, когда за победными гимнами и бодрими речами о созидании мало кто обращал внимание на шушеру, уже заполнявшую «ничейную землю».

«И посеяно было нынче много меньше против прошлых колхозных лет, могли управиться своими силами, но почему-то отдали на откуп этим... опять в деревне остались в сторожах одни старухи. Перед тем, как выйти на улицу, они выглядывали из ограды в щели — всё ли там спокойно; по улице ходили крадучись; дома сидели тихо, на ночь закрывались на все запоры».

Далеко вперёд заглянул писатель. Это же картина, которая стала повседневной в России девяностых — двухтысячных годов!



## **Любая судьба жаждет обручиться с небесным светом**

Мы говорим: народная жизнь. А что это такое? Уклад, традиции, старые и новые привычки, строй души? Да, и то, и другое, и третье, И судьбы, судьбы, в которых, как в тысячах, в миллионах зеркал, отразился народный лик, народный характер. Не льстивой кистью писать их, эти судьбы, не лаком покрывать, чтобы приглянулись всему миру, а показать, каковы они есть на праведных или путаных дорогах жизни. В «Прощании с Матёрой» чуть-чуть приоткрыта, к примеру, судьба старой Катерины, матери пропившего душу Петрухи, а и в этой судьбе есть и свет, и счастье, и благородство:

«Катерина замуж не выходила, Петруху она прижила от своего же, матёринского мужика Алёши Звонникова, теперь давно уже неживого, убитого на войне. Катерина была много моложе его; когда они схлестнулись, у него уже бегало четверо по лавкам, но так прищемил он ей сердце, что ни за кого она не пошла, хоть охотников в молодые годы находилось вдоволь. Алёша Звонников тоже был порядочный баламут, и Петруха взял от него по этой части немало, но он и до работы был охочий мужик и имел же что-то особенное, если смирилась с Катериной его родная баба и если сама Катерина, ни на что не надеясь, вся светилась и обмирала от радости, когда в ночь-полночь подворачивал к ней чужой мужик. Она и сейчас, вспоминая о нём, менялась в лице и оживала, как от вина, глаза её раскрывались и счастливо уставлялись туда, в дни и ночи сорокалетней давности, и то, что видела она там, ещё теперь согревало её. И говорила она об Алёше, как о своём, и в Матёре она имела на это

право, потому что Алёшина семья после войны съехала с острова.

Связь между Катериной и Алёшей скрыть было невозможно, в деревне знали о ней все. Потом, когда родился Петруха, Алёша и вовсе перестал таиться и открыто взял на себя заботу о новой своей семье, среди бела дня на глазах у народа привозил Катерине дрова и сено, поднимал завалившееся прясло. Так, на две семьи, и жил года три или четыре, пока не свалилась война, и в Матёре к этому скоро привыкли и перестали судачить. Об Алёше особенно и не посудачишь — всякие пересуды от него отскакивали как от стенки горох. Он и сам кого хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий решался схватываться. „А я таковский, — любил он прихвастнуть, — меня не перетакуешь“. И десять, и пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, ухлёстистых парней и мужиков в деревне говорили: „Ну ишо один Алёша Звонников объявился“».

\* \* \*

Оглядывая прожитую жизнь, старая Дарья мучительно разгадывает: для чего она была дана?

«И кажется Дарье: нет ничего несправедливей в свете, когда что-то, будь то дерево или человек, доживает до бесполезности, до того, что становится оно в тягость; что из многих и многих грехов, отпущенных миру для измоленья и искупленья, этот грех неподъёмен. Дерево ещё туда-сюда — оно упадёт, сгниёт и пойдёт земле на удобрение. А человек? Годится ли он хоть для этого?.. К чему тогда терпеть старость, если ничего, кроме неудобств и мучений, она не даёт? К чему искать какую-то особую, вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом, что всё, для чего ты

приходил в свет, ты давно сделал, а вся твоя теперешняя служба — досаждать другим. „Так ли? Так ли?“ — со страхом допытывалась Дарья и, не зная ответа, зная, вернее, лишь один ответ, растерянно и подавленно умолкала...

Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего она в ней не поняла. Пока подвигалась к старости она, устремилась куда-то и человеческая жизнь. Пускай теперь её догоняют другие. Но и они не догонят. Им только чудится, что они успеют за ней, — нет, и им суждено с тоской и немощью смотреть ей вслед, как смотрит сейчас она».

Текут раздумья человека, прошедшего долгую земную дорогу... Что делает его притягательным и неповторимым? Конечно, душа. Да, она может быть мелкой, самолюбивой, жестокой, корыстной — несть числа её недобрым качествам. Запомнится ли такая душа другим людям? Запомнится. Как мёртвый и опасный сумрак. Но притягивать, давать пример другим, освещать чужую дорогу небесным светом может только душа, исповедующая добро, честность и справедливость. Вот, кажется, найдены точные слова: исповедующая Правду. Правда включает всё: и свет, и тепло, и святость.

Мы не можем обойти ещё одну особенность повести, ту особенность, о которой мы говорили и в связи с предыдущими произведениями Распутина: его любимые герои — это люди глубоко верующие. Для старухи Дарьи, как и для её подруг, обращение к Богу в счастливые и трудные минуты естественно. Пятьдесят лет героиня прожила в стране, где гнобили церковь, и только двадцать-тридцать молодых лет — в старой, православной России. Но душа её как нашла когда-то твёрдую опору, так и продолжала жить по Божьим заветам. Корни-то глубоки. В дни сердечной боли за судьбу Матёры Дарья обращалась к Господу с мольбой о

помощи и прощении, и каждое её взывающее к милосердию и покаянное слово воспринималось читателями семидесятых годов прошлого века как естественное, понятное и близкое:

«Прости нам, Господи, что слабы мы, непамятливы и разорены душой, — думала она. — С камня не спросится, что камень он, с человека же спросится. Или Ты устал спрашивать? Отчего же вопросы Твои не доходят до нас? Прости, прости, Господи, что спрашиваю я. Худо мне. А уйти Ты не даёшь. Я уже не по земле хожу и не по небу, а как подвешенная меж небом и землёй: всё вижу, а понять, чё к чему, не умею. Людей сужу, а кто дал мне такое право? Выходит, отсторонилась я от них, пора убирать. Пора, пора... Пошли за мной, Господи, прошу тебя. Всем я тут чужая. Забери меня к той родне... к той, к которой я ближе».

Неудивительно, что такой православный человек, как Дарья, и стоит в центре повествования. Пожалуй, только она может по справедливости оценить добрый и худой поступок земляка, попросить прощения за чужую низость и собственный промах, признаться в своей незыблемой вере и непростительной, по её разумению, слабости. Может быть, не все согласятся, если сказать, что это характер общечеловеческого значения. В каких только житейских обстоятельствах не проявляется мудрость Дарьяна, и она, эта мудрость, может оказаться поучительной для землян в любом месте планеты. В западной цивилизации, например, ныне принято, что родители отделяют от семьи детей чуть ли не в молочном возрасте. Живи самостоятельно, утверждайся среди других, а готов ты для этого или нет — проблема твоя. И русская мать пытается вразумить дальних и ближних:

«Господи, как легко расстаётся человек с близкими своими... Хоронит — волосы рвёт на себе от горя... а проходит полгода, год, и того, с кем жили вместе

двадцать, тридцать лет, с кем рожали детей и не чаяли друг без дружки ни единого дня, будто бы никогда и не было. Что это? Так суждено или совсем закаменел человек? И о детях своих, уложенных раньше себя, он страдает потому лишь, что чувствует свою вину: он обязан был беречь их и не сберёг. А со всеми остальными случайно или не случайно — от одного отца-матери — встретился, побыл, поговорил, поиграл в родство и разошёлся — каждому своя дорога. Нет, дик человек, этак и зверь не умеет. Волк, потерявши подругу, отказывается жить...»

Метафоричен конец повести. В дощатой хибаре Богодула вместе с ним остаются в последнюю для деревни ночь Дарья, Катерина, Настасья, Сима. Мглистый и сырой туман проплывает в окне, кажется, что уютное жилище уже опустилось под воду. И слышен разговор:

«— Это чё — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Да, однако, не день, — отозвалась Дарья. — Дня для нас, однако, боле не будет.

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако что неживые.

— Ну и ладно. Вместе — оно и ладно. Чё ишо надо-то?»

Поначалу кажется, что это Последние. С большой буквы. Последние из устроенной, крепкой, праведной жизни. Они остались в родном селе, со своими предками, не предав их память, обжитую ими землю. Это одно. А другое — они предпочли держаться одной семьёй, преданные друг другу до самой гибели родной деревни. Но они не Последние. Они и зывали к беспамятным согражданам: помните, что за вами, как и за нами, придут новые поколения, они спросят, почему вы прервали нить, которая связывает прошлое,

настоящее и будущее. На эту нить нанизывается вся жизнь на земле — тысячелетняя, бесконечная.

И тут к месту будут чеканные слова, завершающие эту мысль. Они напишутся позже, в другой повести — «Пожар», но это будет продолжением той же думы, и потому их стоит привести здесь:

«Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот: дома. Поперёд всего — дома, а не на постое, в себе, в своём собственном внутреннем хозяйстве, где всё имеет определённое, издавна заведённое место и службу. Затем дома — в избе, на квартире, откуда с одной стороны уходишь на работу и с другой — в себя. И дома — на родной земле...»

Иногда очень важное припоминается вдруг к слову... Сейчас — такой случай. Однажды у меня с Валентином Григорьевичем случился разговор о диссидентах. Не было секретом, что он с пониманием относился к эмиграции по собственной воле — одних и с возмущением к насильственному выдворению — других. В семидесятые годы был, пожалуй, пик диссидентства. Распутин рассказал, что как-то его пригласили на Старую площадь, в ЦК партии. Без всякого повода. Сам он ни о чём не просил, ничего предосудительного не совершал. Беседа с секретарём ЦК по идеологии выходила совсем незначительной, дежурной — о житейских делах, о творческих планах... Смысл приглашения он понял после вопроса главного идеолога: «У вас не возникало желания выехать на жительство за рубеж?»

— Вопрос глупый для того, кто читал твои книги, — вырвалось у меня. — Что же ты ответил?

— А что ответил? Сказал: уезжают те, кто может прожить без родины. Я — не могу.

После знакомства с героинями повестей «Последний срок», «Живи и помни». «Прощание с Матёрой» вряд ли покажется удивительным и личный поступок Валентина

Григорьевича: в восьмидесятом году, как уже говорилось, он принял крещение. Позже, отвечая на удивлённый вопрос корреспондента одной из газет, как он решился на это при советской власти, писатель ответил: «Я до этого два года подряд ездил на Поле Куликово, тогда был юбилей битвы, писал об этом. Недалеко от Куликова Поля, в Ельце, жили два необыкновенных священника, наследующих ещё от известных оптинских старцев. Один из них был слепой. Мудрый человек, известный. Другой прошёл войну, потом каторгу. И я крестился, потому что уже к тому времени созрел».

## **«Пролить слезу, испить стакан надежды...»**

А как приняли читатели, писатели, критики новое произведение прозаика?

Из душевных откликов писателей хотелось бы выделить несколько строк Расула Гамзатова. Десятью годами раньше поэт опубликовал проникновенную, исповедальную книгу о родном горном крае — «Мой Дагестан». И кажется символично, что тот, кто навеки оставил «в горах своё сердце», так эмоционально высказался о сочинении сибиряка:

«Можно только по-хорошему позавидовать первожданной силе прозы Валентина Распутина. Судьба деревни Матёры, мощный образ Дарьи, щемящая тоска по безвозвратно уходящему миру, дорогому, но обречённому, — вся эта впечатляющая симфония прощания с Матёрой из одноимённой повести Распутина произвела на меня сильное впечатление».

Раздумья, призывы, советы распутинских героев были услышаны и оценены почти на всех континентах, о чём свидетельствуют и отклики на произведения писателя, и издание его книг в разных странах.

Любопытную статью напечатал в 1981 году в еженедельнике «Лачфэрул» (№ 6) румынский критик Г. Стучу. Публикация имела название «Кто-то заглянул в глубины мира».

«Проза Валентина Распутина, — писал автор, — пришла к нам из дальнего далека, с далёкого меридиана, „из глубин мира“, как любил говорить Аргези. Из иных глубин мира пришла к нам проза Латиноамериканского континента. Мы причащаемся и к той, и к другой, берём из образности обеих литератур близкое нашей сути...



Там, в далёкой Сибири, Валентин Распутин пишет книги о крестьянах, которые знают тайну, как замесить хлеб, говорят на своём старинном языке, языке дедов и прадедов, а мы здесь, в Карпатах и Бэрэганских степях, без труда понимаем (в переводе). Как существует универсальный язык музыки, так существует и универсальный язык пекаря, универсальный язык мастерового... Валентин Распутин — один из тех современных писателей, у которых особенно чуткая совесть. В своих произведениях он не предлагает решений, но, подлинный художник, он показывает жизнь и раскрывает, расшифровывает суть мира, а потому его книгам суждено долго жить.

Прочитав книги Распутина и других прозаиков подобного ряда (Фолкнер — у американцев, Шолохов — у русских, Жиано — у французов, Садовяну — у румын и др.), литературные критики должны стать менее щедрыми на похвалы модной софистике: не всё у того или иного писателя служит гуманизму, который звучит пронзительной нотой в этот высокий и трагический час истории...

Валентин Распутин — писатель, столь далёкий и близкий нам, изображает в своих книгах мир простых людей... Но их волнуют — вчера и особенно сегодня — трагические проблемы бытия и гуманизма. Как писатель нашего сложного и беспокойного мира, Распутин просит выслушать их завещание; они не противятся цивилизации, но просят, как сказал бы Аргези: „торопитесь медленно“.

Мне бы хотелось, чтобы писатель с далёкой Ангары, как и писатели с берегов других рек, считали бы меня своим братом по духу. И чтобы, если нам доведётся когда-нибудь свидеться, мы, прежде чем испить стакан надежды, пролили бы слезу...»

Зарубежные критики, пожалуй, точнее советских (как правило, относивших творчество писателя к

«деревенской прозе») определили новизну «русских романов» Распутина. Югославская исследовательница Лиляна Шоп заметила:

«Своими произведениями Валентин Распутин включается в разговор о вечных вопросах жизни и смерти, издавна ведущийся мировой литературой, а не пишет „деревенскую прозу“».

# **Глава одиннадцатая**

## **ОТ ТОКИО ДО КАНЗАС-СИТИ**

## С нарастающим интересом

Если взять десятилетие — с середины семидесятых годов до середины восьмидесятых, то можно сказать, что это — время широкого знакомства мирового читателя с творчеством Распутина, его поездок во многие страны по приглашениям писательских, экологических, миротворческих организаций и, конечно, энергичного, безотказного участия в общественных делах родной державы. Чтобы убедиться в этом, «выстроим» события по датам.

*Год 1975-й.* В Болгарии опубликована повесть «Живи и помни» (за год до этого — «Деньги для Марии»). В составе делегации Союза писателей СССР Распутин посетил Венгрию. На съезде Союза писателей РСФСР избран членом правления этой организации. Вошёл в редколлегию журнала «Наш современник» (а чуть раньше — в редколлегию газеты «Литературная Россия»).

*1976-й.* Повесть «Живи и помни» напечатана в Венгрии и ФРГ. В Болгарии вышла книга, в которую вошли названная повесть и «Последний срок». Вместе с Владимиром Крупиным побывал в Финляндии, участвовал там в дискуссиях о проблемах современной литературы, а с Юрием Трифоновым — в ФРГ, на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. Был делегатом съезда писателей СССР, где его избрали в руководящий орган творческого союза.

*1977-й.* Сборник повестей и рассказов под названием «Живи и помни» вышел в Восточной Германии, в берлинском издательстве, а повесть «Прощание с Матёрой» — в Западной, в Мюнхене. Участвовал в мероприятиях первой Всемирной книжной выставки-ярмарки в Москве. Начал общественную

работу в качестве депутата Иркутского областного совета.

*1978-й.* В Болгарии выпущены две книги сибиряка: «Повести и рассказы» и пьеса «Последний срок» (созданная на основе повести). Пьеса зазвучала на болгарском языке в софийском театре и на словацком — со сцены в Братиславе. Другая пьеса по произведению Распутина — «Деньги для Марии» — поставлена в ГДР. В Венгрии, в Будапеште, переиздана повесть «Живи и помни» в серии «Современная советская проза». По приглашению издательств и писательских ассоциаций в марте Распутин побывал в ГДР, а в декабре — в ФРГ. В составе группы советских писателей совершил поездку в Чехословакию. Приглашён Восточно-Сибирским издательством (Иркутск) в редколлегию серии «Литературные памятники Сибири»; участвовал в выборе многих редких книжных памятников для их выпуска в свет.

*1979-й.* Болгары напечатали в журналах и газетах несколько рассказов Распутина. В Праге на чешском языке и в Братиславе на словацком опубликована и поставлена в театрах пьеса «Деньги для Марии». С делегацией писателей посетил Францию, Италию, где проходили Дни Советского Союза. Переизбран на следующий срок депутатом Иркутского областного совета.

*1980-й.* В Берлине и Веймаре издана книга «Вниз и вверх по течению», а в Лейпциге — сборник, включивший повести «Последний срок» и «Живи и помни». Те же повести под одной обложкой вышли в Праге. Здесь же для детей опубликован книжицей рассказ «Мы с Димкой». «Деньги для Марии» и «Последний срок» напечатаны на английском языке в Австралии. Летом на очередном съезде писателей СССР Распутин избран членом правления творческого союза. В сентябре с большой группой известных литераторов

страны отправился в Карелию, где участвовал в обсуждении проблем современной прозы. Награждён вторым орденом — Трудового Красного Знамени (первый орден — «Знак Почёта» — был вручён писателю в 1971 году).

*1981-1982-й.* В Софии и Берлине в периодике публикуются новые рассказы писателя, переиздаются прежние его произведения. Он участвует в дискуссиях, организованных клубом «Интерлит-82» в Западной Германии. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры приглашает Распутина на свой очередной съезд в Новгород как человека, постоянно выступающего устно и письменно за бережное сохранение народных святынь. Вот и на этом сборе единомышленников Валентин Григорьевич обратился к соотечественникам со страстным словом.

*1983-1984-й.* В Восточной Германии издатели продолжают знакомить любителей чтения с новыми произведениями писателя из Сибири. Отдельной книгой здесь вышел в свет рассказ «Что передать вороне?». Повести «Последний срок» и «Прощание с Матёрой» опубликованы в Барселоне на каталонском языке. По приглашению Института изящных искусств Мексики Распутин посетил эту страну. Выступал перед литераторами, студентами, читателями-поклонниками европейской и русской литературы. В связи с 50-летием Союза писателей страны удостоен высшей награды государства — ордена Ленина.

*1985-1986-й.* Повесть «Прощание с Матёрой» издана в Швеции. Первые публикации рассказов и повестей Распутина появились в Соединённых Штатах Америки. Канзасский университет в городе Канзас-Сити пригласил писателя прочесть цикл лекций о современной русской прозе. Вместе с В. Астафьевым, Б. Окуджавой, В. Соколовым, И. Драчем, С. Алексиевич Распутин принял участие в Днях «Литературной газеты»

в Болгарии. Побывал в Японии, куда его пригласила Ассоциация писателей этой страны. Посетил Швецию по приглашению защитников природы — делился опытом, как он и его соратники участвуют в охране заповедной Сибири и особенно Байкала.

К этому годовому обзору необходимо добавить хотя бы несколько слов о том, с каким нарастающим интересом следили за творчеством Валентина Распутина в союзных республиках нашей страны. Каждая новая повесть, цикл рассказов после появления их в печати сразу же переводились на языки народов многонационального Советского Союза. Если сложить тиражи распутинских книг, выпущенных только за указанное нами десятилетие, то получатся миллионы экземпляров. Раскупались читателями, поступали в фонды библиотек сборники и книги сибиряка на литовском, украинском, азербайджанском, молдавском, латышском, армянском, казахском, белорусском, киргизском, узбекском, эстонском языках. Издательства, журналы и газеты автономных республик Союза — Калмыкии и Татарстана, Якутии и Бурятии, Дагестана и Чечено-Ингушетии — публиковали произведения Распутина на своих национальных языках. Так что поклонники таланта Распутина, думается, искренне были обрадованы, узнав, что за повесть «Живи и помни» писателю присуждена Государственная премия СССР 1977 года в области литературы, искусства и архитектуры. Красноярский журналист Владимир Зыков, к примеру, заметил в своих воспоминаниях:

«У меня в руках книга „Живи и помни“ („Современник“, 1975) с тёплым автографом автора и наклеенными на вторую страницу обложки моими поздними вырезками из газет о присуждении Валентину Григорьевичу Государственной премии СССР и высказыванием председателя Комитета по

Государственным премиям Николая Тихонова: „Это глубоко патриотическое произведение, посвящённое проблемам нравственности, страстный призыв быть верными Родине, честно служить родному народу“.

Молодцы „комитетчики“! Выдержали паузу — и наградили! Вполне заслуженно».

\* \* \*

Сегодня биографы модных когда-то «шестидесятников», особенно эстрадных витий, не без восхищения живописуют, как их знаменитые герои комфортно чувствовали себя в американских и английских мегаполисах, запросто пересекали азиатские и ближневосточные просторы, встречались с кумирами западной литературы, театра, живописи и архитектуры, с лордами, пэрами и даже президентами. О чём и сами герои шестидесятых оставили немало свидетельств, в которых нельзя не заметить, как упивались они своей известностью. О посещении Распутиным зарубежных стран (в одиночку или в компании с коллегами) тоже есть свидетельства и самого писателя, и его спутников. Но как они, эти свидетельства, разнятся с рассказами о вояжах литературных «небожителей»!

Заметки Распутина о путешествии в Швецию, например, — это разговор, как всегда, поучительный и полезный, позволяющий сравнить, как мы относимся к своим национальным и к мировым сокровищам культуры, и как — жители других стран... Судя по этим заметкам, писатель отправлялся в чужеземье не себя показать, а на людей посмотреть.

В Швеции давний знакомый Распутина, переводчик и журналист Малькольм Дикселиус, повёз его в свой родной городок Сундсваль.



В нём, рассказывает писатель, «три целлюлозных комбината, деревообрабатывающий завод, механический завод, поставлявший, кстати, оборудование для Братского лесопромышленного комплекса, алюминиевый и химический заводы. А население — сто тысяч человек. Ни комбинатов, ни заводов не видно, они кормят город, но не властвуют в нём, как у нас, не выставляют с гордостью свои корпуса и трубы».

Старые многовековые склады, размещавшиеся в торговом когда-то Сундсвале, теперь оказались не надобны, и их решили переоборудовать в культурный центр. Тем, как идёт эта работа и украсят ли реставрированные здания городок, интересуются все жители. «Для шведов, — пишет сибиряк, — старина имеет совсем другой смысл, чем для нас, они не приводят в качестве доводов ни воспитательное, ни историческое значение, чтобы кого-то ими убедить; старина для них — родительский мир, ничто из которого без последней нужды приговору не подлежит. Сундсвальцы больше всего гордятся не целлюлозными комбинатами, не химическим заводом, а находящейся у них на острове Альнен в храме реликвией XII века — деревянной чашей, купелью. Сгори комбинат — это будет беда для части горожан, которая потеряет работу, но пострадай святыня с острова Альнен — это будет трагедия для всех. После того, как купель свозили на выставку в Париж и на ней появились трещины, они появились, без иронии сказано было мне, в сердце каждого сундсвальца».

Новостью, удивившей иркутянина, стало сообщение Дикселиуса: оказалось, в его родном провинциальном городке хранится карта Сибири, выполненная шведским капитаном Страленбергом, участником Полтавской битвы, который отбывал плен в нашем ледяном краю. Ну, бывали в истории такие раритеты, случалось, что и

обладателями их становились скромные селения. Однако одно обстоятельство, связанное с бесценной картой, можно сказать, поразило гостя из России: хранилась она в архиве, принадлежащем целлюлозной акционерной компании SCA. И хранилась достойно: висела в зале и находилась под постоянным присмотром архивариуса.

Писатель отыскивал на карте Тобольск, Иркутск, реку Томь, Байкал и Лену... «С тем же чувством, — признавался он, — с каким вглядывались бы мы в живые лица наших прямых предков почти за два столетия до нас, рассматривал я полужнакомые наивные очертания. С неё, с этой карты, Сибирь всё ещё представлялась загадочной и сказочной страной, великой и необмерной. Так хотелось когда-нибудь побывать в ней!»

Хранитель сокровищ предложил Распутину осмотреть архив, и писатель передал своё впечатление от этого осмотра читателю:

«...двигался я от экспоната к экспонату, от Библии Карла XII к древним рукописям, от святыни к святыне с какой-то подавленностью и стыдом: вот вам и технократы! И уже не удивился, когда рассказали мне, как несколько лет назад алюминиевый завод в Сундсвале решил расширить своё производство, но город потребовал от него гарантий, что расширение не повлечёт за собой дополнительных загрязнений. Гарантий таких компания дать не могла и отказалась от реконструкции. Наверное, и у неё есть свой архив с культурными ценностями.

Как не согласиться с великими: насколько поднять, настолько и уронить может любую страну её отношение к культуре».

Одну из совместных с Распутиним зарубежных поездок припомнил Владимир Крупин:

«В 1972 году мы по командировке Союза писателей отправились в Финляндию. Я был коммунистом, Валя в

партии не состоял. По мнению спецслужб, мы вели себя в этой стране слишком вольно. На одном из приёмов один из нас неловко пошутил: „У нас в Москве пасмурно, а у вас — солнце. Значит, Господь больше любит капитализм“. За неудачную шутку, которую тут же напечатали западные газеты, нас какое-то время не выпускали за границу».

Итак, чем же отличался автор «Прощания с Матёрой» и «Живи и помни» от тех «полпредов советской литературы», которые почти единолично представляли её за рубежом? Зорким взглядом на жизнь по ту сторону границы? Осмыслением уроков, которые дают соседние страны? Сердечным вниманием к их традициям и культуре? Да. Достоинством? Равнодушным отношением к собственной известности? Отсутствием «гибкости» в суждениях? Без сомнения.

## Как рождаются книги

После публикации первых повестей Распутина многие периодические издания, особенно литературные, стали брать у писателя интервью, интересоваться: «Как рождаются ваши книги? Есть ли у вас свои творческие секреты?»

Это закономерно. Когда появляется новый яркий талант, он вызывает живой интерес и у читателей, и у коллег-писателей. Поэтому приведу одну из бесед с Распутиным на творческие темы, благо, что он всегда рассказывал о собственной работе интересно и откровенно. После выхода в свет повести «Прощание с Матёрой» Распутин ответил на вопросы журналиста «Литературной газеты»:

«— Как я пишу? Никаких предварительных заготовок у меня, как правило, нет. Даже никакого плана не составляю заранее. Единственно, что делаю, приступая к работе, — завожу словарь для каждого действующего лица. Стараюсь просто разделить язык героев, чтобы слова не повторялись. Пишу главами, причём иногда не представляю, что будет в следующей, как не знаю во всех деталях завтрашнего дня. Вначале считаю удачей, если за день получится страница. На заключительном этапе сижу за столом с утра до вечера. Тогда выходит по пять-шесть страниц.

— *Где вы предпочитаете быть, когда работаете над новой книгой?*

— В начале работы нужно полными днями быть одному. В конце, когда появляется рабочее настроение, могу писать где угодно.

— *Читаете ли вы во время работы над новой вещью какие-либо не относящиеся к ней книги?*

— Читаю то, что на время отвлекло бы от мыслей о работе, чтобы с утра появилось ощущение некоторой её новизны и желания её. Но это не отдых. Нет, чтение — это тоже работа, работа и мыслей, и чувств. Всего того, что называется душевной и умственной организацией человека, которую в определённом смысле можно сравнить с рекой, принимающей в себя новый приток. После хорошей книги читатель — уже не прежний человек, а человек иной, более богатой наполненности...

— *Как к вам приходит образ, как возникает внутреннее ощущение, что это „то самое“?*

— Собственно, с образа, а вернее, с характера, который хотелось бы показать, и начинается повесть, самое первое её движение. Так было и с „Последним сроком“, так было и с „Живи и помни“. Тут, пожалуй, не проблемы выбирали героев, а старуха Анна, Настёна, помещённые в определённые обстоятельства для наиболее полного раскрытия их характеров, выставляют естественные для их жизни проблемы. Хочу подчеркнуть: естественные, вытекающие по некоему природному руслу из жизненного опыта героя, из той обстановки, из тех обстоятельств, в которых они действуют. И как бы ни хотелось автору, пользуясь героями, как передаточным звеном, высказать свои мысли, которые представляются ему важными и которые, может быть, и есть важные, но если их не высказывают сами герои, читатель этих мыслей не заметит, проблемы не возникнет, вопроса не встанет — то есть ничего, кроме авторского произвола по отношению к своим героям, не выйдет.

Это очень важно, чтобы автор не чувствовал себя выше своих героев и не ставил себя умнее и опытнее их. Только доверие к ним и равноправие во время работы самым чудесным образом вызывают и ответные возможности героев быть не кукольными фигурами,

которые двигаются и говорят при помощи всяческих проволочных приспособлений, а живыми людьми, которым читатель поверит от начала и до конца.

— *Кто стоит за Анной, Настёной, Дарьей? Какими были в реальной жизни эти люди, чьи чёрточки, облик, характер вы взяли?*

— За Анной стоит моя бабушка, теперь уже покойная. Я писал её язык, во многом её понимание и восприятие жизни и смерти. Поэтому мне довольно легко было писать старуху Анну. Существовала, что называется, натура.

У Настёны, как, впрочем, и у Дарьи, какого-либо определённого прототипа нет. Их прототипы — представление о русской женщине, какой она была и какую хочется знать не только по воспоминаниям — женщине доброй, преданной, самоотверженной и готовой к самопожертвованию. О женщине, которая по своему пониманию жизни не может сказать: ты виноват, а я нет — в которой это сознание вины за другого, как своей собственной, существует постоянно.

— *А какие черты характера вы более всего цените в людях?*

— Доброту, несуетность, совесть и чувство невольной вины и ответственности за всё, что происходит в мире. Многие наши пороки оттого и происходят, что мы лишены этого чувства вины. Жить — не только счастье и радость быть в жизни со всем тем, что есть жизнь, но и постоянное ощущение того, что ты живёшь хуже и слабее, чем мог бы, и что кто-то на твоём месте сумел бы прожить полезней».

\* \* \*

Сам Распутин всегда руководствовался этими выношенными правилами. Чувство вины перед

надорвавшейся в жизни матерью, погубленной Ангарой, родной деревней и ощущение, что он не всё сделал для них, для «уходящей из-под ног» России, оставалось в нём саднящей болью. «Ты живёшь хуже, чем мог бы» — этот приговор себе означал одно: помни свою вину перед всем сущим.

А хорошо знавшие его могли бы сказать: «Ты и так не жалеешь сил для других. Ты отказался от всяких благ, которые для многих братьев-писателей стали привычными».

И в самом деле: писатель, известный уже не только в стране, но и в мире, Распутин никогда не бывал на привилегированных курортах, не добивался льгот, не устраивал близких в престижные учебные или научные заведения и на хлебные места. Даже в торжественные (для других) минуты награждений он по рассеянности или полному равнодушию к знакам признания мог поступить так, как рассказал об этом Владимир Крупин: «Когда в Кремле он получил звезду Героя Социалистического Труда, то вскоре там же снял её с груди, сунул в карман и забыл. Это была не поза, не игра, а его сущность. Характер».

Ежегодно Распутин выкраивал время, чтобы побывать в Аталанке. Никогда не забывал о нуждах матери, оставшейся в доме после кончины Григория Никитича в одиночестве. Щемящее чувство испытываешь ты, сторонний человек, — чувство неизбывной вины перед своей матерью, что тоже оказалась вдалеке от твоей поддерживающей руки, — читая письмо сына (одно из многих!) Нине Ивановне:

«Мама, здравствуй!

Посылаю тебе посылку. Что к чему, ты разберёшься сама, только не храни сырки в круглых коробочках, съедай их сразу. Сосиски можно разогреть в банках, а потом открывать, а можно сначала открыть, а уж после вскипятить.

Травка — богородская, та, которую ты пила. Заваривать её надо кипятком каждый день (лучше в пол литровой банке) понемножку и за день выпивать. А на следующее утро заваривать снова. Отправляю её пока немного, потом, как найду, пошлю ещё.

Выслал тебе на днях деньги. Не жалея их — ешь, пей, бери всё, что надо и не надо.

Был сегодня Геннадий. Всё у него вроде хорошо, поговаривает, чтобы в январе или феврале поехать в Аталанку. Я ему советую ехать с новой женой — смеётся, говорит, что с нею летом.

С Новым годом тебя. Передавай приветы и поздравления всем нашим. Деньги с Романа не проси, я сам потом буду рассчитываться, верней, договариваться с ним.

Зима пока стоит как специально для тебя. Не болей.

Обнимаю

Валентин.

Р. С. Мы купили цветной телевизор, приезжай посмотреть, если не купили свой.

Ренита с Юрой (Григорьевы, кинорежиссёры. — А. Р.) и Володя Крупин (все они были в Аталанке) передают тебе приветы. 20 декабря 1983 г.».

Фельдшер Надежда Александровна Миронова, уже упоминавшаяся, часто по-соседски заглядывала к Нине Ивановне. В её рассказе есть подробности, которые хочется привести:

«Валентин Григорьевич заботился о матери очень трогательно. Нина Ивановна всегда с удовольствием показывала, что прислал или привёз ей сын. У неё на видном месте стоял сундук. Она складывала туда подарки Вали и Светы. Как-то я пришла к Нине Ивановне простывшая. Она говорит: „Сейчас я тебя полечу“. Думаю: чем же она меня, медика, может полечить? Нина Ивановна открывает сундук и вынимает



оттуда „звёздочку“, восточную мазь, которую я, к стыду своему, до этого не видала. Спрашиваю: „Что это такое?“ — „Это мне Валя привёз. Когда насморк, надо этой мазью натирать виски“. Она подошла ко мне и начала колдовать надо мной, как над ребёнком.

Ещё признаюсь. Конфеты в коробках я увидела впервые у Нины Ивановны. Тогда конфеты продавали только на развес. В красивых упаковках они появились в наших краях позже. Нина Ивановна угощала соседок этими редкими сладостями. Сама вся светилась...»

В деревне рассказывают, что Светлана Ивановна любила, одевшись просто, «по-аталански», копаться в огороде или готовить для большой семьи овощные блюда. Иногда свекровь говорила ей: «Почему ты не оденешься получше?» И добавляла не без гордости: «Ты всё-таки жена писателя». На что невестка с улыбкой отвечала: «А чем же я-то заслужила такое право — отличаться от других? Тогда и вам надо принарядиться: вы всё-таки мать писателя!»

## **Дети писателя: «Мы выбираем путь...»**

Для любого человека после собственного выпускного вечера следующий, такой же волнующий — выпускной вечер сына или дочери. Для супругов Распутиных это событие пришлось на 1978 год, когда среднюю школу окончил сын Сергей.

Признаюсь, мне было интересно узнать, как Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна наставляли Сергея, а позже и Марусю: какую профессию выбрать в жизни? Всё-таки это судьбоносное решение дети вряд ли могли принять без их советов.

В нашем разговоре на эту тему Сергей не пытался припоминать каких-то наставлений отца или матери. В сдержанном рассказе сына всё было прозаично, но вместе с тем и интересно.

— Сначала, ещё учась в десятом классе, я хотел стать геологом, однако в последний момент передумал и поступил в Институт иностранных языков. На четвёртом курсе пошёл служить в армию, а вернувшись, закончил учёбу, только уже заочно. После института по распределению меня направили в школу учителем английского языка. Спустя два с половиной года, погнавшись за высокой зарплатой, устроился на завод тяжёлого машиностроения в литейный цех. Поработал отбойным молотком. Но и там надолго не задержался.

На дворе 1989 год, горбачёвская перестройка. Уже появились кооперативы. В Иркутске тогда жил писатель, журналист, старатель Леонид Мончинский, а моя первая жена Надежда дружила с его дочкой Любой. Леонид Васильевич занимался подбором кадров для строительного кооператива «Северный» в Ухте, в Республике Коми, и он предложил своему зятю Славе и

мне поехать туда. Кооператив «Северный» был создан по типу старательских артелей Вадима Туманова, и там заколачивали в те годы бешеные деньги. Естественно, мы не могли отказаться от такого предложения. И сейчас, по прошествии более четверти века, я очень благодарен Леониду Васильевичу за две вещи. Во-первых, пока мы со Славой были там, в Ухте, он как бы шутя, исподволь, но постоянно настраивал нас, выросших в СССР, на предпринимательство. А во-вторых, я заработал всего за полгода около двенадцати тысяч рублей — деньги для конца восьмидесятых немалые, и они мне вскорегодились.

Ещё работая в кооперативе, я принял решение создать свою языковую школу. Но как? Мне явно не хватало навыков разговорного английского, знания методики преподавания языка, а также хороших учебников. И тут мне в голову пришла довольно неожиданная для того времени идея поехать в США — границы только-только начали открываться. Я написал письмо Джерри Миккелсону и его жене Маргарет Уинчел. Он — профессор русского языка и литературы в Канзасском университете, она — сотрудница славянского отдела университетской библиотеки. Они переводили произведения моего отца на английский, и благодаря этому мы были знакомы. К счастью, они согласились принять нас, Надежду и меня, в своём доме и прислали нам официальное приглашение.

Надо сказать, что это было увлекательное и полезное путешествие. Мы проехали пол-Америки на автобусе, общаясь с простыми американцами, и посещали занятия английского языка в Канзасском университете и в частном институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния. Я ремонтировал крыши в Лоренсе, штат Канзас, за пять долларов в час, и чистил от снега дорожки перед частными гаражами.

Первый месяц мы жили у Джерри и Маргарет; они и помогли нам с работой и посещением занятий в университете. Затем мы улетели в Сан-Франциско, где остановились сначала у матери одного нашего американского знакомого — весёлой и гостеприимной Элиз де Грут, которая, к слову, до пенсии работала клоуном в цирке, а потом благодаря связям Леонида Мончинского нас принял в своём шикарном доме русский миллионер Алексей Ермаков. Мы жили посреди леса недалеко от Невада-Сити в семье буддиста и эколога Майкла Килэгру (с ним я ранее путешествовал по Байкалу) и у русских эмигрантов первой волны в Монтерее.

Я потратил на Америку все свои заработанные в «Северном» деньги, и ни разу не пожалел об этом. Во многом благодаря этой поездке и была основана языковая школа «Эй-Би-Си», которой, кстати, в будущем году исполняется двадцать пять лет.

— А как отец относился к «делу твоей жизни», если позволишь так выразиться? Помогал ли он, давал ли какие-нибудь житейские советы?

— Поначалу он был настроен весьма критически, как, собственно, ко всему, что творилось в нашей стране в девяностые годы, но спустя какое-то время, очевидно, понял, что это у меня серьёзно и надолго. Давал ли он какие-либо советы? Нет, не давал, так как это была совершенно незнакомая ему сфера деятельности, только время от времени интересовался, как у меня идут дела.

\* \* \*

О необычной «музыкальной» судьбе Маруси Распутиной мне поведала в долгой и захватившей меня беседе Марина Николаевна Токарская. В Иркутске она

человек известный. Завсегда и местной филармонии знают её как профессиональную и увлечённую ведущую интересных концертов. Многие годы она — бессменный художественный руководитель в этом храме музыки, кандидат искусствоведения. Кроме того, в городе, да и по всей России живёт множество её учеников, занимавшихся у неё в музыкальной школе, училище, Институте культуры и искусства. Не хотелось прерывать её — так много интересного она рассказывала.

«Я преподавала сольфеджио в детской школе искусств. В сентябре 1979 года сюда привела свою дочку Светлана Ивановна. Она в первые же минуты сказала: „Дома мы называем её Марусей. Обращайтесь, пожалуйста, к ней так же“. Я ответила: „Конечно, конечно“. Вскоре и дети привыкли к такому имени, а я называла её Марусенькой.

Она была не по годам серьёзной. Я бы сказала, обладала совершенно взрослым чувством ответственности. Училась она на отделении фортепьяно. А достичь каких-то успехов в исполнительстве, как известно, можно лишь усидчивостью. О понимании музыки, о внутреннем чутье я уж не говорю. И вот все семь лет Маруся училась только на „пятёрки“. Я не помню ни одного занятия, чтобы она пришла плохо подготовленной. Никогда! С четвёртого класса началось изучение нового предмета — музыкальной литературы. Его вела тоже я. Дети изучают музыкальные жанры, произведения выдающихся композиторов. Для Маруси такие занятия, как и игра на фортепьяно, стали тоже любимыми. Она искала интересные материалы и делала на уроках сообщения, доклады. В тетрадях для сольфеджио я находила сочинённые ею этюды, записи по теории музыки. Было видно, что она открыла для себя мир творчества. Мы с ней вели бесконечные обсуждения...

В выпускном классе она мне говорит:

— Марина Николаевна, я хочу быть музыкальным теоретиком, как вы. Получится у меня?

Какое чувство могла испытывать я, педагог, когда ребёнок решил выбрать мою профессию?

— Конечно, получится! — отвечаю. — У тебя же одни „пятёрки“, и ты так много занималась самостоятельно.

А Маруся относилась к своим „пятёркам“ как к чему-то обыкновенному. Но спрашивала она не потому, что не была уверена в себе, а потому, что относилась к любимому делу трепетно.

— Если тебе потребуется моя помощь — советы, книжки, пластинки, — обращайся без стеснения ко мне, — даю ей наказ.

Девочка поступила в училище искусств на теоретическое отделение. Там я не преподавала. Но Маруся приходила ко мне постоянно. Рассказывала не только о занятиях или каких-то учебных проблемах, но и о забавных случаях, хохмочках своих сверстников. Кажется, я уже проникла в тайну её характера. О сокровенном, важном в жизни она говорила серьёзно, а в лёгком, дружеском общении всегда была раскованна и улыбчива.

После училища она решила поступить в Московскую консерваторию на теоретико-композиторский факультет. И опять у нас с ней почти повторился давний разговор. Она говорит:

— Я переживаю страшно. Это же Москва, главная консерватория страны!

Я ей:

— И что же, туда поступают только люди, обласканные судьбой? Ты же окончила училище с отличием. Пробуй!

Студентам училища всегда трудно даются диктанты по сольфеджио. Это сложный предмет — сделать на слух запись двухголосого, трехголосого, многоголосого

произведения. Но Марусе пригодились в этом случае стремление сочинять музыку, её интерес к истории искусства. Она блестяще сдала все вступительные экзамены в консерваторию. И даже начала заниматься на втором курсе одновременно и по другой специальности — органному исполнительству...»

**Глава двенадцатая**  
**БАЙКАЛ: ОТРАДА И БОЛЬ**



## Колодец земли

Ещё в конце шестидесятых годов Валентин Григорьевич приобрёл домик на Байкале. Место было райское. На южной оконечности сибирского моря, там, где из его лона вытекает Ангара, на западной стороне реки прилепился к горам посёлок Листвянка, а на восточной, пологой, — порт Байкал, когда-то шумный, с кранами и судами у причала. Десятилетием раньше в порт ещё приходили поезда, отсюда начинался красивейший отрезок Транссиба по берегу моря — Кругобайкальская железная дорога. Но построили Иркутскую ГЭС, разлившаяся Ангара превратилась в рукотворное водохранилище, рельсовый путь по берегу реки разобрали, проложили магистраль от Иркутска до Слюдянки напрямую, через тайгу и горы — и «Кругобайкалка» от порта до Слюдянки потеряла прежнее значение, стала местом паломничества туристов, получивших в распоряжение лишь одну укороченную до двух-трёх вагонов электричку за сутки.

А вокруг затихшего порта Байкал гористый берег украшают многочисленные пади — вклинившиеся в таёжные косогоры узкие низины с заповедными травами, ягодными полянками, богатыми грибницами. Одна из этих падей Молчановская. Не очень далеко от неё и стоял домик Валентина Григорьевича. Судьба словно бы осветила этот байкальский уголок девичьей фамилией жены: поэзия жизни, природы и творчества получила единый адрес.

Распутин открыл для себя Байкал ещё в юные годы. Помню, в студенчестве перед каникулами, праздниками, а то и перед выходными постоянно были разговоры о поездке компанией в Листвянку. Туда рвались и наш брат, окроплённый водой Байкала при

рождении, и дети далёких от него мест, и вчерашние иркутские сорванцы. При этом любой из нас подтвердил бы, что видятся нам при имени нашего моря не только его красоты, а что-то действительно священное, загадочное и непреходящее в судьбе сибиряка.

О свиданиях с Байкалом и своих чувствах в те часы и дни Распутин писал не однажды.

«...впервые попав в студенческие годы на Байкал, — читаем в одном очерке, — я был обманут водой и пытался рукой достать с лодки камешек, до которого потом при замере оказалось больше четырёх метров». И в других местах того же очерка: «При встрече с ним сама собой начинала звучать песня — и складывались слова, извлечённые из таинственных глубин происхождения и поведения „славного моря“, под шум ветра, под плеск волн и взгляд округ они нанизывались и нанизывались, пока не слагались, как новый приток, в признательный выдох». «Байкал лежал спокойно, как в блюде, чайки на воде сидели высоко и впаяно. Видно было так далеко, что верилось — до конца, до горных гряд со всех сторон. Замер и воздух, в его ощутимой после дождя плоти не дышалось, а плылось». «С этой скалы трудно смотреть на Байкал — так переполнен он силой, мощью, небом и водой, так великограден он по сторонам, где протягиваются горы, и великоложен могущественным и таинственным путём посредине. При виде этой картины приходят в смятение чувства и жалкует ум».

Это — о летнем чудо-море. А вот о зимнем:

«Вспоминаю себя в ясную и лунную, широко распахнутую тёплую ночь на байкальском льду. Было это в марте, когда стремительно нарастает день, загустевает от запахов воздух, а вечерами с Байкала высокой прозрачной, всё уплотняющейся синевой надвигаются сумерки. В сумерках я и сошёл с берега, рассчитывая через полчаса вернуться, и отправился в

открытое море. В спину, подталкивая, поддувал слабый ветерок, снега, который лежал подле берега вытертой стланью, становилось меньше и меньше, он белел низкими кочковатыми пятнами, увлекающими шаг, чтоб дойти до этого пятна, до этого и этого, и пружинил под ногами лёгким приятным шуршанием. Я не боялся заблудиться: огни на берегу видны издалека. Надо мной разгоралось и разрасталось чистое глубокое небо, справа стояла полная луна. Но и подо мной на продутых полянах льда мерцала сдавленным светом луна и тлели звёздные искры.

Длинными стрелами набегали на меня подлёдные громы, прямо под ногами взрывались и раскатывались, но я скоро привык к ним и перестал пугаться. Перешёл дорогу, провешенную с берега на берег ёлками, строем стоящими под ярким небом сумрачно и неловко, как закутанные фигуры. Байкал расходился передо мной всё шире, горы отступали, ветерок продолжал трогать спину. Я шагал и шагал...

От расслабленности я ничего не чувствовал и ни о чём, кажется, не думал. Я словно бы ненароком вступил в какое-то заморожённое царство иных, чем мы знаем, сил, иных звуков и времён, составляющих иную жизнь. Сплошное зеркало гололёдя расстилалось впереди и позади, оно представлялось, как небо, покатым и, как небо же, горело всеми его огнями, но сосульчатыми и изогнутыми. Сияло сверху, сияло снизу, глубокое сияние стояло на льду, и оно не было мертвенным, а струилось и дышало, ходило, точно световой круг, точно переливающийся гигантский калейдоскоп. Луна спустилась так низко, что виделась её налитость. И шипение, шелест и шорох волнами спадали сверху и растекались по глади. Байкал сладостно-глухо ворчал, где-то капельно звенькали ледяные колокольцы, где-то струилось что-то и со вздохом оседало.

Нечему было ни двигаться, ни звучать, но всё вокруг двигалось и звучало.

Я вернулся назад уже за полночь, долго стоял перед берегом, оглядываясь назад на плавающий в сиянии Байкал, пока не почудилось мне, что натекущее внизу небо пытается оторвать его — вот откуда повторяющийся треск — и поднять в воздух.

И ещё стоял я, взойдя на берег, и ещё слушал и смотрел. И всё ждал чего-то, какой-то, как говорили раньше, апофеозы, долго ждал — и не дождался.

„Не даётся роду сему знамение“».

Уже сами эти картины, нарисованные писателем, передают дыхание неземного чуда. Такое ощущение испытывает душа, это она преображает то реальное, что видят глаза и слышат уши, в божественное видение, которое останется с тобой навсегда. Нам, сроднившимся с Байкалом, никогда не лишиться его родительского благословения, душестроительного наставничества и тёплого надзора за нашей судьбой. И потому каждый из нас согласится с писателем в его оценке дарованного нам богатства:

«Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и размерами — в нём всё крупно, всё широко, привольно и загадочно — он же, напротив, возвышает его. Редкое чувство приподнятости и одухотворённости испытываешь на Байкале — словно в виду вечности и совершенства и тебя коснулась тайная печать этих волшебных понятий, и тебя обдало близким дыханием всесильного присутствия, и в тебя вошла доля магического секрета всего сущего. Ты уже тем, кажется, отмечен и выделен, что стоишь на этом берегу, дышишь этим воздухом и пьёшь эту воду. Нигде больше не будет у тебя ощущения столь полной и столь желанной слитности с природой и проникновения в неё: тебя одурманит этим воздухом, закружит и унесёт над этой водой так скоро, что ты не успеешь и опомниться;

ты побываешь в таких заповедных угодах, которые и не снились нам; и вернёшься ты с удесятерённой надеждой: там, впереди, обетованная жизнь...

А очищающее, а вдохновляющее, а взбадривающее и душу нашу, и помыслы действие Байкала!.. Ни учесть, ни пометить его нельзя, его опять-таки можно только почувствовать в себе, но с нас достаточно и того, что оно существует».

И ещё одно признание:

«Сколько бы ты ни бывал на Байкале, как бы хорошо ни знал его, каждая новая встреча неожиданна и требует с твоей стороны усилий. Всякий раз приходится опять и опять... приподнимать себя на некую высоту, чтобы оказаться с ним рядом, видеть его и слышать.

Не всё, как известно, называется. Нельзя назвать и то перерождение, которое случается с человеком вблизи Байкала. Надо ли напоминать, что для этого должен быть душеимущий человек. И вот он стоит, смотрит, чем-то наполняется, куда-то течёт и не может понять, что с ним происходит... Что-то в нём плачет, что-то торжествует, что-то окунается в покой, что-то сиротствует. Ему и тревожно, и счастливо под пронизательным всеохватным оком — родительствующим и недоступным; он исполняется то надежды от воспоминаний, то безысходной горечи от реальности.

Кто из нас не знает замечательной песни „Славное море, священный Байкал“, написанной в прошлом веке сибирским поэтом Д. П. Давыдовым от лица каторжника, сбежавшего от тюремщиков и переправляющегося через Байкал. Есть в ней слова: „Ожил я, волю почую“. Вот это и испытываем мы на Байкале, словно бы вырвавшись из застенков созданного собою рабства на вольный простор, перед тем, как снова возвращаться обратно».

## «Полная чаша злата и лиха»

Мог ли такой писатель не вступить за Байкал, когда в родном отечестве подняли на него руку?

Эта преступная эпопея началась ещё на рубеже пятидесятых — шестидесятых годов. О её событиях, вдохновителях и исполнителях Распутин рассказал в публицистической книге «Сибирь, Сибирь...», вышедшей много позже. Драма Байкала, по словам писателя, развивалась так:

«После отсыпки плотины Иркутской ГЭС (напомню: в 1956 году. — *А. Р.*) уровень сибирского моря поднялся на метр. Это обстоятельство навело некоего Н. Григоровича, смелый инженерный ум из Гидроэнергопроекта, на мысль спустить Байкал ниже прежней воды — так, чтобы почувствовал он руку человека! Для этого под Шаман-камень в истоке Ангары достаточно заложить 30 тысяч тонн аммонита, поднять его в воздух, и освобождённый Байкал беспрепятственно пойдёт к величайшим в мире ангарским гидростанциям... Подсчитали, что снижение уровня Байкала только на один сантиметр даст столько электричества, что им можно выплавить 11 тысяч тонн алюминия. А если на несколько метров? Ведь это же море алюминия!..

Засновали комиссии — взрывать, не взрывать?

И ахнул бы Григорович лежащий поперёк коммунизма Шаман-камень, да сибирские учёные пошли на крайнее средство, припугнув ретивого инженера и его покровителей вероятностью непредвиденного геологического смещения, после которого Байкал огромным валом шутя сметёт понастроенное и обжитое на Ангаре за триста лет».

Следующая напасть, которую придумали «генералы» технического прогресса, — осквернить священные берега зловонными химпредприятиями. Продолжу цитировать рассказ писателя:

«Целлюлозные заводы решено было ставить на Байкале ещё в 1953 году. В Америке к тому времени подобрались к новому корду марки „супер-супер“ с небывалой разрывной длиной нити, он пойдёт на шины для скоростной авиации, прежде всего военной. Подобного же качества корд, естественно, потребовался и нам, а для отмытки целлюлозы для него подходила лишь сверхчистая вода с минимальной долей минеральных веществ. Только три источника отвечали этому требованию — Ладога, Телецкое озеро на Алтае и Байкал...

Уже когда выбрали площадку в устье реки Солзан на юге Байкала, была возможность... перенести целлюлозный завод в Братск, где строилась ГЭС. Воспротивились проектировщики... Разве сравнить Братск с Байкалом: там гнус, тайга, даль; здесь — картинность, омуль вместо камбалы, заряд бодрости. Уже одним именем своим Байкал вызывал энтузиазм и горение сердец, когда склонялись проектировщики над листами ватмана. И если придётся ставить памятник конвою, добровольно взявшемуся сопровождать Байкал к месту его гибели, на первом плане должна быть волевая, готовая на любые сокрушения фигура главного инженера Сибгипробума Б. Смирнова; этот в развернувшейся дискуссии с защитниками озера вёл себя по-сержантски и покрикивал на писателей и учёных как на новобранцев».

Стройку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) объявили ударной комсомольской. Чуть позже на реке Селенге, примерно за полсотни километров до её впадения в чудо-море, начали возводить другой комбинат — целлюлозно-картонный. И

тоже «ударно», и тоже руками молодых энтузиастов. Люди старшего поколения ещё помнят фильм Сергея Герасимова «У озера» — осторожную и робкую попытку сказать соотечественникам, что надо бы бережнее относиться к нашим природным сокровищам. Нашлись, однако, писатели и учёные, которые громко и недвусмысленно заявили: промышленники начали на байкальском берегу подлинный разбой. У Распутина читаем:

«В 60-х годах общественное мнение после немалых сроков народного безмолвствования, в сущности, с Байкала и возродилось. Для отцов-командиров экономики первоначальный отпор явился неожиданностью, они привыкли, что любые их планы принимаются с непоколебимостью божественного начертания. И вдруг какие-то писатели, существующие для сочинения од, и учёные, также перепутавшие, для чего они существуют, потом смущённое ими простонародье начинают задаваться вопросом: не погубим ли мы Байкал? И договариваются до ответа: погубим. Это уж ни в какие ворота».

Впрочем, возвысили голос против самовольщиков не «какие-то», а самые сведущие и авторитетные. Против строительства комбинатов выступили сибирские академики М. Лаврентьев, А. Трофимук, В. Сукачёв, С. Соболев, их московские коллеги П. Капица, Б. Ласкорин, А. Яншин. Из писательских протестов в печати запомнились статьи Владимира Чивилихина, Олега Волкова. Не смог промолчать автор «Русского леса» Леонид Леонов. На очередном партийном съезде в 1965 году к здравому смыслу воззвал Михаил Шолохов.

Тут уж высшее руководство страны не могло отмолчаться.

«Госплан весной 1966 года создаёт правительственную экспертную комиссию с широкими



правами и полномочиями, вплоть до вето на комбинаты, — рассказывает Распутин в очерке „Байкал“<sup>[23]</sup>. — Но... Госплан знает, кому поручить руководство комиссией». И продолжает: комиссию «возглавил академик Н. Жаворонков, в помощники ему дали академика С. Вольфовича. Комиссия, не покладая умов и рук, трудилась три месяца и пришла к единодушному заключению: преступно затягивать окончание строительства целлюлозных комбинатов на Байкале. На совместном заседании коллегии Госплана, коллегии Госкомитета по науке и технике и президиума Академии наук Жаворонков, докладывая, поставил перед собой на стол три колбы — с водой из Байкала и с искусственно полученными сточными водами от двух комбинатов и предложил высокому собранию испробовать и отличить на вкус, где какая. Охотников не нашлось. Жаворонкову поверили на слово». И, конечно, вынесли вердикт: стройки продолжать.

Комедию с дегустацией «чистейшей воды» из промстоков после первого представления играли в последующие десятилетия много раз. Но на «премьере» был ещё один «акт» этого фарса. Тот же Жаворонков высказал своё высокое мнение и о байкальском омуле: «...рыбохозяйственное значение Байкала относительно невелико и имеет лишь местное значение. Максимальные выловы омуля достигали 6–8 тысяч тонн. Сейчас они снизились втрое. В то же время Байкальский целлюлозный завод будет давать 15 тысяч тонн кормовых дрожжей в качестве побочного продукта с содержанием белка 50 процентов. Если перевести на стандартный белок, то это более 30 тысяч тонн. Этого количества хватит для откорма свиней с получением 6 тысяч тонн мяса. А в птицеводстве это может дать ещё больший эффект». Приведя расчёты учёного советчика, писатель воскликнул: «Молчи, убогая мысль, и признай

величие умов: когда бы не свет науки, гонять бы Байкалу до скончания света омулей, а тут и свиньям, курам повышение выходило».

Блефом оказалась и сама цель, преследовавшаяся при строительстве БЦБК, — получать высококачественный корд для производства шин. Время произнесло своё «хи-хи» очень скоро. Во-первых, ткнуло носом «деловых людей» в то обстоятельство, что магистральное направление технического прогресса в шинной промышленности лежит не там, где они думали. При производстве шин для скоростной авиации передовые страны начали использовать высокопрочный синтетический корд и металлокорд. Продукция из них намного дешевле и долговечнее. К тому же совершенной технологии на БЦБК достичь не удалось, поэтому качественной получалась только малая часть выпускаемой целлюлозы. С первых же лет возникли трудности с древесиной: окрестную тайгу основательно вырубил, сырьё для комбината поблизости не оказалось. Его собирали со всех волостей огромного края.

И во-вторых, вред Байкалу. Он был явным для всех и угрожающим. По подсчётам научных сотрудников Лимнологического института, со сточными водами БЦБК в Байкал ежегодно попадали десятки тысяч тонн минеральных и трудно разлагаемых органических веществ. Воздушные выбросы — а они оседали на снегу, земле, траве тоже тысячами тонн — вместе с талыми и дождевыми водами попадали в Байкал; по сути дела, их можно было приравнять к сбросам неочищенных вод комбината.

От всей этой отравы погибал рачок-эпишура. Известно, что, поглощая микроорганизмы, он «фильтрует» воду Байкала, содействуя её необычайной чистоте. Пробы, которые брали учёные в зоне стоков

БЦБК, неизменно показывали: бóльшая часть рачков — мертва.

Казалось бы, укорот промышленному лобби, обслуживающей его науке, местным трубадурам технического прогресса мог быть один: оставьте Байкал в покое. Вместо этого верховная власть принялась создавать видимость защиты «священного моря», выпекая одно за другим правительственные постановления: первое в 1969 году, второе — в 1971-м, третье — в 1977-м, четвёртое — в 1987-м. Названия они имели благие: «О сохранении и рациональном использовании природных богатств Байкала», но неизменно оставляли губительные производства на его берегах в неприкосновенности.

Упомянув последний по времени документ, Валентин Григорьевич признался:

«За несколько лет до того и меня угораздило ввязаться в затянувшуюся байкальскую эпопею... Да и как не ввязаться? Досталось Байкалу к тому времени с лихвой — от целлюлозных предприятий, от воздушных выбросов густо насаженной, как морковка на грядке, промышленности Приангарья, от вырубки лесов и лесных пожаров, от разливанной ядовитой жижи, приносимой Селенгой, от стекающих с полей химических удобрений, от соседства с БАМом в северной части и от много ещё чего. Не требовалось никаких таких особых знаний и глаз, чтобы видеть, что, всё больше становясь популярной темой, превращается Байкал в бесхозное тело, от которого под разговоры о нём все хотят урвать и никто — помочь. Много ли могла дать бережительная работа в заповедниках и охранных инспекциях! — это всё равно, что из пипетки капать прозрачную, на слезе замешенную, влагу в надежде очистить море».

В первой половине 1980-х годов Распутин печатает в центральных и местных газетах и журналах очерки и

статьи, заголовки которых говорят сами за себя: «Байкал», «В ответе перед потомками», «Сберечь байкальскую жемчужину», «Моя и твоя Сибирь», «Байкал, Байкал...». 3 ноября 1985 года в «Известиях» появилась статья «Послужить Отечеству Сибирью». В ней разговор о повсеместном варварском отношении к природе в стране, и в частности в заповедной Сибири, Валентин Григорьевич вёл в своей манере — откровенно, жёстко, правдиво:

«Человек незаметно сдвинулся со многих нравственных оснований и пример тому — подмена ценностей. Нам говорят: строительство природовредных предприятий вызвано необходимостью, и мы со вздохом соглашаемся — что же делать, коли так... Считается, что другого выхода нет. Но в том-то и штука, однако, что самая-то крайняя необходимость — сохранение жизнедающей воды, воздуха, земли. Числитель, первополагающая величина, перешёл у нас в знаменатель, и мы приняли это как должное. Фактор обеспечения жизни сделался зависимым от фактора повреждения жизни».

Невольно вспоминалась его повесть «Пожар», опубликованная тремя месяцами раньше, где были такие строки:

«Четыре подпорки у человека в жизни — дом с семьёй, работа, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важней другой. Захромает какая — весь свет в наклон».

## Как образумить «деловых людей»?

Редакция газеты «Известия» попросила писателя подготовить новую публикацию о тревожной судьбе Байкала и устроила ему встречу с министром лесной и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Рассказ об этой встрече в высоком кабинете он поместил позже в книгу «Сибирь, Сибирь...». Читаешь строки Распутина («Байкальский дневник», 24 января 1986 года) и понимаешь удивление, непонимание человеческого равнодушия, возмущение писателя: как же в такой безучастной, полумёртвой чиновничьей среде могла решаться живая судьба нашего сокровища — «священного моря»?

Вот вопрос Распутина министру:

«Иркутские власти предлагают сейчас перепрофилировать Байкальский комбинат на другой, на безвредное производство, которое могло бы остаться в вашем ведомстве. В ряду других мероприятий, может быть, это стало бы решением байкальской проблемы? Как вы думаете?»

И вот ответ сановника:

«Это не в нашей компетенции. Скажут нам табуретки делать — примемся за табуретки. Любое изменение даже плановых заданий, не говоря о том, быть или не быть комбинату, зависит от Госплана».

Распутин в публичных выступлениях исходил не только из своих сыновних чувств к байкальскому краю, но и из нажитого опыта земляков, и из твёрдого убеждения специалистов — людей, как говорят, положивших жизнь на охрану сибирского «моря». В Иркутске его соратниками на природозащитном бастионе стали академик Григорий Галазий, директор Байкальского лимнологического института, членкор

Рюрик Саляев, директор Института физиологии и ботаники растений, охотовед Семён Устинов, старейший сотрудник Байкало-Ленского заповедника. И в Москве твёрдо противостояло ретивым технократам несколько крупных учёных, с которыми писатель дружески сошёлся. Уже на следующий день после безрезультатного разговора с министром Валентин Григорьевич отправился на квартиру одного из них — испить, как говорится, глоток из родника надежды. В «Дневнике» появилась новая запись:

«25 января 1986 года. У академика Б<ориса> Н<иколаевича> Ласкорина в его московской квартире. Борис Николаевич пригласил для разговора со мной ещё и В. Ф. Евстратова, членкора Академии наук, специалиста-шинника. Сам Борис Николаевич участвовал в трёх государственных комиссиях по Байкалу и всю подноготную байкальской истории знает от начала до конца. Он говорит:

— Мы допустили не одну, не две, а целый ряд ошибок при строительстве БЦБК. Главная ошибка — в научном прогнозировании. Кордное производство следовало развивать на основе высокопрочных синтетических волокон и металлокорда. От применения шин на целлюлозном корде вместо современного мы несём огромные убытки. Вторая ошибка — в выборе площадки для комбината. Для предприятия такого рода необязательна была байкальская вода, а местная древесина не годилась для получения суперцеллюлозы. Прибавьте сюда ещё сейсмичность района, которая может показать себя в любой момент. Третья ошибка — в обосновании технологической схемы. Не могло быть никаких иллюзий относительно качества очистки...

Василий Фёдорович Евстратов, тридцать лет проработавший в Институте шинной промышленности, добавляет:

— Заместитель министра нефтехимической промышленности Соболев, я помню, с самого начала отказывался: нам не нужна байкальская целлюлоза. По своим физико-механическим свойствам она не в два, не в три раза, а на несколько порядков уступает синтетическим волокнам. Вы понимаете разницу?

— Но ведь тогда, в 60-х годах, главным козырем за комбинат была скоростная авиация?

— Ни грамма байкальской продукции там не применялось. На ней мы бы далеко не улетели».

Вскоре после этого разговора Распутин публикует в газете «Известия» статью «Байкал у нас один». Иначе как «взрывной» её не назовёшь. Страстный монолог писателя, чьи книги полюбились миллионам читателей, вызвал лавину откликов. Кажется, в огромной стране все тогда, от генсека партии до безвестного хуторянина, увидели, на какой бесценный Божий дар поднята слепая разбойная рука.

Увидели, но все ли осознали, что должны артельно, миром отвести угрозу?

Руководители целлюлозно-бумажного комбината старались показать, что они выполняют правительственное постановление. Не было химической очистки — построили специальный комплекс. Некуда было хоронить твёрдые осадки после очистки — возвели цех для их сушки и сжигания. А самым сильным доводом дирекция предприятия считала такой: «Вредные вещества в стоках комбината не превышают допустимых норм!» Но здравых людей стало трудно провести филькиной грамотой с названием «предельно допустимые концентрации». Все знали, что при ведомственном контроле эти «предельно допустимые» нормы могут заказываться, исходя из возможностей комбината; а в случае если они окажутся превышены, то в лабораторных отчётах их можно

сфаальсифицировать, когда и производственники, и карманный контроль радеют об одном.

Но главное, по поводу чего скрещивались шпаги, — перепрофилирование, а ещё лучше закрытие БЦБК. Тут охранители «гиганта лесохимии» пускались во все тяжкие. Когда голоса многих выдающихся деятелей науки и культуры составили согласный хор, генералы от индустрии подготовили в недрах своих контор новый «смелый» проект — отвести стоки комбината за горы, в реку Иркут.

О том, что это новая глупость, догадаться было нетрудно. Отвести угрозу от Байкала, зато начать отравление Иркутска, а значит, и Ангары, в которую он впадает и на берегах которой живут сотни и сотни тысяч людей? Безумство. Трезвые специалисты выложили и чисто экономические подсчёты. Перекачка стоков потребует дополнительной электроэнергии, увеличит нагрузку на местную ТЭЦ. В результате воздушные выбросы теплоцентрали, по первым подсчётам, возрастут на 20 тысяч тонн. Иными словами, избавляя Байкал от стоков, комбинат увеличит загрязнение воздуха и в конечном итоге опять же... Байкала. К тому же затратить огромные средства на осуществление дорогого проекта — значило дать технократам козырь: о закрытии БЦБК не может быть и речи.

Однако пока здравые люди обосновывали своё «нет», оппоненты действовали. Уже приготовили трубы для отвода стоков, уже начали рубить просеку...

Тогда защитникам Байкала снова пришлось объявлять мобилизацию. В июне 1987 года Распутин выступает в газете «Социалистическая индустрия» со статьёй «Ведомственное соло на сточной трубе», а в ноябре того же года вместе с другими единомышленниками — в газете «Советская Россия» с подборкой материалов «Вокруг трубы». Площади



Иркутска гневно зашумели митингами. Тысячи людей подписывали письма протеста против безумного проекта. Его инициаторы вынуждены были отступить. Правительство запретило строительство трубопровода. Пришлось выполнить решение — перепрофилировать (пока перепрофилировать, а не закрыть!) комбинат-отравитель в 1993 году.

## **Волны согласия и поддержки**

Борьба учёных и писателей страны против поворота северных и сибирских рек на юг, в безводные районы, против варварского загрязнения главной русской реки — Волги, наконец, мощные выступления за сохранение в природной чистоте «священного моря» как единственного «колодца планеты» сформировало новое общественное движение — Байкальское. Его целью стала защита пресных вод мира. А название оно получило не только потому, что Байкал в списке хранилищ питьевой воды занимает первое место, но и потому, что участники движения провели свой первый сбор именно на берегах «священного моря». Главную роль в сплочении единомышленников вновь сыграл Валентин Распутин.

На предварительных обсуждениях было решено провести встречи в самых проблемных уголках земли — там, где знаменитые водоёмы загрязняются особенно беззастенчиво.

Летом 1987 года Валентин Григорьевич пригласил в Иркутск Виктора Астафьева, Василия Белова, Владимира Крупина. Из Японии в сибирский город приехали писатели Хироси Нома, известный в СССР по переводам его стихов, рассказов и романа «Зона пустоты», лауреат престижной японской премии «Лотос», Нобуюки Накамото, создавший, кроме национальной прозы, роман из русской истории «Екатерина II» и книги о творчестве А. Чехова и Л. Толстого, Татэмацу Вахэй, автор многих романов и повестей, лауреат премии «Лотос».

Японцы решили вести кинолетопись «Байкальского движения». На первую встречу приехал со своими помощниками сценарист и режиссёр документальных

фильмов Нориаки Цукимото. Он не первый раз оказался в Иркутске. Несколько лет назад мастер снимал здесь, а также в Бурятии, Якутии и Хабаровске полнометражную ленту «Люди Сибири».

В «Литературной газете» программу «Байкальского движения» с оптимизмом принял Зорий Балаян, энергичный журналист этого издания и известный в родной Армении писатель. Он с первых дней работы «Байкальского движения» сумел сплотить вокруг «экологического штаба» своих коллег из многих центральных и местных газет, студий радиовещания и телевидения.

В обсуждении проблем охраны природы участвовали руководители Иркутского обкома партии, исполкома областного Совета, сотрудники экологических ведомств, активисты общественных организаций. Участники дискуссий побывали на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, на других проблемных предприятиях региона. И наконец — острый разговор в одном из больших залов Иркутска.

Тон задали Распутин и выступивший вслед за ним Астафьев. Валентин Григорьевич, как всегда, связал обязанность человека заботиться о родной земле с нравственными нормами его жизни:

«...человек разумный сегодня впал в бешенство, нельзя подыскать другого слова для определения того, что он творит на своей земле. Вода, воздух и земля перестали быть водой, воздухом и землёй, а стали источником болезней. Понятие „мирный атом“ после аварии на Чернобыльской АЭС исчезло окончательно... Человек сегодня всё больше и больше теряет свой нравственный и духовный облик. Кроме того, человек заражён недоверием и неприязнью друг к другу, нужно ведь искать виноватых в том, что происходит, и он ищет их вокруг себя. Он знает, что нужно делать, чтобы отвернуть от экологической катастрофы, но не хочет

отказаться от принятого способа жизни и от удобств, без которых вполне можно обойтись».

Короткое выступление Виктора Петровича Астафьева газеты потом озаглавили так: «Учиться разуму у природы», что вполне передавало его смысл:

«Мы присвоили себе право думать, что мы самые разумные на земле. Это не так. Пятнадцать тысяч войн, которые произошли на планете, миллионы погибших — самое яркое свидетельство тому».

Большое впечатление произвело выступление Зорья Балаяна. С южной эмоциональностью он рассказал о бедах своей республики:

«Представьте себе: в крае, лишённом лесов и водных ресурсов, решили развивать химическую промышленность. Газеты печатали аншлагами нелепые заголовки типа: „Большая химия маленькой республики“. А для новых предприятий нужно было много электроэнергии. Люди нечестной науки, а точнее, нечестные люди науки, решили использовать для получения электроэнергии водные запасы высокогорного озера Севан. Предложили спустить озеро. А в Армении все родники находятся в прямой зависимости от Севана. Другого источника питьевой воды у нас нет. Против безумного проекта выступили писатели и здравомыслящие специалисты, но поединок ещё не закончен.

Другая напасть тоже из нынешнего окаянного времени. На окраине Еревана решили строить каучуковый завод. Противостояние было жёсткое. Хозяева партийных и научных кабинетов говорили лирикам: „Пишите ваши стихи о поцелуях влюблённых при луне. А науку и производство отдайте людям сведущим. Стране нужен каучук“. И построили завод. Считалось — на окраине, а вскоре он оказался в центральной части столицы республики. И гадит

опаснейшим хлоропреном. Десять процентов детей рождаются умственно или физически отсталыми.

И вот что может сделать наш дружный совместный протест. На основе мнений горожан я написал и опубликовал в „Литературной газете“ статью „Ереван в беде: город ждёт консилиума“. Совет министров СССР предложил правительству республики в двухнедельный срок определить свои предложения. 8 июля комиссия правительства Армении вынесла решение перепрофилировать завод. Это надежда. Наши дети должны воспринимать экологию как науку согласия с природой».

Эхо от встречи в Иркутске разнеслось не только по стране, но и за её рубежами. В охранительной деятельности «Байкальского движения» решили принять участие писатели Средней Азии, на земле которой погибали озёра Иссык-Куль и Балхаш, реки Сырдарья и Амударья, Монголии, где угроза загрязнения нависла над «младшим братом» Байкала — озером Хубсугул, Европы, Северной Америки и Канады. Японские участники сняли на Байкале, на улицах сибирских городов и сёл, в зале конференции впечатляющие кадры для документального фильма.

Валентин Григорьевич сказал в заключение работы:

«Мне кажется, после этой встречи мы стали другими. Убедившись, что положение окружающей среды везде становится не лучше, а хуже, мы почувствовали и новые силы, и новую жажду помочь ей. Наш разговор не останется безвестным. Писательское слово — это терапевтическое воздействие на сознание человека. Воспользуемся же нашим словом в полной мере!»

Середина восьмидесятых годов стала для Распутина временем признания не только его литературного, но и общественного авторитета в мире. Его поддержкой стремятся заручиться активисты охраны памятников

старины. Его мнение о нравственном воспитании школьников спешат донести до читателей (а это сотни тысяч учителей) педагогические издания страны. Его приглашают в Канзас-Сити руководители местного университета прочитать цикл лекций о современной русской прозе. Он едет в Японию, Швецию, ФРГ, чтобы по просьбе природоохранных общественных организаций этих стран рассказать об опыте «Байкальского движения». Он по-прежнему находит время, чтобы написать очерк, статью, открытое письмо в защиту природных комплексов, нещадно разоряемых или загрязняемых в разных уголках родины. Одному только положению дел на побережье «сибирского моря» он посвятил десяток корреспонденций, опубликованных в центральных газетах и журналах с конца 1987-го до конца 1989 года: «Уроки Байкала — уроки демократии», «Байкал — ведомственное соло и общественный резонанс», «Байкал — богатство Родины», «Кто, если не мы», «Как там, на славном море», «В судьбе природы — наша судьба», «Земля, экология, перестройка», «Из „Байкальского дневника“», «Хотим ли мы этой победы», «Сумерки людей».

14 марта 1987 года писателю было присвоено звание Героя Социалистического Труда — «за выдающийся вклад в советскую литературу и большую общественную деятельность». В Кремле Валентину Григорьевичу вручили золотую медаль «Серп и Молот» и орден Ленина.

## Жестокий урок Бивы

Следующим местом сбора активистов «Байкальского движения» стало озеро Хубсугул в Монголии. На его берега приехали советские, японские и монгольские писатели, прислали своих представителей правительство принимающей страны и администрации районов, прилегающих к водоёму. Распутин писал позже: «...ещё одна страна, считавшаяся едва ли не самой благополучной в мире в экологическом отношении, вынуждена бить в колокола тревоги, чтобы спасти Хубсугул, озеро, связанное речной системой с Байкалом». Обсуждение проблем и здесь было тревожным, но также не дало практических результатов. В Монголии второй половины восьмидесятых годов, как и в СССР, резко ухудшилось положение экономики.

Мне хорошо памятна очередная встреча подвижников, объединившихся вокруг «Байкальского движения», в Армении. Союз писателей СССР нашёл средства собрать в Закавказье многих литераторов, пишущих на экологические темы и живущих в разных регионах страны. Я тогда готовил для бурятского журнала «Байкал» и иркутского альманаха «Голос» подробную статью о том, как загрязняют восточную акваторию Байкала Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат и улан-удэнский промышленный узел. Этот материал под заголовком «Берег печали» был одновременно опубликован в обоих изданиях в начале 1990 года.

А летом предыдущего, 1989 года в Ереване высадился большой писательский десант. На несколько дней с заседаний Первого съезда народных депутатов СССР отлучились Валентин Распутин и Василий Белов,

члены нового парламента, рождённого перестройкой. С ними тем же рейсом прилетели Владимир Крупин и Зорий Балаян, писатели из Японии, Монголии, европейских стран.

Дискуссии проходили в зале одного из санаториев на озере Севан. Времена наступили особенные. Люди будто впервые увидели, какие волчьи ямы вырыли мы на собственных дорогах жизни и на столбовом пути своей страны; в какие чёрные провалы сползали и экономика, и народное благосостояние, и культура. Хотелось собраться, выговориться самим и выслушать других. Просторный зал был забит до отказа. Люди плотной стеной стояли позади рядов, толпились в проходах. И речи со сцены вели не только о защите знаменитых озёр и рек, но обо всём, что наболело. Не забыть, как хмуро и недовольно секретарь ЦК компартии Армении и десяток его спутников, чиновников министерств и ведомств республики, сидевшие в президиуме, слушали огненную речь Сильвы Капутикян. Как и следовало ожидать от поэта, она расширила проблему, связав безумную аферу — использовать воды Севана на промышленные нужды — с общим наступлением на нравственность, с каждодневным оскорблением духовных национальных традиций. Думаю, тогда многие из нас, слушателей, впервые узнали, что в старину во время нереста рыбы в Севане запрещались свадьбы и другие торжества на его берегах. А в последние десятилетия этот обычай армян оказался забытым.

Японский писатель Хироси Нома напомнил, что восемьдесят процентов заболеваний на земле возникает из-за отсутствия чистой питьевой воды. «В нашей стране, — продолжил он, — не осталось водоёмов, из которых можно пить. В Токио пригодной воды нет, её приходится доставлять и очищать. А очищаем хлором, он вреден для здоровья».



Распутин в своём выступлении связал надругательство промышленников над природой с безнаказанностью за их преступления и безнравственностью, которая всякий раз сопровождает безумства «технических революционеров». Через несколько дней с трибуны съезда в Кремле он повторил те же мысли: «Сейчас время трагедий, которые следуют одна за другой (писатель имел в виду аварию на Чернобыльской АЭС, разрушительное землетрясение в Армении. — *А. Р.*), но заметили ли вы одну закономерность: только смолкнет голос диктора, объявляющего о человеческих несчастьях и жертвах, как экран и эфир заполняет какофония бесноватой музыки. Мол, нам всё трын-трава, мы свободны и от морали, и от сопереживания». И как предостережение каждому из нас: «Мы пытаемся строить новое, справедливое государство, а для чего его строить, если годы наши при таком отношении к природе сочтены?»

В Армении Распутин рассказал о губительных результатах водного и воздушного загрязнения: в посёлках Байкальск, Селенгинск и их окрестностях больше стало заболеваний, особенно онкологических, дети рождаются с различными патологиями.

На какие изуверские мучения обрекали технократы своих соотечественников, участники встречи увидели в документальном фильме японских кинематографистов «Болезнь Миномата: двадцатилетняя история». Валентину Григорьевичу показали его впервые в Токио, и он попросил японских коллег привезти его на встречу в Армении.

Лента всех потрясла. Страшный недуг, преследующий людей, получил название от залива Миномата, на берегу которого стоят химические предприятия. Они сбрасывают в воду отходы, содержащие ртуть, которая поражает болезнью рыбу и — по цепочке — жителей, сызвеку предпочитающих

употреблять в пищу дары моря. Мы увидели на экране чудовищные кадры. Люди, поражённые «ртутной болезнью» (а к тому времени их было три с половиной тысячи), дёргались в конвульсиях, извивались, бились всем телом на койках, как на раскалённых сковородах, вращали обезумевшими глазами. Никакой палач, даже с дьявольским воображением, не смог бы придумать более жестоких мучений!

Кто-то из наших писателей произнёс после просмотра:

— Надо купить этот фильм и показать по телевидению на всю страну.

— Наши безумцы сделают всё, чтобы его не увидел никто, — сказал другой...

Памятно ещё, что Католикос всех армян Вазген I, присутствовавший на этой многолюдной конференции и выступивший здесь, назвал речь Распутина «богоугодной». Назавтра Его святейшество пригласил гостей севанской встречи в свою резиденцию, где поблагодарил Валентина Григорьевича «за труды по сплочению защитников Божьей природы, за их голос, хорошо слышимый в мире».

После Армении мы большой группой отправились специальным авиарейсом в Алма-Ату, а оттуда на озеро Балхаш. Бедственное положение озера обнаружилось уже в первые часы нашего пребывания на берегу: огромный горный комбинат, добывающий медную руду, имел допотопные очистные сооружения и нещадно отравлял воду. На обсуждении проблем в одном из городских залов всё повторялось: гневные речи местных защитников уникального озера, кивки руководителей комбината на Москву, не выделяющую средства для природоохранных нужд, заверения чиновников казахской столицы «наказать», «запланировать», «исправить»...

Валентин Распутин и Василий Белов, как уже говорилось, вернулись из Еревана на съезд и уже через день-два выступили перед депутатами. Без сомнения, разговор на берегу Севана повлиял на содержание их речей: гибельное положение заповедных когда-то мест виделось страшной опасностью для жизни людей. Валентин Григорьевич настаивал на практических мерах:

«„Госкомприрода“ не справляется со своими функциями и при её подчинённости не может справиться. Пока не поздно, необходимо вывести её из бесправного положения и передать Верховному Совету. Все широкомасштабные природообразующие проекты нужно обсуждать в комиссии Верховного Совета и выносить на окончательное утверждение Съезда. Иначе снова и снова будут появляться правительственные постановления, принятые тайно от народа, как, например, постановление о строительстве в Тюменской области пяти нефте-газохимических комплексов, разорительных для страны, чрезвычайно губительных для природы, но, вероятно, выгодных иностранным фирмам. Иначе нельзя будет покончить с практикой принятия проектов без экологической экспертизы».

Прямой характер Распутина проявился и в осуждении тогдашнего премьера Николая Рыжкова, из-за оплошности или невнимательности которого мог осуществиться опаснейший проект. «Будучи в Алтайском крае, вы, введённый в заблуждение толкачами строительства Катунской ГЭС, публично, на всю страну согласились, что да, строить надо. Затем на встрече в крайкоме партии вы оговорились: при условии положительной экологической экспертизы. Однако эти ваши слова слышали лишь те, кто не хотел их слышать, а первые, прозвучавшие по телевидению, были приняты как руководство к действию. Нас, многих депутатов,

потому и забрасывают телеграммами и письмами со многими тысячами подписей людей, болеющих за Алтай, что именно в эти дни экспертная комиссия Сибирского отделения Академии наук и Госплан СССР принимают решение об одобрении строительства и таким образом об уничтожении последнего уникального природного комплекса Сибири. Мы просим вас: разберитесь внимательно с катунским делом. Нам, несколькими депутатам, участвовавшим в создании „Байкальского движения по сохранению пресной воды“, пришлось на два дня оставить Съезд, чтобы провести на Севане очередное заседание этого международного движения. Мы посмотрели там привезённый японцами фильм о болезни Миномата, вызванной органической ртутью. В районе Катунской ГЭС тоже есть месторождения ртути, они и вызывали до сих пор сомнения, которые исчезли после вашего невольного вмешательства».

Пришлось Распутину поднимать эту проблему и на заседании Президентского совета. Лишь после этого решение о строительстве электростанции в заповедном уголке Алтая было отменено.

Авторитет создателей «Байкальского движения» подтолкнул неравнодушных к охране природы людей в разных республиках страны энергично выступить против загрязнения местных водоёмов. В Узбекистане, к примеру, учёные-экологи, писатели, журналисты создали по подобию «Байкальского» — «Аральское движение».

В сентябре 1990 года участники «Байкальского движения» собрались в Японии, в префектуре Сига. Кроме хозяев встречи, учёных-экологов и писателей в обсуждении природоохранных проблем участвовали литераторы из СССР, США и Канады. Оптимизма у активистов движения не могло быть: деловые люди во всех странах, представляющие частные и

государственные компании, как водится, исходили из своих шкурных или «национальных» интересов и ориентировались на выгоды и прибыли, которые приносили вредные производства.

## Сумерки людей

Своё выступление перед единомышленниками в Японии Валентин Григорьевич назвал «Сумерки людей». Под этим заголовком оно было опубликовано в журнале «Наш современник». Каждое слово в этой речи звучит горько-набатно и сегодня:

«Наше движение, получившее название „Байкальского“, поставило поначалу перед собой цель сохранения природных святынь в Сибири, Армении и Японии — озёр Байкал, Севан и Бива. Затем к нам присоединилась монгольская сторона, чтобы спасти Хубсугул. Все остальные озёра, находящиеся в разных концах мира, в том числе среднеазиатские Балхаш и Арал, также вошедшие в круг „Байкальского движения“, связаны между собой воздушными течениями, все они братья, а если исходить из сегодняшнего их состояния — братья по несчастью, как и мы с вами, взявшие на себя необычно трудную, может быть, непосильную задачу — вернуть чистоту водам, которые, несмотря на отчаянные усилия защитников природы в последнее время, чище не становятся.

Но наша задача, хотим мы того или нет, гораздо шире, чем спасение озёрных вод, возле которых мы живём. Речь должна идти о проблеме пресных вод вообще, всё больше окисляющихся и засоляющихся, загрязняющихся продуктами антропогенного воздействия. Уже после того, как „Байкальское движение“ объявило о своём существовании, Василий Белов возглавил в нашей стране общественный Комитет по спасению Волги, главной реки России, её символа, в недавнем прошлом кормилицы и поилицы, превратившейся сегодня в сточную канаву. И это судьба

многих рек не только в нашей стране, это становится общей судьбой глобального круговорота воды...

Мы вынуждены констатировать печальную статистику потерь. Скоро три года, как принято по Байкалу очередное правительственное постановление, тратятся на его охрану немалые средства, и тем не менее загрязнение сибирского „священного моря“ за это время лишь увеличилось. Принято правительственное постановление и по спасению Арала, трагедия которого названа в полный голос, но ни от голоса, ни от принимаемых мер трагедия меньше не стала. Уже не струит, а через силу перекачивает Волга свои тяжёлые от заражений воды. Ушла в прошлое безмятежная жизнь Хубсугула. Есть вероятность услышать на этот раз хорошие новости с вашего озера Бива, но, ежели будут они, наша заслуга в этом невелика. На Биве делается несравнимо больше, чем на берегах наших озёр, чтобы вернуть ему чистоту и безопасность, но и здесь, несмотря на все усилия властей и общественности, не удаётся избавиться от избыточного фосфора в воде».

Пребывание на берегах озера Бива, поездка по Японии дали Валентину Григорьевичу возможность сравнить природоохранные меры, принимаемые в сопредельной стране и у нас, в СССР. В Японии многотысячные протестные митинги, отказ рабочих и специалистов иметь дело с предприятиями-убийцами, резкие запросы общественников в парламент повернули лицом к трагической ситуации и власть: она ужесточила меры воздействия на виновников загрязнения, закрыла или ограничила производство самой опасной химической продукции. У нас же, судя по положению на Байкале, усилия главных ответчиков, рассчитанные в основном на показуху, не давали никакого результата.

Весной 1990 года высшая власть решила в очередной раз обсудить, как выполняется

постановление по Байкалу. В Иркутске собрались руководители центральных и местных ведомств, директора и специалисты «проблемных» предприятий, учёные, активисты «Байкальского движения». Атмосфера гнусной «катастрофы» чувствовалась всеми: и теми, кто хотел удержать страну на краю пучины, и теми, кто раскачивал государственный корабль среди гибельных волн. Не было секретом, что защита природы отступит на дальний план, как только на кону окажется судьба самой державы.

По уговору с Валентином Григорьевичем мы встретились в Доме литераторов и направились к зданию облисполкома. Распутин шагал хмурый и молчаливый. Ничего путного от очередной говорильни он не ожидал.

И в самом деле, речи на совещании звучали уклончивые, лукавые. Ни один из главных пунктов постановления по Байкалу не выполнялся. Не готовились новые мощности по производству целлюлозы в Усть-Илимске взамен тех, что предполагалось закрыть в Байкальске. Не велась работа по переводу прибайкальской зоны на централизованное теплоэнергоснабжение, что позволило бы обойтись без котельных на берегах озера. Не решалась проблема газификации региона. Срывались сроки модернизации оборудования на грязных производствах.

Каким «защитником» Байкала оказался тогдашний директор БЦБК, показало его выступление. Человек молодой и напористый, он сказал буквально следующее:

«Перепрофилирование комбината на мебельно-сборочное производство, как это предлагается в постановлении, вызывает у специалистов улыбку. Это нереально. Вместо этого решения мы разработали другие варианты перепрофилирования. Наиболее



приемлемый, на мой взгляд, такой: производить на комбинате небелёную целлюлозу и выпускать из неё товары народного потребления — гофрокартон и бытовую бумагу».

Значит, варку целлюлозы предлагалось оставить? Выходило так. Через три года после выхода постановления директор (разумеется, в полном согласии со своим министерством) изобретал собственный вариант «перепрофилирования»!

Когда мы возвращались к родному Дому литераторов, Распутин мрачно сказал: «Теперь этим хищникам не будет укорота».

## Он просил: «Стоять до конца!»

С началом девяностых годов драма Байкала вступила в наиболее мрачную фазу. Распад страны, развал экономики на огромных пространствах России, резкое падение уровня жизни и социальная напряжённость, наконец, непримиримое противостояние политических сил в стране, кончившееся расстрелом здания парламента, — всё это отодвинуло на задний план решение каких-либо экологических проблем.

На первый взгляд казалось удивительным то обстоятельство, что крупнейшие предприятия с отлаженным производством и многотысячными коллективами рушатся, а «грязные» производства остаются на плаву. Впрочем, удивлять это могло лишь на первый, то есть поверхностный взгляд. Дельцы, за бесценок приватизировавшие с помощью продажных чиновников общенародную собственность, быстро сообразили, что товары народного потребления — это не та продукция, которая может дать большой навар. Баснословные прибыли приносили добыча и продажа за рубеж нефти, газа, золота, алмазов, выпуск алюминия, химической продукции. Целлюлоза в этом списке стояла, может быть, на последнем месте, но, эксплуатируя до предела оборудование советского времени, не вкладывая средств в модернизацию, можно было и на целлюлозе и продукции из неё хорошо греть руки.

В эпоху частной собственности на всё и вся прежние природоохранное законодательство уже не годилось, а новое разрабатывалось медленно и с огрехами. Это с учётом небывалой коррумпированности

контролирующих ведомств рождало вопиющую безнаказанность нуворишей.

Высшая власть при Ельцине, по сути, отбросила принятые до неё государственные решения по охране Байкала. Благая цель — перепрофилировать БЦБК к 1993 году, как предусматривалось давним постановлением правительства, — была забыта.

С приходом Владимира Путина на пост президента власти инициировали строительство на комбинате системы замкнутого водопользования. Но она не очищала стоков даже до уровня пресловутых предельно допустимых концентраций при производстве белёной, выгодной хозяину, целлюлозы. Нужно было обойти запреты. Для управляющей компании ООО «ЛПК „Континенталь Менеджмент“», в состав которой входил БЦБК, лучшим средством оказался шантаж природоохранных ведомств. И высшей власти, конечно.

В октябре 2008 года хозяева остановили производство, отправив во временные неоплачиваемые отпуска более тысячи трёхсот рабочих (60 процентов всего состава). Руководство заявило, что причина этого — ввод замкнутого водооборота, который не даёт возможности использовать активный хлор при производстве белёной целлюлозы. Расчёт владельца был прозрачен: «Если вы (то есть природоохранные ведомства) требуете соблюдать экологические нормы, а их не удаётся достичь даже при системе замкнутого водопользования, то вот вам головная боль: решайте проблему безработицы в моногородке. Рабочие сами заставят вас пустить комбинат и — на наших условиях».

В самом деле, для Байкальска, имеющего единственное градообразующее предприятие, остановка производства на ЦБК стала трагедией. В разные инстанции полетели гневные письма, в суды — обращения возмущённых людей, митинги из городка перекинулись в областной центр. Власти, помогая

«бедному» олигарху, вынуждены были искать средства для выплаты компенсаций людям, оставшимся без зарплат, и, конечно, — выход из технологического тупика, в котором оказался комбинат.

Распутин не мог молчать. В годы хозяйничанья нуворишей на Байкале он вновь пишет множество статей, участвует в бесчисленных обсуждениях, даёт десятки интервью о разбое на берегах «священного моря». «Деляга к Байкалу подходит» — называет писатель одно газетное выступление. «Полная чаша злата и лиха» — заголовок нового очерка напоминает читателям, во что превращается сибирское чудо. «Не к страстям взывать — к душе» — опять и опять призывает писатель защитников живительного «колодца» России.

Летом 2009 года (целлюлозный комбинат в это время всё ещё простаивал) на Байкале побывал Владимир Путин. В глубоководном научно-исследовательском аппарате «Мир-1» он спустился на дно озера как раз в акватории ЦБК. К удивлению учёных — знатоков проблемы, он сказал после погружения, что «Байкал в хорошем состоянии, никакой угрозы для него нет». Видимо, после заявлений экологов-общественников и мрачных выводов учёных Путин ожидал увидеть «чудо-море» похожим на сточную яму. Но он не учёл, какого объёма «резервуар» перед ним и какую самоочищающуюся способность имеет озеро. Даже при том, что мы уже полвека варварски загрязняем его, превратить его в помойку пока, слава Богу, не удалось.

Распутин встретился с премьер-министром (Путин занимал тогда эту должность) на Байкале. Некоторое время спустя он так вспоминал свой короткий разговор с главой правительства:

«Наша встреча состоялась на дрейфующем посреди озера корабле. Я начал с того, что припомнил слова А. И. Солженицына о главной задаче власти —

сбережении народа. А сбережение народа — это не только обеспечение его работой и прожиточным минимумом, но и сохранение России в её нравственном, духовном и культурном обликах, в сохранении природы — матери народа.

В. В. Путин не перебивал меня, но только до той поры, пока я не заговорил о Богучанской ГЭС, о том, нет ли возможности, если не прекратить её строительство вообще, то хотя бы отказаться от увеличения отметки верхнего бьефа. Ответ Путина был: уже поздно. А что касается следующей гидростанции на Ангаре (в планах на будущее она существует), по ней, сказал он, ещё нет окончательного решения.

А буквально через неделю после этой встречи грохнулась Саяно-Шушенская. Конечно, это случайность, что трагедия произошла вскоре после нашей встречи. Но какая-то уж очень назидательная случайность.

А ещё позднее стало известно, что на Байкале возобновляет свою работу целлюлозный комбинат.

Эта новость повергла защитников Байкала в недоумение и растерянность. Это что же, опять начинать всё сначала? Я состоял в Государственной комиссии по Байкалу в середине 80-х прошлого столетия. Комиссия приняла решение: к 1993 году работу целлюлозного комбината на Байкале прекратить. Но новая власть в начале 90-х скорее готова была прекратить существование России, о Байкале в то время и речи не могло быть.

Но сегодня-то?!»

Возмущение писателя было понятно. Это уж совсем варварство: если комбинат не может очищать промышленные стоки до уровня предельно допустимых законами норм, давайте разрешим ему сливать воду, убивающую всё живое, в Байкал без всякой очистки! На самом БЦБК продолжали пускать пыль в глаза

контролёрам и общественникам. Здесь «разрабатывали планы» внедрить кислородно-щелочное отбеливание целлюлозы, вместо убийственного хлорного, а также перевести комбинат на «качественную» систему замкнутого водопользования. Что тут скажешь нуворишам? Им что в лоб, что по лбу. Вот и веди с ними разговоры о защите Байкала...

В связи с возобновлением работы комбината Валентин Григорьевич в интервью газете «Правда» дал резкую оценку решению правительства и безнравственным намерениям хозяев предприятия. Название публикации говорит само за себя: «Горюшко ты наше, батюшка Байкал». Тогда же в Иркутске вышла в свет книга писателя «Земля у Байкала». С многочисленными фотографиями, с текстом, переведённым на китайский, японский и английский языки, она тоже передавала тревогу и боль Распутина за судьбу мирового сокровища. Книга демонстрировалась на Международной книжной выставке в Москве, была отмечена там наградой и получила отклик во многих странах.

Летом 2011 года Комитет по экологии ЮНЕСКО на своей сессии сделал решительное заключение: «Действия российских властей угрожают мировому природному наследию». В очередной раз эта международная организация предложила закрыть целлюлозные комбинаты на Байкале.

Возможно, здравые доводы неутомимых защитников «священного моря», решение высших чиновников страны наконец-то внять голосу разума и — не в последнюю очередь — упавшие барыши при выпуске низкокачественной продукции, которая стала невыгодна олигарху, — всё это сошлось воедино. В 2014 году комбинат-отравитель был окончательно закрыт. Но остаётся его собрат на Селенге. И если мы приняли в свои души завет Валентина Григорьевича — не

отдавать на поругание временщикам ни пяди родной  
земли, — долг наш не отменён.

# **Глава тринадцатая**

## **НА ЭКРАНАХ И СЦЕНАХ**



## «Согласие с тем, что прочла...»

Огромный интерес к произведениям Валентина Распутина, широко публиковавшихся в семидесятых годах и в нашей стране, и за рубежом, разделили с читателями и критиками режиссёры театра и кино. Еще в 1969 году выпускница ВГИКа режиссёр Динара Асанова сняла телевизионный художественный фильм «Рудольфио». Это была первая попытка переложить на кинематографический язык тайные и тонкие переживания влюблённой во взрослого женатого человека (его роль сыграл Юрий Визбор) девушки, героини распутинского рассказа. У фильма не было громкого успеха — отчасти это можно объяснить тем, что художественный материал новеллы был невелик. Зато картина в какой-то степени наметила творческий почерк Д. Асановой, проявившей себя вскоре мастером психологического кино.

Большой резонанс у зрителей и кинематографистов получил телевизионный фильм Евгения Ташкова по рассказу «Уроки французского» (1978). История деревенского мальчишки, рассказанная писателем с потрясающей доверительностью и художественным мастерством, получила талантливое киновоплощение. Картина была удостоена нескольких призов на престижных кинофестивалях, многократно показывалась на широком и телевизионном экранах. За короткое время в стране были поставлены фильмы «Продаётся медвежья шкура» (режиссёр Александр Итыгилов; 1980), «Василий и Василиса» (режиссёр Ирина Поплавская; 1981), «Прощание» (по повести «Прощание с Матёрой», режиссёры Лариса Шепитько и Элем Климов; 1982).

Трагедией была омрачена съёмка последней из названных картин. Но прежде — о выборе произведения для фильма. Режиссёр Лариса Шепитько рассказывала:

«Я всё время думала и ждала, когда я, наконец, прочту что-нибудь такое, что окажется мною. Всё, что я читала, казалось, связано со мной лишь по касательной. И вдруг мне встретилась вещь, повесть Распутина, и я увидела, не сочтите нахальством, что несколько блоков этой повести написаны мною. Вот если бы дал мне Бог талант, я бы именно так и написала. Я даже вздрагивала от узнавания. Что-то во мне дремало, ждало своего и вот дождалось. Мне случалось и раньше увидеть в литературном произведении нечто близкое мне. Может быть, по стилистике, может быть, ещё по каким-то иным признакам. Близкое, но не больше. А вот тут, у Распутина, я увидела своё. Я подумала: ну почему это не я написала? Почему я не писатель?»

Но повесть Распутина представляла собой такую особую ценность, была настолько сложна, литературна, повествовательна, что представить всё это себе на экране я не могла. Такой фильм представить невозможно. Но я представила себе, что если бы построить такое кинопроизведение, со своей структурой, но во всём опирающееся на Распутина, на эту повесть, то ведь никакого насилия над собой, над литературой, над автором повести я бы не совершила. Это было бы совершенно моё. Я чувствовала каждой клеточкой своей, каждой мышцей, каждой мыслью полное согласие с тем, что прочла...

Это будет фильм не о прощании с прошлым, потому что я не хочу с ним прощаться. Это будет фильм о сохранении этого прошлого как духовной потребности, как части нашей сегодняшней и будущей жизни. Наивно предполагать, что без прошлого можно говорить о гармоничной жизни любого поколения. Понятно, что мы все думаем о будущем, для всех нас характерна

устремлённость в будущее. Но в этом стремлении нельзя растерять прошлое, оно живое, оно живёт. Мы не можем отказаться от того, что есть в нас, что было дано нам, что надо сберечь в себе, потому что без этого выхолащивается душа...

Духовное начало, когда-то возникнув, поселившись в нас и среди нас, осталось с нами, не умирает в нас, должно быть сохранено нами как истинная основа общественного и личного сознания и бытия. И повесть Распутина мне дорога именно этим качеством, вся она, по-моему, о неумирающей, о бессмертной духовности русского человека, русского характера. И Дарья — главная героиня повести, а потом и фильма — мне дорога именно потому, что она сберегла в себе силу духовности, хранит её, что духовность в ней ощущается даже как нечто мессианское — не в смысле пророчества, проповедничества, в более скромном, но и в более сокровенном значении. Она, Дарья, не только сама способна на это чувство, но умеет и наделить им других. Она передаёт, сообщает другим эту силу духовности. Это говорит о её мужестве, о её богатстве и широте и вместе с тем — о богатстве и широте народа. Вот эта способность человека принимать ответственность не только за себя, но и за других сильно выражена в прозе Распутина и привлекает меня в его повести...

Вот почему настоящим финалом фильма должно быть не противостояние прошлого и блуждающего настоящего, не чувство разорванности и утраты, а чувство обретения и ясной осознанности своего человеческого и гражданского предназначения».

Лариса Шепитько встречалась с писателем, взяла у него разрешение на постановку картины. Валентин Григорьевич откровенно рассказал в своих коротких воспоминаниях о том, почему он согласился на киноверсию повести:

«Лариса убедила меня очень скоро. Вернее, она не убеждала, нисколько не убеждала, а стала рассказывать, каким представляет себе этот фильм, и говорила так живо и так горячо, взволнованно, что я и забыл, что хотел не отдавать „Матёру“. Вот эта неистовость, самозабвение на начальных подступах в работе поразили меня тогда больше всего. Она говорила как бы не для меня и не для себя, а для кого-то третьего, кто мог присутствовать при нашем разговоре и от кого зависело, быть или не быть фильму. Меня же больше всего убедили наши сходные позиции в отношении к проблемам, о которых я пытался говорить в повести и которые собиралась продолжить Лариса в фильме. Убедило прежде всего не формальное, а творческое, художническое прочтение повести, желание выделить проблему ответственности не только общества в целом, но и каждого поколения в отдельности за всё, что мы делаем на земле».

Лариса Ефимовна успела отснять только первые материалы. 2 июля 1979 года она вместе с несколькими коллегами по киноэкспедиции погибла в автомобильной катастрофе. Закончил работу над фильмом её муж Элем Климов. Картина «Матёра» получила новое название — «Прощание».

В Москве, в Российском государственном архиве литературы и искусства, хранится черновик письма Элема Климова Валентину Распутину. Послание датировано 1981 годом и написано Элемом Георгиевичем сразу после обсуждения руководством Госкино СССР отснятых материалов для готовившегося фильма. При чтении этого текста невольно вспомнилось, как придирались чуть ли не к каждой строке Распутина критики-ортодоксы во времена его литературной молодости. Теперь чиновники от кино, не имея возможности гнобить широко известного писателя, лауреата Государственной премии СССР, так

же тупо судили о работе режиссёра фильма по всемирно известной повести сибиряка. Претензии к постановщику иначе как маразмом трудно назвать.

«Дорогой Валя!

Пишу сразу же после нашего телефонного разговора и сразу же начинаю с извинений... Если бы дело касалось лишь моей работы, лишь меня, я бы никогда и никого не стал обременять просьбой о помощи.

Расскажу о последнем просмотре. Образно выражаясь, когда после просмотра зажётся свет, в зале стало ещё темнее. Разговор был очень тяжёлый... (Далее автор излагает замечания своих начальников. — *А. Р.*)

1. Трагично, мрачно, безысходно (применительно к этому материалу „трагедия“ — слово уличающее)...

2. Где вы видели таких старух? Высшая степень забот современного деревенского (отсталого) жителя — огород, скотина, участок. А эти почему-то философствуют. Причём философия допотопная. Где они были в послереволюционное, военное и послевоенное время? Всё же они были наверняка комсомолками, жили вместе со всей страной. Но нет и следа этого в образе мышления.

3. Никто не хочет уезжать с этого острова. Ни люди, ни животные... Каждая клетка материала проникнута этим пафосом: никто не хочет уезжать. Даже коровы.

4. Получается, что прогресс — это монстр, который все ненавидят, это ад, а ваши пожёгщики — его черти.

5. Сцена собрания на лесопилке. Почему под дождём? Почему фронтовая атмосфера? Почему так мрачно? Неужели нельзя было найти более светлого помещения — клуб или сельсовет, например? Что за апостол (Воронцов) в китайском плаще?

6. Мальчик. Что за вселенский укор в его глазах? Почему он всех судит? Почему, наконец, бросает

картошкой в Павла? Что за нестеровский отрок?

7. Зачем этот дикий старик?

8. В материале есть религиозный оттенок.

— В чём он?

— В язычестве. Дарья в лесу. Танцы. Купание. Особенно купание.

— То, что вы называете язычеством, — это древняя связь этих людей с природой. У них свои, вековые, прочные отношения с ней.

— Где вы это видели? Этого нет давно. Все одной ногой живут в городе, от него питаются, в него бегут.

9. И наконец, в материале есть, ощущается четвёртое измерение...

— Что это?

— Трудно это сформулировать, назвать словами, но оно есть.

(Подсказывают: религиозность, язычество?)

— Нет, я не об этом. Но оно есть.

Рассказал тебе, Валя, всё это коротко, телеграфно, огрубляя, возможно, и ситуацию, и критику. Но по существу, суть примерно такова.

Что же дальше? Вопрос о второй серии будет решён автоматически после того, как решится вопрос о продолжении фильма. Для этого „мы все должны подумать“. Я должен написать некую объёмистую и убеждающую справку, после чего „мы вновь соберёмся и решим вопрос окончательно“.

Уверяю тебя, что ситуация для них не менее сложна сейчас, чем для нас... События могут развиваться в любую сторону, и мне будет всю жизнь жаль, если мне не достанет дипломатического таланта, которым так обладала Лариса, и большое святое дело будет загублено.

К тебе, как я понял, существует двойственное отношение: опасливая, органическая неприязнь, с одной стороны, и искреннее уважение, пиетет, с

другой. Может так быть, что до твоего участия в этих коллизиях дело и не дойдёт, но вдруг... Поэтому я тебе и позвонил, так как момент, очевидно, решающий...»

Трудно сказать, пришлось ли Распутину отстаивать фильм. Во всяком случае, когда картина вышла в прокат и начала широко демонстрироваться в стране, Валентин Григорьевич отправил Климову телеграмму, которая в полной мере передавала его радость соратника: «Ура мы ломим гнутся шведы поздравляю Элем обнимаю Валентин Распутин».

## Потрясение испанских зрителей

Позволю себе привести собственные воспоминания, связанные с этим фильмом.

В 2005 году в испанском городе Барселоне проходила международная встреча литераторов европейских стран, США и Канады, пишущих на экологические темы. Она была организована континентальной организацией «Единая земля», отделение которой в Каталонии возглавляет прозаик Сантьяго Виланова. Я попал туда потому, что родился и вырос на Байкале, в разные годы посвятил сибирскому чудо-морю книжки в стихах и прозе. А европейцы, которые ценят пресную воду на вес золота, проявляют к Байкалу, его нынешнему состоянию особый интерес. Заглянув в Интернет и увидев там мои опусы, каталонцы и оформили мне приглашение.

Кроме дискуссий Виланова включил в программу демонстрацию лучших мировых фильмов, посвящённых защите природы. Среди них оказалась и картина «Прощание». Меня заранее попросили представить её зрителям. Я посмотрел в Иркутске ленту, уже виденную в начале восьмидесятых годов, написал текст выступления и предварительно послал его в Испанию. Во время моего рассказа текст в переводе на каталонский шёл на экране бегущей строкой.

В огромном кинозале Барселоны не было свободных мест. Надо сказать, что ещё на рубеже семидесятых — восьмидесятых годов в одном из издательств этого города выходили в свет повести Распутина «Деньги для Марии» и «Прощание с Матёрой».

Говоря об истории создания фильма, я высказал и своё мнение о том, какой замысел имела Лариса



Шепитько (по её словам, приведённым выше) и как осуществил его Элем Климов.

Он внёс свои изменения в сценарий и, как мне кажется, снял несколько иную киноленту, чем предполагала Лариса Шепитько. Она хотела, как и автор повести, показать удивительную нравственную чистоту и светоносность Дарьи и её подруг. Климов же акцентирует внимание на том зле, что творится при уничтожении деревни, её заповедной природы. Он показывает холодную деловитость и жестокий цинизм рабочих, очищающих остров, и убогую жизнь, пьяный разгул, сумасбродные поступки обитателей деревни. В этих обличительных картинах в какой-то степени тонет духовный смысл распутинской повести.

Надо ли говорить, что фильм оказал на экспрессивную испанскую публику ошеломляющее, гнетущее впечатление. К нам с Сантьяго Виланова и переводчицей подошла толпа зрителей. Одна из впечатлительных женщин повторяла с испугом: «Ужас! Ужас!» и удивлённо спрашивала у меня: «Скажите, почему в такой спешке уничтожались жильё людей, захоронения, деревья? Разве нельзя было заранее, спокойно перенести деревню на новое место? Кто торопил этих жестоких „командос“?»

Если бы мы в своём отечестве знали ответы на эти вопросы!

## **Всё, как в жизни...**

Характер другой русской женщины, о которой поведал писатель из Сибири, привлёк кинорежиссёра Ирину Поплавскую. Её беседа с корреспондентом «Литературной газеты», опубликованная 5 марта 1980 года, названа так: «Василиса из таёжной деревни». Рассказ Распутина «Василий и Василиса», по словам режиссёра, потребовал глубокого погружения в духовный мир героини, долгой, несуетной жизни рядом с такими людьми, как она.

«— Над фильмом я работаю около двух лет. Побывала в Сибири, жила в деревнях на реке Ангаре, на Белой, на Шилке. Познакомилась и подружилась с деревенскими женщинами, в чём-то прототипами героинь Распутина, прикоснулась к их богатому и чистому нравственному миру. Этот мир русской деревни, как исток нашей жизни, мы и хотим показать. Мы хотим показать также благотворность связи человека с землёй, с полем, с русским земледельческим календарём.

Поездка в Сибирь духовно напитала меня. Я привезла оттуда обильный материал. На основе этого материала кинодраматургом Василием Соловьёвым совместно со мной был написан сценарий. С Валентином Григорьевичем мы в тесном контакте и дружбе, советуемся с ним и получаем всегда живой отклик на нашу работу... Работа над фильмом, который создаётся на основе настоящей, подлинной литературы, на основе рассказа, насыщенного интересными мыслями и наблюдениями, где действуют живые, сильные народные характеры, приносит всем нам, творческому коллективу, удовлетворение и радость. Я считаю, что кинематограф питается, обогащается и вырастает из

корней большой литературы. Свой первый фильм „Месть“ я сняла по рассказу Антона Павловича Чехова. Потом несколько лет провела в горах Киргизии и Дагестана — снимала два фильма по повестям Чингиза Айтматова „Джамиля“ и „Тополёк мой в красной косынке“, фильм по поэме „Горянка“ Расула Гамзатова. А теперь меня поглотил новый мир — мир героев Валентина Распутина.

Он умеет глубоко вглядываться в душу русской женщины. Фильм — о том, что нет справедливости без доброты, об ответственности человека за каждый свой поступок».

## Театр начинается с книги?

Спектакли по произведениям Распутина особенно широко пошли на театральных сценах страны после выхода его первых трёх повестей. Свою профессиональную роль сыграло здесь Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП). В 1977 году оно опубликовало и разослало по театрам инсценировку повести «Последний срок», в следующем году — пьесу по повести «Деньги для Марии» и в 1979-м — сценический вариант повести «Живи и помни».

Первая дата, 1977 год, стала точкой отсчёта для двух столичных премьер: спектакль «Последний срок» появился на афише МХАТа им. М. Горького, а «Деньги для Марии» — Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. В 1978 году пьесу по повести «Живи и помни» поставил ленинградский Молодой театр. Тогда же инсценировки распутинских произведений впервые увидели зарубежные зрители. Пьеса по повести «Последний срок», например, была опубликована в Братиславе на словацком языке и в Софии — на болгарском и вскоре была поставлена в местных театрах. Спектакль «Деньги для Марии» вошёл в репертуары театров ГДР и Чехословакии.

Ирина Поплавская справедливо заметила, что «большая», классическая литература «питает» кинематограф. Точно так же её живые «соки» оказываются благотворными и для театра. Это подчеркнул Г. Дмитриев, автор статьи в газете «Советская молодёжь» (1979, 9 июня), рассказывая о трёх спектаклях МХАТа им. М. Горького по повестям Валентина Распутина.

«В начале мая в Московском художественном академическом театре им. М. Горького состоялась

премьера. И премьера особенная: театр поставил спектакль по произведению известного советского писателя В. Распутина „Деньги для Марии“.

В 20–30-е годы МХАТ впервые в истории мирового и русского театра обратился к лучшим образцам отечественной прозы и воплотил их на сцене в ярких, высокохудожественных, волнующих спектаклях. Впервые в мире МХАТ ставит „Бесов“ Ф. Достоевского, затем „Братьев Карамазовых“. В 1937 году он впервые поставил „Анну Каренину“ Л. Толстого, чуть позже „Воскресение“. Оба спектакля шли здесь десятилетиями.

Безусловно, стремление театра к инсценировкам объясняется нравственными и художественными достоинствами произведений, к которым он обращался. Но самое главное — они поднимали жизненные пласты, не затронутые драматургией, вскрывали духовно-психологические стороны жизни, в них действовали герои, подобных которым в современных пьесах не было. Эта репертуарно-художественная линия принесла театру в дальнейшем колоссальный успех и мировое признание.

В 1976 году режиссёр театра Владимир Богомолов заинтересовался повестью Валентина Распутина „Последний срок“. Коллектив обратился к писателю с предложением сделать по повести не просто инсценировку, а самостоятельную пьесу с учётом специфики театра и его сценических законов. Сам режиссёр приехал в Иркутск, длительное время пробыл здесь. Беседы, советы, режиссёрские и актёрские консультации, конечно же, сильно помогли Распутину. Ведь Валентин Григорьевич создавал пьесу для МХАТа!

Весной 1977 года — премьера. Успех полный и прочный. Спектакль идёт и по сей день (во МХАТе ставят на многие годы!)

У писателя и театра возникла крепкая и прочная дружба. Валентин Григорьевич создаёт для театра пьесу „Живи и помни“. И уже через год после первой, в 1978 году в репертуаре театра — вторая пьеса Распутина. Зная о художественной взыскательности коллектива театра, понимаешь исключительность этого случая и искренне радуешься ему.

А содружество художника и театра, подкреплённое зрительским интересом и признанием этих двух спектаклей, привело к тому, что на днях состоялась и третья премьера: „Деньги для Марии“. Это, конечно, событие и для театра, и для зрителя: в ведущем драматическом театре страны идут одновременно три спектакля по произведениям лауреата Государственной премии СССР Валентина Распутина.

Сегодня имя В. Распутина на афишах театров Ленинграда, Омска, Новосибирска, Свердловска, Иркутска, Читы.

Три премьеры МХАТа говорят о том, как много могут взаимно дать друг другу театр и его автор — талантливый, глубокий художник».

\* \* \*

Правда, случались и режиссёрские «подставы». Об одной из них рассказал в письме Виктору Петровичу Астафьеву Валентин Курбатов в феврале 1977 года:

«Последнее, что видел в своём театре (имеется в виду Псковский драматический театр. — *А. Р.*), — „Деньги для Марии“ Распутина. Режиссёр — молодец. Здоровый, румяный, левизной решил потешиться и, конечно, всё изглупил, потому что из Распутина левака не сделаешь, слишком у него для этого чистое русское сердце. И при этом всё измельчил, опошлил, а главного либо не захотел увидеть, либо попросту не сумел,

потому что душевной тонкости не хватило, сердца. Да и вообще всё вышло как-то нечисто. Вчера получил от Распутина письмо (сам-то он на премьере не был), так, оказывается, он просто показал по просьбе нашего режиссёра черновой вариант — на случай, если заинтересует. Сам же работает над основным для театра Ермоловой, которому и право первой постановки уступил. И вот на́ тебе — разыграли черновик, отняли у (театра) Ермоловой первенство вопреки автору, да ещё и нелитованный вариант (то есть не прошедший цензуру. — *А. Р.*) поставили, а за это уж в первую голову даже и не театру, а Распутину нагорит — одним словом, ввязали порядочного человека в какую-то пёсью свалку. Добро бы хоть постановка-то была хорошая, стоило бы рисковать, а то ведь так — громкая читка с дурно расставленными акцентами».

## От слова — к музыке

На первый взгляд кажется, что для воплощения в музыке проза не годится. Но композиторы давно доказали, что дело не в жанре первоосновы, а в трагической или счастливой наполненности литературного произведения, в сильных человеческих страстях, в нравственных уроках его героев. Под рукой множество примеров: оперы «Травиата» Верди, «Пиковая дама» Чайковского, сочинения симфонические, инструментальные...

Повесть «Живи и помни» стала литературной основой для оперы московского композитора Кирилла Волкова. Она была поставлена на сцене столичного Камерного музыкального театра (ныне им. Б. А. Покровского) в 1984 году режиссёром Николаем Кузнецовым. Он же создал и либретто оперы. Партию Настёны пела Лидия Трофимова, партию Андрея — Алексей Мочалов.

Рецензент В. Колосова на страницах газеты «Советская культура» оценила спектакль доброжелательно и профессионально:

«Опера Волкова создана в традициях русской музыки. Не только потому, что она органично полна русской песенности, воссоздаёт интонационный строй русской речи, сохраняет особенности сибирского говора. Она традиционна по тем творческим сверхзадачам, которые вслед за писателем ставит композитор.

Судьба героев — это судьба нравственного поиска, нравственного выбора, необходимость которого обостряется экстремальностью ситуации. Это и осознание нерасторжимых связей со своим народом...



Артисты сознают, что главное — передать замысел композитора, но в то же время понимают, что они произносят распутинское слово. Автор либретто удивительно точно выбрал внутренние „несущие“ опоры — большой мир повести буквально оживает на сцене. С музыкой пришло другое — ведь ей дано оживить то, что стоит за строкой, заглянуть в глубины души, высказать, что не высказывается словами.

Мастерством, подтверждённым правдой чувств, остротой переживания отмечены исполнение партии Настёны Лидией Трофимовой. Её Настёна, такая простая и обычная, и вместе с тем тонкая и трепетная, — воплощение чистоты и совестливости народного характера.

Спектакль — суровый, повествующий о трагических событиях, сломанных войной судьбах, — несёт вместе с тем заряд внутреннего света. Потому ли, что звучит в финале звонкий мальчишеский голос? Нет, скорее это ощущение рождается в силу духовного света и чистоты, той высокой нравственной отповеди, мудрого предупреждения каждому, кто пришёл в этот мир: „Живи и помни“».

Прошло немного времени, и творчество Распутина вдохновило Кирилла Волкова ещё на одно музыкальное произведение. На этот раз он написал Сонату в двух частях для органа по мотивам повести «Пожар». Впервые сочинение прозвучало в Иркутске 14 марта 1987 года, накануне пятидесятилетнего юбилея писателя. Исполнил сонату заслуженный артист РСФСР Гарри Гродберг.

\* \* \*

Здесь к месту будет сказать, что земляки писателя интересовались театральными постановками по

произведениям Распутина не меньше, чем его новыми книгами. Усть-удинские друзья Валентина Григорьевича рассказывали, как группами ездили, чтобы посмотреть в Иркутском драмтеатре и в Театре юного зрителя спектакли по повестям «Последний срок» и «Прощание с Матёрой». А ведь преодолеть в автобусе сотни километров — тут желание должно быть особым! Ну и телевизионные показы, правда редкие, земляки не пропускали.

Сотрудники районной библиотеки (краеведческого музея в Усть-Уде ещё не было) стремились получить от Валентина Григорьевича хоть какие-то материалы о спектаклях: кто инсценировал его повести, какие отклики в печати появлялись, видел ли сам писатель столичные и иные постановки? Сохранились два коротких письма Распутина к заведующей библиотекой Л. Д. Петровой, как всегда, показывающих, что он не заботился о собственной популярности:

«Дорогая Любовь Дмитриевна!

Совершенно случайно Ваше письмо застало меня дома в хвори, поэтому так скоро я и отзываюсь на него.

Фотографии высылаю, их, я думаю, будет с избытком. Те, что отыскал на скорую руку из театральных программ, тоже здесь. Перечислить же, где, в каких театрах шли мои спектакли, не могу, шли они в очень многих местах, в том числе за границей, и тоже немало. Афиши я не сохраняю, рецензии тоже. Если обяжете и если что нужно, впредь из появляющегося, кое-что стану высылать.

Чем был рад... Всего Вам доброго! В. Распутин. 16 октября 1984 г.».

«Уважаемая Любовь Дмитриевна!

Разбирая свои бумаги, я нашёл кое-что, относящееся к моей работе для театра, что, быть может, Вам пригодится. Ежели же нет, возвращать не нужно, выбросьте в мусор.

Всего Вам доброго! С уважением В. Распутин. 9  
ноября 1984 г.».

**Глава четырнадцатая**  
**ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ,**  
**СИБИРЬ?**

## Сказ о граде Иркутском

В восьмидесятых годах Распутин создал книгу, которую можно назвать уникальной, энциклопедической, занимательной — любое из этих определений подойдёт к ней. Я имею в виду уже упоминавшийся художественно-публицистический сборник «Сибирь, Сибирь...».

О суровом и великом крае от Урала до Тихого океана написано немало сочинений — этнографических, научных, учебных, не говоря уже о художественных произведениях. Но не было до книги Валентина Распутина изданий, в которых бы документально выверенно и занимательно рассказывалось не только о многовековом освоении обширной и труднодоступной земли, но и о духовном окормлении и культурном возвышении её. Да как, с каким сердечным жаром и с какой любовью к этому скрытному и распахнутому, неприветливому с виду и отзывчивому на ласку, скупому и щедро одаривающему за труды и терпение краю! И ещё: с какой надеждой на великое будущее Сибири и с какой горячей просьбой к современникам и потомкам беречь её!

«Нет, всё здесь задумывалось и осуществлялось мерою щедрой и полной, точно с этой стороны, от Тихого океана, и начал Всевышний сотворение Земли и повёл его широко, броско, не жалея материала, и только уж после, спохватившись, что его может не хватить, принялся выкраивать и мельчить...

В каждом развитом духовно человеке повторяются и живут очертания его родины. Мы невольно несём в себе и древность Киева, и величие Новгорода, и боль Рязани, и святость Оптиной Пустыни, и бессмертность Ясной Поляны и Старой Руссы. В нас купиной неопалимой

мерцают даты наших побед и потерь. И в этом смысле мы давно ощущаем в себе Сибирь как реальность будущего, как надёжную и близкую ступень предстоящего возвышения. Чем станет это возвышение, мы представляем смутно, но грезится нам сквозь контуры случайных картин, что это будет нечто иное и новое, когда человек оставит ненужные и вредные для своего существования труды и, наученный горьким опытом недалёких времён, возьмётся наконец не на словах, а на деле радеть о счастливо доставшейся ему земле».

Книга с самого начала задумывалась писателем как богато иллюстрированное фотографией повествование о подвижниках освоения Сибири, её первых иерархах, корифеях науки и культуры, которых она вывела в жизнь, природных и рукотворных сокровищах, поражающих мир. Автором снимков стал талантливый иркутский фотохудожник Борис Дмитриев, врач по образованию и бывалый, неутомимый путешественник по своей натуре.

«Мы с Валентином Григорьевичем совершили множество близких и дальних экспедиций на самолётах, поездах, морских и речных судах, даже на небольших моторных и надувных резиновых лодках, — рассказывал в одной из публикаций Борис Васильевич. — Десять лет постоянных странствий. Для меня каждая поездка с Распутиным была отрадой. Моя работа — во время путешествия найти достойный кадр, очаровать Сибирью зрителя, как очарован ею сам. А для Валентина Григорьевича, я понимал, задача сложнее. Сколько часов провёл он в архивах сибирских городов, сколько потратил времени, чтобы найти старожилов и выслушать их! Да и написать об увиденном и услышанном по-распутински — делать это бегом, наскоро он не привык».

А начиналась книга с очерка об Иркутске. Слово «очерк» имеет какой-то газетный оттенок; в сочинениях этого жанра редко ощутишь поэзию, художественную красоту. Очерки, составившие книгу «Сибирь, Сибирь...», — исключение из этого правила. В них есть, разумеется, и документальные сведения, и свидетельства исследователей Сибири, русских и зарубежных писателей, бывавших здесь. Но рассказ самого автора о земле, где он родился и вырос, озарён таким душевным светом, таким благодарным чувством, что кажется, будто кто-то незримый и вещий диктует ему единственные, незаёмные, редкостные слова. Сыновнее признание Иркутску — первое подтверждение этому.

«Есть особенный час, в который легко отзывается Иркутск на чувство к нему, — признаётся писатель. — Приходится этот час на раннюю пору летнего рассвета, когда ещё не взошло солнце и не растопило, не смыло горячей волной настоявшиеся за ночь, взнятые из недр своих, запахи, пока не разнесли их торопливые прохожие, в редкую и недолгую тишину не погубил машинный гул. Лучше всего очутиться в такую пору в старом Иркутске, в одном из тех его уголков, где не столько в ветхости и разоре, сколько в службе пока и красоте сохранились одной общиной деревянные дома. И стоит лишь вступить в их порядок, стоит сделать первые шаги по низкой и тёплой теплом собственной жизни улице, как очень скоро теряешь ощущение времени и оказываешься в удивительном и сказочном мире, из той знаменитой сказки, когда волшебная сила на сто лет заговорила и усыпила, оставив в неприкосновенности, всё вокруг. И уже не слышишь полусонного и размеренного женского голоса, объявляющего из-за Ангары о прибытии и отправлении поездов, не видишь возникающих иногда перед глазами, как огромные неряшливые заплаты, новых

каменных зданий, не замечаешь сегодняшних примет — ты там, в этом мире более чем столетней давности».

Как человек, проживший в Иркутске четверть века, могу засвидетельствовать: подлинный дух старинной Сибири витал и в наши дни в деревянных улочках, лепившихся к берегу Ангары за бывшей Тихвинской площадью, к Иерусалимскому кладбищу, к Байкальскому тракту, начинающемуся ещё в городе. Казалось, здесь, в сухих и тёплых двориках, на людных дружеских посиделках только и могли звучать стародавние были, толки об иркутских пожарах, отмеченных в городских летописях, и песня о Ермаке «Ревела буря, гром гремел...». Валентин Григорьевич словно бы объяснял это ощущение:

«Дерево имеет редкую способность продлевать нашу память до таких глубин и событий, свидетелями которых мы не могли быть. Лучше сказать, это способность передавать нам память наших предков. Камень более недвижим и холоден; дерево податливо и ответно чувству. В деревянных кварталах, где-нибудь среди бывших Красноармейских, а до того — Солдатских улиц, не так уж и трудно представить себе старый Иркутск, предположим 30–40-х годов XVIII века, когда город разросся и вышел за стены острога».

Оценивая красоту старинных деревянных зданий Иркутска, писатель взял в «соавторы» авторитетного специалиста. «Я был во многих городах и столицах разных стран и могу сказать, что такой деревянной архитектуры, такой изумительной резьбы, как в Иркутске, нет ни в одном уголке мира», — отозвался о нашем городе художник Илья Глазунов, известный знаток и защитник русской старины, имея в виду в первую очередь барочную резьбу, которой выделяется Иркутск из всех без исключения городов.

Но и каменная застройка столицы Восточной Сибири поражала гостей всегда. Чего стоит центральная улица



города — Большая, протянувшаяся от предместья до Ангары, до красивейших сооружений на её берегу: величавого Белого дома, бывшей резиденции генерал-губернатора, здания краеведческого музея, памятника императору Александру Третьему. Как оценивали город, если можно так сказать, одевшийся в камень, — об этом Распутин привёл свидетельство давнего именитого путешественника.

«Древность Иркутска достопочтенна, — писал побывавший в нашем городе в 1824 году Алексей Мартос, один из образованнейших людей своего времени, сын скульптора, поставившего на Красной площади в Москве памятник Минину и Пожарскому. — Её можно уподобить той эпохе человеческой жизни, которая, упрочив счастье потомков, может требовать уважение и внимание чад своих». И, перечисляя поразившие его в Иркутске памятники старины, Мартос в первую очередь называет Богоявленский собор и Спасскую церковь.

К тому времени, когда создавался очерк, местной епархии удалось восстановить оба храма, частично разрушенные в 1930-е годы. С каким воодушевлением говорит писатель о справедливости, редкой тогда по отношению к православной вере, можете судить сами:

«...Иркутск может гордиться тем, что из запустения и едва ли не из небытия Спасская церковь и Богоявленский собор полностью восстановлены — вот почему и можно говорить о их возрождении как о чуде, сравнимом лишь с чудом восстания из пепла. И когда приходишь сегодня на берег Ангары к месту, „откуда есть-пошёл“ Иркутск, и видишь сияющий золотом купол Спасской церкви и роспись на северном и восточном её фасадах, когда видишь поднявшееся, как два с половиной века назад, в прежнем виде шатровое возглавие над колокольней Богоявленского собора и радостно, празднично играющие, словно

отсвечивающие загадочную жизнь ангарской воды, вставки изразцов, — просторно и светло поднимается в душе чувство конечной справедливости всего сущего вместе с чувством долгими скитаниями добытой усыновлённости».

Не правда ли, написано без всякой оглядки на идеологических надзирателей? И уж совсем как предупреждение о неотвратимом наказании, людском или Божьем, за разрушение святынь звучат следующие слова писателя:

«Народ наш (и это не досужая выдумка автора) с обострённым вниманием следит за судьбами тех, кто в своё время, хоть и в качестве исполнителей, повинен был в уничтожении и забвении памятников старины, и всякое неблагополучие в их жизни готов принимать за законное возмездие. Даже при понятном преувеличении и желании выдать за действительное то, чего нет, стоит тем не менее помнить об этом стихийно и невольно живущем требовательном ожидании; люди хотят верить, что безнаказанности не существует».

## Снаряжавшие русских Колумбов

Точно так же, без идейных предрассудков, писатель ведёт речь о роли иркутского купечества в возвышении своего города как культурного центра Сибири. Антон Чехов, проехавший сибирские города по дороге на Сахалин, выделил среди них один Иркутск, назвав его «превосходным» и «совсем интеллигентным». Но кто помог вчерашнему острогу на Ангаре стать культурным оазисом в ледяном краю?

«Разумеется, — пишет Распуган, — и здесь сплошь и рядом встречались типы, подобные персонажам из пьес Островского; разумеется, сказочные богатства невозможны были без грубой и нечистой практики своего ремесла — идеализировать и выделять, подыскивать для сибирского купца особый пьедестал никто не собирается». Но... «Многие из тех, кого мы называем толстосумами, были людьми широко и разносторонне образованными, они выписывали из Москвы и Петербурга лучшие журналы и книги не только для себя, но и для устройства публичных библиотек. Сибиряковы из поколения в поколение вели летопись Иркутска; В. Н. Баснин знаменит был в городе, кроме богатства своего, собраниями книг, гравюр, музыкальными вечерами, на которые приглашались столичные артисты, и оранжереей диковинных цветов и плодов; в картинную галерею В. П. Сукачёва, ставшую позднее основанием Иркутского художественного музея, вход для школьников был бесплатным, а сборы со взрослых шли в пользу городских общедоступных курсов. Можно бы назвать всё это блажью с жиру бесящихся и выставляющихся друг перед другом богачей, когда бы не было от неё столько пользы и когда бы не создавала она той особой и незаштатной

обстановки, которая и выделяла Иркутск из многих и многих сибирских городов. Культурность его и интеллигентность были общепризнанны, средние и слабые театральные труппы не решались ехать на гастроли в Иркутск, боясь местного зрителя...»

А вклад иркутян в освоение новых земель, в снаряжение знаменитых экспедиций! «Иркутские купцы Шелихов, которого Державин назвал „Колумбом русских“, и Баранов были в конце XVIII века первооткрывателями и основателями Русской Америки, осуществлявшими над Аляской и Алеутскими островами не только торговое, но и политическое господство. Управление Российско-Американской компанией от начала до конца находилось в Иркутске. Экспедиции иркутского генерал-губернатора графа Муравьёва в пятидесятых годах XIX века, результатом которых было присоединение к России Амура, финансировались в основном местными золотопромышленниками. Многочисленные в прошлом научные экспедиции на Крайний Север и Восток, в Монголию, Китай и Японию также не обходились без помощи иркутских богачей — отсюда, из Иркутска, где с 1851 года деятельно работал Сибирский (затем Восточно-Сибирский) отдел Географического общества, в сущности, направлялось всё исследование обширных и малоизученных восточных областей».

Совершенно не в духе того времени, когда создавался очерк об Иркутске, но зато в духе своего творчества, уже оценённого читателями, заканчивает писатель повествование:

«Иркутску есть что помнить и достанет что передать потомкам из истории своей и старины, если мы, пришедшие теперь на смену многим поколениям, создававшим ему благородную славу, разумно и твёрдо, во имя памяти о себе, отнесёмся к минувшему и сохраним то, что ещё осталось. Как бы ни чтили и ни

прославляли мы наше время и общество, нельзя забывать, что они невозможны были без прошлого, без тех, кто трудами и подвижничеством, мученичеством и борьбой установил нас в жизни и дал родину, которой мы вправе гордиться. Пережитое не может быть тёмным — темно будущее, когда сдвинуто со своего места прошлое и когда настоящее, не имея твёрдого основания, требует подпорок».

«Не в духе времени» — сказано, собственно, не нами. Так оценила тогда, в начале восьмидесятых, работу писателя бдительная цензура. Почти юмористическую сценку по этому поводу обрисовал в своих коротких воспоминаниях Борис Дмитриев, подготовивший тогда же фотоиллюстрации к очерку.

«Материал решила опубликовать редакция альманаха „Ангара“. С волнением открыл я свежий номер его. Что за чепуха? Снимки напечатаны, а текста нет. Оказалось, что местные цензоры не пропустили очерк Распутина, потому что автор слишком тепло, с благодарностью написал об иркутских купцах-меценатах и с живым православным чувством — о городских храмах. Но то, что запретили к печати сибирские надзиратели, не побоялись пропустить их московские сослуживцы: очерк Валентина Григорьевича был опубликован вначале в газете „Советская культура“, а чуть позже, так сказать, триумфально пошёл по страницам других изданий.

Я сейчас вспоминаю, каких физических сил, какого упорства потребовала от писателя каждая глава книги „Сибирь, Сибирь...“. Вот забросили нас вертолётom в верховья Лены. Река эта поистине великая, она пересекает наши места от „священного моря“ до Ледовитого океана. Как её обойдёшь в рассказе о Сибири?

А начинается Лена с неширокого истока в непроходимом хребте, закрывшем Байкал с запада. До

знаменитого озера отсюда — рукой подать. Забросили нас троих, Валентина Григорьевича, профессионального эколога Семёна Климовича Устинова и меня, в чёрное нехоженое мелколесье на вертолёт. Идёт проливной дождь. На берегу речонки укрыться нельзя, в резиновой лодке тоже, мы едва успеваем вычерпывать из неё воду. Поплыли. Все рюкзаки с вещами промокли, и мы сами — до ниточки. Льёт день, два, три. Во время дневных стоянок и перед ночным сном с огромным трудом затепливаем костёр, зажигая вначале спирт в баночке и разбрызгивая его на наколотые мокрые поленья. Высушиться не можем, сухого места для палатки на троих найти нельзя. Не буду рассказывать обо всём путешествии. Мы его, конечно, закончили, — с неприятными приключениями, с жестокой простудой. Валентин Григорьевич потерял тогда немало здоровья. Целый год после этого не вылезал из больницы».

## Спасённая Катунь

И всё же: Сибирь, как никакая другая земля, даёт художнику возможность воспеть её небесными, омывающими душу словами. Валентин Распутин прекрасно использовал эту возможность. Сколько раз — на Алтае и в Русском Устье, в Тобольске и в Кяхте, на берегах Байкала и сибирских рек — он замирал в восторженной немоте, но, открыв какой-то чудесный ларец, находил точные, божественные слова и краски, чтобы описать земное чудо. Примеров не счесть. Вот он смотрит с вертолёта на просторы Горного Алтая и передаёт нам своё счастливое чувство землянина:

«И виделось сверху с каждым окином взгляда так далеко и чётко, будто и не ты смотришь, а через тебя изливается зрение неба. Дальние развалы лысых гор (только через час пойму я, что это были ещё не горы, а так, забава, разминка пред горами), копны сена в падушках, сосновые и берёзовые ленты вдоль Катунь, по правому берегу ровный натяг Чуйского тракта и завораживающее цветом, огранкой, кипеньем, мощью и страстью, взмученное и кварцево-сияющее сбегание Катунь. Вот возле Манжерока, селения, прославленного туристской песней, бьётся она о порог, вот ходит отдышными кругами, вот успокоилась, а вот опять в кудельном разлохмате набрасывается на валуны. И острова, острова... Низкие, наносные, каменные с отколами скал, голые и поросшие лесом, цельные и вправленные озёрками, с песчаными пляжами и отвесными стенками, с причудливыми скальными фигурами и молодыми зелёными лежнёвками. Всё это стекает вместе с Катунью, всё многоголосо и слаженно звучит, зовёт к себе, приветствует, жительствоует ярко и

празднично в праздник лета, всё проплывает и наплывает музыкой зрения и слуха...»

И как вздох восхищения этим раем и вздох печали, что завтра он может оказаться потерянным:

«Горы Алтая для художника всё ещё остаются сном — чудесным и неземным, сотканным из предсказаний, предчувствий и предвестий, из соблазнительных обещаний и приманов. Для художника они остаются сном, для каждого же из нас они могут быть последним предповоротным воспоминанием о крае, с которого при правильных трудах просматривался рай земной».

У Распутина всегда, в любом публицистическом произведении, рассказ о том, что даровано нам на земле, соседствует с правдивой и горькой картиной: как мы оскверняем, а то и вовсе уничтожаем завещанную благодать. И на Алтай писатель совершил несколько многодневных путешествий не только для того, чтобы открыть читателю его райские красоты, но и для того, чтобы отвести от него нависшую угрозу. На горной Катунь планировалось сооружение каскада электростанций и уже действовала дирекция первой запроектированной ГЭС.

О противостоянии с «деловыми людьми», в котором писатель-сибиряк не мог не участвовать, он повествует так:

«В то лето страсти вокруг Катунь бушевали сильнее, чем вода в её ущельях и проранах. В Москве, Ленинграде, Новосибирске, Барнауле, Бийске действовали общественные группы, доказывающие, что гидростанции на Катунь строить нельзя, что они принесут непоправимый вред реке и краю. Это, впрочем, и не нуждалось в особых доказательствах: там, где ставятся плотины и взбухают водохранилища, река перестаёт быть рекой и превращается в обезображенную и вымученную тягловую силу. Ни рыбы потом в этой реке, ни воды, ни красоты. Энергия



потянет промышленность, для промышленности потребуется новая энергия, затем опять промышленность — и так до тех пор, пока поминай как звали Катунь, её берега и далёкие забрежья. Ни оракулом, ни специалистом быть не надо, чтобы предсказать подобную судьбу: отечественная практика показывает, что иначе у нас не бывает...»

Доводы «преобразователей»: «край нужно развивать, он и без того отстал в экономике, жилищном строительстве, в социальных удобствах, все идут вперёд, а мы давно топчемся на месте, и движение без собственной энергетики невозможно». «Мы, — продолжает писатель, — отвечали: грех великий превращать Горный Алтай в обычный промышленный район, его служба и дружба в другом — сохранить свою красоту и чистоту, которые уже завтра будут стоить денег, а послезавтра — самой жизни. За понюх алтайского воздуха, за погляд его природной сказки, за послух ветра в кедрачах и звона горных речек, за один лишь побыв среди всего этого, не изжамканного колёсами индустриализации, человек что угодно отдаст и скажет спасибо... Есть страны, которые живут за счёт природной удачи. Не хлеб единый даёт и хлеб... Не истина ли, что такой большой стране нужно многоустройство — умное и выгадливое, считающееся с особенностями района? Если самой природой предназначено быть здесь маралу и кедру, пасакам и облепихе, сыру и садам, табунам лошадей и отарам овец — зачем изводить их тут и разводить затем где-то в чужой стороне? Горному Алтаю повезло, он до сих пор сохранил свой первородный лик — не отдавайте его в окончательную перемолку и переделку, тем паче, что на вас и не жмут, это прежде всего ваши местные хлопоты — не упустить строительство гидростанций».

Можно было бы напомнить и те страницы из очерка «Горный Алтай», где Распутин страстно выступал

против вырубки уникальных алтайских кедров, за сохранение сказочного Кедрограда (борьбу за него начал ещё наставник писателя Владимир Чивилихин), уникального Телецкого озера, «младшего брата» Байкала, — за каждым словом повествования стояло неравнодушие сына России, её заботника и защитника. Теперь мы можем сказать, что именно протестующее слово Распутина, поддержанное авторитетом его соратников — Василия Белова и алтайских писателей, — остановило неразумных творцов «прогресса»: затея со строительством электростанций на Катуні почилa в Бозе...

## На берегу океана

Кажется, самые заповедные, труднодоступные уголки Сибири выбирал Валентин Григорьевич для своих путешествий. И не для того, чтобы поразить нас, — нет, а чтобы в глубинах суровой, ещё непознанной страны открыть и для себя, и для читателей неведомую, окрыляющую красоту. И людей, прикипевших к своему уголку большой родины. Дважды летал он на берега Северного Ледовитого океана, в устье Индигирки, и написал об увиденном так, будто и эта пядь России — его кровная. А ведь она и в самом деле кровная для Распутина: его предки три с половиной века назад пришли на кочах из мурманских да архангельских краёв именно этим, северным, путём. Может быть, потому его рассказ о тех местах так увлекателен и сердечен.

Уже в новейшее время дома и временки рыбаков и охотников, разбросанные по побережью, попытались свезти в посёлок. И общее, бытовавшее испокон на Индигирке название «Русское Устье» заменили на «цивилизованное» — «Полярный».

«Но и без имени на карте, — пишет Распутин, — оно (Русское Устье. — *А. Р.*) оставалось тем не менее, вопреки заскорузлой чиновничьей логике, в живом употреблении. В Полярный брали билет на самолёт, но жили в Русском Устье. В справках, распоряжениях, отчётах — Полярный, а в памяти людской — по-прежнему Русское Устье. Полярный подмывала Индигирка, обрушивая вместе с яром, выбранным наскоро, избу за избой в воду, а Русское Устье каждое лето, когда разъезжаются семьи по „пескам“ (рыбачьи участки по реке), оживает по всем трём протокам Индигирки, потому что „пески“ эти, как правило, там

же, где стояли деды и прадеды и где во множестве остались их могилы. Полярный знали авиаторы и навигаторы, пограничники и геологи, а охотники и рыбаки от Яны до Колымы знали и знают Русское Устье. И это не просто привычка к устоявшемуся названию, это неделимая часть прочно созданного местного мира, в котором человеческое срослось с природным и стало единым».

Вечная мерзлота, необозримая и, на сторонний взгляд, мёртвая тундра, долгая полярная ночь... А русский человек и тут оживил неласковую землю, обогрел её умелыми руками, заботливой душой. Собственно, весь очерк писателя — это песнь о стойкости пращуров и их нынешних наследников, о русском характере, проявившем себя на ледяных берегах. И о дружелюбии соотечественника, его вечной «семейственности» с людьми других национальностей, оказавшихся обок с ним:

«...прежде чем расчитать её, эту новую родину, он должен был внимательно осмотреться и выведать, чем ему жить, с кем жить в соседстве. С кем жить в соседстве значило в его выборе очень и очень немало. Он хорошо понимал, что тем малым кругом людей, каким они пришли, потомство в добром здравии долго не протянуть и что так или иначе придётся родниться с коренным народцем. В этих местах кочевали юкагиры и ламуты (эвены), доходили известия о чукчах, державших свои оленные стада за Колымой. Якуты тогда ещё не спустились в низовья Индигирки, и русскоустинцы впоследствии были правы, указывая на своё первопоселение. Земли, впрочем, хватало на всех, споры, кому где жить, вскоре затихли раз и навсегда.

...Русский на Индигирке жил в дружбе и согласии и с якутом, и с юкагирцем, и с эвеном, как и положено жить людям, делящим соседство на одной земле, но всегда чувствовал и во всём показывал он себя русским.

И не в том ли и состоит секрет, не в том ли и кроется тайна необыкновенной судьбы этих людей, что с самого начала было обозначено названием — Русское Жило, Русское Устье. С первого дня определили они образ жизни и правило, единственно которые могли помочь им в сохранении своего состава. Надо догадываться, что они не просто говорили на русском, данном им от природы, языке, не замечая и не вкладывая чувство в обычный вопрос или ответ, а говорили с радостью, им было приятно слушать друг друга и своих предков в давних поэтических складываниях. И они не просто держались традиций и соблюдали обряды, исполняя положенное, но относились к ним почти с телесным удовольствием: то, что для жителя коренной России бывало обузой, здесь представляло такую же потребность, как еда и сон. Вот почему русскоустинец сохранил и разговорчивость, и подвижность чувства. Длинной полярной ночью, зажёгши чувал (камин), вспоминали они по очереди и все вместе сказку, песню и булю (былину. — *А. Р.*), и тогда старшие следили, чтобы не потеряли младшие ни одно слово, принесённое со старой родины. Фольклористы заметили, что в Русском Устье былины и баллады сказываются едва ли не первородным, каноническим текстом; на тех, кто отступал от него, взмахивали с неудовольствием руками: не умеешь, не умеешь. Не надо думать, что эта обережительная сила веками действовала сама собой — нет, действовала она, вероятно, по воле зрячей и направленной».

Распутин подробно описал и быт, и въевшиеся издавна привычки, и нравственные правила русских людей, обручившихся с северной тундрой. С восхищённым удивлением услышал он здесь язык, сохранившийся со средневековья, — для златоуста и словознатца, каким писатель проявил себя, это был чудесный подарок. Впрочем, речь о том ещё впереди. А

закончил свой очерк «Русское Устье» приметливый автор, как всегда, мудрыми и пронзительными словами, обращёнными к нам, современникам, — они и тревожат, и взывают к несуетному размышлению, и призывают к начатому предками делу:

«И если б поднять из-под покосившихся крестов русскоустинскую рать да спросить их, потомков поморов и мужиков: что это было, когда глаза ваши искали работу, а руки ваши делали её? Не суета ли сует, не щепка ли для проносной воды?..

И что бы ответили они? Что никто не живёт для себя, а только продолжает подготовку жизни для других, всё продолжает и продолжает, не споря ни с передними, ни с задними, и в таком неустанном подготавливании и есть искомый смысл. Или сказали бы, что они пустили крепкие корни, труды свои свершили сполна — и разве не мы выросли на этих корнях? Или с укором кивнули бы на Индигирку в сторону океана: чьи это берега, нешто не российские? Или какую-то новую, неведомую нам истину открыли бы, от которой всё наконец встанет на свои места, всё ляжет кирпич к кирпичику в единую полезно-устроительную стену.

И когда оттолкнулись мы от причала в Полярном и двинулись дальше на север к последним русскоустинским летникам, растянутым едва ли не до самого океана, чудилось после этих неясных дум, что стоят по берегам, по тому и другому, караульные фигуры и, вглядываясь в нас, переговариваются: кто же это и по какой надобности гребёт, что за чудной и беспонятливый народ народился, который словом доискивается до слова. А если б делом до дела? Чего проще и крепче!

В тот день, когда отошли мы от Полярного, прояснило: далеко-далеко было видно и слышно».

И нам, читателям, после этих слов стало дальше, в ту и другую сторону от нынешнего дня, видно и

СЛЫШНО...

## «Песчаная Венеция»

В девяностые годы, готовя книгу «Сибирь, Сибирь...» к переизданию, Валентин Григорьевич решил дополнить, обновить некоторые очерки в ней. В большей степени, по его мнению, в этом нуждалось повествование о Кяхте, небольшом городке на монгольской границе. Когда-то Кяхту называли «чайной столицей» Российской империи за непрерывный поток караванов с ароматным товаром из Китая и «песчаной Венецией» — за красоту дворцов, выстроенных местными купцами. Распутин собрался посетить городок и попросил меня составить ему компанию в поездке: за тридцать лет работы журналистом в Бурятии я многократно бывал в Кяхте. Писателя сопровождал фотохудожник Борис Дмитриев.

Мы поехали на легковом автомобиле в середине октября, проведя в Иркутске традиционный праздник русской духовности и культуры «Сияние России». Путь был не ближним — восемьсот километров, поэтому остановились на ночёвку в Улан-Удэ у моей сестры. Её муж возглавлял одно из управлений в администрации президента Бурятии. Не удержавшись, он позвонил вечером главе республики и сообщил, какой гость направляется в Кяхту. Президент назначил нам встречу рано утром следующего дня.

Во время разговора в высоком кабинете можно было вновь убедиться, какой необычайный авторитет имел Валентин Григорьевич в любом уголке России. Президент просил... ну, например, повлиять на хозяев ангарских ГЭС. Стоимость электроэнергии, которую они гонят в Бурятию, намного выше, чем в Иркутске. Владельцы турбин забывают, возмущался хозяин кабинета, что Байкал питается реками, текущими с



восточного берега «моря», что именно оно, общее для двух регионов, позволяет вырабатывать дешёвую электроэнергию. Или ещё проблема, из многих других: авиакомпании страны сократили рейсы из столицы республики во все крупные города, даже в Москву. Ими руководит только прибыль. А интересы людей?

Судя по настроению руководителя республики, ему казалось, что прославленный писатель может всё...

Видимо, предупреждённые сотрудниками президента, кяхтинцы уже ждали Распутина. У здания районной администрации машину встречали несколько человек. Знакомство было дружеским, но какая-то потерянная отпечатавалась на всех лицах. В Кяхте тогда, как и по всей стране, месяцами задерживали зарплаты и пенсии, большинству жителей негде было приложить руки, пришло в упадок всё городское хозяйство. О безысходности и придавленности новых и старых знакомцев писатель сказал в первых же строках своего дополнения к прежнему, десятилетней давности, тексту:

«Что значит десятилетие для богатой и красочной истории Кяхты — только один шаг... Но этот шаг, внешне малозаметный, если смотреть на Кяхту со стороны, изнутри оказался окончательным вдвижением в какой-то глухой тупик, в неподвижность, при котором организм дышит, надеется, ищет деятельности и — не находит, изъятый из обращения, точно вещь...

Сравнивать приходилось двойным сравнением — с тем, что, по описаниям, было раньше, лет сто назад, и с тем, что застали мы в первый приезд. Уже тогда не нашли мы слободы с её знаменитой улицей миллионеров в 35-40 усадеб, посредине которой проходил бульвар, упирающийся в общественный сад. К саду примыкала площадь, а на ней царствовал построенный итальянцами с невиданной роскошью Воскресенский собор. За собором начинался обширный

Гостиный двор, куда свозился чай и производилась его переработка и расфасовка.

Воскресенский собор в середине восьмидесятых находился в лесах реставрации, которыми он был окружён к тому времени лет пятнадцать. Они простояли ещё лет пять и сгнили, а собор, наполовину отремонтированный, приготавливаемый для создания в нём музея географических открытий в Центральной Азии, во второй раз после революции постигло ещё большее разрушение и надругательство. Граждане обнищавшей „свободной“ России после 1991 года, как и граждане „свободной“ Монголии, кинулись в торговлю, и по обе стороны контрольно-пропускного пункта на границе рядом с собором выстроились километровые очереди „челноков“. Они простаивали в ожидании досмотра долгими часами и ночами на ветру и морозе. Чтобы развести костры и согреться, „коммерсанты“ обдирали в соборе всё, что могло гореть, а в его стенах устроили общественный туалет. К нашему последнему приезду горы нечистот из храма были выгребены, ко входу приставлен сторож, разъясняющий назначение собора, один из приделов в нём отгорожен деревянной стеной, отмыт, обогрет печкой — и наконец-то впервые за многие десятилетия среди разрухи и брошенности зазвучало в нём слово Божье...»

В другой храм, Троицкий, мы зашли со стороны... танцплощадки. Кто-то из городских чиновников, равнодушный не только к вере, но и к «родному пепелищу», и к людским чувствам, потворствовал богохульству и святотатству: надо же было разрешить такое соседство, позволить молодым охальникам осквернять намоленное когда-то место! Распутин сказал об этом подробнее:

«Этот собор — старый и большой, имевший пять приделов, и самый разрушенный на сегодняшний день, являющийся, как кости, одни могучие обгоревшие стены.

Десять лет назад к нему ещё крепилась доска с надписью „Охраняется государством“. Теперь ни доски, ни охраны нет. Святое место, ему принадлежащее, занято и испоганено: с одного боку к собору прилепилась в бывшей просфирной денно и ночью торгующая водкой „коммерция“, с другого — „коммерция“ из игорных автоматов, с третьей — танцплощадка с дьявольской музыкой, после которой молодые балбесы, взяв „наркоты“, разводят жертвенные костры в стенах храма».

И только третий собор — Успенский — ещё в первый свой приезд писатель застал отреставрированным и явившим свою горделивую красоту.

«...кяхтинцам есть где молить Господа о милости и надежде, — написал Валентин Григорьевич. — Кладбище подле собора, где в первый раз мы застали на месте захоронения стадион, стало собственностью церкви, и мяч по костям предков уже, слава Богу, не гоняют. Могильные плиты на законные их места полностью не вернуть, но часть погоста сохранилась и жмётся, жмётся к стенам собора, не веря в спасение...»

Долгие часы провели мы в самом богатом в Сибири местном краеведческом музее, хранящем уникальные документы и вещи декабристов, путешественников в глубины Азии, картины из Европы и Центральной России — реликвии, не имеющие цены.

И как упомянул писатель, «мы ходили по Кяхте днями, расспрашивая, сравнивая и раздумывая... поднимались на невысокие горы, одну и другую, вставшие по бокам города, и всматривались в рисунок улиц с таким вниманием, будто в нём могло явиться хоть тенью какое-то скрытое очертание...». Стояли у каждого старинного каменного и деревянного здания — гимназии, открытой раньше, чем во многих крупных городах Сибири, детского приюта, содержавшегося когда-то местным купечеством, «городского

присутствия», давних полицейских и пожарных служб. Выделялось среди них особенное здание, которому Распутин посвятил больше, чем другим, строк:

«Один из уцелевших домов принадлежал Алексею Михайловичу Лушникову, самому именитому кяхтинцу конца XIX века, меценату, покровителю и попечителю учебных и культурных заведений, главе „торгующего кяхтинского купечества“, чрезвычайно образованному человеку, о котором сохранились и печатные воспоминания, и предания. Это был внешне удачливый и внутренне удачный тип русского человека, который до всего, до знаний и почестей доходит сам и который, в отличие от европейца, оставшегося бы счастливым, всю жизнь мучается от неудовлетворённости и взыскательности своей души, платя бесконечную дань за богатство.

Лушниковский дом редко оставался без гостей. Здесь подолгу жила декабристы, отбывавшие ссылку неподалёку в Селенгинске, здесь неизменно останавливались во время экспедиций все исследователи Азии. Здесь Джордж Кеннан, проехавший всю Сибирь, удивлялся вольным, едва не революционным речам хозяина, оглядываясь на окружающую того роскошь. В этих стенах родился Д. И. Прянишников, знаменитый учёный-агрохимик. Ядринцев и Потанин, Обручев и Козлов, Легра и писатель Максимов — многих и многих принимали, угощали, слушали и поздравляли в просторной гостиной на втором этаже этого дома.

Мы подходим к нему и долго стоим молча. Запустение, заброшенность, какой-то мученический вид дома, в котором ещё остаются люди, подбирающие его остатки, подавляют. Так было в первый наш приезд, так было и во второй — с тою, разумеется, поправкой, на которую сместилось небрежение за десятилетие. Первый этаж, как обычно строились богачи, каменный, с

небольшими скромными окнами, второй — деревянный, высокий и светлый, глядящий вокруг далеко и открыто. Теперь он никуда не смотрит или смотрит только в себя, в свою обречённость. Ещё тогда, одиннадцать лет назад, с верхнего этажа были выселены люди, чтобы, выселив затем оставшиеся семьи и из нижнего, устроить в лушниковском доме музей знаменитых кяхтинцев. Теперь об этих планах уже и не говорят. Верхний этаж пуст, с него годами свисают какие-то лохмотья, в нижнем продолжают жить всё те же семьи. Они уже не удивляются, а только ещё больше затаиваются внутри, когда, подобно нам, заходят во двор чудаки, ищущие воспоминаний».

И как всюду при взгляде на нынешнюю жизнь, почти не изменившуюся с девяностых годов, писателем владели разноречивые чувства: восхищение тем, что оставили нам умные и вдохновенные соотечественники из прошлого, и осуждение того, что творим в родных краях мы, не сохраняющие свято переданных нам сокровищ, и надежда, что наследники наши окажутся памятливей, чище душой и деятельней в сотворении добра и красоты.

Какие же прощальные слова оставил Распутин Кяхте, какие обретения и потери яснее увидят они его глазами?

«Всё вместе — и возвращение к вере предков, и нравственная дикость в условиях вседозволенности, и скромное достоинство, берегущее имя и честь города, и грубое демонстративное беспамятство, и из последних сил скрывающая себя бедность, и отчётливо проступающая на лицах безысходность. Но такова сейчас не одна Кяхта — такова вся Россия...

Такой теперь и запомнится мне надолго Кяхта.

Она всё ещё звучит сильнее, прочнее, чем стоит. Но, может быть, звук этот, не потерявший славы и привлекательности, даже магнетического притяжения,

и поможет городу выстоять и окрепнуть, невзирая на холодное сердце истории».

## Дорога из века в век

Впечатляющим повествованием в книге о Сибири стал очерк Распутина «Транссиб», рассказывающий о строительстве великого стального пути от Центральной России до Тихого океана. Необходимость такого пути назревала несколько десятилетий во второй половине XIX века. Эту насущную необходимость осознавали все государственные мужи страны от губернаторов восточных краёв до императоров. Александр III наложил на одном из докладов такую «покаянную» резолюцию: «Уже сколько отчётов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора».

Великая держава, простиравшаяся от польских земель до японских островов, как бескрылая птица, замерла, не в состоянии проявить свою могучую небесную силу. Распутин приводит суждение философа Ивана Ильина, ярко показывающее тогдашний вызов истории, предъявляемый России:

«Первое наше бремя есть бремя земли — необъятного, непокорного, разбегающегося пространства: шестая часть суши в едином великом куске; три с половиною Китая; сорок четыре германских империи. Не мы „взяли“ это пространство — равнинное, открытое, беззащитное: оно само навязалось нам, оно заставило нас овладеть им, из века в век насылая на нас вторгающиеся отовсюду орды кочевников и армии оседлых соседей. Россия имела только два пути: или стереться и не быть, или замирить свои необозримые окраины оружием и государственною властью... Россия

подъяла это бремя и понесла его; и осуществила единственное в мире явление».

Но легко сказать: «замирить сибирские окраины оружием и государственной властью». А как обеспечить Сибири экономическое развитие, «приблизить» её к России при полном бездорожье? Ответ один: только проложив через тысячевёрстные пространства стальные пути.

«8 июня 1887 года, — воспроизводит Распутин хронологию сооружения дороги, — по распоряжению императора состоялось совещание министров и управляющих высшими государственными ведомствами, на котором окончательно было решено: строить. Уже через три месяца начались изыскательские работы по трассе от Оби до Приамурья...

17 марта 1891 года последовал, как тогда выражались, с высоты престола рескрипт на имя наследного цесаревича Николая Александровича, прибывающего во Владивосток после морского путешествия по восточным странам. В рескрипте торжественно провозглашалось:

„Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей <целью> соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлению вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешённого к сооружению, за счёт казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути“.

19 марта цесаревич Николай Александрович отвёз первую тачку земли на полотно будущей дороги и



заложил первый камень в здание Владивостокского железнодорожного вокзала».

А как восприняли необычайный проект России за рубежом?

«Известие о начале строительства сквозной железной магистрали через Сибирь громогласно прозвучало по всему миру. Наше внутреннее дело вести по своей территории дорогу затрагивало интересы многих держав. Никто не желал усиления России; втуне лежащая земля, пустынная и непроходимая, недоступность природных богатств, связанная по рукам и ногам инициатива сибирского общества как нельзя более устраивали всех, кто торопливо заканчивал разделение мира на сферы влияния и не хотел лишнего соперничества. Интересы Англии, как морской державы и одной из победительниц в Севастопольской кампании, страдали оттого, что неостановимым делалось продвижение России к Мировому океану, и результаты Крымской войны уже не в состоянии были этому помешать. Япония считала Японское море, а также Корею и Китай сферой своих интересов, и вплотную приблизившаяся к ним Россия вызывала у островной страны крайнее раздражение. Подле Китая „паслись“, кроме того, пользуясь его слабостью, и Германия, и Франция, и Америка. В Америке, где от океана к океану проложены были к этому времени уже четыре железнодорожных магистрали, с восхищением отзывались о „фантастическом“, как повторялось там, проекте Транссиба, американцы, как народ предприимчивый и авантюрный, не могли сдержать восторга перед грандиозной задачей, однако политиков США не могла не тревожить Россия, в которой кровь начинает пульсировать по всему её богатырскому телу. Японская война, а затем и послереволюционные события (после 1917 года) подтвердили эту общую

нелюбовь к России и желание поживиться её лакомыми кусками на севере и востоке».

Но хищные аппетиты держав, привыкших властвовать в мире, только укрепляли желание России осуществить свой проект. В 1893 году был учреждён Комитет Сибирской дороги: огромная стройка требовала единой твёрдой воли, быстрых и чётких решений. Председателем Комитета стал наследник трона, а среди членов этого «штаба» выделялся горячей приверженностью к великому замыслу и большой энергией в его осуществлении министр финансов Сергей Витте.

Писатель приводит ключевое, показательное во всех смыслах решение Комитета:

*«...довести до конца начавшуюся постройку Сибирского рельсового пути дешево, а главное скоро и прочно; строить и хорошо, и прочно, с тем, чтобы впоследствии дополнять, а не перестраивать; чтобы Сибирская железная дорога, это великое народное дело, была осуществлена русскими людьми и из русских материалов»* (выделено мной. — А. Р.).

И вновь, как в прежних главах своей книги, Распутин, основываясь на документах и свидетельствах участников проектирования и строительства Транссиба, ярко и наглядно показывает народный подвиг при освоении Сибири. Уверен, если бы писатель родился и вырос в местах, по которым пролегли рельсы великого пути, он бы воспроизвёл в своём рассказе многое из того, что сохранилось в памяти земляков о народной стройке. Позволю себе привести здесь страничку из истории своей семьи. Мой дед по отцу, Алексей Савватеевич (родившийся в 1880 году, а умерший в 1960-х), был участником Первой мировой войны и часто рассказывал мне, тогда уже журналисту «со стажем», не только об этой бойне, но и о том, как молодым парнем участвовал в строительстве магистрали. Она

проходила недалеко от нашей деревни, лежащей на восточном берегу Байкала.

Волостное начальство обязало каждый крестьянский двор привезти на своих лошадях к намеченной железнодорожной насыпи столько-то подвод щебня от реки Селенги и заготовить в тайге столько-то возов лиственницы для шпал. Это была невиданная прежде тяговая повинность. По моим землякам, никогда не слышавшим в своей глухомани ни паровозного гудка, ни звона рельсов, она казалась и необременительной, и радостной. Подумать только: скоро на своём полустанке можно будет сесть в вагон и поехать в любой конец империи! И как же такое чудо не сотворить собственными руками?

Неудивительно, что Валентин Григорьевич связал эту эпопею с другими народными подвигами:

«Надо сказать, что и в прежние времена, как только Россия принималась вынашивать великое дело, зачатое её насущными потребностями, тут же, точно по волшебству, в необходимом количестве являлись яркие и сильные проводники и подвижники этого дела. Вспомним даже и издавна: когда в XIV–XV веках после татарского ига понадобилось заново собирать воедино русские земли и русские души — ученики Сергия Радонежского и ученики его учеников поставили по окраинам Руси сотни монастырей, бескровно и учительно творивших объединительную работу, в том числе за Волгой.

Когда потребовалось открывать Сибирь — сотни, тысячи, десятки тысяч казаков, словно бы прошедших, подобно космонавтам, специальную закалку и выказавших способность к сверхперегрузкам и отчаянному порыву, за полвека, влекомые неудержимой тягой, дошли до Охотского моря.

Когда Петру Великому в его имперском строительстве понадобились соратники столь же

могучего духа и силы, как он сам, — „птенцы гнезда Петрова“ слетелись за считанные годы.

В канун Великой Отечественной, когда армия оказалась обезглавленной, а война надвигалась неудержимой лавой — от сохи и станка явились крестьянские дети и превзошли в ратном деле вымуштрованный веками кастовый генералитет противника.

Так и с Транссибом... Всё перемогла она с народом, с тем самым народом, который, как судьбу свою, как памятник своему мужеству и терпению, как „вечный двигатель“, пронёс её на руках через всю начертанную ей для службы земную обитель и бережно уложил: работай, матушка!

С той поры и работает. Дала от себя многочисленные побеги к северу и югу, окрепла и возмужала, налилась соками, похорошела, раскинула объятия свои на весь мах сибирских далей. Вместе с народом воевала и вместе строила, выстояла в смуту 90-х годов минувшего столетия, не потеряв достоинства и не отдавшись в чужие руки, нигде и ни в чём не нарушив присягу Отечеству...

Хорошо, „путём“, смастерили дорогу, верное ей дали направление и воспитание».

\* \* \*

После всего, что сказано писателем о Сибири, её прошлом, настоящем и будущем, так естественно звучат заключительные строки книги:

«Сибирь стояла крепостью, в которой можно укрыться; кладовой, которую при нужде можно отомкнуть; силой, которую можно призвать; твердью, способной выдержать любой удар; славой, которой предстоит прогреметь».

Читатель может подтвердить собственным знанием каждое слово автора. «Сибирь стояла крепостью, в которой можно укрыться...» Даже мы, поколение Распутина, запомнили, как в годы войны привезли в наши сёла семьи из захваченных фрицами Донецка и Гомеля, Смоленска и Белгорода. За Уралом и в самом деле укрылись тогда многие тысячи обездоленных людей. Сибирь была для страны «кладовой, которую при нужде можно отомкнуть...». Да, эту кладовую открыли ещё при Российской империи, а уж в конце XX века её нефть и лес, алмазы и золото вычерпывали и выгребали не только вмиг обнищавшее государство для куцых зарплат и пенсий гражданам, но и приспешники власти, безнаказанно и хищно захватившие богатства страны. Сибирь оставалась «силой, которую можно призвать, и твердью, способной выдержать любой удар...». В ту же Отечественную войну она доказала это под Москвой, на Волге, на Курской дуге — всюду, где не последнюю роль в победе над врагом сыграли сибирские дивизии. Наконец, Сибирь и в будущем может обладать «славой, которой предстоит прогреметь», потому что магическая привлекательность, щедрость, отзывчивость на людскую заботу остаются с ней.

Но мы-то, мы-то, дети России, как относимся к ней? Не только для того, чтобы в подробностях вспомнить историю Сибири, выразить своё восхищение и благодарность ей, писал Валентин Распутин свою книгу. Он изливал свою тревогу, он взывал к нам:

«Сегодня пришла пора спасать Сибирь. Огромная и надорванная, величественная и бессильная, многоязыкая и разрозненная, дно золотое и бедность, неуютность и разворошённость — она, теряющая надежду, быть может, глухо и затаённо ждёт или решительной помощи, или нашего последнего вздоха, чтобы начать всё сначала».

Собственно, потому и читаются очерки, подобные распутинским, как завет писателя свято беречь каждый громкий и негромкий край, что у коренной Руси любой город и любое село — старинные, стоившие землякам тяжких трудов, овеянные неповторимой славой. И мы обязаны передать их внукам и правнукам как бесценное земное богатство.

## Стойкость, завещанная землёй

Может быть, теперь, после разговора о книге, в которой автор представил подаренный ему Богом отчий край, стоит послушать его мнение: как же должен противостоять здесь русский человек лихолетью?

В 1993 году в верховьях Лены, коротая дождливую ночь у костра, Распутин думает вдали от людских страстей и бурь о соотечественнике, о зле, умертвляющем его душу. С привычной честностью и болью говорит он об этом в очерке «Вниз по Лене-реке»:

«Да, издержался, издержился, окунулся в срамной балаган человек — да ведь не всякий же! И пусть он, неподдававшийся, осмеян нынче, затравлен, загнан в молчание и одиночество среди торжища зла, но среди миллионов и миллионов „победителей“ тысячами и тысячами стоит непоколебимо он, ни за какие пряники не способный расстаться с совестью... „Не участвовать в сраме жизни“ — вот как должен сегодня звучать завет, оставляемый лучшим. Всего-то! — казалось бы: ведь если человек порядочен, ему не составит труда таковым и оставаться, несмотря на окружающую его непорядочность. Однако это „всего-то!“ — почти всё, когда даже государственное устройство вынуждено отступить за спасением в него же, гонимого за остатки своих добродетелей: выстоит он — останется надежда, что сохранит отцовские добродетели и государство. Это „всего-то!“ — в сущности неустанное изнурение, требующее всего себя и даже больше, чем себя. Если замутнена вода, отравлены воздух и пища, а в доме хозяйничает недрёмное око дьявола под названием „голубой экран“, где взять подкрепление силам, из чего сотворить живительную чистоту? А брать надо. И если, воспитывая детей в подобающих правилах, начинаешь

замечать с отчаянием: гнутся... „Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи“, — устами святости говорит истина, а между тем не ты опираешься на эту истину, а она ищет в тебе опоры.

Но и это не всё. Не подозревая о том (немногие знают и тем больше тебя ненавидят, что от тебя зависят), всё сонмище срамников, хулителей и обольстителей, составляющих „передовое общество“, потому и может, безумствуя, не знать меры, что мера добра и зла сохранена в тебе. Без тебя и твоей правды, которая есть твоё понимание правды высшей, ось жизни переломилась бы, и тогда уж никому не спастись — ни первым, ни последним.

Но это, к счастью, невозможно. Если бы дошло до самого крайнего и все прельстились, и ты в том числе, то и тогда правда не покинула бы землю, схоронившись где-нибудь в этих лесах и мхах, пока не народился новый человек и какой-нибудь новый отрок Варфоломей не пришёл сюда за нею».

И вновь и вновь встаёт перед глазами картина: трое таёжных путешественников, любящих заповедную Сибирь не напоказ, а затаённо, «растительно», как любит её всё живое в ней, пробираются на надувной лодке от прибайкальских истоков реки Лены к её могучему полноводью. И ночью у костра, отлучённый ото сна, писатель исповедует перед собой:

«Далеко-далеко осталась сумасшедшая „цивилизованная“ жизнь. Всего-то лишь вчера к ней принадлежали и мы. Жизнь, в которой всё перевернулось, распалось, пошло колесом, всё столкнулось и возропало, пришло в противоречие, объялось недоверием, злостью и нетерпением. Будто и не было в недавней истории такой же пагубы на народ, когда взяли верх дерзкие и хищные умы и повели за собой — и вот снова с каким-то безумным восторгом по тому же гибельному пути, а страшный урок напрочь



забыт. Это приводит в отчаяние и смятение больше всего: заплатили пребольшими тысячами жизней, разрухой, богоборчеством, невиданным насилием над духом, неслыханным чужебесием — и всего-то внуки попустивших попускают в тот же капкан. Здравому уму непостижимо. И тысячелетней истории тоже будто не было, и не отсеивалось в событиях и буднях доброе от дурного и чистое от лукавого, не разводилось каждое решительно в свою сторону до ликобразия и полной узнаваемости, где что есть, — так легко оказалось перемешать одно с другим, заблудить сердца и повести на нравственный престол бесстыдство! Заветы, обычаи, обряды, традиции, хозяйственный уклад, на тысячу раз сверенные с собственной душой и под неё подведённые; песни и сказания, высекавшие сладкие слёзы любви ко всему родному и друг к другу; слава святости и воинская слава, наконец, недавно вновь обретённые храмы с намоленностью древних стен — где всё это, каким ветром унесло, если за всякой справой по-холопыи бросаемся к чужому дяде! За столетия не сумели врасти в свою землю и укрепить свои умы, чтобы устоять против повального растления и последнего одурачивания, — что, в самом деле, за народ мы?! Или уж не народ, а отрод, не продукт предыдущих поколений, а отчленившееся самонадеянно уродливое подобие».

Над этим откровением надо размышлять не на уличной трибуне — в митинговых речах, не за шумным столом — в горячих, пусть даже дружественных, перепалках, а в одиночестве, в глубоком покое, с ясной и трезвой головой. И каждому из нас, каждому.

**Глава пятнадцатая**  
**«ГОРИТ ВСЯ РОДИНА МОЯ...»**

## Откуда они, «архаровцы»?

В 1985 году новый генсек М. Горбачёв объявил в стране так называемую «перестройку». К этому времени чехарда в высшем руководстве правящей партии, ухудшение дел в экономике, дефицит товаров и пустые полки в магазинах вызывали всеобщее недовольство народа. Язвы в духовной жизни стали тоже очевидными. Честные писатели не могли не говорить о них. Появились роман Чингиза Айтматова «Плаха», повесть Виктора Астафьева «Печальный детектив», повесть Валентина Распутина «Пожар».

Произведение иркутянина своим метафорическим названием особенно точно выражало беду, накрывшую страну: разрушительное пламя уничтожало не только богатства нашего общего дома, но и всё ценное в людских душах. В повести был наглядно очерчен тип человека, для которого нет ничего святого, — «архаровца». Шныряющие по стране в бригадах «оргнабора», жестокие и хищные, «архаровцы» определяли «погоду» везде, где появлялись, утверждая воровские законы и ублюдочную мораль. И глядя на них, жители городков и посёлков, вроде бы укоренённые в отчих местах, работающие и вчера ещё имевшие совесть, усваивали новые правила, преображались: если можно преступать Божьи и людские законы тем, пришлым, то почему нельзя нам?

...В таёжной Сосновке загорелись склады, принадлежащие отделу рабочего снабжения местного леспромхоза. Пламя вспыхнуло, можно догадаться, не без рук «архаровцев». Тушить пожар сбежался весь посёлок. Это дало возможность повествователю показать людей самых разных характеров, взглянуть в души отважные и трусливые, энергичные и вялые,

бескорыстные и хищные. И может быть, самое главное: убедиться в том, что жадность, бесчестье, подлость уже набрали в людях силу, а совесть, долг, доброта — на исходе, убывают с каждым поколением.

В центре повести Иван Петрович Егоров, шофёр большегрузного лесовоза, фронтвик, никогда не бравший чужого, не живший на халяву, прикипевший к отчим местам. Придя усталым со смены, он тем не менее первым бросается тушить пожар. И само это испытание лишний раз подтвердило его тяжкие раздумья: разор-то уже давно охватил его Родину! И не находит Иван Петрович ни оправдания, ни конца этому разору:

«Поля и луга, которыми когда-то жил народ, со строительством гидроэлектростанции затопили — и остались леса...

А лес выбрали — до нового десятилетия и десятилетия лет. Выбирают же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй. Оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета, на лесовозах и тракторах туда, где он ещё остался. А там начинай всё сызнова. Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Берёзовки, Иван Петрович всякий раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в её сторону, на заколоченные и оставленные избы: стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушёл — и ни одной живой души в покинутом посёлке, лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в домах костры.

Та же судьба ждала и их. Её, как могли, оттягивали, но не бесконечно же...»

Открывает Иван Петрович на пожаре и тайну дефицита. Точнее, не открывает, а лишний раз убеждается в том, что знал: партийные бонзы, именитые чиновники и хозяйственники держали под

рукой всё, что душа пожелает. А чтобы такое изобилие было для всех — это ж надо уметь страной управлять! Легче припрятать и пользоваться, как крысам:

«На полу немалой горой были навалены пельмени, рядом, и тоже на грязном полу, в грубых верёвочных опоясках валялись толстые, уродливо раздутые колбасные круги, уже размётанные ворвавшимися людьми; в тяжёлых кубах на невысоком помосте у задней стены плавилось, морща и втягивая в себя обёрточную бумагу, масло, там же в нагромождённых друг на друга ящиках выглядывала красная рыба. Что-то было в деревянных бочках, что-то в картонных коробках, что-то в бумажных мешках. Было, значит, всё-таки было! — и куда всё это уходило? Неужели только в котлопункты на лесосеках? Расскажите кому-нибудь другому — будто не едал он на этих котлопунктах, не знает, что там водится и что видится лишь во сне! И усмехнулся Иван Петрович или подтолкнул себя обожжённой мыслью, что надо в этом месте усмехнуться над своим неразумием: а машины из райцентра, оттуда, отсюда, каждый Божий день подворачивающие к ОРСу... Зря, что ли, хлопчут об общих, централизованных складах для всех трёх леспромхозов, которые должны находиться, конечно, в райцентре!..

Сколько же на свете неробей и причиндалов! И как получилось, что сдались мы на их милость, как получилось?!»

А ведь крысы крупные, отъевшиеся и остающиеся, правда в тени, и крысы мелкие, шкодливые и жадные, названные «архаровцами», — одного роду-племени. Лица этих последних повествователь обрисовал рельефно.

«И точно — со скрежетом загремели выдираемые засовы... Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок топором.

Архаровцы действовали быстро и ловко — будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры. Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым (Девятый — фамилия, а не прозвище, у архаровцев, у которых всё вверх ногами, и людские фамилии через одну), и Сашка, весёлый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвёртом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему, и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо:

— Не сюда. Не сюда, гражданин законник. Сгоришь — кто нам будет права качать?!

Они, познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал её, звали его гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чём ещё недавно нельзя было и помыслить...»

В другом месте горящего склада «стоял человек и, как гранаты, метал через забор бутылки». К нему подскочил один из леспромхозовских начальников, тот замахнулся бутылкой. Иван Петрович перехватил её. «Это был один из архаровцев, один из самых отпетых, которого звали почему-то бабьим именем Соня и с которым Иван Петрович уже схватывался. Соня выдернул из рук Ивана Петровича бутылку, откинул её в сторону и принятым среди этого брата иноречием нараспев пригрозил, показывая через головы:

— Ох, как жарко гори-ит! Ох, горячо-о! Ох, больно-о! И вразвалочку зашагал туда, где горело».

## Неужели мы — лёгкие, балаганные люди?

И есть ещё люди безвредные, но и лёгкие, как тени, на которые нельзя опереться, какие-то балаганные. Эти «уезжают, и оставшиеся вспоминают о них лишь по чудачествам и выкидонам, на которые они мастаки, вроде тех, что один артист зубами поднимал любой стол с закуской, другой делал на водке тюрю и не морщась выхлёбывал её ложкой, третий, пугая работающих на почте девчонок, любил отправлять телеграммы, похожие на шифровки: „Третий день дождь, что делать?“ — или: „За ноябрём декабрь, не перепутай“, — или: „Не жди меня, но я вернусь“. Старая Егоровка за все триста лет допотопного существования не изведала и тысячной доли тех чудес и кудес, какие приняла Сосновка за двадцать. И, судя по всему, они не к концу идут».

И есть немало людей, теряющих себя.

«Обозначился в последние годы особый сорт людей, не совсем бросовых, не потерянных окончательно, которые в своих бесконечных перемещениях не за деньгами гоняются и выпадающие им деньги тут же с лёгкостью спускают, а гонимы словно бы сектантским отвержением и безразличием ко всякому делу. Такой ни себе помощи не принимает, но и другому её не подаст, процедуру жизни он исполняет в укороте, не имея ни семьи, ни друзей, ни привязанностей, и с тягостью, точно бы отбывая жизнь как наказание. Про такого раньше говорили: ушибленный мешком из-за угла, теперь можно сказать, что он всебятился, принял одиночество как присягу. И что в этих душах делается, кому принадлежат эти души — не распознать».

Как заноза, жалила Ивана Петровича, выросшего и жившего до затопления ангарских берегов в деревне Егоровка, мысль: что же с нами произошло?

«...не было же этого поначалу, уже и в новом посёлке не было, чтоб люди так разошлись всяк по себе, так отвернулись и отбились от общего и слаженного существования, которое крепилось не вчера придуманными привычками и законами. А вспомнить, не ими ли, не этими ли законами, не этой ли грудью единой спасались и спасались в старой деревне в войну и в лихие послевоенные годы, когда за десять колосков, не размениваясь и не мелочась, по десять же лет и приговаривали? Когда едва справлялись с налогами, когда у „нерадивых“ обрезали огороды, чтоб обрезанное зарастало крапивой, и не позволяли до белых мух покосить на свою коровёнку? Когда надо было не только держаться вместе, но вместе и исхитриться, чтоб выстоять? А ведь в деревне тоже всякие люди водились, и кой у кого зудело, поди, донести да навести, соблюсти законность и сослужить верную, запрашиваемую службу. Не без того, чтоб не зудело. Но знал он: в деревне после этого не живать, Егоровка ему этого не простит».

Может быть, все повести прозаика объединяют одна боль, одна тревога, одно предчувствие: человечество теряет под собой почву, оно теряет не только землю, на которой обитало, но и нравственные правила, которые ему удалось выработать за тысячелетия. «Унесённые ветром» — не о нас ли это сказано на другом конце земли? Писатель вглядывается в жизнь одного посёлка, маленькой округи на большой планете, но беда, подступающая к ним, оказывается всеобщей. Во всяком случае, на родной Руси — всеобщей:

«...взамен уехавших и унесённых принялись селиться люди лёгкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну



дорогу — в магазин, и чтоб поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать. Сначала от работы до работы, а затем и работу прихватывая, заслоня её магазином, и чем дальше, тем больше, тем слаще и неудержимей. Работа этого, понятно, не любит — и нелады с ней, с работой, и уж общины другого толка, которых раньше не было и в помине. Водились, конечно, пьянчуги, где они на святой Руси не водились, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нём в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть, такого нет, не бывало. Это уж наши собственные достижения».

Опять, как в повести «Прощание с Матёрой», а может, ещё сильнее, жжёт автора и читателя мысль о том, что мы не исполняем святой завет ушедших из жизни. Они нам оставили нравственные законы и духовные традиции, а мы заменили их низкими страстями и дурными привычками. Для наших соотечественников этот грех многократно возрастает ещё и потому, что спрос за подмену нам предъявляют погибшие на фронтах: таких ли наследников видели они, умирая?

Когда в посёлке подсчитали, сколько земляков взяла война и сколько сгнуло не своей смертью после неё, числа оказались почти равные. «Не своей смертью» — причина расшифровывалась так: «пьяная стрельба, поножовщина, утонувшие и замёрзшие, задавленные на лесосеках по своему ли, по чужому ли недогляду». Иван Петрович, как сказано в повести, был оглушён.

«Несколько дней он ходил сам не свой, пытаюсь что-то понять и понимая только, что невозможно понять, ничего невозможно понять из того, что он пытается извлечь из этого страшного равенства. Тут что ещё: погибший на фронте взывал к справедливости и добру, оставляя их вместе с душой и воспоминаниями, живущими среди родных, и оставлял для движения и

исполнения; сами того не подозревая, мы, быть может, лет двадцать после войны держались этим наследством погибших, их единым заветом, который мы по человечьей своей природе не могли не исполнять. Это выше нас и нас сильнее. Потратившийся же вот так, ни за понюх табаку, по дурости и слепому отчаянию — дурость, распущенность и отчаяние после себя и оставляет. Смерть — учитель властный, и чью сторону, доброго или худого, она при своём исполнении берёт, той стороны прибавляется впятеро».

## «Свет переворачивается не сразу...»

Не о себе ли писатель сказал, не от нашего ли имени признался:

«...свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как у нас: было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя — стало можно, считалось за позор, за смертный грех — почитается за ловкость и доблесть. И до каких же пор мы будем сдавать то, на чём вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придёт желанная подмога?»

Читая такие слова, клеймящие и власть, и, наверное, каждого из нас, думаешь: почему раздумья писателя, потаённые признания его героев — старой Дарьи, Ивана Петровича, крамольные для идеологии, всё-таки проходили цензуру? Думаю, потому, что житейская правда, высказанная автором или его героями в связи с будничными событиями, совпадала с «общей», «большой» правдой. Частные наблюдения точно вписывались в повседневную жизнь народа, страны. Кажется, это имел в виду поэт и публицист Станислав Куняев, который написал: «...когда ты владеешь всей полнотой жизненной картины, всякого рода неприемлемые для идеологии и цензуры мысли, чувства и строки становятся естественными и необходимыми, а не утрированными деталями твоего поэтического мира (цензоры и редакторы ужасались лишь в тех случаях, когда подобные строки торчали, как шило в мешке)».

Распутин сам не однажды объяснялся, почему не мог стоять в стороне, когда на кон ставились не просто коренные интересы народа, но и сама судьба России. И всё же послушаем человека со стороны, близкого по духу, но, кажется, не схожего по общественному

темпераменту. Валентин Курбатов писал в ноябре 1987 года Виктору Астафьеву:

«А я вот посидел в Култукe на Байкале и думаю, что и нам парижанам есть чем нос утереть... Вале Распутину бы туда, а он мается в неврологии. И хоть палата отдельная, да столовая-то, да народ-то в коридоре — обычный нервный больной, от одного вида которого мир перекашивается и сердце темнеет. Хоть бы Вы уговорили. Я понимаю, что ему надо было быть в городе, пока шли митинги и кипела схватка вокруг трубы (по решению тогдашнего Министерства водного хозяйства страны предполагалось отвести вредные стоки Байкальского целлюлозного комбината в реку Иркут, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу в целом регионе. — *Прим. публикатора писем*), но теперь-то на время всё выправилось и можно пока успеть набраться сил, потому что скоро они опять понадобятся. И ведь не пишет ничего. Так можно и вовсе разучиться. Иногда мне уж кажется, что комбинат для того и завели, чтобы одним писателем в России меньше было, и желательно самым совестливым, иначе-то к нему не подберёшься. Глядишь, побьётся, побьётся, да и разучится писать, а только того и надо — они своими заткнут образовавшееся пространство. И то, что своих в такую брешь понадобится много, даже и лучше. Кого Аралом, кого Енисеем, кого поворотом рек изведут писателей, а умрёт эта духовная сила, им оставшиеся уже и не страшны будут, тем более они уж и сами скоро попадают без присмотра. Гляжу иногда на жёлтую нашу серию „Дороги к прекрасному“, где рассказывается о славе российской, о лучших землях наших, и сердце обливается кровью — сами того не ведая, мы печатаем приговор своей беспамятности. Ведь что на карточке-то: купола набок, всё осыпалось, выветрилось, измылось дождями, заросло бурьяном. И уже ничего не воскресить — душа умерла, а

отреставрируешь да под органнй зал, так это тоже всё равно что под картошку — духа в наших органнх залах не больше, чем в овощехранилищах.

Никак вот не знаю: благо ли то, что и Вы, и Валентин, и Василий Иванович (Белов. — *А. Р.*) целиком в общественных занятиях. Вроде да — если не вы, то кто же остановит этот сбесившийся поток лжи, безродной наглости и поругания родного дома. Но, с другой стороны, иногда кажется, что они почти с умыслом втравливают вас в эту экологическую, гидротехническую, сельскохозяйственную, плановую и иную борьбу, чтобы обескровить литературу, истощить слова переводом на чужой язык. Ведь мир-то строится, душа-то человеческая не статьями и не митингами (это революции ими делаются), а спокойным, мудрым, во все стороны освещённым словом. Нет, русская жизнь непременно, как только родится в ней могучий художник, постарается затолкать его в свои революционные помешательства, непременно на него перевалит все беды и в конце концов именно его заставит расхлёбывать своё варево. И пока он этим мается, пока болеет, а то и погибает, она уже варит другое.

Так вот иногда думаешь — не послать ли её, эту общественную борьбу. Не стараться ли сохранить свет и силу слова вопреки этому шабашу. Не знаю — как сохранить, но как хранили русские молитвенники в своих лесах и скитах, чтобы к ним шли потом за словом совета Дмитрии Донские, и позже — уже и сами Толстой и Достоевский к оптинским старцам, потому что там была сила выше иных сил.

Вы, конечно, скажете, что это уже будет не русская литература. Понимаю, но сердце болит, и злость томит от жестокости нашей русской, опять и опять обворовывающей себя и своих лучших детей...

Всё двухтысячным годом меряем, как будто дальше — дыра или светопреставление. Да и немудрено — когда жизнь рода, всей дали от предков к правнукам, рвётся, то надолго ли загадаешь?»

Постоянно поражаешься: как же отзывчива душа Распутина на главные потери и обретения нашей национальной жизни! Особенно на потери — сколько неутихающей боли вызывают у него очередные удары недругов. Неутомимо напоминает он нам, соотечественникам, о главных скрепах родного народа: о вере, патриотизме, земле, языке. И каждый раз мысль его продолжает воззрения на затронутый предмет мудрых предтеч, опирается на многовековой духовный опыт предков.

Можно было выписать немало строк из опубликованных выступлений Валентина Григорьевича на писательских съездах, Всемирных русских народных соборах, Всероссийских образовательных чтениях, юбилеях выдающихся деятелей русской культуры — не побоимся сказать, что в них всегда и страсть, и убеждённость, и глубина схожи с теми, что отличали Толстого и Достоевского, Шолохова и Леонова. Приведу только один пример — размышление о школьном образовании, разрушаемом в нынешней России. Как построены сегодня школьные программы по литературе?

«В них, — говорил писатель, выступая на XIV Рождественских образовательных чтениях, — напротив одного ряда <стоит> другой, несовместимый с первым и приготовленный для его замещения; напротив Пушкина свой Пушкин, к примеру, Бродский, напротив Есенина — Высоцкий, напротив Достоевского — к примеру, Сорокин, напротив Толстого с „Войной и миром“ свой Толстой — к примеру, Войнович с „Чонкиным“, напротив Белинского — Ерофеев... Я говорю „к примеру“, потому что имена второго ряда

могут меняться, но ни в коем случае не меняется сама его духовная составляющая. Фигуры эти из второго ряда, разумеется, могут быть в литературном процессе, и они там есть, но зачем же их включать в рацион материнского молока, ибо школьное образование и есть материнское молоко, продолжающее необходимое кормление с пелёнок, и если оно не отвечает этому назначению и этому составу, если оно превращено в молоко хищной волчицы — так чего же тогда и ждать?!

Рука вершителей образования поднимается уже и на „Евгения Онегина“, и на „Героя нашего времени“, и на „Тараса Бульбу“. Стандарты по литературе всё больше и больше теснят Пушкина, Тютчева, Фета, Некрасова, Блока, Есенина, выброшены „Конёк-Горбунок“ Ершова, „Аленький цветочек“ Аксакова, „Снегурочка“ А. К. Толстого, не стало Кольцова, прежних народных былин и сказок. Подмены, подмены, подмены...

Чтобы прикрыть и оправдать безграмотность, вводят тесты-угадайки; чтобы не обнаруживать хитроумных нарядов школьной экипировки, не способной прикрыть дыры, притащили из чужих краёв единый экзамен. А с родины этого изобретения, этого единого для выпускников школ и поступающих в университеты, всё чаще звучат крики о беде: тамошние Митрофанушки и после университетов не умеют писать и едва-едва читают по складам. Причину видят в отступлении от фундаментального образования в сторону прикладного, хотя она, конечно, глубже и кроется в самом обществе, но ведь и у нас это прикладное и непрофильное густым забором, через который трудно прорваться, огораживается теперь от основного. „Зачем ума искать и ездить так далёко?“ Нет ответа на эти классические вопросы, а есть задание и есть его исполнение. И ещё: „Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа“. Кто мог бы представить,

что слова эти, должны говорить о величии России, могут быть применены к её возвратному ходу, к пресмыкательству перед другими народами и государствами, которые прежде уважительно посторонивались и уступали ей дорогу!

Ещё Ушинский говорил о необходимости сделать русские школы русскими. Стало быть, и в его время в этом была потребность. Сделать русские школы русскими — не значит уткнуться в русское и ничего больше не признавать, мы шире своей колыбели, и об этом прекрасно сказал Достоевский в своей пушкинской речи. Но для того, чтобы принять в себя богатство мировой культуры и науки не для складирования только, а для питания и развития, материя души у русского человека должна быть русской и православной. Такими были в совершенстве своей личности Ломоносов, Менделеев и Вернадский, Пушкин и Тютчев, Толстой и Достоевский, Аксаковы и Киреевские. Русскими остались тысячи и тысячи ушедших на чужбину после Гражданской войны, удивляя просвещённые страны, такие как Франция и Германия, неповреждённостью и глубиной своих ярких талантов. „А за то, что нас Родина выгнала, — мы по свету её разнесли“ — да, разнесли и души, и песни, и особенности нашего быта, и уживчивость, и говор, и веру. Там, на чужбине, созданы были и „Жизнь Арсеньева“, и „Лето Господне“ с „Богомольем“, и многое другое, без чего нашу культуру и не представить».



## Нарасхват

В одной из бесед с журналистом Валентин Григорьевич сказал, что писатель, получивший хотя бы скромную известность, обязан послужить своим соотечественникам, стране. Всем, что в его силах. Но есть среди популярных людей, по крайней мере в России, знаменитости, которые, в силу своей открытости, доступности, всегда нарасхват. К ним принадлежал Распутин.

Восьмидесятые годы были особенно хлопотными для Валентина Григорьевича. Около десяти поездок за рубеж — в США и ФРГ, Болгарию и Югославию, Чехословакию и Венгрию, Китай и Монголию, выступления вместе с писательскими группами в Москве и Ленинграде, на Карельском полуострове и Алтае, посещение отечественных святынь — Бородинского и Куликова полей, Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Оптиной пустыни. А ещё полёты на самолётах и вертолётах, плавание на пароходах и катерах, опасные путешествия по горным и таёжным дорогам на автомобилях и подводах для того, чтобы увлекательно и достоверно написать книгу «Сибирь, Сибирь...».

О том, что слово «нарасхват» употреблено в точном значении, можно подтвердить, к примеру, письмом писателя кинорежиссёру Элему Климову<sup>[24]</sup>.

«Дорогой Элем!

По телефону вчера зачитали твою телеграмму, хотя я и без того собрался (да прособирался) написать тебе, чтобы объяснить, почему не еду в Западный Берлин<sup>[25]</sup>. Ехать я, как говорил тебе, хотел, и особенно с тобой и Алесем (Адамовичем. — А. Р.), да и вся делегация из тех, с кем хоть на край света. Но ещё до того, как я сдал

выездные документы, пришло приглашение в Германию на „круглый стол“ по экологии и тоже на март. Поездка эта не очень приятная, но необходимая мне, Элем, поскольку я сейчас почти только этим и занимаюсь. А на две поездки в один месяц меня не хватит. Пришлось выбирать и — что делать! — выбирать пришлось и не в вашу, и не в свою пользу. Сейчас уже мало что удаётся делать в свою пользу, времени на это не остаётся.

Чтобы поработать немного, уехал десять дней назад на Байкал, откуда сейчас и пишу. И как вспомню, что скоро возвращаться, — хоть в сендуху (тундру) беги.

Прости, пожалуйста, и пойми.

Привет Антону, Герману и Ефросинье Яновне.

С поклоном

В. Распутин».

Распутин никогда не говорил о своих непомерных тяготах и заботах. Он только печально сознавал, как мало писательское слово влияет на людей. И не только на Руси, но и за её рубежами. В 1985 году он с горечью сказал Валентину Курбатову:

«На съезде (писателей. — *А. Р*), наверно, не буду выступать. Чего уж выступать, воду-то в ступе толочь. Меня второй раз в областной совет выбирают. Я слушаю, как там мужики режут правду и все беды наружу выворачивают и за спины не прячутся, виновников пальцем показывают, а что меняется? Да ничего. И начальство привыкло — пускай пар повыпустят. Все наши упования на разум, на общее прозрение, на то, что мы будем моделью общего объединения, напрасны. Никакого всечеловечества не будет. В поездках это особенно видно — каждый народ (даже безродный американец) носится по земле, ищет корни, собирает предания, выделяясь из других и определяясь. Ну а коли так, то весь наш мировой коммунизм — чистая утопия. Все будут жить и умирать

в своих верах и границах — разве что пока не родится новая вера или всеобъединяющий Антихрист».

\* \* \*

10 апреля 1986 года в семье Сергея Распутина родилась дочка. Её назвали Тоней. Для Валентина Григорьевича и Светланы Ивановны это была первая долгожданная внучка. Позже, когда писателю дали в столице квартиру и каждый год для супругов стал делиться на зимнюю — московскую, и летнюю — иркутскую половины, оба нетерпеливо рвались в родной город, чтобы понынчиться с малышкой, погулять с ней на даче по цветущему лужку. Но вот что интересно: Тоня не любила фотографироваться, поэтому в семейных альбомах Распутиных непростительно мало её снимков. Как, впрочем, и детей Валентина Григорьевича и Светланы Ивановны.

Однако есть замечательные снимки уже знакомого нам иркутского фотохудожника Бориса Дмитриева, сделанные в разные годы в семье Распутиных. Этот мастер сопровождал писателя во многих поездках при подготовке книги «Сибирь, Сибирь...». Дмитриев иллюстрировал её альбомные издания снимками необычайной выразительности и красоты. В путешествиях со знаменитым земляком он фотографировал и самого прозаика. Например, вспоминая совместную поездку в Русское Устье, Борис Васильевич с гордостью говорил: «Там я сделал уникальный снимок — портрет Валентина Григорьевича на фоне единственной за полярным кругом часовни».

И есть особенные два снимка, которые можно назвать фотодилогией. Их разделяет немалый отрезок времени — пятнадцать лет. На первом из них мы видим Валентина Григорьевича с маленькой дочкой на

коленях, а на втором, повторяющем ту же композицию, — с внучкой. Дмитриев рассказывал, как осуществлялся второй замысел:

«...Валентин Григорьевич с внучкой Тоней... Тоже очень памятный для меня двойной портрет. Тонечка была маленькой вертушкой, спокойно на коленях деда сидеть не могла и не хотела. Я и так, и этак снимаю, но чувствую, что композиция будет негодной. И вдруг Тоня, устав, закрыла лицо руками и на мгновение замерла. Я щёлкнул и сразу понял, что это будет лучший за долгое последнее время кадр».

Но время для таких «фотосессий», говоря нынешним языком, выпадало редко.

**Глава шестнадцатая**  
**«СМЫСЛ ДАВНЕГО**  
**ПРОШЛОГО»**

## Тысячелетние скрепы

На родине писателя ещё с 1970-х годов издавалась ежемесячная газета «Литературный Иркутск». В конце восьмидесятых её редактором-составителем стала Валентина Сидоренко, прозаик и поэт. Её стремление регулярно печатать материалы на православные темы горячо поддержал Валентин Григорьевич. Вокруг газеты объединились многие православные публицисты, философы, историки, писатели. На её страницах были опубликованы сочинения выдающихся религиозных деятелей прошлого. Украшением газетных полос стали очерки Распутина. В короткое время он написал для ежемесячника замечательные эссе «Из глубин в глубины» (к 1000-летию Крещения Руси), «Смысл давнего прошлого. Религиозный раскол в России», «Ближний свет издалека» (о Сергии Радонежском), «Из огня да в полымя. Интеллигенция и патриотизм» и др. Их без преувеличения можно назвать классическими образцами публицистики.

Мы уже говорили о том, что герои многих распутинских произведений прошлых лет, несмотря на антирелигиозную идеологию, были людьми глубоко православными. Читатель не мог не заметить, что строй их души близок и дорог автору. Позже писатель объяснял:

«Русский человек оставался православным. Так скоро, в какие-то двадцать лет, душа народная в модные одежды не переодевается. Он весь был пронизан, несмотря на новые веяния, дыханием тысячелетней России, он сам был её дыханием, будучи частицей её тела».

А в другом очерке прозаик попытался найти в глубине русской истории причины верности предков

православию:

«От принятия христианства князем Владимиром и до нашествия Батыя прошло 250 лет, примерно столько же продолжалось татарское иго. Это совпадение двух разнородных сроков не случайно. Словно сам Господь на весах выверял, чему отдалась русская душа. На Поле Куликово под водительством двух вождей — князя Дмитрия и Преподобного Сергия Радонежского — впервые вышла объединённая Святая Русь, там, в ночи рабства, беспрестанно продолжалась тонкая душевная работа собирания русичей с помощью Иисусовой молитвы в единый народ. Русь возродилась ещё до победной битвы, на Поле Куликово она шла скреплённой в сыновьем и братском родстве — и как сыны Земли Русской, и как братья во Христе. И самоотверженное воодушевление Дмитриевой дружины было таково, что сколько бы ни запросила победа, столько и положили бы к её стопам».

Размышления Валентина Распутина о православии, его роли в истории России, в духовном формировании народа привлекали читателей несколькими особенностями. Во-первых, смелостью суждений. Следует учесть, что первый очерк «Из глубин в глубины» опубликован в газете «Литературный Иркутск» в конце 1988 года. Господствующая идеология ещё охраняла свои догмы («гласность» и «плюрализм» открывали шлюзы разве что для оплёвывания истории страны), по-прежнему отстаивала атеизм. И в этой атмосфере не служитель церкви, не религиозный публицист, а писатель убеждённо и открыто заявляет:

«1000-летие Крещения Руси — дата настолько великая и многозначная, и несёт она в себе так много всего, что относится не к одной лишь религии, что составляет историю, искусство, народное мировоззрение и чувство, народный характер и душу, уклад жизни, традиции, язык, наконец, мораль,

духовное звучание мира... Выбор, сделанный тысячу лет назад князем Владимиром Святославичем, имел для нашей Родины столь огромные последствия, что у нас сегодня нет возможности приблизиться к их полному осознанию. Это можно сравнить с тем, что, имея землю, Русь получила небо, а славянин, имея тело, получил душу».

Во-вторых, суждения писателя о православии так глубоки по мысли, что ставят его публикации на эту тему в один ряд с работами выдающихся русских философов начала XX века и воспринимаются как продолжение размышлений предшественников, как прозрения нашего современника.

«Владимиру ничего другого и не оставалось, как склонить голову перед православием, что предопределено было склонностью народного характера, степенью его отзывчивости на тот или иной призыв». Но почему для будущего народа нужна была именно эта вера? На этот вопрос писатель отвечает: «... чтобы освятить человека, привести его жизнь в соответствие с моральными законами, вдохнуть в него вечность, дать внутреннее зрение, показать на поле в его душе, которое требует возделывания с неменьшей старательностью, чем поле хлебное, и постоянно засеивать его любовью. Любовь — первое слово и дело православия, его знамя».

Эти размышления Распутина были близки, поучительны для всех нас, воспринимались как нравственный вывод из тех историй, которые он поведал в своих повестях и рассказах.

Может быть, впервые из уст писателя восьмидесятых годов прозвучали слова, которые страна не слышала в последние семьдесят лет. Идеологи заученно твердили: «От каждого по способности, каждому по потребности». Витийствовали о коммунизме



как вожделенном рае на земле. И вдруг в этом назойливом гуле раздаётся голос:

«Всякий, кто пытается напомнить о душе, о совести, о назначении человека, о смысле его жизни, вынужден сталкиваться с тем, что понятия эти из руководительной духовной династичности переведены в обслуживающий персонал и набиты чепухой. Если же начинаешь допытываться до старых их смыслов, говорить о вечности, о ценностях души, об единственно спасительных путях — неминуемо попадаешь в разряд ретроградов, реакционеров и обскурантистов...

Посмотрите, чем занято общество: химизация, политехнизация, научная организация, сейчас компьютеризация. И только одним оно не занято — гуманизацией, ещё не отменённой окончательно, но задвинутой в такой угол, откуда шёпот её почти не слышен. Только одним пренебрегает общество, сочтя его устаревшей, подобно технологиям, азбукой, — духовностью. Едва ли надо сомневаться, что в результате предпринимаемых сейчас усилий хлебом земным мы сможем накормить человека, но это произойдёт по правде Великого Инквизитора, по которой человек принадлежит только долу... а как быть с вопросом: во имя чего наша жизнь? — с вопросом, который начинает глодать нас не меньше, чем потребность в хлебе».

И даже о «социальной справедливости», которую страна вроде бы уже достигла, писатель высказал крамольные мысли. «Религия потребительства, — убеждал Распутин, — которой пока всё ещё соблазняется человек, не может иметь будущего... Выход, если мы хотим им воспользоваться, есть, он известен давно. Он в нравственном перерождении человека, в самостроительстве, в самовоспитании из тех духовных начал, которые мы продолжаем в себе носить, в опамятовании и просветлении разума...»

Живая мысль, которой автор завершил свой очерк «Из глубин в глубины», совершенно не вязалась с догмами «научного коммунизма»:

«Не забудем, что во многом благодаря соединительному духу церкви народ наш выстоял в века иноземного порабощения... что воспитался он в один из самых отзывчивых народов мира... что наплат в недалёком прошлом великое искусство и великую мысль, образцы великомученичества во славу души и истины...

А коль не забудем, коль подхватим память сознанием, а сознание подхватим действием, значит — живы».

## «Что хотела завещать старая Русь?»

Размышления о влиянии веры на русскую жизнь Валентин Распутин продолжил в следующем очерке — «Смысл давнего прошлого. Религиозный раскол в России» (1989).

Об истории старообрядчества существует огромная литература. К ней на исходе XX века со жгучим интересом обратилось наше поколение. Благо что к этому времени были изданы труды выдающихся отечественных историков, знаменитых философов начала столетия. В Иркутске вышла книга сочинений «вождя раскола», как назвал его писатель, — протопопа Аввакума Петрова. Но обратиться с «высоты своего времени» к смыслу великих событий «давнего прошлого» — на это опять же требовались и гражданская смелость, и духовная независимость, и признанный талант.

Вновь не покидает ощущение, что сказанное в очерке — это выношенное убеждение писателя, его давно сложившееся и многократно проверенное мировоззрение. И, безусловно, выверенное душой знание.

«Печальную повесть о русском расколе, — полагает автор, — нужно начинать с XV века, когда им ещё и не пахло, когда, напротив, православие обрело в России утешительное царство. В 1439 году, как известно, Византия подписала Флорентийскую унию, войдя в альянс с католической церковью, а всего лишь через 14 лет Константинополь, старая столица православия, перешёл к туркам, что не могло быть воспринято в Москве иначе как возмездие за измену... Спасение виделось в неизменности веры, в необходимости

следовать благочестию, святости и установлениям предков и не допускать никакой ереси со стороны...

Одно обстоятельство мало учитывают, когда перечисляют причины раскола, — невиданный к середине 17 века разврат и высших и низших слоёв. Курение табака к разврату сейчас не пристегнёшь. Но тогда курение только прививалось, против него принимались царские указы, которые, как всегда при попытках наложить державную руку на гибкую нравственную фигуру, результата не давали. Народ курил. Он пьянствовал, да так, как никогда дотоле не водилось, а превзойдено было только через три века. Процветали воровство, бродяжничество, сквернословие. Все запретные плоды по какому-то непонятному закону тёмного изобилия вкушались жадно и ненасытно...

Надо ли удивляться, что разгул низменных страстей... показался части народа предвестием конца света. Не ограждая её, эту часть, от невежества, свойственного, с нашей точки зрения, всему средневековью, решительно оградим от распушенности как одного из истоков раскола. Это — с больной головы на здоровую. Протест раскола — не от загрязнения и шаткости, а против них, его тревога — за чистоту веры...

В трудное, исчервлённое пороками и брожением время часть народа, собравшись по человеку, явила силу и убеждённость, какой никогда ни до, ни после в России не бывало, показав и способность к организации, и нравственное здоровье, и духовную мощь. Восхищение ими способно доходить до ужасания, а ужасание до восхищения. Они подняли человека в его физических и духовных возможностях на такую высоту, какой он в себе не подозревал. Невольно является предположение: а что, если бы не десятая, не пятая часть народа, а вполтину и за половину происходил он из тех же качеств, веками не давал бы себя замусорить

всевозможными передовыми идейками и изобретениями сомнительной необходимости, какими обогатилась за последующие столетия цивилизация, — что стало бы с этим народом?!»

Уже при этих словах рождается душевный жар — от гордости, что мы часть такого народа, от восхищения, что на такой нравственный подвиг шли именно русские люди, от высокого примера, что стоящему за правду не страшен и костёр. А дальше писатель называет ревнителей веры «отборным народом», и слово его обретает такое звучание, что кажется пришедшим из горних высот:

«Словно потерянный рай, искал и утверждал он (народ. — *А. Р.*) свою старую родину, приносил в новую обительность её цельность в народном устройстве и обычаях, во всём родовом облачении. Отверженный и гонимый, добровольно вставший на путь мученической доли, вынужденный искать спасения в гибельных местах, но уверенный в своей правде, так близко поставивший эту правду к смерти безоговорочным выбором: „или — или“ — или правда, или смерть, старовер тем самым вызвал в себе такие силы, физические и духовные, какие до него не вмещало тело...

Что привлекало людей в раскол, почему в продолжение двух с половиной веков он не отмер, как положено отмирать всему отжившему и случайному? Надо полагать, привлекало прежде всего то, что и положено в основание человека, — самостоятельность, духовное первенство, нравственная чистота. И в основание народа — национальное лицо и национальная память, крепость и объединённость, необходимость претерпеть во имя цели, жажда очистительного порыва...

Со временем он (старовер. — *А. Р.*) выделился в особый тип русского человека, который, вопреки всем

бедам и обстоятельствам, упрямо хранил в себе каждую косточку и каждый звук старой национальной фигуры, в тип, несущий живое воспоминание о той поре, когда человек мог быть крепостью, а не лавкой, торгующей вразнос».

В молодости, после первых лет журналистской работы, мне довелось редактировать газету в старообрядческом районе. Предки здешних жителей были семьями сосланы за Байкал во времена Екатерины II, и потому сибиряки издавна называли их «семейскими». Русский характер открылся мне с новой стороны. Дело не только в том, что старцы здесь ревностно сохраняли обычаи «аввакумовой веры»: не употребляли спиртного, не курили, в домашней утвари держали специально для пришлых особую посуду. Нет, резко выделялись они истовым трудолюбием. Местные колхозы были самыми богатыми. Один из председателей носил звезду Героя Труда, другой был депутатом Верховного Совета страны. Орденоносцев — не счесть. Личные огороды у «семейских» были образцовыми; огуречно-помидорные царства выглядели получше, чем оранжереи в научных хозяйствах.

И потому так сладко и больно отзываются во мне слова Распутина об уроках, преподанных этим «отборным народом»:

«„Что хотела завещать нам старая Русь расколом?“ — на разные лады спрашивают его исследователи... Вопрос ставится так, что он будет звучать сильнее любого ответа. Что завещала Русь? Саму себя и завещала — себя, собранную предками по чёрточке, по капельке, по клеточке, по слову и шагу. Свою самобытность и самостоятельность, своё достоинство, трезвость и творческие возможности. Сейчас, когда ни за понюх табаку всё это вновь продаётся на всех ярмарках как изъеденное молью, ни к чему не годное старое, мешающее красивой и весёлой жизни, —

невольно является продолжение вопроса: а осталось ли в нас хоть что-нибудь от этих заветов, способное остановить повальную распродажу, и готовы ли мы оставить заветы от себя?»

## **Духовный подвиг Сергия Радонежского**

Этот вопрос — готовы ли мы оставить заветы — жгуче прозвучал и в следующем очерке писателя «Ближний свет издалека», завершающем его своеобразную трилогию на православную тему. Распутин со страстью и любовью наследника рассказал о духовном подвиге и примере Сергия Радонежского.

«Телесные черты великого святого Земли Русской стёрлись и давно заменились духовным портретом, тот лик, который знаем мы по иконам, — это оттиск на нетленной плащанице народной памяти, проступивший из общего взгляда и запечатлевшийся из обратимости необратимого. Наш язык для вызывания духа „земного ангела“ и „небесного человека“ тщетен, для этого нужна родственность особого рода».

Напоминая читателям известные факты из жизни великого старца, Распутин, как всегда в таких случаях, добавляет своё понимание этого события — глубинное по значимости, выношенное по духовному чувству. И снова не покидает ощущение, что всё сущее — история, нынешняя жизнь, ожидаемое будущее — осмыслено им, внутренне пережито им и отложилось в его судьбе как что-то самое важное, направляющее и способное помочь в любую минуту.

Сергий Радонежский, напоминает писатель, «жил в 14 веке, был основателем Троице-Сергиевой лавры, духовного центра православной России, благословил Дмитрия Донского на битву с Мамаем и послал с московским князем на Поле Куликово двух своих монахов, один из которых — Пересвет — и начал битву схваткой с ордынским мурзой Челубеем...



И только немногие из нас при имени Преподобного Сергия обращаются не к памяти и не к книгам, а к душе. Он — там».

А после этих строк и начинается то, чего всегда ждёшь от Валентина Распутина: беседа о подлинной тайне человека или о судьбоносном значении события:

«Без Сергия Радонежского русская душа не полна, не окормлена до полной меры сытости, когда она может окормливать других. При всём множестве любимых и почитаемых в нашем народе святых Сергиева святость несколько особого сложения — сложения из русского представления о своём идеале. Тут народ сам рассудил и, приняв житие Преподобного, лучше всего отозвавшееся народному призванию, узнав в нём свой чаемый образ, направление своих трудов, он и от себя добавил ему там, где суждено было одной жизнью, и своей крови влил, чтобы не приустать ему от хождений по многим молитвам, и, веками к нему припадая, дотворил Сергия до полной свойственности, до обращения к нему из праздничного канона в постоянное излияние чувств. К Сергию народ не мог охладеть, это значило бы отказаться от самого себя. В самые тяжкие для общей нашей судьбы моменты в русском сердце слышался его участливый голос: „Не скорби, чадо“».

Очерк «Ближний свет издалека» писался в 1991 году. Разрушение России, её экономических и духовных основ шло полным ходом. Надежда виделась только в примере духовных вождей народа. И, конечно, обращение писателя к образу Сергия Радонежского имело эту цель: не теряйте надежды, русские!

«Такие светоносные явления, как Сергей Радонежский, — предрекал Распутин, — вызываются не итогом чего-то, а *предвестием* (выделено мной. — А. Р.), в том числе необходимостью спасительных переходов через духовное бездорожье всех времён. Когда окаянство в России принялось одолевать, пришли

Серафим Саровский, оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский и вновь указали переправы через предстоящие потоки лжи и грязи на противоположный берег, где, установясь на твёрдую почву, русский человек сможет опять обрести себя в праведных трудах.

Много тяжкого ждёт его впереди, особенно в ближайшие годы, но не оставят его великие путеводители, когда обратится он к ним за просвещением, и первый среди первых, как и во все 600 лет до этого, будет среди них Преподобный Сергей».

Своими размышлениями автор очерка подвигает читателя к столбовой дорожке, говоря: это путь истины, духовного самостояния. Наш русский путь!

**Глава семнадцатая**  
**«КАТАСТРОЙКА» С БЛИЗКОГО**  
**РАССТОЯНИЯ**

## Как чёрное выдавали за белое и наоборот...

Весной 1989 года по инициативе «архитектора перестройки» прошли выборы Съезда народных депутатов. Крупные общественные организации получают право напрямую избирать членов будущего парламента, без всенародного голосования за них. Распутин становится депутатом от многотысячного Союза писателей СССР, а вскоре и членом ещё одного высшего органа, возникшего по предложению главного «демократа» и «плюралиста» Горбачёва, — Президентского совета. Уже после расстрела Ельциным парламента (в октябре 1993 года) писатель так рассказывал корреспонденту газеты о своём хождении во власть:

«Депутатскую службу я действительно прошёл. Без предвыборной кампании, попал в квоту, которая отпускалась тогда для творческих союзов, и, Скрепя перо и сердце, подчинился результатам голосования на писательском съезде. Затем Горбачёв предложил войти в его Президентский совет. Обстановка была роковая — кто кого, и я в конце концов согласился, рассчитывая, что, быть может, и от моего голоса что-то будет зависеть. Нет, это „хождение во власть“ оказалось почти безрезультатным, политика делалась там не списочными, а тайными советниками, я убедился в этом очень скоро. Впрочем, и сам Президентский совет не задержался, и я воспринял это с облегчением.

И всё же я не жалею, что заглянул туда, куда удаётся заглянуть не всем. Пригодится. И уже не однажды пригодились, когда удавалось угадывать события, которых, казалось, ничто не предвещало. Не могу похвалиться особым чутьём, но кой-какой нюх

появился. Быть может, именно потому, что политика — действительно дело грязное, а у меня к такого рода цвету чувствительность повышенная».

Сколько раз в те годы либералы пытались извратить, истолковать на свой манер слова писателя, сказанные публично! Одна из таких попыток связана с выступлением Валентина Распутина на Первом съезде народных депутатов СССР, проходившем с 25 мая по 9 июня 1989 года. Сразу после публикации этой речи те, кто разваливал страну, лицемерно завопили: вот кто первый предложил России выйти из состава Союза! А в социальных сетях давнюю ложь мусолят до сих пор. Чтобы непредубеждённый читатель сам убедился в подтасовке политических шулеров, приведу подлинные слова Распутина:

«Никогда ещё со времён войны её (России. — *А. Р.*) державная прочность не подвергалась таким испытаниям и потрясениям, как сегодня. Мы, россияне, с уважением и пониманием относимся к национальным чувствам и проблемам всех без исключения народов и народностей нашей страны, но мы хотим, чтобы понимали и нас. Шовинизм и слепая гордыня русских — это выдумки тех, кто играет на ваших национальных чувствах, уважаемые братья. Но играет, надо сказать, очень умело. Русофобия распространилась в Прибалтике, в Грузии, проникает она и в другие республики, в одни меньше, в другие больше, но заметна почти повсюду. Антисоветские лозунги соединяются с антирусскими, эмиссары из Литвы и Эстонии едут с ними, создавая единый фронт, в Грузию, оттуда местные агитаторы направляются в Армению и Азербайджан. Это не борьба с бюрократическим механизмом, это нечто иное. Здесь, на съезде, хорошо заметна активность прибалтийских депутатов, парламентским путём добивающихся внесения в

Конституцию поправок, которые позволили бы им распрощаться с „этой страной“.

Не мне давать в таких случаях советы, вы, разумеется, сами распорядитесь своей судьбой по совести и закону. Но по русской привычке бросаться на помощь я размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете её и если её слаборазвитость и неуклюжесть отягощает ваши прогрессивные устремления? Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы как настоящего, так и будущего. Кой-какие ресурсы, природные и человеческие, ещё остались, руки не отсохли. Без боязни оказаться в националистах, мы могли бы тогда произносить слово „русский“, говорить о национальном самосознании, отменили бы, глядишь, массовое растление душ молодёжи, создали наконец собственную Академию наук, которая радела бы российским интересам, занялись нравственностью, помогли народу собраться в единое духовное тело.

Поверьте, надоело быть козлом отпущения и сносить издевательства и плевки. Нам говорят: это ваш крест. Однако крест этот становится неподъёмен. Мы очень благодарны Борису Олейнику, Иону Друцэ и другим депутатам из республик, кто сказал здесь добрые слова о русском языке и России. Им это позволено, нам не прощается. Нет возможности сейчас подробно объяснить, да вы это и сами должны знать, что не Россия виновата в ваших бедах, а тот общий гнёт административно-промышленной машины, который оказался для всех нас страшнее монгольского ига и который и Россию тоже унижил и разграбил так, что она едва дышит. Нет нужды в подробных разъяснениях, но мы просили бы вас: жить нам вместе или не жить, но пока мы вместе, не ведите себя высокомерно и не держите зла на того, кто его, право же, не заслужил. А лучше всего вместе бы нам

поправлять положение, сегодня для этого есть возможности».

И где же тут призыв к России выйти из общей союзной семьи? Писатель, напротив, по-братски убеждает посланцев из всех республик «вместе поправлять положение», благо что «сегодня для этого есть возможности».

«Мои слова, — говорил позже в беседе с журналистом газеты „Правда“ Виктором Кожемяко Валентин Григорьевич, — прозвучали после того, как буквально две недели подряд раздавались угрозы из Закавказья, Прибалтики, Молдавии освободиться от союзного ярма, причём с поношениями в адрес русского народа, который, можно было понять, всех объедает за общим союзным столом и жирует не по трудам. Тогда я и поднялся: зачем же пугать-то? И Россия может выйти из Союза. Выйдет и не пропадёт. Не забывайте, что семьдесят миллиардов российских средств ежегодно перекачивалось в бюджеты союзных республик, что грабили в первую очередь русского человека...

Нет, не разваливать надо было Союз по планам американских специалистов-советологов, с голоса которых действовали отечественные расчленители, заходясь в требовательной истерике, а держаться вместе. Отпустив на волю вольную, разумеется, тех, кто свою совместную жизнь с Россией считал невозможной. Но и здесь прислушиваясь к мнению народному, а не к мнению национал-расплевательства. Держаться вместе до тех пор, пока произойдёт общественное отрезвление, поскольку в горячке да во взаимных обличениях разумного решения быть не может. А там — как будет соизволение Божье и народное».

На всю катушку использовали недоброжелатели, чтобы оболгать писателя, и его участие в Президентском совете. «Это насторожило „передовую“ общественность, — вспоминал Распутин в беседе с

Виктором Кожемяко, — мало ли что я, человек не безголосый, не скрывающий своей русскости, стану нашёптывать президенту? Нашёптывали там другие, иначе и быть не могло, но уже одно моё присутствие в совете раздражало: не та рожа, не тот образ мыслей. Потребовалась срочная компрометация меня — и это было сделано. Незадолго до того в Иркутск прилетел американский журналист Б. Келлер и записал беседу со мной на двух кассетах. Большая статья о русском антисемитизме, в которой фигурировал не только я, была напечатана в журнале „Нью-Йорк таймс мэгэзин“. Этот номер был срочно доставлен в Ленинград, срочно прочитан бдительными гражданами, которые направили в газету „Известия“ возмущённое письмо, вопрошая, как такой человек мог оказаться в Президентском совете. В западной прессе и на „голосах“ я сделался фигурой не последнего внимания. Даже в Японии мой издатель, уже заключивший контракт на перевод книги о Сибири и заплативший аванс, испугался иметь со мной дело.

Когда мне перевели статью Б. Келлера, выяснилось, что в самых острых случаях, там, где я говорил „да“, оказывалось „нет“, а где говорилось „нет“, стояло „да“.

Вот так пекутся эти блины.

Я, разумеется, потребовал у журналиста запись нашего разговора — одну кассету он показал, вторая „не нашлась“. Но и одной было достаточно, чтобы поймать его за руку. Ну и что? Господин Келлер исчез, мой писательский авторитет получил красочный ореол, а меня этот случай научил глубже всматриваться и лучше разбираться в происходящем как у нас в отечестве, так и во всём мире».



## Отойти от пропасти!

Сейчас думаешь: если бы каждый соотечественник писателя встал на защиту отечества с тем же мужеством и самоотвержением, как он, можно было отвести страну от пропасти. И всё же они были, эти мужественные люди, взывающие к каждой душе, убеждающие встать заслоном на пути разрушителей — сколько страстных призывов звучало из уст Распутина и его единомышленников в те первые трагические девяностые годы! Напомню строки этих воззваний (иначе их не назовёшь).

Март 1990-го. «Письмо писателей России Верховному Совету СССР...» об оголтелой антирусской кампании, развязанной средствами массовой информации в собственной стране (Литературная Россия. 1990. 2 марта):

«Русофобия в средствах массовой информации СССР сегодня догнала и перегнала зарубежную, заокеанскую антирусскую пропаганду... Россия — „тысячелетняя раба“, „немая реторта рабства“, „крепостная русской души“, „что может дать миру тысячелетняя раба“ — эти клеветнические клише относительно России и русского народа, в которых отрицается не только факт, но и сама возможность позитивного вклада России в мировую историю и культуру, к сожалению, определяют собою отношение центральной периодической печати и центрального телевидения к великому героическому народу-труженику, взявшему некогда на свои плечи беспримерную тяжесть созидания многонационального государства.

„Русский характер исторически выродился, реанимировать его — значит, вновь (?) обрекать страну на отставание, которое может стать хроническим“, —

читаем мы напечатанное на русском языке, на бумаге, выработанной из русского леса. Само существование „русского характера“, русского этнического типа недопустимо по этой чудовищной логике! Русский народ объявляется сегодня лишним, глубоко нежелательным народом. „Этот народ с искажённым национальным самосознанием“, — заключают о русских советские политические деятели и журналисты.

Желая расчленив Россию, упразднить это геополитическое понятие, они называют её „страной, населённой призраками“, русскую культуру — „накраденной“ (!), тысячелетнюю российскую государственность — „утопией“.

Стремление „вывести“ русских за рамки Homo sapiens приобрело в официальной прессе формы расизма клинического, маниакального, которому нет аналогий, пожалуй, среди всех прежних „скрижалей“ оголтелого человеконенавистничества. „Да, да, все русские — люди-шизофреники. Одна половина — садист, жаждущий власти неограниченной, другая — мазохист, жаждущий побоев и цепей“, — подобная „типология“ русских нарочито распубликовывается московскими „гуманистами“ в прессе союзных республик — для мобилизации всех народов страны, в том числе и славянских, против братского русского народа...»

Июль 1991-го. Набатное «Слово к народу» (опубликованное 29 июля в газете «Советская Россия» и остервенело заглушаемое из всех рупоров новоявленными «демократами»):

«Что с нами сделалось, братья? Почему лукавые и велеречивые властители, умные и хитрые отступники, жадные и богатые стяжатели, издеваясь над нами, глумясь над нашими верованиями, пользуясь нашей наивностью, захватили власть, растаскивают богатства, отнимают у народа дома, заводы и земли, режут на

части страну, ссорят нас и морочат, отлучают от прошлого, отстраняют от будущего — обрекают на жалкое прозябание в рабстве и подчинении у всемогущих соседей? Как случилось, что мы на своих оглушающих митингах, в своём раздражении и нетерпении, истосковавшись по переменам, желая для страны процветания, допустили к власти не любящих эту страну, раболепствующих перед заморскими покровителями, там, за морем, ищущих совета и благословения?

Братья, поздно мы просыпаемся, поздно замечаем беду, когда дом наш уже горит с четырёх углов, когда тушить его приходится не водой, а своими слезами и кровью. Неужели допустим вторично за этот век гражданский раздор и войну, снова кинем себя в жестокие, не нами запущенные жернова, где перетрутся кости народа, переломится становой хребет России?

Обращаемся к вам со словами предельной ответственности, обращаемся к представителям всех профессий и сословий, всех идеологий и верований, всех партий и движений, для коих различия наши — ничто перед общей бедой и болью, перед общей любовью к Родине, которую видим единой, неделимой, сплотившей братские народы в могучее государство, без которого нет нам бытия под солнцем. Очнёмся, опомнимся, встанем и стар, и мал за страну. Скажем „Нет!“ губителям и захватчикам. Положим предел нашему отступлению на последнем рубеже сопротивления. Мы начинаем всенародное движение, призывая в наши ряды тех, кто распознал страшную напасть, случившуюся со страной».

## Повара кремлёвской «кухни»

И всё же какое представление о тогдашней кремлёвской «кухне», где поварами были Яковлевы и Шеварднадзе, вынес заглянувший в неё писатель? Оно было ясным и определённым:

«У меня сложилось впечатление, что наша политика стала составной частью той большой и общей политики, которая делается в другом месте... Доказательство — сегодняшнее положение нашей страны, её слишком быстрое падение. Такого ошеломляющего успеха даже наши враги не ожидали. Будь политика самостоятельной и хоть немного более твёрдой, этого не случилось бы. Кухня разложения народа и государства варилась давно, тут нет секрета, но из якобы гуманистических принципов своими руками подбрасывать дрова в эту кухню — такого в мире ещё не бывало».

А на вопрос о новом «спасителе» отечества, заменившем Горбачёва: «Вы считаете, методы, с помощью которых Ельцин пришёл к власти, безнравственными?» — Распутин прямо ответил:

«Разумеется. В борьбе против центра он не гнушался ничем, играя на недовольстве народа и разжигая его как только мог. Метода была знакомая: „весь мир насилья мы разрушим до основанья...“, теперь наступило „...а затем“. Призывал к беспорядкам, к забастовкам, подзуживал „самостийщиков“ (помните: „берите суверенитета, сколько проглотите“), не церемонился со своими политическими противниками, не скупился на обещания и посулы. Положим, чтобы играть на популистском инструменте, надо было иметь широкую аудиторию. Она была. Народ опять оказался умён задним умом. И получил по заслугам. Всё, что

запускал Ельцин против Союза, ударило сейчас бумерангом по России».

Разумеется, самым противоправным деянием президента РСФСР Б. Ельцина было его участие вместе с руководителями Украины и Белоруссии Л. Кучмой и С. Шушкевичем в беловежском сговоре, когда эта тройца вопреки результатам всенародного референдума в СССР — сохранение Союза ССР — и без согласия других союзных республик 8 декабря 1991 года подписала в Беловежской Пуще документ о ликвидации единой страны. Тогда же Валентин Григорьевич во всеуслышание расценил это как предательство вчерашних партийных бонз:

«...перекройка, перетряска творилась в невероятной спешке, горячке, в возбуждении и опьянении, в мстительной запальчивости и угаре, как будто дело касалось не великого государства, имеющего тысячелетнюю историю, а умыкнутого с чужого воза достояния. В том, как происходил раздел, было что-то разбойничье, воровское, неприличное — скорей, скорей, чтобы не спохватились и не вернулись к месту преступления. Когда-нибудь историки постараются разгадать этот удивительный феномен: как мелкие жулики с лёгкостью провели мирового масштаба сделку, превратив нас всех в жертвы своих политических манипуляций».

Сколько в России служителей искусства, которые тогда снимали льстивые фильмы о Ельцине, рьяно агитировали за него перед президентскими выборами, злобно поносили ту часть истории страны, которая кончилась с его «восшествием на престол»; сколько их, с тем же рвением взявшихся обливать грязью своего «калифа на час» после его ухода и привычно славить как «государственника» нового хозяина Кремля — несть им числа! Не стыдно ли им четверть века спустя вспоминать о своих фильмах и лакейских выступлениях,

о своём флюгерстве? Удобно ли им сохранять свою личину «народных заступников», когда со страниц нестареющих книг Валентина Распутина звучат слова героя рассказа «В больнице»:

«Одни и те же трубадуры дурили нас и десять лет назад, дурят и сейчас. А мы уши развесили. Но если вы согласны с ними сегодня, значит, надо признать, что вчера они дурили нас, потому что говорили совсем наоборот... То капитализм — чудовище, то рай. Если бы они могли, они бы и солнце развернули, чтобы всходило на западе. А нам, дуrolомам, пришлось бы со спины отращивать перед... Если эта свора в голос запела, что выгода для России вот там — значит, выгода совсем с другой стороны. Так потом и оказывается. Безошибочная ориентация, ни компаса, ни азимута не надо».

**Глава восемнадцатая**  
**БЕСЫ? НЕ ТАК УЖ ОНИ**  
**СИЛЬНЫ!**

## Время «новых русских»

С началом девяностых годов Валентин Распутин пишет рассказы «Россия молодая» и «В одном сибирском городе», в которых, на мой взгляд, сошлись две творческие стихии, присутствовавшие и раньше в его произведениях, но здесь проявившиеся особенно зримо. Я имею в виду страсть публициста и яркий художественный дар повествователя. На этот счёт был у нас с писателем и разговор:

*А. Р.:* Демократическая критика пеняла тебе «на избыток» публицистики в художественных произведениях. Говорили, что, мол, повесть «Пожар» «подпорчена» публицистикой. И я, к своему удивлению, прочёл в какой-то публикации, что ты согласился: «Да, да, в этой повести многовато публицистики». Но, позволь, разве в русской литературе такого не бывало? Сколько публицистических страниц у Льва Толстого в повести «Крейцера соната» или в романе «Воскресение»? А у Достоевского — в «Бесах», в «Преступлении и наказании», в других романах? Его знаменитые «Записки из Мёртвого дома» при таком взгляде вообще можно назвать документальными очерками, а на самом деле эта книга поразительна и по своему художественному исполнению, и по нравственному воздействию на читателя. Что ты по этому поводу скажешь?

*В.Р.:* Да, русская литература без публицистики никогда не существовала. Нет такого писателя, который бы не обращался к публицистике. Возьмём самое начало нашей словесности: «Слово о полку Игореве». Разве это не публицистика? Или «Слово о погибели Русской земли». И так не только в прозе, но и в поэзии. Пушкин, из «Пиндемонти»:



Не дорого ценю я громкие права,  
От коих не одна кружится голова, —

это ли не публицистика? Или знаменитое стихотворение «Клеветникам России». Да многое, многое. Почитаем лермонтовскую «Думу»:

Печально я гляжу на наше поколенье!..

И это публицистика. Есть она в стихах Некрасова, Тютчева. Уж насколько «художественный» писатель Бунин, какое у него обострённое чутьё на запах, на цвет, как тонко чувствует и верно передаёт он разные состояния человеческой души, но и он в кровавое время революции и Гражданской войны обращается к слову прямому, оголённому — пишет «Окаянные дни». Шмелёв — тоже тонкий писатель, а создал в это жестокое время книгу во многом публицистическую — «Солнце мёртвых». Можно назвать писателей уже нашего времени — Абрамова, Белова, других. Потребности времени заставили обратиться к публицистике и их. В таком случае к писателю взывает ведь сама судьба Отечества. Разве автор «Слова о погибели Русской земли» мог говорить о цветочках-лепесточках, когда на отчие поля обрушились чёрные беды? Он выбрал единственно возможное — воззвание к русскому человеку. И в наше время то же самое. Когда я подступался к повести «Пожар», понимаешь, уже сердце, что называется, горело — разорялась родная земля! Пусть тот, вчерашний, разор не идёт в сравнение с нынешним, но писать спокойно я просто не мог. Пусть на страницах повести горячности оказалось больше, чем требуется для художественного произведения, но это ведь от меня уже не зависело. Это зависело от

температуры воздуха, от температуры жизни, которая наступила. Криком приходилось кричать, надеясь всё-таки остановить чудовищное разорение. Не удалось. Конечно, повесть имела отклик, не могла не иметь, людей, болеющих за Отечество, у нас всё-таки немало, но повлиять на ситуацию они, то есть все мы, не сумели. Следующие рассказы, к примеру, «Россия молодая» или «В одном сибирском городе» — о том, что происходило в девяносто втором, девяносто третьем годах, — тоже нельзя было писать спокойно, без прямого обращения к читателю: «Остановись, посмотри, что происходит вокруг тебя. Что происходит с нами? Что происходит с нашей страной?»

Этот нелёгкий разговор требовал особенного языка...

По сюжету первого рассказа — «Россия молодая» — с «новой Россией» начала девяностых читатели знакомятся на борту авиарейса Иркутск — Москва. Те же «архаровцы», занявшиеся теперь коммерцией, ставшие «челноками», и здесь, в самолёте, держатся стаей. Никакой моралью, кроме своей, быстро усвоенной ими, они перед «прочими», «чужими» не связаны. Заставили стюардесс включить на всю мощь музыку, громко, на весь салон, ведут хамские разговоры, играют в карты, «стуча, как в домино». И пьют водку. Взгляд автора выхватывает фигуры этих «новых русских»:

«Крайний к проходу парень, джинсовый костюм на котором только подчёркивал порочные манеры, в такт музыке и игре, вскрикивая, выплясывал в кресле какой-то уж очень отчаянный танец. Сидевший за ним, с оббитыми коленками, терпел. Игра „поощрялась“ матом...

Наступил праздник воли, грянуло неслыханное торжество всего, что прежде находилось под стражей нравственных правил, — и тотчас открыто объявило

себя предводителем жизни таившееся в человеке дикобразье, тотчас выступило оно вперёд и повелительно подало знак, до того понятный только в узком кругу...»

Но это было хамьё, подхваченное на мусорных свалках прорвавшейся дикой струёй. А над ними возвышались люди, вызвавшие из потока жизни эту струю и направившие её в нужную сторону. Эти люди сразу же сделали упор на грубую силу, на оружие: сметём, уничтожим всех, кто противится новому течению!

Противостояние горожан с громилами — церберами власти, возникшее «в одном сибирском городе» (как назван второй рассказ), описано автором с документальной точностью, с подробностями звериной жестокости, что навсегда останется обвинением ельцинизму. Иркутск просматривается в каждой строке рассказа.

...Здание областной администрации (в рассказе — Дом) охраняет цепь автоматчиков — спецназовцев, вызванных новыми «хозяевами жизни» Бог весть откуда. В сквере напротив, через площадь, — густая толпа жителей города, возмущённых нежеланием местных начальников объясниться с ними. По смельчакам, пытающимся пересечь площадь, открывается огонь. Один человек уже убит.

«— Вы что это, гады, делаете? — обретя технику (мегафон. — *А. Р.*), заговорил сквер.

— Сам ты гад! — не остались в долгу в Доме. Голос был другой, не прежний — этот моложе и расхлябанней. Прежний отошёл или уехал на переговоры. Прежний не стал бы продолжать, этот разговорился: — За каждого гада ты у меня по пуле получишь — запомни.

— Пропуляешься, — ответили из сквера. — Вот на этой дороге под асфальт закатаем. День и ночь машины будут „вечный покой“ напевать. Не возражаешь?

— Дерьмо собачье!

— С тобой всё ясно. Неужели там у вас нет никого умнее тебя? Кто бы тебя попёр от говорильника?..  
Посмотри, мы подождём...

— Я тебе сейчас пасть закрою...

— Ты — мне?! Ублюдок американский!

— Ты-то, конечно, не американский! Ты — русский  
ублюдок!

— Я русский. Но не ублюдок.

— А что — есть русский и не ублюдок?

Две-три тысячи человек, собравшиеся в сквере и втянутые в эту перепалку, встречая каждый выпад своим сопровождением, онемели. За секундным замешательством должен был последовать взрыв, но ещё прежде над головами ударила очередь.

— Ложи-ись! — крикнуло из Дома радио и задрезало смехом».

Это были цветочки «демократии», уже кровавые, а ягодки, смертельные для всей страны, ждали нас впереди...

## **У каждого своя правда?**

Уже с первых дней развёртывающейся трагедии Распутин точно определил вектор будущих событий. Он неустанно предупреждал о возможных последствиях в своих интервью, выступлениях, публицистических статьях. А как художник, вновь и вновь вглядывающийся в глубины жизни, он показал трагедию России в своей набатной книге рассказов «В ту же землю».

Обо всём, конечно, легко судить спустя не одно десятилетие. А тогда, в первой половине 1990-х, брожение умов, прельстительные речи бесов, захвативших державу, запутывали даже вчерашних единомышленников писателя.

Словно бы отвечая тем, кто увидел в страшных переменах что-то новое, обнадёживающее, Валентин Распутин говорил в одном из публичных выступлений в Москве:

«Только те из нас, кто плоть от плоти и дух от духа России, кто вместе с нею обирал с себя плевки в неё, в ком отдавалось незаживающей раной каждое слово отступничества от неё, кто плакал её слезами обиды от предательства и вероломства; только тот, кого вместе с нею разрезали на части по планам её расчленителей, в ком всё тревожней и всё настойчивей звучат недоумённые голоса предков, стоящих за Россию, — знает тот безошибочно: поднимается, опоминается, собирается в одну и одну мускульную силу Россия. Видит, слышит, чувствует он, ибо происходящее в России происходит и в нём, что не намерена она больше терпеть ни мелких бесенят, кривляющихся с экранов телевизоров, ни бесов среднего пошиба из приказчиков нового порядка, наживающихся на её несчастье, ни

больших, генеральных бесов, производящих над Россией новый гибельный для неё социальный эксперимент».

Валентин Распутин создаёт рассказы, как будто независимо от воли автора выстраивающиеся в единое целое — в художественное исследование того общественного и нравственного положения, в котором оказалась Россия. Рассказы особенной эмоциональной, напитанной болью силы — «В ту же землю», «Нежданно-негаданно», «В больнице», «Женский разговор», «Сеня едет». Это не первый случай в отечественной литературе. В начале XX века Лев Толстой написал рассказы и очерки, которые потрясли читателей и тоже составили как бы единое обличительное художественное полотно, — «После бала», «Фальшивый купон», «За что?», «Божеское и человеческое», «Песни на деревне», «Три дня в деревне», «Ходынка». Писатель, разумеется, не выстраивал их как нравственный приговор тогдашним властителям. Он рисовал безжалостными красками жизнь своей родины в её не лучший период — и разве от его авторского своеволия или намеренного выбора событий проистекал этот обжигающий накал возмущения и гнева? Так и в случае с Валентином Распутиным. Он развернул перед нами, читателями, художественно правдивое изображение насилия над страной, устроенного властолюбцем и его кликой, а уж отклик зависел от наших оскорблённых сердец.

Герой рассказа «В больнице» Алексей Петрович, недавний служащий Министерства лесного хозяйства, оказался в престижной клинике, в одной палате с ещё одним «бывшим» — вчерашним управляющим крупным строительным трестом, а ныне тоже пенсионером Антоном Ильичом. Вышло, однако, что «номенклатурщики» находятся по разным сторонам тогдашних баррикад. Первый, Алексей Петрович, всегда

исполнявший своё дело увлечённо и без шумихи, никак не может понять, почему от вчерашних устоев жизни, в том числе и его любимого занятия, надо не оставить камня на камне. Другой же, Антон Ильич, энергичный и властный знаток своего производства, убеждён, что нужно поломать вчерашнюю экономику, а с ней и уклад жизни, и психологию людей, и начать всё с «нулевого цикла» — так, как это и делают молодые «реформаторы».

И спор их, и житейские подробности их судеб — всё в этом рассказе правдиво и узнаваемо, как и сшибка двух мнений, двух психологий, двух отношений к родной стране на страшном переломе.

Антон Ильич:

«— О старом, значит, жалеете? Так.

Это „так“ было у него как точка, не больше, но можно было представить, что когда-то, когда сосед был при власти, оно звучало твёрдо, сильно, заглубляя сказанное решительным взмахом руки.

Разговор расходился, и Алексей Петрович устроился удобней, развернувшись набок и подбив под локоть подушку.

— Жалею, — согласился он. — Но не так, как вы, должно быть, представляете. Я в старом, если хотите знать, с потрохами не увязал. Мне из старого только рюкзачок собрать — и в новом. Я в партии не состоял.

— Это в министерстве-то? — не поверил сосед.

— Да. Я в министерстве проработал три года. Да и попал туда случайно. Директора института назначили министром, он меня с собой на управление потащил. Да и министерство... оно для нас только было важным. Вот и вы толком не знали, рубят там лес или охраняют. Разве это о положении министерства не говорит?

— Привилегии для всех министерств были одинаковы, — чувствовалось: сосед продолжает разговор через силу. Он лежал и, согнув в колене левую

ногу, закинув за неё правую, нервно мотал ею и поглядывал на дверь.

— Кое-что было, — согласился Алексей Петрович, — хоть и по третьему разряду. Больница эта... я, правда, впервые здесь, когда и прав на неё не имею. Да, больница. Курорт. Но зачем мне, человеку лесному, курорт? Я там ни разу не был. Машина у меня своя, свою пригнал. Должность не велика, с вашей не сравнить. Вы князем были, Антон Ильич, первый-то человек в крупном строительном тресте. Там привилегии, льготы эти самые плывут, за ними и ходить не надо. Не буду говорить про вас, не знаю. Но что такое начальник треста, знаю. Из министерства ходил и в ноги падал.

Сосед молчал. Алексей Петрович отдышался.

— Вы ведь в партии были, Антон Ильич?

— Был, конечно. Вы же знаете. Как бы я там не был?

— И не просто членом партии, а членом обкома?

Сосед мог и не отвечать: иначе не бывало.

— А воевали?

— Три года. Тяжёлое ранение имею, — с набирающейся твёрдостью отвечал сосед. — Что это вы мне допрос устраиваете?

— Я продолжу, Антон Ильич, с вашего позволения и договору, — сказал Алексей Петрович после ухода сестры. Они одновременно повернулись друг к другу. — Что выходит: вы воевали, имели крупную должность, были своим в местной партийной верхушке, вложили в старую систему немало сил... как же получилось, что вы её на дух не терпите, будто вы — это не вы, а что-то, что заново родилось?

Сосед перебил решительно:

— Я за Россию воевал, Россию строил, а не старую систему.

— За Россию, — согласился Алексей Петрович и шумно выдохнул. — Вы воевали за неё, да... Но почему тогда эти бесы из научных институтов, — Алексей



Петрович, перегнувшись, далеко вымахнул в сторону телевизора руку, — захватили говорильню и принялись издеваться над нами... и над вами в том числе... принялись утверждать, что жертва была напрасной и победа не нужна... почему вы заслушались, как дитя, и поверили? Вы Россию защищали...

— Я и сейчас её защищаю...

— Господь с вами! Если бы на фронте вас убедили развернуть оружие... за Россию... вы бы поверили? Хотя — что я?! Бывало и это. Всё уже бывало. Вот это и страшно, что ничему нас научить нельзя. Но если вы не развернули оружие там, вы должны были знать, где Россия. А они развернули. — Снова выпад в сторону телевизора. — И давай из всех батарей поливать Россию дерьмом, заводить в ней порядки, которых тут отродясь не водилось, натягивать чужую шкуру. Неужели вас в сердце ни разу не кольнуло, почему, по какой такой причине поносят так русских? В России. Вы ведь русский, Антон Ильич?

— Не видно, что ли? — сосед смотрел на Алексея Петровича исподлобья и сказал холодно, отчуждённо.

— Пока видно. Есть же у нас свои черты. Но скоро их сострогают. Скажите, какие же мы с вами русские, если дали так себя закружить? Хоть чутьё полагается иметь, если нет ничего другого. Для вас Россия в одной стороне, для меня в другой. Нет, не там, где мы с вами были при коммунизме. Но и не там, где вы видите, совсем она не там. Можно допустить, что я ошибаюсь. Но посмотрите. Мы дикари, звери, развратники, пьяницы, матерщинники... полный набор... лодыри, покорное стадо, к иконе подходим не иначе как с топором. Надо нас в цивилизованный мир, чтобы привести в порядок. Посмотрите, как цивилизуют. Пьяницы — и заливают дешёвой водкой. Развратники — и весь срам, всё бесстыдство людское со всего мира, всё несусветное уродство — сюда. Дикари — и гуляй

свободно любой головорез, насилуй, грабь, вори, убивай беспрепятственно, захватывай мафия и коррупция государственное богатство, объединяйся между собой, захватывай власть. Лодыри — и хлеб, масло у своего крестьянина не берут, везут из-за океана. Грубияны — и полон рот мата у каждого воспитателя. Не кажется это вам... ну, не совсем подходящим способом воспитания... совсем не подходящим?! Свободы хватило только на это — как сделаться окончательно без стыда и без совести, разграбить страну и оболванить нас с вами. А мы и рот разинули: настоящую Россию нам кажут! Нет, Антон Ильич, это не Россия. Избави Бог!

Алексей Петрович задохнулся и умолк. Сосед тоже дышал тяжело и смотрел на него враждебно. И вдруг сделал совсем по-мальчишески: поднялся и демонстративно включил телевизор.

— Новости, — объявил он. — Извините, новости я пропустить не могу».

Эти двое уже заканчивают жизнь, и без всяких пояснений видно, как они её прожили и какой стержень имел каждый. Один смертельно унижен и оскорблён тем, что его Родину распинают; второй, думается, доволен, что оставляет детям и внукам весомый задел, нажитый им при номенклатурной службе... У писателя не прибавлено ничего от себя, от «творческой фантазии»: вот тебе, читатель, две судьбы, две оценки жизни, которая завертела и тебя...

## **Не ищи оправданий, сильный и честный!**

Однако есть люди, не имевшие понятия о номенклатуре, люди обыкновенные, рабочие, и таких миллионы. Переворот, устроенный новыми хозяевами страны, ударил их больнее, да что там — смертельнее! Они тоже хотели бы разобраться: как же произошло, что владельцами всего нажитого страной стали не те, кто её обустроивал, строил заводы и электростанции, города и железные дороги, а ловкачи, воспользовавшиеся приватизацией и превратившие её в «прихватизацию».

Двое из миллионов пострадавших — герои рассказа «В ту же землю».

Пашута, женщина с городской окраины, всю жизнь трудилась в столовой, причём шла по служебной лестнице не вверх, от посудомойки к заведующей общепитовской точкой, а в обратном направлении: в двадцать лет, бойкой и симпатичной комсомолкой, служила заведующей, а с годами, при убыли сил и женского обаяния, дошла до посудомойки. Её друг, Стас Николаевич, бывший инженер на алюминиевом заводе, статный и сильный, был в своей профессии не последним человеком. Новые порядки, установившиеся в стране, принесли им нищую, бесправную старость.

И вот как оценивают эти двое «рай», приуроченный им реформаторами России. Первые растерянные слова тяжкого разговора вырываются у Пашуты, которая не знает, как, на какие деньги похоронить мать:

«Чего тут путать, Стас Николаевич? Не мы с тобой стали никому не нужными, а все кругом, все! Время настало такое провальное, всё сквозь землю

провалилось, чем жили... Ничего не стало. Встретишь знакомых — глаза прячут, не узнают. Надо было сначала вытравить всех прежних, потом начинать эти порядки без стыда и без совести. Мы оттого и прячем глаза, не узнаём друг друга — стыдно... стыд у нас от старых времён сохранился. Всё отдали добровольно, пальцем не шевельнули... и себя сдали. Теперь стыдно. А мы и не знали, что будет стыдно. — Она помолчала и резко повернула, видя, что уводит разговор в сторону, где только сердце надрывать. — Дадут! — согласилась она. — Если просить, кланяться — дадут. Те дадут, кому нечего давать. Из последнего. Ну, собираю я попластунски, может, сто тысяч. А мне надо сто раз по сто. Нет, не выговорится у меня языком — приходиться и просить. А чем ещё просить — не знаю...

Стас осторожно напомнил:

— У тебя ведь дочь есть.

— Дочь мне неродная, — глухо сказала Пашута. — И живёт она с мальчонкой в последнюю проголодь. Девочку мне отдала в учёбу. Живёт одна, без мужика. Это вся моя родня. Дальняя есть, но такая дальняя, что я её плохо знаю. Нас у матери было четверо, в живых я одна. Всё ненормально — верно ведь, Стас Николаевич?

— Не паникуй. Куда твоя твёрдость девалась?

— Остатки при мне. И то много. С нею-то хуже. Она не для воровства, не для плутовства у меня, скорей в угол загонит».

Не такой Распутин писатель, чтобы недодумать главную мысль, не отыскать ответы на вопросы, которые задаёт нынешняя подлая жизнь. Вот и его Стас Николаевич, сильный человек, загнанный в угол, но ещё не сломленный, объясняет Пашуте, как всё случилось, вспомнив их недавний, предзимний разговор:

«Я тебе скажу, чем они нас взяли, — не отвечая, взялся он рассуждать. — Подлостью, бесстыдством, каинством. Против этого оружия нет. Нашли народ,

который беззащитен против этого. Говорят, русский человек — хам. Да он крикун, дурак, у него средневековое хамство. А уж эти, которые пришли... Эти — профессора! Академики! Гуманисты! Гарварды! — ничего страшней и законченней образованного уродства он не знал и обессиленно умолк. Молчала и она, испуганная этой вспышкой всегда спокойного, выдержанного человека.

Он добавил, пытаясь объяснить:

— Я алюминиевый завод вот этими руками строил. От начала до конца. А двое пройдох, двое то ли братьев, то ли сватьев под одной фамилией... И фамилия какая — Чёрные!.. Эти Чёрные взяли и хапом его закупили. Это действует, Пашута! Действует! Будто меня проглотили!

— Стас Николаевич, да ты оправдания себе ищешь... Не может того быть! Чтобы взяли... всех взяли! Ты же не веришь в это?

Стас улыбался и не отвечал. Странная и страшная это была улыбка — изломанно-скорбная, похожая на шрам, застывшая на лице человека с отпечатавшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира».

Зря, зря ведут себя столь спокойно и уверенно нувориши. Почаще бы они вчитывались в строки неподкупных писателей. Не случайно мы вспоминали о толстовских рассказах и очерках начала грозного XX века — тоже ведь имевшие уши не услышали. И чем это кончилось?

## Выстоять под грозовыми тучами

Вместе с тем рассказы Валентина Распутина не только высвечивали чреватые грозой русские тучи. И в новых жестоких условиях писатель находил и показывал нам тот русский характер, который сложился за века существования нашего отечества, — выносливый, трудолюбивый, праведный, непокорный. Такой характер не надо было долго разыскивать. Какой же ещё характер мог устоять в глубинах пошатнувшейся, исковерканной русской жизни девяностых годов?

В рассказе «Изба» два героя, не потерявшие душевного света даже в сумраке бесовских времён: Агафья и Савелий — старые односельчане.

«Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне Криволицкой, километрах в трёх от этого посёлка, поднятого на Елань, куда, кроме Криволицкой, сгрузили ещё пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят...

Была она высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. Ходила в тёмном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки, летом — закутываясь от мошкеры, от которой не было житья, пока не вывели её, чтоб не кусала наезжих строителей Братской ГЭС. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась ходить быстро, пробежкой. Говорила с хрипотцой — не вылечила вовремя простуду и голос заскрипел; что потом только ни делала, какие отвары ни пила, чтобы вернуть ему гладкость, — ничего не помогло. Рано она плюнула на

женщину в себе, рано сошли с неё чувственные томления, не любила слушать бабьи разговоры об изменах, раз и навсегда высушила слёзы и не умела утешать, на чужие слёзы только вздыхала с плохо скрытой укоризной. Умела она справлять любую мужскую работу — и сети вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, даже самой мелкой, её душа не лежала. Но ружьё, оставшееся от отца, в доме было. Невесть с каких времён держался в Криволицкой обычай устраивать на Ангаре гонки: на шитиках от Нижнего острова заталкивались наперегонки на шестах против течения три версты до Верхнего острова, и дважды Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: вода шла с гудом, взбивая нутряную волну, течение само себя перегоняло. На такой воде всех мужиков обойти... если бы ещё 250 лет простояла Криволицкая, она бы это не забыла».

А что потеряла эта вечная труженица, подлинная хозяйка отеческой земли? Что у неё отняли, когда, отдав родной берег для великой электростанции, она в конце жизни оказалась без света по вечерам, без чистой воды, без опеки государства — без всего малого, которого лишили её свалившиеся откуда-то хищники? Поперёд всего у неё отняли душу. Ту, что жила на миру:

«Ну как тут было на вечорках не подать начин песни, как было не подхватить её, печальную и сладкую для сердца, и не растаять в ней до восторженного полуобморока, не губами, не горлом выводя слова, да и не выводя их вовсе ничем, а вызваниваясь, вытапливаясь ими от чувственной переполненности. Ничто тогда, ни приёмник, ни телевизор, этого чувства не перебивало, не убивало родную песню чужеголосьем, не издевалось над душой, и души, сходясь, начинали спевку раньше голосов. Считается,

что душа наша, издёрганная, надорванная бесконечными несчастьями и неурядицами, израненная и кровоточащая, любит и в песне тешиться надрывом. Плохо мы слушаем свою душу, её лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще её и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость. Да и печаль-то какая! — неохватно-спокойная, проникновенная, нежная».

И как она ушла из жизни, эта «кремнёвая» русская женщина? Что толкало её к кончине?

«— Во мне, парень, скажу я тебе, Криволицка по сю пору стоит. Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. Я как эта... как русалка утопленная, брожу здесь и всё кого-то зову... Зову и зову. А кого зову? Старую жисть? Не знаю. Чё её, поди-ка, звать? Не воротится. Зову кого-то, до кого охота дозваться. Когда бы знала я точно: не дозовусь — жисть давно бы уж опостылела... Я русалкой-то бродить здесь буду, кого-нить ишо покличу...

Скончалась она со спокойным лицом. Скончалась ночью в постели, а утром разгулялся ветер и громко, внахлёт бил и бил ставнем по окну, пока не обратили внимание: что ж это хозяйка-то терпит? Стали окликать её, а она уж далёко».

Теперь о Савелии.

«Был он старше Агафьи лет на пять... ещё крепок, не истрёпан жизнью. Про него нельзя было сказать, что он среднего роста, — рост в нём не замечался, а замечалась ладная, вытянутая точно по натягу фигура, ловкая и удобная. Ему, должно быть, близко было к шести десяткам, при шаге он заметно вдавливал ногу в землю, не снимал брезентовой самошитой кепки пролетарского покроя, придающей вид мастера своего дела, вглядываясь, щурил глаза, имел привычку ладонями натирать лицо, взбадривая его, во всём же



остальном, не показывая усталости, тикал да тикал как часы...

Сойдя с трактора, взялся Савелий столярничать, попробовал себя в тонкой работе, которая ведома краснодеревщикам, и смастерил себе буфет на загляденье, не надо и фабричного: точно пойманный по размеру и рисунку, аккуратный, ладный, светящийся отшлифованной белой доской, игриво пестрящий, под хозяина, конопушками сучков, сверху с остеклёнными узкими дверцами, снизу с дверцами глухими, но изукрашенными по краям лепной змейкой. Смастерил и поставил его в чистой комнате в красном углу, Агафья, увидев красавец-буфет в первый раз, так и ахнула:

— Нет, парень, тебе в рай-ён надо, в рай-ён, — „райён“ выговаривался у неё с таким почтением, точно указывалось прямо на райское обитание. — Об таких руках тебе тут делать нечего... — И несколько раз за вечер подходила погладить буфет, понежить руку.

Агафье Савелий заменил на новые все табуретки и лавки, вся изба пропахла сладким смоляным духом. Потом, не спрашивая, привёз курятник. Агафья к той поре решила не знаться больше с курицами — возни и без них доставало. Но привёз Савелий курятник — с широкой столешницей, на которой удобно вести стряпню, с узорной, радующей глаз, решёткой, с длинным и узким корытцем, долблённым из берёзы, придерживаемым берёзовыми же красиво раскоряченными лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое ниже — ну и что? — ну и запросил у клохчущей от растерянности бабы курятник куриц, ну и завозились они опять, как при старом житье, ну и не вышло куриного облегчения».

Над такими судьбами плачешь, как над близкими, и всякий раз с обидой выставляешь счёт жизни: что же ты, жестокая, попускаешь насильникам и нечестивцам, которые обездоливают таких честных и чистых людей?

Почему же и все мы, любовавшиеся ими, равнодушно отпустили их до времени в миры иные, хотя они могли бы греть нашу жизнь и дальше. Ведь Россия-то из них состоит, а не из тех, проклинаемых многими, — те, посланцы князя тьмы, презираемая народом нечисть!

## Как «сочинители» картошку сажали

Начало девяностых годов было трудным временем для Распутина и в житейском смысле. Вспоминаю, как в иркутском издательстве «Письмена» готовилась к выпуску книга его публицистики «Россия: дни и времена». Средств, выделенных на это издание областным Комитетом по культуре, хватило только на типографские расходы. О достойном гонораре автору не могло быть и речи. Остались короткие письма той поры, которые решаюсь опубликовать как свидетельства о повседневной жизни девяностых.

11 февраля 1993 года.

«Дорогой Андрей!

Прости, что задержал с таким пустяком, как название<sup>[26]</sup>. Но всё кажется, что никому это сейчас не нужно — ни мы, ни книжки наши.

О твоём несчастье<sup>[27]</sup> узнал только недавно. Сочувствия опоздали, да и дело не в сочувствиях, а в той главной истине, которая выражается проще некуда: надо жить. В горе мы каждый один-одинёшенек, а в жизни можно держаться вместе.

С делами не торопись, пока не придёшь в себя. Но если дойдут до моей книжки руки — хорошо бы расположение статей и компоновку (I, II, III) оставить, как я указываю<sup>[28]</sup>.

Статью, которую собирался добавить, не сделал, весь последний месяц занятый болезнью.

Держись, Андрей. Жене поклон и те же слова. В. Распутин.

Р. С. Когда буду в Иркутске, не решаюсь предполагать. Впереди (буквально завтра) операция, а там — как Бог позволит. В. Р.».

Предположительно весна 1993 года.

«Андрей,

я пробежал тексты слишком наскоро<sup>[29]</sup>. Хорошо бы, если есть второй экземпляр, оставить его до моего возвращения. В. Распутин».

Ещё одна записочка Валентина Распутина касается готовившегося к выпуску в издательстве «Письмена» коллективного сборника избранных произведений прозаиков и поэтов области «Солнце в аистовом гнезде. Иркутские писатели — школьникам».

Предположительно лето 1993 года.

«Андрей,

оставляю тебе книжки для расклейки „Уроков...“<sup>[30]</sup>. Извини, что не расклеил сам, но дотянул до последнего часа и чуть не забыл. Попроси кого-нибудь из девочек, а я потом сочтусь. В. Распутин».

От тех времён остались воспоминания, в которых бытовая жуть фантастически перемешалась со смешными приключениями. Например. Взлетевшие цены на продовольствие заставили нашего брата перейти на «подножный корм». На одной из «сходок» писатели дружно решили взять участки и сажать картошку. Валентин Григорьевич присоединился ко всем. Мы с ним пошли за помощью к начальнику Управления сельского хозяйства Иркутской области. Хозяин кабинета радушно встретил Распутина и с ходу решил пустяшную для него задачу: включил писателей в список управленцев, тоже решивших взять участки. А уж для его подчинённых земля выделялась отлично удобренная и вблизи города. К тому же наш благодетель обещал, что писателей, как и сотрудников Управления, на поле будут доставлять ведомственными машинами. И семена для посадки подвезут, и урожай доставят каждому на дом, и пропалывать да окучивать картошку свозят на автобусе.

И вот ранней осенью мы сидим на мешках, затаренных картофелем (а урожай выдался отменный!), ждём, когда до нас дойдёт очередь грузиться на управленческую машину. И только неугомонная Эля, завхоз нашего Дома литераторов, суетится:

— Неужели мы будем ждать дотемна? Я пойду к распорядителю, попрошу, чтобы нас отвезли в первую очередь!

— Ну, сходи, сходи, вид у тебя представительный, — смеясь, говорит ей Распутин.

Эля направляется к дороге, где уже стоит небольшая колонна грузовиков и автобусов и где, по её расчёту, должен быть «распорядитель». Через несколько минут она возвращается с видом триумфатора:

— Договорилась, сейчас подъедут! — и обращаясь к Распутину: — Правда, пришлось козырнуть вашим именем, Валентин Григорьевич.

— И как же ты козырнула?

— А я сказала: «Отвезите писателей в первую очередь. Не может же Валентин Григорьевич Распутин быть в вашей очереди последним!»

— Не по-божески, конечно, но что с тобой поделаешь?.. — ответил он примирительно и добавил: — Тут мне рассказывали, как один наш прозаик отправлял из дачного посёлка родственника. Оба пришли на остановку «под градусами». Автобус был последним. Дачников у машины столпилось много. Прозаик толкал вперёд своего гостя и кричал: «Товарищи, товарищи, давайте посадим сначала Валентина Распутина, а уж потом — сами!..»

Под смех кто-то спросил Валентина Григорьевича, вправду ли был ещё и такой случай: будто бы он пришёл к главному врачу, занял очередь и сел в сторонке. Три-четыре старушки, ожидавшие приёма,

перешли на шёпот. Одна из них спросила на ухо соседку:

— Это, кажется, Распутин?

— Да что вы? — прошелестела та. — Будет Распутин сидеть в очереди! Стоит ему позвонить врачу — его встретят и проводят. Нет, это не он!..

Рассказчик переспросил:

— Было такое?

— Наверно, было, — пожал плечами Валентин Григорьевич. — Не все же сочинители, как мы...

В моей библиотеке на одной из книг писателя остался автограф, напоминающий о рассказанной эпопее: «Румянцевым Гале и Андрею. Как хорошо было, когда мы вместе учились и ещё — когда мы вместе копали картошку. Что-нибудь ещё бы вместе, чтобы жизнь не прошла. В. Распутин. 6.10.1996 г.».

## **Наперекор всему — «Сияние России»!**

Осенью 1994 года в Иркутске впервые прошёл праздник русской духовности и культуры «Сияние России». Это красочное торжество обязано своим рождением Валентину Григорьевичу. Он поделился замыслом — ежегодно проводить в областном центре праздник «Сияние России» — с епископом Иркутским и Ангарским (позже архиепископ, затем митрополит. — *А. Р.*) Вадимом и мэром города Борисом Александровичем Говориным.

Его Высокопреосвященство был человеком близким писателям-землякам. Он хорошо знал творчество многих из них, бывал на встречах в областном Доме литераторов. Высокочтимый духовный пастырь, он завораживал страстными проповедями. Среди его многолетних благих дел в Восточной Сибири были и восстановление десятка разрушенных храмов, и открытие православной женской гимназии, и помощь в создании интересного сценического коллектива — Театра русской народной драмы. Владыка постоянно благословлял совместные начинания епархии, писательской организации, благотворительных фондов.

Подлинным патриотом края проявил себя и Б. Говорин. К тому времени он уже несколько лет руководил администрацией города и, коренной иркутянин, инженер-энергетик по образованию, сделал немало для того, чтобы столица Приангарья выглядела истинным культурным центром региона. Реставрировались театры и музеи, в зданиях, украшающих Иркутск, размещались вузы, библиотеки, творческие союзы писателей, художников, архитекторов.

Оба — владыка и мэр города — поддержали предложение писателя.

«Сияние России» — празднику с таким названием нужно соответствовать. Было решено приглашать на встречи с иркутянами известных в стране православных деятелей, философов, писателей, выдающихся артистов, даже целые коллективы — хоры и ансамбли. И отвести для встреч и концертов целую неделю. Выбрали начало октября, когда закончены работы на дачах, отпуска в театрах и филармонии, а трудовой люд вернулся в город после отдыха вблизи или вдалеке. Организация праздника требовала немалых средств, и администрация города находила их. А каких именно гостей нужно пригласить на праздник — это решал Распутин.

За два десятилетия многие знаменитости побывали на празднике в Иркутске. Из австралийского Сиднея приезжал оперный певец Александр Шахматов, русский по крови и глубоко православный по духу. Любимицами сибиряков стали подлинно народные певицы Татьяна Петрова и Евгения Смольянинова. О своих фильмах рассказывал режиссёр Николай Бурляев, о ролях в кино — Василий Лановой и Александр Михайлов. Из глубины веков принёс церковные распевы выступавший в городе на Ангаре хор Свято-Данилова монастыря. Словно бы у Тараса Бульбы и его побратимов занял богатырские, возвысившие русскую душу песни Кубанский казачий народный хор и высек слёзы у многих зрителей в огромном зале Иркутского музыкального театра. Толпы людей собирались в залах областной и городских библиотек, Восточно-Сибирского научного центра, сельских домов культуры послушать Василия Белова, Юрия Кузнецова, Владимира Крупина, Станислава Куняева, Владимира Личутина, Александра Проханова.

«Лицо» праздника определялось постепенно. После того как мэр города Борис Говорин был избран



губернатором, праздник стал областным. Мне, как руководителю писательской организации, хотелось, чтобы наши поэты и прозаики принимали участие во встречах с земляками, чувствовали себя хозяевами этого «смотре» разнообразных талантов. В каждую группу, отправлявшуюся в городскую или сельскую аудиторию, мы включали вместе с гостями из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России иркутских писателей. И Валентин Григорьевич всячески содействовал этому.

У меня хранится несколько его записок того времени. Приведу одну из них:

29 августа 1995 года.

«Андрей,

свяжись, пожалуйста, сразу же с Домбровской С. И.

[31] Она уже готовит для печати окончательную программу праздника, хотелось бы, чтобы ты на неё взглянул. В. Распутин».

Об атмосфере праздника подробно и живо писали иркутские газеты. А о впечатлениях, оставшихся после встреч с сибиряками, — сами гости в благодарных отзывах и воспоминаниях. И каждый автор прежде всего говорил о Распутине.

Прозаик Александр Сегень отозвался в газете «Российский писатель»: «В иркутском аэропорту наш „московский десант“ встречал Валентин Григорьевич со своими друзьями. Его сердечность стала камертоном всех других встреч с любителями литературы в городах и сёлах области. Мне эта поездка запала в душу на всю жизнь, подарила радость открытия заповедного и богатырского края, душевных и отзывчивых людей. Распутин опекал каждого из нас. Там я заново открыл для себя сокровенные русские черты его героев...»

Александр Щербаков, поэт и прозаик из Красноярска, которого мы считали своим, как выразился

Распутин, «тутошним», написал о встречах в Иркутске: «...в 2009-м Валентин Григорьевич пригласил меня на яркий иркутский Праздник русской духовности и культуры „Сияние России“, основателем и душой которого он был на протяжении двух десятков лет. И мне довелось общаться с ним целую неделю на встречах с читателями, местными писателями, на приёмах у зам губернатора и министров. Но однажды он пожелал побеседовать со мною отдельно. Пришёл в штаб праздника, работавший в гостинице, пригласил меня, и мы проговорили с ним с глазу на глаз около часа. Я понимал, что его интересовала не столько моя персона, сколько жизнь города на Енисее, где начался его литературный путь. И я, как смог, постарался удовлетворить его любопытство, перебрав имена и судьбы общих приятелей и знакомых. Валентин просил передать всем поклоны, а мне подарил свой прекрасно изданный фолиант „Земля у Байкала“ с тёплой надписью: „Саше Щербакову — дружески издавна и навсегда. Спасибо за приезд в Иркутск. В. Распутин. Окт. 2009“».

## **«Артельное дело» превыше всего**

Здесь к месту будет сказать о врождённом чувстве ответственности, присущем Валентину Григорьевичу: в каждое общее, «артельное» дело он вкладывал и энергию, и талант, и душевную отзывчивость.

Странички, которые хочу привести, подтвердят это. Весной 1995 года мы, писатели-иркутяне, пригласили из всех районов области литературно одарённых детей. Помню, дня три (а у ребят были каникулы) мы разбирали стихи, сказки, крохотные рассказы юных «писателей», давали им советы. В последний день определили триумфаторов творческого конкурса и подарили каждому из них стопочку книг с автографами. Во все стопочки я, тогда руководитель писательской организации, вложил новую книгу Валентина Распутина «Россия: дни и времена», предварительно попросив его написать ребятам свои пожелания. Я предполагал, что он напишет что-нибудь традиционное. Но, заглянув под обложку первой книги, прочитал такие строки, которые остановили бы внимание всякого. Такие слова не пишут, отбывая повинность. Такое говорят человеку близкому — о сокровенном, сто раз передуманном, выношенном. Это не могло кануть в Лету. Торопясь и волнуясь, я отыскал ручку и переписал пять коротких пожеланий — не известным школьникам, нет, а родным наследникам.

«Оксане Сапрыкиной, г. Тулун, школа № 4, 11 класс.

Если бы в литературу приходили только нравственные люди и писались только нравственные книги — разве таким был бы сегодня мир? Как бы хотелось, чтобы об этом помнили вы, проходящие...»

«Сергею Семёнову, профессиональное училище № 21, г. Тайшет.

Кто-то из великих сказал, что человек, берущийся за литературное перо, приводит в движение миры. И это так. Но: хорошо быть повелителем, однако нужно быть добрым повелителем. Желаю таковым тебе и стать».

«Марине Васильковой, Усть-Удинская средняя школа № 1, 7 класс.

Много профессий в жизни, но, быть может, самая трудная и зарабатывающая человека, но и самая-самая, приносящая утешение, — та, в которой ты пробуешь силы. Успехов тебе!»

«Виктору Котову, лицей г. Черемхово, 10 класс.

Дорогой юный коллега! Эта книга из трудных времён России — хотелось бы, чтобы в будущем с твоим участием была написана другая, о временах более счастливых, книга».

«Жене Михайловой, Усть-Удинская средняя школа № 2, 11 класс.

Надеюсь на встречу на страницах общей книги. И как знать! — может быть, скоро. Удачи тебе!»

В родном городе у Валентина Григорьевича не выпадало спокойных дней. Он был всем нужен: то у железнодорожников, строителей или милиционеров профессиональный праздник, и они хотели бы видеть в этот день у себя знаменитого писателя; то администрация Иркутска проводит День семьи и приглашает Распутина сказать сердечные слова многодетным родителям, то третье, пятое, десятое, и всюду одно: придите, пожалуйста, ваше слово запомнят все! И всегда в таких случаях поражали душевная тонкость Распутина, его скромность в любой житейской обыденности. Он мог попросить разрешение провести деловую встречу с иностранным писателем, к примеру, в Доме литераторов. Думалось: какое разрешение, это же писательский дом, только здесь и надо вести творческие беседы! Но Распутин поступал так, как

привык. В подтверждение этому — ещё одна записка писателя:

6 мая 1995 года.

«Андрей Григорьевич,

извини, что не был на праздновании<sup>[32]</sup>, я совсем забыл, что обещал этот день Хайте<sup>[33]</sup>, а они напомнили.

Кроме извинения есть и просьба — позволить 11 мая собраться у нас наверху<sup>[34]</sup> Конгрессу русских общин — 15-20 человек. Это в 17 часов. Руководит конгрессом Р. К. Саляев<sup>[35]</sup>, я тоже там буду. В. Распутин».

Уже приходилось сетовать на то, что люди, встречавшиеся или дружившие с Валентином Григорьевичем, пока не написали заметок о житейском общении с ним. Эти воспоминания могли бы стать правдивыми свидетельствами, своего рода оберегами на случай поздних выдумок и поклёпов разных лукавцев.

# **Глава девятнадцатая**

## **УКРЕПИТЬ ДУШИ**

## С больной головы на здоровую?

Немалому числу авторов всякого рода поклёпов в начале девяностых годов не стоило бы удивляться. Это было их время — и в политике, и в общественной жизни, и в литературе. Но больно было видеть, что новоявленным «трибунам демократии» подставили плечо и некоторые достойные уважения художники. Среди этих «примкнувших» оказался и Виктор Петрович Астафьев. Он поставил свою подпись под обращением, авторы которого призывали правительство расправиться с парламентом и всеми недовольными курсом Ельцина. Это обращение (названное по количеству подписантов «Письмом 42-х») было опубликовано 5 октября 1993 года в «Известиях» под заголовком «Писатели требуют от правительства решительных действий», когда эти «решительные действия», собственно, уже сотрясали Москву — 4 октября начался обстрел Белого дома, где заседали парламентарии...

В письмах тех лет, ныне опубликованных, Виктор Петрович не стеснялся говорить такое:

«Народ становится всё хуже и подлей, особенно наш, полусельский-полугородской — междомок имя ему». «Совсем народишко наш шпаной и оглоедом становится. Горлохват и вор — главное действующее лицо у нас». «Народа уже нет, а есть сообщество полудиких людей, щипачей, лжецов, богоотступников... продавших землю и волю свою...» «Носом, как котят слепых, тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слёзы — иначе ничего от нашего брата не добьёшься...»

А уж о прежних, советских, властителях уважаемый писатель не находил никаких иных определений, кроме как «фашисты-коммунисты», «большевистские

выкормыши», «главные преступники всечеловеческой, а не только нашей истории» и т. д. и т. п. Но почему-то Виктор Петрович с особым пиететом принимал у себя в Овсянке выкормыша «фашистов-коммунистов», вчерашнего члена ЦК компартии, устроившего государственный переворот, а позже расстрелявшего здание парламента с сотнями находившихся в нём людей. Почему-то он ни разу не возмутился шкурными повадками той своры, которая окружила трон президента. И почему-то в те годы, которые стоили стране многомиллионной убыли населения, писатель не произнёс ни одного слова возмущения.

Внимательный читатель мог удивиться и метаморфозе, случившейся с прозаиком за каких-то двенадцать — пятнадцать лет. Как мы помним, в предисловии к распутинской повести «Живи и помни» Виктор Астафьев писал в 1978 году: «...в беде, в кручине, в самые тяжкие дни и испытания место твоё с твоим народом, всякое отступничество... оборачивается ещё большим горем для твоей Родины и народа, а стало быть, и для тебя».

Возникает невольный вопрос: как же эти давние представления о родном народе связать с поздними злыми суждениями? С одной стороны: «в беде, в кручине место твоё с твоим народом». А с другой стороны: если твой народ — это «сообщество полудиких людей, щипачей, лжецов, богоотступников, продавших землю и волю свою», если он — «межедомок, шпана и оглоед, горлохват и вор», то может ли быть «твое место с твоим народом»?

Какую злую шутку сыграла с Виктором Петровичем «смена вех»!

Удивительно ли, что писатели младшего поколения в годы ельцинизма охладели к Астафьеву: слишком уж резко бросалось в глаза его стремление переложить всю вину за беды страны с больной головы на здоровую.



Не мог согласиться с выпадами Виктора Петровича и Распутин. Словно споря с ним, Валентин Григорьевич писал в 1999 году в статье «Сколько же мы будем ещё запрягать»:

«У нас не только нет цельной науки о нашем народе, но и взгляды на него настолько разные и порой противоречивые, будто мы свалились с луны, а не вышли из его недр. Загадочная русская душа до сих пор представляет тайну не для одних лишь иностранцев, усаживающих её под развесистую клюкву, но и для нас, судящих о ней с пространной приблизительностью. Вот уже два века, начиная с Радищева и Чаадаева и заканчивая нашими современниками как из левого, так и из правого лагерей, русский человек никак в себя не укладывается. Разноречивые суждения о нём всем нам хорошо знакомы. Для одних он существо безвольное, склоняющее свою выю под любое ярмо, нетрезвое, недалёкое и т. д. И не объясняется этими первыми, как такое пьяное и „растительное“, малоподвижное во всех отношениях существо построило империю в шестую часть суши, прошло победными парадами в Варшаве и Вене, Париже и Берлине, создало могучую индустрию и могучую науку и первым полетело в космос. Вторые обращают внимание как раз на это, на могучую деятельность русского человека, и обходят молчанием периоды его затишья, вялости и анархии. Третьи, чтобы как-то согласовать те и другие начала, предлагают теорию затухания наций, по которой выходит, что русские сейчас и находятся в периоде такого угасания. Да, были, мол, времена великих подвигов и побед, но тысячелетний срок, отпускаемый историей для активной жизни наций, миновал, наступила пора органической старости».

И эту теорию «третьих» опровергает писатель, напоминая о Поле Куликовом шестисотлетней давности, и об ополчении Минина и Пожарского, очистившем

Москву от поляков четыреста лет назад, и о Бородине, где закатилась слава Наполеона, и о Великой Отечественной войне XX века, в которой, по слову прозаика, «едва ли не половину войска составляли мужики из подъярёмной колхозной деревни, которую не перестают сравнивать с крепостничеством».

В лицо русофобам забугорным и недоброжелателям своим, отечественным, слушающим лукавых «обличителей», Распутин твёрдо говорил:

«Так и мы сегодня должны сказать, что народ — это коренная порода нации, неизъязвлённая её часть, трудящаяся, говорящая на родном языке, хранящая свою самобытность, несущая Россию в сердце своём и душе. Если бы случилось так, что не стало России, он бы, этот народ её, долго ещё, десятилетия и века спустя, ходил по пустынным землям и чужим городам и неутешно выкликал её, собирал бы по крупицам и обломкам её остов.

Он жив, этот народ, и долготерпение его не следует принимать за отсутствие. Он не хочет больше ошибаться... Он ничего не забывает: народ — не только теперешнее поколение живущих, но и поколение прошлых, сполна познавших опыт минувшего, но и поколение будущих, вопрошающих о надежде. В этих трёх ипостасях — прошлого, настоящего и будущего — только и можно сполна познать правду, которой суждено выстоять России.

Есть надежда, что недалёк тот час, когда, подхватив гагаринскую готовность к величайшему из подвигов, вновь на всю Вселенную прозвучит это слово: поехали!..»

Думается, эта вера и поддерживала Распутина.

Какими были эти месяцы и годы? Недруги насмеялись над патриотизмом как «прибежищем негодяев», слабые духом отходили в сторонку, приспособившиеся к новой общественной погоде

рядились в соответствующие одежды, «миротворцы» тщетно пытались мирить либералов и противостоящих им. Сегодня странно читать опубликованное письмо Валентина Курбатова Виктору Петровичу Астафьеву о своих попытках убедить Распутина отойти в сторону от тогдашней борьбы на том основании, что и единомышленники у него не те, и дело не сто́ит труда и страданий. Впрочем, вот строки из его письма от 16 декабря 1992 года:

«Виделся в Москве с Валентином Григорьевичем. Гнул своё, понуждая его выйти из ложно пользующих его организаций. Он обещал, но ещё сто раз передумает, связанный ложным чувством общего дела. Воли не хватает на разрыв, хотя когда они его связывали, они как раз сомневались мало и сейчас будут держать изо всех сил, зная, что лучшего знамени у них не будет, и уйдёт он — они окажутся только бойкими говорунами и искателями власти. Он и это знает. И всё-таки не уходит, боясь, что их сейчас начнут преследовать, а он окажется в стороне. Непременно надо со всеми пострадать, хотя бы и не разделяя их правды. Чувствует себя тяжело. Спрашиваю: „Что же вообще-то делаешь? Ну, если не пишешь, то хоть думаешь о чём?“ — „Ни о чём не думаю. Коротаю жизнь“. И так тяжело сказал, что я заткнулся и больше не лез. Сейчас он в Иркутске. Дал бы Бог, чтобы душа согрелась».

В целом понять тревогу критика, — что художник растрчивает свой дар на посторонние, «суетные» вещи, — можно. Что же касается конкретных дел, то, думается, Курбатов во многом выдавал кажущееся за действительное. Распутин обещал выйти из каких-то организаций, использующих его? С такими организациями он изначально не имел дела. И не такой Валентин Григорьевич человек, чтобы сегодня входить в какую-то организацию, а завтра выходить из неё.

«Воли не хватает на разрыв»? Это у других писателей воли (или своеволия) было с избытком, чтобы выйти, например, из редколлегии журнала «Наш современник» и побрататься с подписантами расстрельного «Письма 42-х». А Распутин неизменно сохранял верность тому, что он утверждал вчера и утверждает сегодня. С «бойкими говорунами» в Союзе писателей он, возможно, и оказывался рядом, но с «искателями власти» — никогда. «Знает, что лучшего знамени у них, кроме него, не будет — и не уходит»? Это уже о каком-то другом человеке, а не о Распутине.

Что касается слов Распутина о том, будто он ничего не пишет, то это скорее голос скромности, всегдашний голос Валентина Григорьевича. В 1994-м, то есть спустя год с небольшим после письма Курбатова, издательство «Письмена» (созданное мной незадолго до этого в Иркутске) выпустило упоминаемую выше книгу писателя «Россия: дни и времена». В ней, наряду с уже публиковавшимися очерками о Сергии Радонежском, о религиозном расколе в России, о 1000-летию Крещения Руси, были напечатаны новые публицистические работы Распутина, глубокие по осмыслению гибельного времени и обжигающе страстные: «Россия уходит у нас из-под ног», «После событий, накануне событий», «Так создадим же течение встречное», «Что дальше, братья-славяне?» и др. А через три года, к шестидесятилетию писателя, мы вместе с московским издательством «Голос» выпустили сборник новых рассказов Распутина «В ту же землю» — книгу, которую по художественной силе, высокой скорби и любви к разорённому отечеству и сравнить в современной русской литературе не с чем.

## Истины ради

Ещё несколько слов о житейском и творческом сближении и отторжении двух выдающихся художников — Виктора Астафьева и Валентина Распутина. Меньше всего хотелось бы судить об этом легковесно: вот, мол, до девяностого года оба душевно общались, ездили друг к другу, во всех начинаниях — и писательских, и общественных — были заодно, с любовью и печатно и устно отзывались о новых произведениях друг друга, но пришло судьбоносное для России время — и разошлись, потому что взглянули на перемены каждый по-своему и оценили совсем по-разному. Нет, здесь необходимо попытаться постигнуть духовный опыт того и другого, пройденный ими путь, понимание каждым высшей правды или хотя бы подступиться к этому...

То, что Виктор Петрович до девяностых годов любовался талантом Распутина, высоко ценил его, видно из одного (но не единственного) по-отцовски пронзительного астафьевского признания:

«Я же горжусь тем, что моя родная Сибирь, реализуя свой могучий потенциал, вложила всё лучшее, что в нём накопилось, в достойное дитя своё, во вместительное и мужественное сердце. Насколько хватит его, этого сердца, тихо любящего и могуче бьющегося в борьбе за лучшее в нас, за чистоту душ и помыслов наших, за спасение земли нашей, в особенности за родной Сибирский край? Хотелось бы, чтоб хватило сил и сердца большого художника как можно надольше. Всегда помню и никогда уже не забуду его глаза. Что-то недоречённое, невыраженное таится в глубине их. Какая-то постоянная, бездонная грусть светится во взгляде, будто постиг он или приблизился к постижению

неведомого ещё людям страдания и готов пострадать за них и покаяться, облегчить их долю и жизнь, принявши боль земную, все тяготы человеческие на себя».

Валентин Курбатов, который сохранял с Астафьевым дружбу до самой его кончины в 2001 году, заметил в записках, относящихся к июлю 2009-го:

«Вечером говорили с Валентином (Распутиным. — А. Р.) и о Викторе Петровиче. Я объясняю, почему отказался писать о нём в серии „ЖЗЛ“. Не подыму — столько в нём сошлось: зло и свет, счастье и честолюбие, детство и ожесточение. Валентин хвалит Носова: надо было жить, как Носов, — вот цельность: что дальше, то чище и светлее. Я ему: вот и с тебя только икону писать. А там, у Астафьева-то — жизнь, там клубок, там человек, и если его так прочесть (как человека во всей греховности и свете), то всякий, глядя на эту страшную полноту и бесстрашие, что-то начнёт понимать и в себе — что можно, что нельзя. Что мы воспитаны старым механизмом литературы и „подчищенным“ характером, а вот теперь человек выказал себя без оглядки (только что вышла у Сапронова смутившая многих обширная переписка Астафьева „Нет мне ответа...“), и его надо увидеть во всей „высказанности“ — и понять, и простить. Или не простить, но знать за собой право этого непростения и обязанность преодолеть это в себе и в нём, благодаря его за ужас примера, словно тот в жертву себя принёс, чтобы ты мог глядеть на него „сверху“, не боялся быть человеком, чтобы потом ты боялся быть им, потому что там бездна, для „выравнивания“ или „засыпания“ которой приходил Христос».

В октябре трагического 1993 года Курбатов честно написал Астафьеву:

«Сразу (чтобы не мучиться самым тяжёлым) — я был очень расстроен, увидев Вашу подпись под

категорическим призывом Черниченко и Нуйкина „разогнать, остановить, прекратить“<sup>[36]</sup>. Так русские литераторы ещё не разговаривали. Это уж, простите, от холопства, которое успело процвести в наших новодельных демократах, от привычки решать вопросы райкомовскими способами. Судя по тому, что Ваша подпись вопреки алфавитным ранжирам явилась за г-ном Чулаки, Вас „приписали“ простой телефонной просьбой. Но понимание случайности не избавляет от горечи. Хотел не говорить об этом, но осталась бы заноза умолчания, так что уж лучше начистоту».

Астафьев никак не отреагировал на этот упрёк в следующих письмах. Но в феврале 1994 года уже без прежнего раздражения, окрашивавшего его жестокие слова о русском народе, высказался в письме Курбатову о газетном выступлении Распутина на эту тему:

«Валентин Григорьевич вон в „Правде“ обвинил меня в том, что я оторвался от народа. От какого? Что касается „моего народа“, то лишь в прошлом году я был на восьми похоронах, в том числе и тёти Дуни Федорихи, которую ты видел. Двоих из восьми сбило машинами, остальные тоже по-всякому кончили свои дни, только старухи умирают своей смертью. Я бы рад от этого народа оторваться, да куда мне? Сил не хватит. И поздно, и места мне в другом месте нету, да и ведь страдаю я муками этого народа. Ну, ничего, чувство моё сильнее яви, и я закончу роман, а тогда уж судите меня, подсудимые и больные, как Вам хочется».

Это благородное признание страдающего сердца. И Распутин слышал его, не потому, что кто-то прочитал ему эти строки, а потому, что хорошо представлял себе нравственное самочувствие старшего собрата в жуткие, убийственные времена. И помнил творческие заслуги Астафьева и не позволял преуменьшать их. Именно в

1994 году Валентин Григорьевич говорил с трибуны писательского съезда:

«...ещё десять лет назад не было в России более сильных людей, чем писатели. Общество с удовольствием позволяло себе смеяться над политическими вождями, не доверяло учёным, с тревогой наблюдало явившееся из „образованщины“ национальное перерождение технической интеллигенции. Но кто, вспомним, позволил бы себе усомниться в искренности Фёдора Абрамова, Сергея Залыгина, Юрия Бондарева, Виктора Астафьева, Василия Белова и других, бывших воистину народными писателями, к слову которых жадно прислушивались? Доверие и уважение к ним заставляло считаться с ними и на верхах».

Вместе с тем продолжение этой речи, может быть, вызвано, помимо прочего, и резкими высказываниями Виктора Петровича о народе:

«...без проклятий, срывающихся из уст нашего брата, не обходится теперь. Упаси нас, Господи, когда-нибудь повторить их, какие бы картины ни готовила нам судьба. Ибо откуда же у самого „дурного“ в мире народа самое чистое слово и самый нежный звук, откуда у него, духовно нищего, великое созвездие святых? Да и откуда мы сами, как не из души и тела его, из его страданий и язв? Это „апрельская“ (читай либеральная — от названия общества „Апрель“. — *А. Р.*) литература может сослаться на своё инородное происхождение, оттого и невыносим ей русский дух, а наш-то брат с какой стати кидается на то, из чего он вылепился?»

Девяностые годы для Астафьева — время невероятной, надсадной работы над романом «Прокляты и убиты». А между этим главным делом он успевал ещё написать то повесть, то рассказ, то страницы «Затесей». Но и тогда находил возможность



прочитать книжную или журнальную новинку. Впечатление такое, что за работой близких ему писателей (пусть близких вчера!) он следил неотрывно. Во всяком случае, Распутина не упускал из виду. И никогда неприятие иных общественных поступков или публицистических работ младшего собрата не влияло на его оценку новых произведений. Это был суд мастера, справедливый и честный. В ноябре 1995 года, например, он сообщал Курбатову: «Не знаю, писал ли я тебе, что ещё в Овсянке прочёл два рассказа Валентина в „Москве“ и порадовался, что он, как и Женя Носов, начал работать».

В июльском номере журнала были напечатаны рассказы «Женский разговор» и «По-соседски». Второй из них, «По-соседски», вошедший позже в цикл «Сеня едет», показался Астафьеву «чужим» по исполнению:

«...рассказ мне понравился лишь первый, а второй — не его рассказ. Дважды он ступал на „шукшинскую тропу“ — это в „Не могу“ и здесь вот, в борьбе с бутылками, и получается у него не хуже Шукшина, но хуже, чем у Распутина. Всё же Василий Макарович писал „по-киношному“ изобразительно, броско, смешно и, за малым исключением, неглубоко. Он потому и пошёл в „народ“, в переводы и нарасхват, что читать его можно и в трамвае, и в поезде, и на курорте, а лучший Валентин — это чтение трудное, к нему надо готовиться, очищаться маленько, может, как перед исповедью или перед трудной беседой... Надо взаимно понимать автору и читателю, что чтение сие — трудная работа и для читателя, хорошо подготовленного, крепко умеющего думать и сосредоточенно читать.

В „Современнике“ рассказ его ещё не читал — не попадает мне в руки „родной“ журнал (в апрельском номере „Нашего современника“ за тот год был напечатан рассказ Распутина „В больнице“. — А. Р.)».

Сейчас можно сказать, что между двумя писателями никогда не было вражды. Неприятие каких-то общественных позиций друг друга, противостояние твёрдых характеров — да, но не вражда. И посещение Распутиным вскоре после кончины Виктора Петровича его могилы и скорбная просьба к нему, ушедшему, о прощении — всё это примиряло двух великих сынов России, выбравших среди её бездорожья разные ориентиры, но одинаково послуживших ей своими бессмертными талантами.

## **Жупелы: один, два, три...**

В повествовании о жизни и творчестве писателя не хотелось бы для полноты картины обходить стороной ни претензий к нему «идейных» оппонентов, ни критики его общественных поступков, ни резкого неприятия его оценок важных событий. Не однажды писатель выслушивал, например, обвинения в «антисемитизме» и даже «фашизме».

Валентин Григорьевич не отвечал на эти наскоки как на личные обвинения. Он стремился, как говорится, «зреть в корень» — объяснить читателю, почему клеветники России вытаскивают на свет жупел фашизма и стремятся прилепить маску «наци» каждому патриотически мыслящему русскому человеку. В беседе с журналистом «Правды» Виктором Кожемяко он говорил:

«Истинные преступники не могут не понимать, что неслыханное в мире ограбление в считанные годы богатейшей страны, глумление над святынями, над историей, над самим русским именем способны вызвать ущемлённое чувство национального достоинства, требующее действия. Это неизбежная реакция, так было, так будет. Но и остановиться преступники не в состоянии, слишком преуспели в своём ремесле грабежа, слишком зарвались, слишком много поставлено на карту. Наглость и страх диктуют тактику — только вперёд! Ущемлённое чувство национального достоинства после Версаля и итогов Первой мировой войны явилось в Германии питательной средой для зарождения фашизма. Россия сегодня пострадала сильнее, поражение её унижительней, обида должна быть больше — вроде бы все необходимые условия для вынашивания фашизма. Ну и подсунуть ей это

чудовище, и завопить на весь мир об его опасности! Знают прекрасно, что здесь совсем другой народ — начисто лишённый чувства превосходства, незаносчивый, не способный к муштре, непритязательный, а теперь ещё и с ослабленной волей. Знают, но на это и расчёт: чем наглей обвинения, тем противней от них отмываться. Чтобы в „этой“ стране всё оставалось на своих местах, образ побеждённого, в сравнении с благородным ликом победителя, должен иметь самое страшное, самое отталкивающее выражение.

И пошло-поехало: всякое национальное действие, необходимое для дыхания, будь то культурное, духовное, гражданское шевеление, — непременно „наци“, окраска фашизма. Православная икона — „наци“, русский язык — „наци“, народная песня — „наци“. Истерично, напористо, злобно-вдохновенно — и беспрерывно».

Но возникал вопрос: почему клеветникам верят иные из читателей, почему даже представители власти не стесняются болтать об «угрозе русского фашизма»? Писатель и тут не уходит от ответа:

«Для меня, признаться, это самый трудный вопрос: почему верят? Почему себе, сердцу своему, атмосфере вокруг себя перестают доверять и готовы чуть ли не руки вверх при окрике „фашист“! Да, дурачат, да, владеют мощнейшими средствами для массового одурачивания, применяют новейшие технологии одурачивания... Но ведь и у телёнка есть чутьё, где волк и где собака. Да, русский человек оказался в изоляции от своих учителей, его сознание и душу развращают и убивают вот уже более десяти лет, но чутьё-то, чутьё-то, если не разумный и независимый взгляд!.. У нас в крови это всегда было — издали распознавать злодейство. Как можно верить киселёвым, доренкам и сванидзе, убеждающим русских в русском

фашизме! На них же, этих телеведущих, всё написано: как, почему и с какой целью. Они жируют на каждом скальпе „отстреленного“ в дикой, с их точки зрения, стране...

Но не больно-то, надо полагать, люди и верят. Иначе не нарастало бы сначала глухое, а теперь уже всё более открытое недовольство против „духов злобы“. Как не верят и подписантам из известной обоймы „творческой интеллигенции“, время от времени призывающим к расправе над нами. Народ на мякине не проведёшь. Визг, поднятый вокруг „русского фашизма“ и антисемитизма, неприличен, он сам выдаёт себя с головой. Будь действительно опасность фашизма, реакция должна бы быть серьёзней, как накануне Второй мировой войны. Тут и детектора лжи не надо, так видать. Опасность-то, кстати, есть, но с какой стороны — вот тут надо всматриваться зорче.

Под экономической разрухой, несмотря на огромные потери, мы выстояли, под нравственной разрухой выстояли, сопротивление нарастает. Ну так „русским фашизмом“ его по голове, русского человека, как контрольным выстрелом в затылок. „Цивилизаторы“ раз за разом спасают мир от смертельной опасности, которая исходит почему-то от самых обессиленных экономической блокадой и бомбардировками — от иракцев, от сербов... И вот теперь очередь России. Это закон хищников, уголовщины — добивай раненых, больных, измождённых, виноватых лишь в том, что они не признают свободы на поводке.

Десятки, сотни, должно быть, книг о „русском фашизме“ выходит сейчас по миру. В том числе и российских подданных. Тут в изобличителях, как повелось, на первых ролях перевёртыши. Бывший преподаватель Высшей партийной школы С. Кулешов ещё года четыре назад сочинил книжку под названием „Звезда и свастика“, где как специалист, трудившийся

во укрепление звезды, говорит об однозначности этих двух символов двух тоталитарных систем и справедливости понятия „красно-коричневые“. Таким образом, если судить по этой литературе, фашизм в России, как ни верти, был неминуем. Ведутся розыски фашизма в нашей истории, единичное возводится в общее, уже без обиняков говорят о дурной генетике. Вы правы: чем ещё, как не заблаговременной подготовкой к санкциям, можно всё это объяснить?

А какой же фашист без антисемита? Это уж обязательно. Это как хлыст, которым нас приводят в чувство, чтобы мы не забывались и знали своё место в „новом порядке“».

Собеседник писателя Виктор Кожемяко воскликнул в связи с тем, что расхожий ярлык часто приклеивается именно к самому Распутину: «Как вы можете переносить такое? Как же сердце-то ваше выдерживает всё, что враги России обрушивают на вас?»

Тут уж и в самом деле не ответишь: мол, помогает бойцовская закалка. Тут нужны факты. Вот ответ Валентина Григорьевича на лживые обвинения и домыслы:

«Никакого врождённого антисемитизма у русских быть не может — если не принимать за антисемитизм их национальность. Когда евреи находятся на одном уровне жизни и отношений с русскими и другими, к ним не может быть и настороженности: вместе работаем, вместе мыкаем горе. В этих условиях, в условиях круговой разрухи, помощь друг другу естественна, она не имеет ничего общего с круговой поручкой, как на более высоких уровнях власти и влияния. Вот там, на более высоких уровнях, реваншизм, притом грубый, откровенный, налицо — словно один народ и создан для власти, а второй — для подчинения, один — судия, второй — подсудимый, один изначально несёт в себе победу, второй — поражение».

Так, видимо, решили «победители» в начале девяностых годов. Но продолжу цитирование:

«Когда шум умолк и дым рассеялся (уточню: от расстрелянного здания парламента. — *А. Р.*), прежнего государства уже не существовало, зато явлены были миру образы Березовского, Гусинского, Смоленского, Чубайса, Немцова и других, захвативших власть. Тут можно было бы привести множество циничных откровений по поводу этой победы, а также спеси и презрения к нашему народу. Кто же кого должен бояться? И разве неверно, что там, где кричат об антисемитизме, нужно искать русофобию, стремление к окончательной победе, чтобы и писка нашего не возникало...

Самые ненавистные в России образы, с которыми связано разграбление страны... Их хотя бы на время следовало куда-нибудь спрятать, не дразнить ими народ! Нет, безвылазно торчат на экранах, дают советы, сыпят соль на раны. Куда подевалась хвалёная осторожность и предусмотрительность евреев, их рассудительность и расчётливость?

Эх, если бы и впредь пришлось иметь дело с такими „фашистами“, как мы! Не закрывающими глаза на недостатки и пороки своего народа, замечающими таланты и достоинства других народов. Но ни в своём, ни в каком другом народе не согласимся мы с „избранностью“, с „выше всех“, с правом навязывать свою волю и вкусы, с особым счётом к миру за своё присутствие в нём...»

В Интернете часто злобно комментировалось каждое личное мнение Распутина. Вот пример:

«Валентин Распутин придерживается сталинистской позиции и считает её созвучной мнению народа». По этому поводу писатель высказался в беседе с тем же Виктором Кожемяко:

«Вот и запах Сталина не могут переносить. Но тут уж я оставляю иронию и напомню читателям, что, сколько бы ни ненавидела Сталина и на дух его не принимала нынешняя инославная „элита“, не следовало бы забывать ей, что в России не только ветераны, но и молодёжь относится к нему совсем по-иному.

И когда, напомню, выдвигались народом кандидатуры на „Имя России“ (всероссийский опрос, проведённый телевидением. — *А.Р.*), третье место после благоверного Александра Невского и П. А. Столыпина было отдано Иосифу Виссарионовичу, генералиссимусу Великой Отечественной. Мало для кого секрет, что занял-то он в действительности первое место, но на две позиции был сознательно отодвинут, чтобы „не дразнить гусей“, то есть не принимающих Сталина на дух граждан.

И когда наша недалёкая либеральная то ли элита, то ли шарашка, злобно ненавидящая Сталина, требовала, чтобы в юбилейные дни 65-летия Победы и духа Иосифа Виссарионовича нигде не было, не говоря уж о портретах вождя, она добилась этим только того, что и духа, и портретов будет гораздо больше, чем если бы она так нахально не выставляла свои ультиматумы фронтовикам да и всем нам.

И правильно: не лезьте в душу народную. Она вам неподвластна. Пора бы это понять».



## «Год выходит за пять...»

В марте 1995 года Валентин Григорьевич писал красноярскому журналисту Владимиру Зыкову о напастях, обрушившихся на него:

«Вернувшись из Москвы почти месяц назад, прежде всего поехал к матери в Братск, где она живёт у моей сестры и в 84 года чувствует себя всё хуже и хуже. А я уже и сам чувствую себя глубоким стариком. В последние года год выходил за пять. Приехал сейчас на Байкал в санаторий, куда раньше не раз уезжал поработать и где ещё узнают меня, — так узнают, всплескивая руками: „Вы ли это?“ Сказались пять операций под наркозом, моя былая беспутная жизнь, мой консерватизм по отношению к переменам и прочая... Не буду больше жаловаться, дело это невесёлое.

В Москве пока остаётся казённая квартира — пока до мая (видимо, как для депутата прежнего Верховного Совета. — *Уточнение В. Зыкова*). Держался за неё из-за дочери, которая нынче заканчивает консерваторию по специальности музыковед, вторая специальность — органист, но на работу консерватория приглашает в издательский отдел, там же в Москве. Сын у меня окончил Иркутский институт иностранных языков, отслужил в армии и теперь зарабатывает вместе с женой курсами английского языка.

Почти не пишу. То есть пишу, занимаюсь подёнщиной. В прошлом году вышел трёхтомник (издавали совместно „Молодая гвардия“ и „Вече“, но деньги были последнего), заплатили по старым понятиям копейки. И так всюду. Коммерческие издательства не хотят платить, некоммерческим платить нечем. В демократы не вышел — сам виноват.

Спасают изредка зарубежные журналы, заказывающие статьи. Я со своими взглядами для них — нечто экзотическое. Напечатают рядом с цивилизованным человеком меня, чтобы показать, какие экземпляры на Земле ещё остались, — читателю забавно. Скоро, пожалуй, будут показывать живьём из вольера, не говоря ни слова.

Красноярск стал слишком далеко, гораздо дальше Москвы. В прошлом году, едучи поездом, сошёл на перрон, наобещал встречавшим, что потом обязательно приеду, — и исчез. Ехало не повезло. Вместо Енисея отправился опять на Лену, да и то недалеко. Намеревался, собираясь продолжать книгу о Сибири, проплыть всю Лену, но на первом же (горном) этапе жестоко простудился, четырежды отлежал в больницах с двумя операциями и теперь уже никаких обещаний не даю. Надеюсь всё же, что встретимся ещё и на этом свете. Прости, письмо невесёлое, но уж так „наехало“... Да, встретил в конце января в Колонном зале на праздновании 60-летия Союза писателей Лилю Моисееву и Тамару Назарову. Легко узнаваемы, по-прежнему великодушны, особенно Лиля... В. Распутин».

А в ноябре того же года он вновь сообщает Владимиру Зыкову невесёлые новости:

«В августе хватил меня удар, вызванный, как потом выяснилось, всего-то спазмом мозгового сосуда, но меня он напугал. Только пришёл в себя — инсульт у матери, которая живёт у сестры в Братске. Пришлось ехать туда. С трудом „откачали“ мать, но она с той поры уже больше не поднимается».

Последние годы перед уходом Нина Ивановна очень тосковала по родной деревне. В предисловии «Откуда есть-пошли мои книги» писатель рассказывал:

«Лет десять мы с сестрой на лето привозили её в деревню, о которой она вздыхала всю зиму, а под весну в изнеможении и тоске умолкала, уставившись глазами

туда, в родные пределы и в родной дом. Она была по рождению не аталанской, отец привёз её с Ангары же, но верхней, — и вот как: мимо Аталанки и легла».

Многострадавшая матушка Валентина Григорьевича умерла 11 марта 1996 года и была похоронена в Братске (как выразился сын, «мимо Аталанки и легла»).

А полмесяца спустя угодил в больницу и сам писатель. Но находит время и силы послать в Красноярск поздравление: тамошнему издательству исполнилось 60 лет. В этом «доме книги» когда-то готовились к выпуску его первые сборники прозы. К тому же руководителем коллектива в новые времена стал Владимир Зыков. Кроме поздравительной открытки ему адресовалось письмо:

«Ваше издательство уже тем достойно уважения (и удивления), что оно живо и не скурвилось. Наше (иркутское. — А. Р.) решило в своё время расцвести на нечистотах и теперь вынуждено распустить всех редакторов и ничего, кроме двух-трёх заказных книг, произвести не в состоянии... Я живу подёнщиной, по большей части статьями. Книги нынче не кормят. Издавать их можно только от сытости. Я потихоньку пишу и буду писать прозу, но, как мне кажется, пишу для близкого круга друзей. Но это моя судьба. Бог с ней! А издательству подниматься в рост и печатать лучшее и необходимое надо. Это мы можем уходить. Издательство не может. Сейчас опять начинают писать. Опять идут рукописи, и я вижу, что русская литература жива. Хотя многие, в том числе и известные, поддались на наживки, с помощью которых принято подцеплять писателей.

Спасибо за память. Твой В. Распутин».

## Сибирская даль с альпийских гор

Французский департамент Верхняя Савойя, расположенный на побережье Женевского озера (там его называют озером Леман), тесно сотрудничал с Иркутской областью в экономике, образовании, медицине, спорте. Осенью 1997 года французы решили провести в своём сказочном краю, предгорьях Альп, Дни Байкала и пригласили на этот праздник большую группу сибиряков — врачей, преподавателей высшей школы, музыкантов, юных спортсменов, даже модельера с образцами оригинальной сибирской одежды. Иркутских писателей представлял я. Вот тогда-то два издательства — «Алидадес» из Верхней Савойи во главе с госполином Эммануэлем Малербэ и «Письмена» (которым, напомним, руководил я) — договорились обменяться изданием сборников поэзии и прозы писателей Восточной Сибири на французском языке и таких же сборников современных французских авторов на русском языке. Малербэ, большой поклонник и пропагандист русской литературы, к тому времени уже издал книги Н. Гоголя и Н. Лескова, С. Есенина и А. Ахматовой, А. Блока и О. Мандельштама, других наших классиков.

Валентин Григорьевич обратился к организаторам Дней Байкала в Верхней Савойе с приветственным письмом, которое я и привёз во Францию. Оно было зачитано на торжественном открытии акции. Приведу текст письма, которое не публиковалось в России (копия его сохранилась в моём архиве):

«Я благодарен за приглашение на Дни Байкала в Верхней Савойе. Впрочем, прежде-то всего вас нужно благодарить за то, что вы понимаете великое значение нашего славного моря для всего человечества, и за то,

что вы берёте на себя часть нашей боли за его судьбу. Байкал делает нас таким образом и ближе, и родней.

К сожалению, жизнь моя складывается так, что я не смогу в этом году приехать в ваши прекрасные края. Однако от души желаю плодотворного обсуждения самых важных вопросов современности — вопросов культуры, нравственности, экологии и сотрудничества в широком смысле.

Бог ведает, где собираются добрые и честные люди. Им и помогает Он найти те слова, которые являются истиной, и подводит к тем делам, которых жаждет человечество в надежде свернуть с ложного пути.

В эти дни савойское солнышко обогреет и Байкал, и меня. Успехов вам!

Валентин Распутин. 14 октября 1997 г.».

Уже к 1999 году поэтический сборник сибиряков «Кедровый посох» на французском языке вышел на родине Бодлера, а книга стихов французских поэтов под примечательным названием «Звёздный дождь» на русском языке — на земле Распутина. Специально акцентирую внимание на последних словах, потому что Эммануэль Малербэ очень гордился тем, что произведения его земляков вышли в свет на родине Валентина Григорьевича. Вслед за сборниками стихов наш французский друг выпустил в своём издательстве книгу рассказов иркутских писателей «Здесь, на родной земле». Её украшением стали новеллы В. Распутина «Видение» и «Наташа», несколько прозаических произведений А. Вампилова.

Литературные связи двух регионов дали повод нам с Валентином Григорьевичем и молодым прозаиком Александром Семёновым осенью 1999 года поехать во Францию и Швейцарию по приглашению издательства «Алидадес» и Общества российско-французской дружбы. В течение недели мы выступали в высших и средних учебных заведениях, культурных центрах,

библиотеках, крупных книжных магазинах Гренобля, Анси, Эвиана, Аленжа, Женевы, Лозанны. В Женеве приняли участие в большой радиопередаче. В конце поездки господин Малербэ вручил нам более десятка публикаций во французских и швейцарских газетах.

Корреспондент французской газеты «Дефине Либерте» рассказал читателям об одной из встреч:

«Русские писатели были приняты в приятном зале Академии Шабле. Организаторы встречи отложили в сторону „протокол“ и расположили своих гостей в кругу, создав таким образом доверительную атмосферу... Валентин Распутин с воодушевлением говорил о родной Сибири. Он вспомнил: „Когда я приехал в первый раз на Байкал, мне сказали, что на монете, брошенной на глубине в несколько метров, можно прочесть надпись. Я не поверил. Но затем сам убедился в этом. Что касается воздуха, то можно легко различить противоположный берег Байкала, удалённый на расстояние сорок километров. На самом деле не бывает бедной природы, есть бедные люди, которые не умеют ценить природу“.

Оказалось, что Александр Семёнов участвовал в переводе книги Жюль Верна „Михаил Строгов“, вышедшей в Иркутске в начале девяностых годов. В связи с этим Валентин Распутин заметил, что он „был удивлён описанием Сибири, представленным Жюлем Верном: в романе рассказывалось, например, о ключах тёплой воды, бьющих со дна озера Байкал. Позже я нашёл упоминание об этом феномене в другой книге и был удивлён, как Жюль Верн смог достоверно описать Байкал, не приезжая туда“.

На вопрос о будущем русской литературы писатели заявили: „Она будет жить до тех пор, пока жива Россия“. Сейчас страну захлестнула псевдокультура. Настоящей литературе трудно прийти к читателю. Вспоминая цензуру предшествующего режима, гости

посчитали необходимым подчеркнуть, что писатели тем не менее не молчали: „Была цензура, но была и литература. Сегодня нет цензуры, а где настоящая литература?“

К счастью, этот вечер стал хорошим доказательством того, что люди, страстно увлечённые книгой, не поддаются расхожим мнениям. А что касается будущего русской литературы, то она вне опасности».

Приведу несколько отзывов французских и швейцарских газет о двух иркутских книгах.

«Мы открываем в этих книгах реальность огромного пространства, которое населяет не один десяток народов и этносов».

«...авторы сборника „Кедровый посох“ впечатляют своим вдохновением и решительным голосом в собрании столь же замечательном, сколь и разнообразном, прекрасно переведённом Кристианом Музом».

«...удивительное путешествие по Восточной Сибири, предложенное писателями из Иркутска, меняет как наши литературные привычки, так и стереотипный взгляд на далёкий от Франции край».

## Глазами Жоржа Нива

Во время поездки мы встретились с известным французским исследователем русской литературы профессором Женевского университета Жоржем Нива. Он — один из авторов капитального многотомного издания «История русской литературы», ставшего учебным пособием для студентов университетов, в которых готовят русистов. Жорж Нива переводил на французский язык произведения Пушкина, Гоголя, Цветаевой, Белого, Солженицына. Для названной «Истории» он написал очерк о творчестве Валентина Распутина. Мне удалось ещё во Франции прочитать эту работу в переводе на русский язык, и я попросил у автора разрешение напечатать её в Иркутске. Договорились, что переводчики Ольга и Клаудио Турко тщательно проверят текст и пошлют его Распутину в Москву.

Позже я получил письмо от Валентина Григорьевича.

«24 ноября 1999 года.

Андрей,

переправляю тебе пришедшую по почте страницу женевской газеты „Ze temps“ („Время“) с моим интервью и статьёй о тебе, а также и статьёй под названием „Возвращение русофильства“ журналистки Марианны Граф. Вдруг да пригодится.

Отправляю и статью Жоржа Нива, которую ты читал. Пусть В. Козлов<sup>[37]</sup> решает сам, надо ли её печатать. Может быть, и не стоит возбуждать ревность нашего брата-писателя, как и нашего друга-читателя. Мне утешения публикация не доставит, я давно растерял всё своё честолюбие. Словом, смотрите сами. В. Распутин».



Очерк Жоржа Нива привлекает тем, что произведения русского писателя он рассматривает на фоне сходных по тематике сочинений западных прозаиков. А ещё размышления французского исследователя отмечены тем душевным сопереживанием, нравственным приятием творчества писателя, которые всегда проявлял и сам Валентин Распутин, когда писал о произведениях близких ему по духу авторов. Думается, русский читатель с интересом прочтёт строки Жоржа Нива о Распутине:

«Этот застенчивый человек, пребывающий в постоянном поиске нравственной чистоты, выделяется прежде всего как независимая (даже если и ранимая) и недоступная личность. Он являет собой одну из наиболее спорных фигур периода „перестройки“, и это произошло, конечно же, не по его воле. В шестидесятые годы Распутин вошёл в советскую литературу как необычайно свежий порыв ветра. Обычно его относят к так называемым „крестьянским писателям“ („деревенщикам“), группе, которая сформировалась в начале шестидесятых годов и включала в себя Виктора Астафьева, Василия Белова, Владимира Солоухина, а также Василия Шукшина, умершего в 1974 году. Всё же это определение ошибочно, поскольку искусственно не выпускает этих писателей из рамок литературы местного характера, делая из них в лучшем случае патриотов-певцов своего края, подобно тому, как поступали критики в отношении Жорж Санд, когда речь шла о её произведении „Франсуаза-найдёныш“...

Среди этих писателей Валентин Распутин выделяется своим неповторимым голосом, преисполненным любви к родной Сибири, пророческим универсализмом и тайными ранами собственного „я“. Прежде всего писатель мечтает о цельности и автономии индивидуума, и в этом отношении он сходен с Жан-Жаком Руссо и, в частности, с Жан-Жаком Руссо

— автором фантастического сочинения об озере Бьенне. „Не знаю, бывает ли у кого ещё такое, но у меня нет чувства тесной и нераздельной слитности с собою“, — пишет Распутин в маленьком шедевре, который называется „Что передать вороне?“. „Нет у меня, как положено, того ощущения, что всё во мне от начала до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так, что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не просто болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась...“ В Распутине всё: от извечной боли человека, с которой тот воспринимает мир, до присущей ему своеобразной „несветскости“, от невыразимого очарования его коротких рассказов, построенных на вроде бы безделицах, до его очерков (оплакивание былого единства русского мира, которое разрушается на глазах), и даже избрание им политических позиций — можно объяснить его „несчастливой“ неспособностью к восстановлению фундаментальной целостности собственного „я“, духовной и нравственной...

Таинственная сердцевина творчества Валентина Распутина кроется именно в этой прирождённой хрупкости, в этой неспособности души укорениться на земле и в вещном мире. Мы вспомнили Жан-Жака Руссо и его фантастическое сочинение об озере Бьенне потому, что определённые страницы произведений Распутина посвящены мечте о восстановлении целостного бытия, и потому, что такое единство достигается человеком только на короткое время, в состоянии души, далёком от рационального. Водворение тишины как внутри, так и вовне себя — это одна из постоянных составляющих поэтики Валентина Распутина, которую можно определить как поэтику одиночества: писатель так любит великие сибирские

реки, щедрые таёжные леса, безграничные луга, потому что в этих местах душе удаётся предаться молчанию, вырвавшись из нездоровой суеты жизни...»

На Западе давно уже стало подлинной болезнью одиночество человека — его постоянная отъединённость от толпы. Жорж Нива справедливо находит в произведениях Валентина Распутина эту общую для европейцев ноту. «Тема одиночества человека, его неспособность пустить корни в ежедневной рутине проходят красной нитью сквозь всё творчество Распутина. Первым большим триумфом художника стала повесть „Деньги для Марии“, опубликованная в 1967 году. Мораль этого произведения, даже если в его основе лежит чисто „советская“ проблема, — универсальна. Распутин с не меньшим мастерством, чем Лев Толстой в „Фальшивом купоне“, показывает нам злую силу денег и человеческий эгоизм...»

Напомнив о последнем дне, отведённом Кузьме для поиска денег, о его последних минутах перед городской квартирною дверью брата, Жорж Нива справедливо заметил: «Сейчас ему откроют. Символизм Распутина не бросается в глаза, но это мощный символизм большого мастера: в этой двери — ключ к сердцу, это врата рая, это та дверь, о которой Иисус Христос говорит в Евангелии».

О героине «Последнего срока», старой Анне, автор очерка с удивлением замечает: «...в какой-то момент у неё появляется ощущение, что она когда-то уже жила. Как, чем была, ползала, ходила или летала, она не помнила, не догадывалась, но что-то подсказывало ей, что она видела землю не в первый раз... Это может показаться странным, но героиня Распутина, старая сибирячка, кажется, приходит к буддийской философии, двигаясь, в определённом смысле, по пути, уже пройденному Львом Толстым».

Анализируя произведения писателя, французский исследователь всякий раз стремится выявить их «вселенский», общечеловеческий смысл. Так, о повести «Живи и помни» сказано:

«Судьба дезертира Гуськова, который кружит вокруг деревни, где живут его родители и жена, символизирует вечную „изгнанность“ распутинского человека или, вернее, его неспособность найти себе пристанище на этой земле, даже тогда, когда всё самое родное и близкое, привычный быт — тут, рядом... Распутин первым из писателей затронул проблему дезертиров Второй мировой войны, которые иной раз скрывались десятилетиями; тема допускает в определённом смысле оторванное от реальности и литургическое видение самых простых составляющих жизни. Эти пари общества — дезертир, сам себя приговоривший скрываться от людей до конца своих дней, и его жена, принуждённая ко лжи и одиночеству, — они оба живут как во сне. Все привычные устои крестьянского быта деревушки, описанные с большой достоверностью, имеют точное метафорическое значение: это своего рода способы достижения общности с миром, недоступной для героев повести и, возможно, для всего человечества с тех пор, как оно разделилось внутри себя...

Присутствие судьбы, свернувшейся клубочком у ног человека, придаёт повествованию классическую строгость. Приходит возмездие, и судьба не знает прикрас, сказка не готовит сюрпризов: все события соединяются между собой по законам античной трагедии. Единственный результат — это рассеяние „тумана в сердце“. И вот возникает новое, маниакальное в своём роде внимание к действительности, которое дарит нам потрясающие страницы, почти сюрреалистические, как картины Шагала: когда, кружа возле родительского дома,

Гуськов видит в ограде большую чёрно-белую корову с телёнком. Подобные сцены материнства в животном мире — а их немало в повести — имеют свой смысл, так как они подчёркивают потерю контакта с миром людей. Гуськову, должно быть, больше никогда не доведётся ухаживать за животными. „По сравнению с другими потерями, — заметил писатель, — эта была не самой важной, но почему-то болезненной и непонятной, и что-то в нём не хотело с нею мириться“».

В повести «Прощание с Матёрой» Жорж Нива тоже выделяет то, что особо занимает западного читателя:

«В повествовании, которое ведёт большой мастер, нет нехватки реалистических деталей; впрочем, мы знаем, что Распутин мог пересказать историю своей родной деревни, которая стояла на берегу Ангары и была поглощена водой. Но аллегория доминирует: затопляя остров человечности, цивилизация забвения готовит другой мир, в котором для прежних духовных ценностей не остаётся места».

И, наконец, итог размышлений французского исследователя над произведениями Валентина Распутина:

«Сила его творчества проистекает из скрытой слабости: ведь не будь у писателя тайных душевных ран — ни его призывы к памяти народа, ни предупреждения, обращённые к современному человеку — нерадивому „жильцу“ Земли, — не имели бы той силы воздействия, которую мы находим у Распутина. Оставаясь истинно русским писателем, отыскивая на просторах России реликты языка „Слова о полку Игореве“, Распутин одновременно является и местным писателем, потому что только любовь к малой Родине позволяет писателю пустить корни на той большой общечеловеческой Родине, каковой является Земля».

Читая эти размышления, думаешь: Господи, как непохож глубокий и ясный монолог французского знатока литературы на путаные, невнятные, а чаще искажённые злым умом рассуждения отечественных критиков от «демократии»! Примеров тут не счесть, нынешние печатные и интернет-издания, как правило, в руках именно этих толкователей литературы.

**Глава двадцатая**  
**ПОД ВЫСОКИМ НЕБОМ**  
**КЛАССИКИ**

## «Человеконаправленный» гений

В течение всей жизни Валентин Распутин обращался мыслями к судьбе и творчеству русских классиков. Он оставил множество глубоких замечаний о духовном наследии великих писателей. Поводом чаще всего были литературные дискуссии, анкеты, предложенные писателю разными изданиями, юбилеи классиков, о которых Распутину хотелось сказать благодарное слово.

В 1983 году Ленинградское отделение издательства «Наука» выпустило очередной, пятый выпуск сборника «Достоевский. Материалы и исследования». В нём были опубликованы ответы отечественных и зарубежных писателей на анкету, посвящённую классику. Среди участников опроса оказался и В. Распутин. Научные сборники, как правило, привлекают внимание специалистов. Думается, многим читателям эта публикация Распутина неизвестна, и есть резон привести здесь его ответы — как открывался ему художественный мир великого писателя.

На вопросы: «В каком возрасте и при каких обстоятельствах вы познакомились с произведениями Достоевского? Какое впечатление они произвели на вас при первом знакомстве?» — Распутин ответил так:

«Знакомство с Достоевским началось у меня, как и у многих, очевидно, людей моего поколения, достаточно поздно — лишь в студенческие годы (я поступил в университет в 1954 г.). Правда, была попытка читать Достоевского ещё в школе, но попытка, надо признаться, слабая — потому, во-первых, что школьная программа, как известно, тогда не жаловала Достоевского хотя бы мало-мальским вниманием, а во-вторых, мне, как на грех, попалась и действительно трудная для начала книга, в старом издании, —



„Записки из подполья“. Помню, я почувствовал духоту, придавленность от непривычной прозы и бросил книгу. Так я её в буквальном смысле, как „Записки из подполья“, пожалуй, и воспринял.

В университете я начал с „Преступления и наказания“. Читал без самопринуждения, но и без удовольствия. Сказывалась моя тогдашняя неподготовленность к такой литературе, долгое отсутствие среди нас Достоевского, без которого мы сочли себя людьми простого положения и простой сути, признающими вокруг лишь простой, неромантический порядок вещей.

Понимание Достоевского началось у меня позднее. Думаю, что оно не стало полным и до сих пор. Достоевский — это целый мир, настолько сложный, богатый и живой, что открытия и откровения в нём даже для большого исследовательского ума, задавшегося целью расположить этот мир по правилам и законам, будут продолжаться постоянно вместе с продолжением внешней жизни.

— Оказал ли Достоевский влияние на ваше духовное развитие и на ваше творчество?

— Без сомнения. Особенно в последние десять лет. Вообще, надо сказать, что испытание Достоевским — очень трудное для писателя испытание. Я уверен, что были, есть и будут люди, причём далеко не бесталанные, но обострённо честные, которые бросают занятия литературой, соотнеся свои творческие и духовные возможности с могучей высшей правдой Достоевского. Он остаётся самой строгой, взыскующей совестью литературы. Он остаётся, кроме того, духовной наукой огромного нравственного и общественного действия, наукой, сознательное и серьёзное приобщение к которой не проходит бесследно для любого человека, а для писателя тем более.

— Ваше любимое произведение (произведения) Достоевского?

— „Братья Карамазовы“.

— Как вы оцениваете место Достоевского в русской и мировой литературе?»

Здесь можно было ожидать ответ предсказуемый, а не тот, который прозвучал из уст писателя «советского», на родине которого ещё не так давно к автору «Бесов» официальная критика относилась весьма специфически:

«— Достоевский стоит не в ряду самых великих имён мировой литературы, впереди или позади кого-то, а над ними, выше их. Это писатель другого горизонта, где ему нет равных. Были и есть таланты блестящие, яркие, сильные, смелые, мудрые и добрые, но не было и нет (и не будет, на мой взгляд) явления в литературе более глубокого, более центрального, необходимого, более человеконаправленного и вечного, чем Достоевский. Человеческая мысль дошла в нём, кажется, до предела и заглянула в мир запредельный. Похоже, что кто-то остановил руку великого писателя и не дал ему закончить последний роман, встревожившись его огромной провидческой силой. Это было больше того, что позволено человеку; благодаря Достоевскому человек в миру и без того узнал о себе слишком многое, к чему он, судя по всему, не был готов».

И далее, отвечая на заключительный вопрос: «Какие стороны творчества Достоевского вы считаете наиболее ценными и важными для нашего времени?» — Распутин не только высказал необычные для того времени мысли, но и поставил смелую точку в этой откровенной беседе:

«— Духовность. Главное, основное содержание человеческого бытия, которое, как показало прошедшее после смерти Достоевского столетие, не признаёт даже

самых красивых и удобных подмен и жестоко мстит за них».

## «Любимое имя — Пушкин...»

Первое любимое имя среди литературных учителей для Распутина — Пушкин. В том, что Валентин Григорьевич тонко чувствовал поэзию, можно убедиться даже по приведённым нами отрывкам из его собственных произведений. Но писатель оставил и немало размышлений о поэтическом слове.

Однажды составители ежегодника «День поэзии» попросили Валентина Григорьевича ответить на вопрос: что значат для него откровения великих русских лириков? Конечно, это исповеди высоких душ, но само волшебство слов, которыми переданы их чувства и мысли, — повторимо ли оно? Писатель признался: когда он в детстве слушал стихи, ему почему-то чудилась ласточка в небе. И далее: «...с тех пор много лет я пытаюсь рассмотреть незнакомую мне, высоко над головой парящую птицу, незвонко и внятно выводящую в счастливой истоме свою Песнь Песней. Но не мне дано разглядеть её: человеческие глаза для этого слишком слабы, а она не в состоянии опуститься ниже своего волшебного горизонта».

С таким благоговейным чувством Валентин Григорьевич относился прежде всего к Пушкину. В 1999 году предстояло двухсотлетие поэта. В ельцинской России, пропитанной грязными парами делячества и политиканства, творцы новых порядков не хотели да и не могли по самой своей природе достойно отметить великий юбилей русского гения. Ярким народным праздником, как исключение, стали торжества на Псковской земле, упокоившей Александра Сергеевича. На вечере в драматическом театре областного центра выступил и Распутин.

И какие сердечные, согревающие, лучистые слова нашёл писатель, чтобы признаться в любви к Пушкину:

«Он пронизал своим волшебством каждого из нас, одних больше, других меньше, в зависимости от душевной и сердечной проводимости, даже люди огрубевшие или совсем окаменевшие повторяют как раскаяние его стихи. Он всем что-нибудь да дал. Многие живут с его поэзией в сердце как с вечно прекрасными и неувядающими букетами цветов, многие, не найдя в мире чувств ничего более нежного, повторяют его признания в любви, многие его же словами затем утешаются. Едва ли это преувеличение: у нас не только говорить о любви, но и любить учились у Пушкина, от его нежных слов возжигали свои сердца, от волшебной проникновенности его строк в заповедные глубины напивали дыхание».

Но одно дело — высказать от имени миллионов родственные, «домашние» чувства к поэту. А другое — вдохновенно и ёмко открыть учительскую роль гения в воспитании нашей души. И тут речь Распутина отмечена особой мудростью:

«Скольких привёл он к Отечеству, опалил его сладким дымом, указал на святость вековых камней, натомил милыми пределами!.. Совершенство может всё. Сосуд мог иметь и случайные черты. Но напиток в нём, отбродив, производил божественное, то есть превосходящее земное, действие, способное на чудеса. Читатель испытывает радость, преображение, возвышение, а автор продолжает парить, царить в своём вдохновенном совершенстве. Нравственное превосходство его музыки заключается в самом движении и звучании превосходства, в тончайшем и легчайшем узоре чувств, чего-то даже более тонкого, чем чувства, в прекрасной несказанности говоримого, в „звуках сладких и молитвах“. И какое же у чуткого читателя

томительное блаженство возникает после них, какое же торжество души!

Читатель по неопытности может и с душой своей сообщаться тайно — Пушкин сумел сделать эти свидания открытыми и радостными, распахнуть в темнице окна, превратить её в светлицу».

Наконец, такие гении, как Пушкин, всегда провидят будущие пути отечества. Они дают потомкам верные указатели на дорогу прямую, выверенную вековыми чаяниями, традициями и самим характером народа. Они предупреждают о вешках сторонних, уводящих во тьму и непролазь. Об этом не мог не сказать писатель в наше время сбитых ориентиров:

«Пушкин был государственный человек; вслед за Пушкиным все крупные таланты всегда держались того же положения. Верноотеческого, без лукавства и корысти. В пору Пушкина уже принято было в пресытившемся свете, блиставшем талантом злоречия, не любить своё, насмешничать, издеваться... вероятно, тогда это делалось элегантней, чем в наше время, но яд есть яд, и, когда отдаются ему с жаром сердца и талантов, действует он и затягивающе, и разрушительно...

Трудно не согласиться с теми, кто полагает, что, продлись пушкинская земная жизнь, не покривела бы наша литература на тот глаз, который обращён к родному. Пушкин бы своим обширным умом и огромным авторитетом предупредил, отвёл... „Власть и свободу сочетать должно во взаимную пользу“ — это его слова из „Путешествия из Москвы в Петербург“...

Как далеко глядел он, сколь многое провидел! И на сегодняшний день, торжественный и тревожный, он оставил нам завещание, относящееся и к себе („Нет, весь я не умру...“), и к событиям, нависшим сегодня над всем миром бешеным и мстительным Злом... Пушкин ещё в 1836 году так отозвался о порядке, составленном

отборным мировым сбродом в Северной Америке, о порядке, который бомбит сегодня сербов: „С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстию к довольству“».

## Спасение — быть русским

На тот же 1999-й, пушкинский, год и даже на одну и ту же неделю выпал и столетний юбилей Леонида Леонова. Тут власть вообще промолчала. Писатель, никогда не сгибавший выи перед властью, да ещё и непреклонно отстаивавший заповедный русский мир от посягательств разрушителей, не мог быть любезен ей. Распутин напечатал свою статью о Леонове «Имеет силу национального пароля» в периодике, а позже и в книгах.

О первых юношеских рассказах Леонида Леонова, а затем о романах «Барсуки» и «Вор», написанных им до тридцатилетнего возраста, современники отзывались с восторженным изумлением. Художник Илья Остроухов восклицал в письме Фёдору Шаляпину: «Гениальный юноша, диво дивное!» Объясняя чудо появления этого таланта, Распутин находит его истоки в народных глубинах:

«Один человек, одно имя, но какое богатое и обширное может быть прибавление России, какая сразу является опора, какое утешение! На исходе XIX века Россию уже оплакивали, чуткими сердцами ощущалось приближение трагических перемен. Затем войны, одна, вторая и третья, две революции, смятение, злоба, самоистребление по идейным соображениям, „ваше слово, товарищ маузер“, голод, холод, изгнание русского духа. И нет уже ни Чехова, ни Толстого. Чтобы заступиться, последние славные или уходят в родные могилы, как Блок, или уезжают в чужие земли, как Бунин, Горький, Куприн, Алексей Толстой, Шмелёв... Какое уж тут восполнение, какие надежды?! Казалось, литература надолго обречена на прозябание, на мелкое и натужное, даже и не течение, а точение почвы



отдельными каплями. Какие уж тут упования на скорое возвращение целого, духовно полного, здорового Россией человека!

Но только-только наступило затишье, всё ещё в руинах и ранах, только-только в тревожном забытии сделала истерзанная наша земля вздох, чтобы направить дыхание, и — о, чудо! — этот человек явился! Тот самый: цельный, духовно не изуродованный, наполненный вековечной Русью. Притом явился не из схронки, не из укрытия, где можно побережь себя, а из самого пекла — с фронта. Мало кто верил в него, а он пришёл и заявил: вот он я... И понимать это надо было так, что вместе с ним началось возвращение отвергнутой России».

Но как сказать о главном в творчестве мастера не затёртыми словами и не псевдонаучным языком, а вольно и задушевно, как при особом вдохновении, когда хочешь, чтобы тебя поняли и твою оценку поддержали? Этой тайной способностью Валентин Распутин обладал сполна. Убедитесь:

«Леонид Леонов при сотворении его художником сразу и щедро был вырублен из лучшего куска того материала, из которого кроются немереной силы мастера. Всё в нём было просторно, размашисто, могуче и красиво — и письмо, и речь, и взгляды, и суждения, и ум, и сердце, и талант общения, и ненасытный интерес к жизни и знаниям. Всё было неповторимо и вкусно. Есть писатели, устроенные тесно, со многими перегородками, как в коммунальной квартире. Сегодня они пишут под одного, способного оказать влияние, завтра — под другого, сегодня проповедуют одни взгляды, завтра — совсем противоположные, и как бы ни украшали потом эти метания, называя их этапами творчества, несамостоятельность не спрячешь. Леонов в литературе не квартировал и уж тем более не попрошайничал, он вступил в неё как законный

наследник богатого старинного поместья от щедрот матушки Русской земли и отечественной культуры. В нём сразу, и по чертам, и по делам, был узнаваем наследный человек».

Что же наследуют такие художники, как Леонов? В начале своего писательского пути он мог насмотреться «чудес» словесного жонглёрства, салонного служения самоназначенных «гениев» литературы, много другого на обочинах искусства. Но он не поддался искусам, потому что чувствовал направляющую руку великих предтеч:

«Ни Пушкин и Лермонтов, ни Толстой и Тургенев, ни Бунин и Чехов, ни Достоевский и Тютчев — никто из них не сумел бы занять своё почётное место в мировом искусстве и вечности, если бы не отросли они от народного корневища».

«Вот нам, можно не сомневаться, и подтекст „Русского леса“, — продолжает Распутин, — книги мудрой и многоструйной, тревожной и целительной, своего рода охранной грамоты русской жизни. После неё Леонов по праву встал рядом с Тургеневым и Толстым. Усекновения не получилось. „Русский лес — это русские люди“, — считал и сам Леонид Максимович, и в этом, слишком, казалось бы, простом уподоблении так много верного — от нашей сращённости с родной природой, матерью-природой, говорим мы, давшей нам особые и душу, и веру, и психологию, и характер, от излишней, какой-то древней, эндемичной доверчивости, от которой много страдали и страдаем мы, — от всего этого, произросшего в нас за века, и до вырубок нас как народа то от завоевателей, то от властителей, то от грицианских, ведущих себя в России как на лесосеке. Но одновременно это уподобление говорит о нашей отличительной цепкости, закреплённости в почве: русский человек может сломаться на выросте, но из земли его не вывернуть. И живём мы столь же

настоящим, сколь и отшедшим; когда взялись выдавливать из нас историческую память, укороченным оказался и наш взгляд в будущее, обернувшийся теперешними бедствиями».

Как бывает только тогда, когда перед тобой произведения подлинно национального искусства, книги Леонида Леонова подталкивают к размышлениям о русскости его героев. В этом нет и намёка на какую-то избранность или превосходство народа, к которому они принадлежат; в этом только выявление коренных черт нации, которые нужно развивать, на которые нужно опираться в дружеской семье народов. И Распутин ведёт разговор именно об этом, не заказанном никакому другому народу, благо что сочинения нашего классика — очень веские аргументы в такой беседе:

«Русский человек должен быть откровенно русским. В этом его спасение. Уходящий век оказался для нас неимоверно тяжёлым, вызвавшим и нравственные, и физические, и психические потери. Сначала нас пытались лишить души, затем памяти, самого русского имени, теперь — нажитого предками достояния. Тем паче не сгибаться, не таиться, не убирать глаз без всяких оговорок. Нет сомнения, что это требование к себе было одним из главных, если не самым главным, с чем прошёл Леонид Леонов всю жизнь и что помогало ему оставаться честным человеком и художником. И это был не принцип, не волевое решение, не некое нарочитое украшение достоинства, а образ жизни, органическое поведение национально здорового человека. „Я есмь русский“ — пусть эта гордость будет первой и самой ценной наградой, отпущенной природой, которая каждому имени вручила свои индивидуальные черты не для того, чтобы вытеревливать их как перья у пойманной птицы. На склонённую голову хозяин всегда найдётся».

## **«Толстой дал масштаб русскому писателю...»**

В 2003 году в Туле на торжествах по случаю 175-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого Распутин произнёс речь об этом титане русской литературы. Тут можно было говорить о многом, «растекаясь мыслью по древу»: автор «Войны и мира» позволял, к примеру, толковать о его роли в духовном возвышении не только литературы, но и самого народа. Валентин Григорьевич выбрал, как всегда, тему стержневую, главную для нынешнего нашего самочувствия: откуда, из каких недр явился гений, кто напитал его великими творческими силами? Подступаясь к ответу, Распутин берёт в «соавторы» философа Василия Розанова:

«Вот секрет Толстого. Мы все умничаем над народом, ибо прошли гимназию и университет, ну и владеем пером. Толстой один из нас, может быть, один из всей русской литературы, чувствует народ как великого своего Отца, с этой безграничной к нему покорностью, послушанием, потому особенно и нежным, что оно потихоньку, и будто кто-то ему запрещает. Запрещает, пожалуй, вся русская литература „интеллигентностью“ своею, да и вся цивилизация, к которой русский народ „не приобщён“».

И далее уже от себя:

«Все мы, должно быть, вышли когда-то из мужика. Высокородный Толстой, рождённый графом и прекрасно знавший и описавший высший свет, точно ещё в молодости, подготавливаясь к писательской работе, прошёл весь свой родовой путь в обратном направлении к его истоку, прошёл пешком по крестьянской Руси от графа Толстого и князя Болконского до какого-нибудь

мужика Акима и Платона Каратаева, внимая тысячам голосов и тысячам лиц, укладывая в душу зёрнышки и даже пылинки развеянных истин, всё вбирая, что преждевременно отошло, всем, чему нет вины в предстоящей работе, запасаясь, участвуя в военных кампаниях и народных собраниях. Уходил в этот долгий путь в барском платье, а возвращался в Ясную Поляну с батожком и в крестьянской рубахе с пояском. Толстой не рядился под мужика, ему свободнее было в мужицкой одежде и с мужицким лицом.

Вот отчего и оказалось под силу молодому Толстому взять под распашку всё огромное поле, называвшееся Россией, во всей населяющей её толще и во всех проявлениях. Во всей населяющей толще — от крепостного до императора. Теперь мужицкий граф Толстой всё это хорошо знал и теперь, спустя полвека после события, уже по остывшим следам вновь провёл Россию через Отечественную войну с Наполеоном. Это был подвиг, подобный подвигу Кутузова...»

Толстой указал собственным примером путь для любого художника, святой источник для любого таланта. Размышление Распутина об этом было продолжением и его собственного творчества, и его взгляда на произведения каждой эпохи.

И ещё одно в наследии классика отметил наш современник — высоту писательского звания:

«Толстой дал масштаб русскому писателю в трагические и горькие периоды русской истории — масштаб, под который затем подходили Достоевский и Шолохов. И если бы нам дозволено было представить, будто многострадальной душе Льва Николаевича дано было выбирать обитель себе в одной из его книг, она бы предпочла, осмеливаемся думать, не какой-нибудь из его коротких нравоучительных шедевров вроде „Чем люди живы“ или „Много ли человеку земли нужно“, а её многострунную величественную „Войну и мир“. И

слушала бы, слушала неустанно торжественный, в широком разливе рокот волн, из которых строка за строкой мерно и ритмично складывается эта прекрасная сага».

## Воспита́й ученика...

Осенью 2000 года на празднике «Сияние России» побывал ректор московского Литературного института им. Горького прозаик Сергей Есин. Он встретился с пишущей молодёжью и загорелся идеей создать в Иркутске нечто вроде филиала своего вуза — творческие семинары студентов-заочников по прозе и поэзии. Проект для института престижный: «школа» Распутина в его родном городе!

К тому времени у Валентина Григорьевича ухудшилось зрение, да и общее состояние здоровья не радовало. Но он согласился заниматься с молодыми одарёнными земляками. От институтской зарплаты наотрез отказался...

Что касалось набора студентов, то мы не сомневались: в Иркутске и области найдётся немало способных ребят и девочек. Каждые два с половиной года писательская организация проводила конференцию начинающих литераторов. Только в последних трёх участвовало несколько десятков молодых прозаиков, поэтов, драматургов.

Оставалась одна проблема: студенты-заочники вряд ли смогли бы дважды в год приезжать в Москву на экзаменационные сессии. Чтобы добраться с берегов Ангары до столицы и жить там каждый раз в течение месяца — едва ли кто из ребят нашёл бы для этого деньги. Без помощи властей проект был обречён.

Во время приёма у губернатора московских гостей праздника мы, трое закопёрщиков, обратились к нему за помощью. Борис Говорин, мгновенно ухватив суть, ответил:

— У нас есть программа подготовки кадров для учреждений искусства области. За счёт бюджета мы

учим ребят в театральных, художественных, музыкальных вузах. А почему нельзя прибавить к этому списку Литературный институт?

После возвращения в Москву Сергей Николаевич Есин прислал мне письмо:

«< 10 октября 2000 г.>

Дорогой Андрей Григорьевич!

Через неделю после всех московских хлопот, когда появляется возможность посмотреть и на недавно минувшее, я ещё раз хочу поблагодарить Вас за те поразительные дни, которые провёл в Иркутске. Естественно, через Вас я выражаю свою огромную благодарность Валентину Григорьевичу Распутину. Я всегда считал его выдающимся художником нашего Отечества, но ещё раз убедился в том, что он ещё и выдающийся человек. На фоне совершенно обезлюдевшей российской действительности я под „человеком“ по-прежнему, по-горьковски, понимаю Человека с большой буквы. Я не знаю, что выше: великий писатель или крупный человек. Нам всем (может быть, это кому-то и не понравится) учиться у него и учиться.

Андрей Григорьевич! Это общая часть. Я хочу напомнить Вам, что все мои предложения остаются в силе. Институт и Учёный совет заинтересованы в появлении Иркутского семинара. Учитывая сложное состояние здоровья Валентина Григорьевича, я отчётливо понял ещё в Иркутске, что этот литинститутский семинар Вам надо вести с ним вместе. У меня тоже есть помощник, и это позволяет мне выполнять целый ряд других обязанностей.

Повторяю Вам условия, о которых мы говорили. Семинар будет идти в течение года в Иркутске, по нормам заочного отделения. Что же касается академической части, то студенты будут приезжать в Москву. Вы помните, что губернатор дал нам почти



твёрдое обещание, что дорогу студентов в Москву и обратно он оплатит. И это, конечно, мудрое решение, потому что это делается во славу области.

Готовьтесь. Я так легко от людей не отстаю. Буду писать.

С уважением

ректор и Ваш друг С. Есин».

Творческий конкурс для поступления в Литинститут всегда был высокий: десятки человек на одно место. Пришлось прочитать множество рукописей, чтобы выбрать достойных абитуриентов. Подготовительная работа, которая шла не только в Иркутске, но и в близлежащих районах и городах, подняла такую «волну», что многие ребята и девчата, отмеченные на последних конференциях молодых авторов и только что появившиеся на «литературном горизонте», захотели поступить в институт. К сентябрю следующего, 2001 года мы набрали группу одарённых ребят — прозаиков. С ними начал заниматься Валентин Григорьевич. Я вёл все организационные дела. И присутствовал на каждом творческом обсуждении студенческих рукописей.

Учительский дар Распутина никогда не освещался в печати. А между тем, «сливаясь» с его художественным даром, он приобретал особую привлекательность и ценность. Именно поэтому хочу привести несколько размышлений и советов писателя в связи с первыми, ещё ученическими произведениями наших студентов (записи сделаны на занятиях).

«Обсуждение рассказов „Черепаха“ и „Время шло, считала кукушка“ Владимира Мешкова и „Белые палаты“ Александра Турханова. Все рассказы напечатаны в журнале „Москва“ в 2001 году.

Владимир Мешков пояснил, что не очень доволен журнальной публикацией. Дело в том, что первый из них написан давно и теперь кажется ему несколько наивным. Второй — „посвежее“, но и этот, написанный

на сходную, любовную тему и потому, видимо, напечатанный редакцией „в связке“ с первым, уже не удовлетворяет его. Сокурсники Владимира, высказываясь о рассказах, разделили мнение автора.

Валентин Григорьевич начал разговор с того, что такие рассказы о любви пишут обычно авторы юные, неопытные. „Я так и понял, что вы предложили журналу свои ранние, может быть, даже первые рассказы, — сказал Распутин. — Зрелый автор не имеет права писать такие художественно несостоятельные вещи. Особенно о любви“.

Он подробно говорил о глубине постижения писателем обыкновенной, будничной жизни. О том, что в любви человеческий характер проявляется, как никогда, обнажённо и полно. Тема эта даёт возможность писателю обозначить свою нравственную позицию, высказать много сокровенного.

Студенты во время обсуждения вспоминали рассказы самого Распутина „Рудольфио“, „Встреча“, „Василий и Василиса“, написанные им в молодости, соотносили с ними новеллы Владимира Мешкова. Невольно сравнивали, потому что незадолго перед этим у нас была короткая беседа о тех распутинских рассказах, и мы, по общему согласию, включили разговор о них в план учебного года».

В следующий раз предметом жаркой дискуссии семинаристов стала повесть Майи Новик «Жена Омеги». Рассказ в ней вёлся от лица героини, молодой продавщицы в уличном ларьке. Ребята высказывались откровенно.

Владимир Мешков:

«Повесть любопытна. В ней правдивый взгляд на то, что происходит за металлическими стенками бесчисленных ларьков, загромоздивших улицы городов и сёл. Для многих из нас это совершенно неизвестная жизнь. Мы не обращаем внимание, почему около таких

магазинчиков снуют бритоголовые парни, почему „комки“, как в народе называют ларьки, то разбиваются, то поджигаются. Молодая героиня попадает в продавцы потому, что ей некуда деться, надо зарабатывать на хлеб. А потом работа и среда засасывают её. Случайно избранный путь уже не позволяет прийти к достойной жизни».

Михаил Прокопьев:

«У Майи плотная проза. Она напомнила мне рассказ Астафьева „Людочка“. По жёсткости письма. Автор логически выверенно ведёт повествование, каждый эпизод „смотрится“ в общей картине. Конечно, есть огрехи, особенно в языке. Это наша общая неряшливость».

Александр Турханов:

«Когда я читал повесть, я постоянно отмечал то стёртые, „замыленные“ фразы, из которых состоит обыденная речь, то сленговые, засорившие нынешний язык. Какая же это художественная речь? Можно ли таким языком нарисовать человека, картину? Приём — вести повествование от лица героя — очень распространён в литературе. Классики часто пользовались им. Но это не значит, что рассказ должен вестись дремучим языком, быть стилизованным под некий язык „простого человека“».

Как обычно, возможность высказаться получил каждый студент. Распутин выслушал всех внимательно, никого не перебивал. И завершил обсуждение так:

«Разговор требуется серьёзный. Майя не первая окунулась в „чернуху“. Существует целая литература, десятки авторов представляют её. И читателя уже не надо брать за ухо и вести к такой литературе. Он сам бежит к ней. „Тьма низких истин“ оказалась интересней и ближе такому читателю.

Майя ничего не преувеличивает. Есть такая жизнь, которую она в подробностях описывает. Но может ли

быть такая литература? Вот вопрос. Спор идёт давно. И, кажется, побеждают апологеты „чернухи“.

У такой литературы не может быть художественного языка. Здесь кто-то сказал, что это стилизация под язык героини. Нет, это язык автора: „Я не могла узнать о мужчинах в положительном смысле...“, „В какой-то момент времени...“, „Я, как говорится, не прониклась...“, „Отличалась большой стабильностью...“, „Ломакин в корне пресёк...“, „На идею прогулки подтолкнула...“. Где же вкус автора?

Я не сомневаюсь, что вы будете писать книги, издаваться. Но какая польза от таких книг? Может быть, писателю нужен „нас возвышающий обман“?

Перо у вас бойкое. Суть ухватывается точно: „со знанием дела“ описывается, как парни на пикнике увели в сторону девушку и распяли её. Но надо ли о жизни писать так жестоко и так грязно, как пишут мастера „чернухи“? У вас героиня, намаявшись в жизни, идёт к колдунье. Не в церковь, а к колдунье. Она выбирает сатанинский путь. И позже, когда устраивается в газету журналистом, решается написать именно о сатанистах. Нравственных правил, христианской морали нет ни у героини, ни у автора. Сейчас молодёжь правильно делает, что выбрасывает книги Сорокина в мусорные контейнеры. Такие авторы, как Сорокин, бросают вызов даже той „сниженной“ морали, с которой мы живём теперь. Поймите, литература такого рода страшнее, чем наркотик.

Мы окунулись в грязную яму — и что же, выйдем из неё чистыми? В повести есть строки о том, что героиня ненавидит всех — и богатых, и бедных, и себя в том числе. И в самом деле, беспросветная жизнь под слепым пером в литературе подводит к ненависти. А ненависть не просто дело жестокое, это дело окончательное.

Задумайтесь о серьёзности писательского пути. Ничего не изменит учёба, если художественное мышление такое, как у авторов модных чернушных книг. Идёт спор разных литератур. К какой литературе вы склоняетесь? Вопрос принципиальный. И ответ должен быть честным».

Ещё одно обсуждение — на этот раз рассказов Вадима Рудакова. Чтобы объяснить особенность их тематики, следует сказать, что автор — выпускник театрального училища, актёр. Студентка Светлана Шегебаева, по-моему, наиболее точно оценила его пробы пера:

«Из трёх рассказов мне кажутся состоявшимися два: „Солнце в конверте“ и „Никодимыч“. Сюжет первого вроде бы простой. Молодой фотохудожник знакомится с опытным мастером. Но их разговоры о свете и тени, их поступки рождают художественную метафору: вся жизнь человека, жизнь его души — это борьба или сосуществование света и тени. Другой рассказ продолжает эту тему. У меня не возникло вопроса, почему старый актёр Никодимыч начал „светиться“ на сцене. Пусть это художественный вымысел, но он кажется достоверным. Актёр впервые получил роль героя, который душевно близок ему, и сила творчества, вдохновение творят чудеса».

Валентин Григорьевич поддержал эту мысль:

«Помните, мы обсуждали повесть о жестокости нынешней жизни. Автор говорил о них жёстким тоном. А Вадим поступает по-другому. Он ищет, чем можно спастись. Верит в чудо мальчик из рассказа „Поплавок“, сохраняет веру в силу искусства старый мастер из рассказа „Солнце в конверте“. Найти опоры для пошатнувшейся нравственности — мне такая позиция ближе. И пусть что-то придумано, в художественном произведении это допустимо. Важна чистота. Чистые

люди, слава Богу, ещё не перевелись, их замечает, о них пишет Вадим».

Всегда особый разговор вёл Распутин о языке студенческих работ. Одного молодого автора он убеждал:

— Посмотрите, какие «информационные», холодные, часто случайные слова вы подбираете. А ведь речь идёт о человеке мучающемся. Найдите слова тёплые, сердечные. Герой — это родной вам человек, вы знаете о нём всё, так и расскажите о своём герое с душевным волнением, с любовью.

В другой раз разговор зашёл о повести студентки. Девушка рассказывала о юной героине, которая узнаёт о своей смертельной болезни и мучительно ищет выход. Денег на лечение у её родителей нет. События в повести происходят на фоне нищеты, в которую погрузилась страна в девяностые годы. Безысходность людей, их бесправность начинающая писательница описывала по-газетному прямолинейно и сухо. Валентин Григорьевич терпеливо объяснял:

— Вы же не статью пишете, а повесть. Посмотрите на жизнь глазами не провинциального журналиста, привыкшего к языковым штампам, а оглушённой страшным диагнозом, обречённой на гибель сверстницы. Она найдёт слова особенные, пусть наспех обдуманые, горячечные, но зато собственные, незаёмные. Их продиктует сама беда.

Не однажды на занятиях семинара звучало такое наставление мастера: «Пишите мягким пером. Герой должен говорить естественно, так, как он привык, а автор — живописно, с изюминкой».

Для завершения учительской темы, думается, уместно привести некоторые строки из нашей переписки с Сергеем Есиным. В одном из писем, рассказав о наших занятиях, я добавил:

«Зимой, во время экзаменационной сессии, Валентин Григорьевич, возможно, встретится со своими подопечными в Москве, если обстоятельства позволят сделать это. А во второй половине марта он вернётся в Иркутск и продолжит свои занятия с ребятами здесь.

Что касается набора будущего года<sup>[38]</sup>, то в Иркутске мы взяли на учёт всех возможных кандидатов в студенты, поговорили с каждым. Наши „семинаристы“ рассказали им, как сдавали приёмные экзамены, как проходила установочная сессия».

Сергей Николаевич ответил:

«Меня очень порадовало, что Валентин Григорьевич так деятельно помогает нашему общему проекту. Я думаю, это пойдёт на пользу и ему, и уж точно пойдёт на пользу студентам и литературе.

Летом я писал Валентину Григорьевичу, но, судя по всему, письмо не дошло до него. Там было два мотива: первый — не может ли он приехать в качестве гостя или профессора Литинститута на фестиваль „Литература и кино“ в Гатчину, под Ленинград? Он меня знает, во всех случаях я не предложил бы ему то, что было бы плохо, трудно и неподходяще. Если можно, переговорите с ним об этом.

Если в феврале Валентин Григорьевич сможет встретиться со своими ребятами в Москве — это хорошо. В этом случае мы позовём на встречу и мой семинар, да и весь институт. В моём семинаре он уже был и на всех произвёл огромное впечатление».

В итоге в двух семинарах через пять лет учёбы дипломы об окончании института получили шестнадцать сибиряков — семь прозаиков и девять поэтов. Уже через три-четыре года некоторые из них стали членами творческого союза.

## «Когда вы были молодыми...»

Думается, тут к месту будут ответы прозаика на вопросы, касающиеся самого главного: смысла творческой жизни, исполнения юношеской мечты, радостей или огорчений от созданного. Множество их, таких вопросов, слышал за свою жизнь Валентин Григорьевич — на встречах, литературных семинарах, в редакциях газет, журналов, теле-и радиоканалов. Всех бесед на эту тему, конечно, не приведёшь. Но одну запись можно воспроизвести. Это ответы писателя на анкету молодёжного журнала «Русская сила», недолго издававшегося в Иркутске (2001, № 3):

«— Кем Вы мечтали стать в молодости? Ваша юность ожидала того, чего Вы добились в жизни?

— Я рос в глухой деревне, где самым уважаемым человеком был учитель. Не председатель колхоза, не председатель сельсовета, а воспитатель ребятишек. Им и хотелось стать. И, поступив в университет, я выбрал факультет, где готовились по большей части учителя. Проходил практику в школе, летом работал в пионерском лагере. Получалось. На групповой фотографии, кажется, после третьего курса одна из сокурсниц написала мне: „Ты будешь самым лучшим учителем“.

Но с годами сложились другие перспективы. Попробовал стать журналистом — получилось; попробовал стать писателем — тоже вроде получилось. Так и ушёл от первоначальной мечты.

Юность, конечно, не ожидала того, что из меня получилось. Но это не значит, что получилось лучше, больше и полезней. Ярче — пожалуй, да. Но это не самая приятная жизнь, когда человек на виду. На виду он вынужден делать много лишнего, ненужного.



— Изменилось ли с молодых лет Ваше понимание смысла жизни? В чём он, по-Вашему?

— Пожалуй, не изменилось, поскольку в юности его и не было, просто жил и всё, как живётся, руководимый нравственными правилами, которые приобретены были с детства. Но позднее оно, это понимание, чётче оформилось, стало заглавным правилом.

Я представляю смысл жизни так: при наиболее полном и счастливом раскрытии себя найти то место, тот окоп на передовой, где сопротивление злу будет успешнее всего.

— Если б снова начать, пошли бы Вы по жизни тем же путём? От чего Вы бы обязательно отказались?

— Если б снова начать... но повторять жизнь всё равно было бы неинтересно. Я бы искал чего-нибудь новенького. Например, должность лесничего. Но чудится мне, что не я делал свою жизнь, с этакой напористой отвагой беря рубеж за рубежом, для этого у меня мало тщеславия и нет железной воли, а был я ведом, да так осторожно, что могло показаться, будто это я выбираю дороги.

Можно, конечно, назвать, от чего бы я отказался („если б снова начать“), исходя из теперешней своей профессии, а если исходить из новой в предлагаемой вами новой жизни, то там сначала надо шишки набить».

**Глава двадцать первая**  
**НАЙДУТСЯ МИНИНЫ И**  
**ПОЖАРСКИЕ!**

## По содеянному воздастся

Большого творческого и душевного, нравственного напряжения потребовала от Валентина Распутина повесть «Дочь Ивана, мать Ивана», вышедшая в 2004 году в издательстве «Молодая гвардия». В её основу легла история, нашумевшая в Иркутске: рыночный торговец, выходец с Кавказа, изнасиловал русскую девушку. Её мать, увидевшая в здании прокуратуры, как земляки мерзавца пытаются подкупить следователя, поняла, что правды не найти, и решилась на самосуд: застрелила насильника из обрезка. Писатель встречался с женщиной, взятой под стражу, а затем и осуждённой. Трагическая история увиделась ему как неизбежное порождение новой власти — рассадника беззакония, коррупции, разврата. Но рассказать об этом и психологически, и художественно убедительно — значило вынести самому огромную нравственную тяжесть.

Кстати сказать, и название повести пришло из самой жизни. Об этом рассказал в своих мемуарных записках Владимир Зыков:

«Заголовок повести „Дочь Ивана, мать Ивана“ подсказала Валентину в одном из писем его давняя знакомая по „Красноярскому комсомольцу“ Маргарита Ивановна Николаева (именно при ней, когда она была главным редактором нашего книжного издательства, издали большой том В. Г. Распутина в серии „Писатели на берегах Енисея“). В одном из писем Валентину она упомянула, что её стойкость держится на крепком фундаменте: ведь она дочь Ивана. И мать Ивана.

— Да это же готовый заголовок книги! — воскликнул Валентин Григорьевич. Так и появилось это название».

Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» — произведение, можно сказать, классическое. Действие в нём развёртывается на фоне полнокровно текущей жизни. В кабинете ли следователя, в коридоре ли присутственного места, на рынке ли, на дождливой ли улице — всюду автор помнит про этот фон жизни и описывает его с узнаваемыми, подлинными чертами. И чем драматичнее, невыносимее положение, в которое попадают герои, тем пронзительнее становится повествование, тем безжалостнее писатель рвёт свою душу, мучаясь вместе с ними и сострадавая им. К примеру, всю ту часть повести, где отец и мать ищут дочь, находят её и узнают о надругательстве над нею, приезжают втроём домой, — всю эту тяжёлую, чёрную линию повествования Распутин ведёт с огромным напряжением. Здесь всё дышит живым участием в бедах героев, тем сопереживанием, на которое способен лишь родной человек, понимающий отчаянный поступок своего близкого.

«...как ещё можно противостоять бешеному разгулу насилия и жестокости, если государство своих обязанностей не исполняет, а правосудие принимается торговать законами, как редькой с огорода? Как? Тамару Ивановну жалели и втайне её оправдывали; о дочери же её, как только заходил о ней разговор, неопределённо вздыхали, не желая договаривать: слишком большую приходится платить за её честь цену — будто эту цену запрашивает она сама или будто слабость виновата в том, что она слабость».

И опять посыпались упрёки автору: зачем в художественную ткань вкраплена публицистика? Зачем, описывая молодость Тамары Ивановны, детство Светки и Ивана, а особо — отчаянный поступок их матери, автор всякий раз даёт свои оценки, пускается в собственные размышления?

Вспоминается диалог Валентина Распутина с академиком Дмитрием Лихачёвым в связи со «Словом о полку Игореве». Один из уроков, который писатель усвоил ещё смолоду, читая и перечитывая этот великий памятник древнерусской литературы, касался как раз душевной страстности автора. Вот как тогда оценивал прозаик это качество, которое хотел бы воспитать в себе:

«Меня больше всего поражает в „Слове“ огромная эмоциональная напряжённость, как бы властность автора, требовательность. Это, кажется, характерно для всей древнерусской литературы, и не только для тех произведений, которые отражают драматические моменты истории, но даже и для житийной литературы. Возьмём то же „Моление Даниила Заточника“ — повсюду это огромное эмоциональное напряжение, призывность, страстность, желание результата, объединяющее усилие.

Ну а „Слово“ настолько в эмоциональной приподнятости своей высоко стоит над обычной литературой, что это как горение, горение, которое продолжается постоянно. Оно существует во всей архитектонике „Слова“ — и в системе выразительных образов, и в обращениях автора, и в том, как автор передаёт слово от героя к герою, во всём духе этого произведения.

Это как бы ословленный дух „Слова“... сама Русь — автор этого произведения, она говорила тогда этими словами о тех проблемах, которые стояли перед нею, и о тех необходимостях, которые прежде всего требовали разрешения».

Отвергая домыслы о том, что «Слово о полку Игореве» — подделка XVIII века, Распутин заметил:

«...для меня не менее важным и абсолютно убедительным доказательством подлинности является опять-таки вот эта эмоциональная напряжённость,

потому что многое, очевидно, можно подделать, но чувство, воительство и одновременно молителство в одном страстном вздохе — этого подделать нельзя. Вот, может быть, одно из главных доказательств того, что „Слово“ принадлежит именно своему времени, принадлежит 12 веку. И далее оно существует во все времена, „вовлечено“ в них как очный завет нашим нациям хранить свой природный, изначальный дух, своё родовое и культурное лицо, а самое важное — свою землю».

Распутин выбирает таких героев, которые видят бездну трезвыми глазами. Кажется, что само место этих людей в гуще страдающего народа и сами характеры героев, их закал и прочность, позволяют им иметь своё суждение и смело высказывать его другим. Да и у самого писателя такой закал и такая прочность в творческом характере, что он без страха скажет в лицо мучителям справедливый и смелый приговор.

Юный Иван из последней повести прозаика, посвоему переживший трагедию сестры и матери, приходит к своему страшному открытию:

«Только сейчас, оставшись наедине, он, казалось, наконец вытиснулся из себя и вышел в мир. И то, что увидел он в нём, поразило его. Огромные и страшные перемещения, от которых взрослые почему-то отворачивают глаза, происходят в мире, одни наступают, другие отступают, и среди вразброд отступающих, растерянных и обессиленных, как приговорённое жертвенное стадо, теснимое к обрыву и не понимающее, что с ним происходит, был и его народ. На самой-самой кромке обрыва вынесут ему окончательный приговор: одних, просветлённых новыми знаниями и новыми правилами поведения, помилуют, других, обсудив, как гуманнее поступить с ними, отправят восвояси, в те глухие и немые свояси, где уже ничего нет. От помилованных потребуют: отрекитесь! И

отрекутся. А вослед избранным скажут: вы видели, как много среди них было больных и дурных, преступников и староверов; мы сделали это, чтобы спасти от них мир. И мир согласится: тому и быть, каждый получает то, чего он заслуживает».

«Избранные» уже приняли этот порядок; чиновничество увидело в новом своём положении выгоду: нет такой инстанции, перед которой они отвечали бы, зато есть бесчисленные кормушки и сказочные бездонные карманы, из которых можно брать для себя без боязни и мёд, и сало, и наряд, и путёвку на заграничный курорт, и машину, и роскошный особняк.

Эта повесть — и тщательное дознание, и справедливый суд, и выверенный приговор. Каждый из героев-свидетелей положил перед незримым судьёй свою беду. Со смертной болью переживает неожиданный удар судьбы Тамара Ивановна; мается среди ночи её отец, вечный труженик Иван Савельевич; не находит места ни днём ни ночью муж Анатолий; бежит от себя, осквернённой, и никак не может убежать дочь Светка; ищет приложения своим силам и долго не находит поприща сын Иван. Если в одной семье столько страдающих душ, сколько же их за пределами стен, где мечутся эти пятеро, — сколько искалеченных, не до смерти убитых, опозоренных, раненных несправедливостью, горящих от гнева душ, сколько их по всей России!

Философия социального устройства государства сложна и в то же время предельно проста. Если завтра вымрут все богатые, то с нищих не упадёт ни один волос. Но если завтра сгинут все нищие, то мгновенно перемерут и все богатые: чьи же плоды труда они будут присваивать?

У каждого из миллионов русских людей свой счёт к грабителям и разрушителям, насильникам и растлителям. Свой счёт к власти, под чьим крылом

развернулась страшная российская вакханалия. Каждый день даёт повод для жестоких размышлений, которыми мучаются и герои повести. Просто, как редко сейчас случается в литературе, страницы книги и безмерная по жестокости жизнь, творящаяся вокруг, совпали.

Но те, кто не слышит голоса народа, не услышат и голоса его глашатая.



## На фоне двух литератур

Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» вызвала множество откликов читателей и критиков. О них довольно подробно рассказал сам писатель в беседе с молодым литературоведом Ксенией Зиминой<sup>[39]</sup>. Мне довелось присутствовать при этом диалоге. Как всегда, Валентин Григорьевич с душевным вниманием выслушивал каждый вопрос или суждение собеседницы, неторопливо и раздумчиво отвечал. В предисловии к публикации Зиминой заметила:

«Посмотришь вокруг и поневоле задашься вопросом: „Куда идёшь ты, Россия?“ Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы почувствовать явное духовное обнищание общества, „обесчеловечивание“ жизни. Происходит оно, конечно, не без помощи „земных богов во сонме их“. Нам постоянно советуют быть похожими на за границу: равняться на её „уровень демократии“, на её „стандарты потребления“. Тут не до моральных ценностей, уж тем более не до России. Именно об этом важно было для меня поговорить с Валентином Григорьевичем Распутиным.

Он оказался довольно пессимистичен в оценке нашего настоящего. Но поразила меня на этом фоне его любовь к России и забота о ней, о русском человеке. Так заботятся о родной матери, о ребёнке. Что нужно им сейчас для душевного здоровья, для счастья?»

Итак, беседа.

«К. З. Валентин Григорьевич, после публикации вашей последней повести „Дочь Ивана, мать Ивана“ в печати возникло много споров. Вы читали критику?

В. Р. Всю, конечно, не читал. Но то, что много возникло споров, знаю. Для меня самая лучшая критика — это письма читателей. Я получил много писем.

*К. З.* От литературоведов или от читателей?

*В. Р.* В основном от читателей.

*К. З.* Интересно, что мнения критиков разделились. Одни писали, что автор оправдывает самосуд. Другие возражали, что вся логика событий вела именно к такому поступку героини, который описан в произведении. Что вы скажете по поводу этих споров?

*В. Р.* Я, конечно, подозревал, что такие споры будут, подозревал, что меня ждёт. Повесть писалась долго, я то начинал её, то бросал. А потом всё-таки решил довести работу до конца. История-то не редкая. Кавказец изнасиловал русскую девчонку. И что же — нельзя писать об этом? А чего мы боимся? Русских людей убивают, над ними издеваются, публично мы об этом говорим... То, что наши девчонки стремятся к общению, это же естественно. А тут этим воспользовались. И сколько таких случаев! Я потом, когда стал разговаривать с работниками прокуратуры, понял, насколько эти случаи распространены. Женщина, которая стала прототипом моей героини, не хотела огласки. Ей не хотелось, чтобы её узнали. Но я её всё-таки убедил, что трагедия её семьи может лечь в основу повести. Она согласилась. И в общем-то не в обиде.

*К. З.* А как вы думаете, почему не поняли вашу позицию? Вот филолог из Иркутска (не буду называть её фамилию) в своей статье пишет, что, мол, как же так? Получается, что всё можно, выходи и расправляйся со своими обидчиками.

*В. Р.* Всё это просто. Так называемые либералы и не могли воспринять повесть по-иному. Автор, которого вы упомянули, как раз и принадлежит к ним. Если бы история, подобная той, что случилась с семьёй Тамары Ивановны, произошла с ними, они подняли бы такой шум: как это можно нашего брата?.. Но беда пришла не к ним. Либералы — они всегда были. На каждую мою

новую вещь набрасывались либеральные критики. Может быть, только первые повести не вызывали их наскоков, а так всякий раз эти критики появляются.

*К. З.* В повести есть юный герой, человек, который в будущем может дать отпор криминальному миру, торгашеской жизни. Это Иван. А каким вы видите его сегодня, как он развился?

*В. Р.* Вы понимаете, я бы хотел видеть, что он возмужал и стал ещё сильнее. Но, пожалуй, со многими молодыми людьми так уже не получится. Сильный человек у нас теперь — человек с деньгами. Много я над этим раздумывал, и писал, и с журналистом Виктором Кожемяко мы беседовали об этом. И с нашим премьер-министром заводил я разговор о том же. Он на стороне людей, обогатившихся от этой власти. Считает, что только они могут спасти Россию.

*К. З.* А вот один молодой критик написал в своей статье о вашей повести, что как раз такие Иваны спасут Россию. Автор верит, что сегодняшние Иваны воспитают в своих детях ту чистоту и силу духа, на которых твёрдо стоят сами.

*В. Р.* Дай Бог! Но я в последнее время как-то потерял надежду. А поначалу-то всё-таки, если я дописал повесть до конца, имел надежду. И было много писем от матерей, от ребят... Оказывается, люди собирались и читали повесть каждый вечер, потому что тогда книжка вышла совсем небольшим тиражом. И это был не единичный случай. Меня это удивило тогда. Так не было ни с повестью „Прощание с Матёрой“, ни с другими прежними вещами. Хотя они написаны, конечно, лучше. А читали эту, потому что в ней оказалась боль наша. Боль, с которой мы ещё не справились, она остаётся в нас. Я иногда смотрю телевидение. Это же жуть, что происходит в нашей жизни! Как будто поставили цель погубить Россию. И действуют. Уже близко к этому мы стоим. Что значит погубить Россию? Сделать народ

безвольным, покалечить его душу. Не считаться ни с нравственностью, ни с традициями, ни со здравым смыслом. Что меня больше всего удивляет и возмущает, это то, что происходит с нашей школой. Если поначалу мне казалось, что я заблуждался, думал, что придёт время и всё станет на свои места, то теперь я вижу, что это делается сознательно. Ввели ЕГЭ. Ректор МГУ — один из немногих, кто отказался следовать этому ЕГЭ и тем порядкам, которые насаждают. Человек действительно мужественный, у него авторитет огромный, этот авторитет помогает. Но когда он пришёл к президенту и показал сочинение выпускника школы, совершенно безграмотное, то даже президент (сомневаюсь, что он был хорошим учеником) схватился за голову и воскликнул: мы поправим! Никто ничего не поправляет. Сейчас я уже перестал удивляться. Сердце уже застыло. Раньше болело, сейчас застыло. Привыкают и преподаватели. У меня большая переписка с преподавателями. И все они против нововведений в образовании. Россия лишается своего ядра, своей стати. Осталась кучка культурных людей, но они один за другим уходят. А кто останется после них? Зато эти, уж они-то разойдутся вовсю!

*К. З.* Валентин Григорьевич, кто сейчас продолжает в литературе классическую традицию?

*В. Р.* Для меня это трудный вопрос... Знаю, что традицию эту продолжают авторы, которые собираются в Ясной Поляне. Приезжают такие писатели и к нам, в Иркутск, на праздник русской духовности и культуры „Сияние России“. Но даже талантливые писатели принимают сейчас другой образ жизни — стремятся прежде всего зарабатывать. Ведь если автор написал серьёзную книгу, он мало что получит. Ну, купят часть тиража, а всё остальное будет лежать в магазинах. Нет спроса. Поэтому авторы стремятся писать книги,

которые найдут спрос. Пишут о том, что примет нынешняя публика.

*К. З.* Как вы думаете, какой человек сегодня должен стать подлинным героем в литературе? Вор и убийца, которого показывают в телесериалах и в детективных книжках? Или есть подлинный герой, который остаётся в забвении? Почему не находится автора, который бы сейчас написал „Записки охотника“: простые герои, но любишь ими. И сейчас живут такие русские люди, а в литературе их нет.

*В. Р.* Правильно. По нынешним временам это не очень „выгодная“ тема. Я упоминал о молодых талантливых писателях, которым трудно живётся. Если сравнить то, что они создавали десяток лет назад, и то, что пишут сейчас, это разительно отличается. Многие уже перешли нравственный „рубикон“, и винить их трудно. Тут нужна стойкость и писательская, и житейская.

*К. З.* Как, на ваш взгляд, молодой человек может сохранить сегодня нравственную чистоту? Мне кажется, религиозность в традиционном её понимании привить будет уже сложно, но как ещё можно воспитать человека в православном духе?

*В. Р.* Для молодого человека это было бы не трудно, но почему-то не получается. Вот я наблюдаю, особенно в Москве: в храме много пожилых людей, молодёжи. Старики, когда они молятся, они *там*, *здесь* их нет. А молодые, они исполняют то, что нужно, но они ещё не вошли *туда*. Может быть, когда-нибудь религия займёт в нашей жизни такое же место, как это было раньше. Есть и сейчас хорошие православные школы. Но уже в религиозном чувстве появляются „дыры“, через которые проваливается многое из того, что требуется православному человеку. Знаю многих людей истинно верующих и всё-таки неверующих.

*К. З.* Как вы считаете, почему сегодня мы потеряли чувство Родины? Ведь патриотизм у нас сводится к каким-то примитивным вещам, вроде того, что молодёжь поголовно болеет за нашу сборную по футболу. Почему в стране появилось столько душевно и национально погибших людей, у которых нет ни Родины, ни веры?

*В. Р.* Потому что они были поставлены в такие условия. Мы выходили митинговать для того, чтобы предоставили работу, выдали жалованье, которое не платили месяцами, вернули украденные у нас вклады. Боролись за себя, а не за Россию. Россию мы отдали на разграбление в ельцинские времена. А после этого найти выход уже не удалось. Прежде-то люди действительно стояли за Родину. А сейчас за хлеб. Но дело ведь не в хлебе, как оказалось. Война показала: дело-то не в хлебе! Дело в душе, в отношении к стране, к России. В войну отношение к России было удивительное. Её спасали и спасли. А сейчас такого уже нет. Сегодня очень много людей едет за границу — кто жить и работать, кто учиться. Это меня не просто удивляет, это меня ужасает. Мы не хотим возродить свою страну, развивать родную науку, образование.

*К. З.* Ещё недавно патриотическое чувство было на пике. А с чем это связано? Может быть, человек был крепко связан с землёй, а сейчас он от неё оторван?

*В. Р.* В первую очередь, конечно, связано с этим. Последний удар по земле, который произошёл в девяностые годы, — этот удар страшный. Русская земля — можно ли было представить, что её начнут продавать всем, в том числе иностранцам? В этих условиях „русская земля“, как и „Родина“, часто произносится с издёвочкой. Разве прежде это было возможно? Как мы к этому относились? Как фронтовики относились?.. И вот люди, которые собираются читать книги, не только мои, они размышляют, что происходит в России. Они стали

размышлять, но этого, конечно, мало. Действовать надо. Если ты желаешь России процветания, живи и действуй ради этого».

## Сеющие бурю

В том же 2003 году, когда была создана повесть «Дочь Ивана, мать Ивана», Валентин Распутин написал рассказ «В непогоду». Название его, как и названия многих других произведений писателя, метафорично: трёхдневный буран, заставший повествователя в маленькой избушке, становится для него образом смертоносной бури, охватившей его родину. И опять здесь прямой разговор с читателем. А как иначе, если боль неотступна, если перед этой бурей, как и во время её, в воздухе уже носился и носится вихрь народной беды? И видит автор перед собой героиню прежнего своего рассказа — «Тётка Улита» и слышит её голос:

«Я заглядываю опять в сухие, замогильные глаза тётки Улиты, праведницы, не позволившей себе ни одного худого дела на земле... Я заглядываю в глаза тётки Улиты и различаю едва уловимый утвердительный вздох. Ни я не могу задать ей вопрос, ни она дать ответ, но чудится мне, и из многих-многих памятных между нами разговоров слагаются эти слова — слышу я едва внятное: „Ну, а как же: ежели мимо рук, ежели окромя Бога... не-ет, такой свет не устоит“. И вижу я, как поддакивают ей и бабушка моя, и мать... Не значит ли это, что в бушующей за окнами моего домика стихии есть и их воля: ветер-то оттуда, с той стороны, где они... И бешеные порывы — не без назидания; жуткие эти стенания — не без горького плача родных наших, сошедших с земли, о нашей участи».

Никто из нас, читателей, не мог бы сказать, что это некие общие слова. Распутин — такой автор, оценки которого, если вы захотите найти им подтверждение, всегда обоснованы не в этом тексте, так в другом. И



картина всегда наглядна и доказательна. Нельзя без гнева читать одну из бесед писателя с журналистом Виктором Кожемяко о тех, кто посеял в России бурю:

«В. Р. Двадцать лет миновало с начала той „судьбоносной“ поры, когда наизнанку было вывернуто всё: и многовековые нравы и традиции, и способы жизни и хозяйничанья, трудовые и воинские победы, тысячелетняя история... Всё охаивалось и отвергалось. Нажитое и выстроенное народом в тяжких трудах за многие десятилетия растащили за полгода. Это походило на то, как если бы свергался последний очаг обезьяньего периода, предшествовавшего человечеству, и наконец-то открывались сияющие перспективы.

Не забыли ещё: малолетние школьницы, освобождённые от понятий хорошо-плохо, прилично-неприлично, дружно возжелали под влиянием телевидения стать проститутками. Такие объявились вкусы. Девушки постарше бросились за границу. Одни в поисках богатых женихов, другие на заработки тем самым ремеслом, которое не требует ни воспитания, ни образования. И миллионы людей более старшего поколения, бывшие инженеры, учителя, кандидаты наук, матери и отцы, потеряв работу, вынуждены были обзавестись профессией „челнока“: за границей купить, дома продать и накормить детей. И это в целомудренном народе, не признававшем барышничества и разврата. Вырвались из коммунизма и ветхозаветных понятий — и уже через десять лет (да раньше, раньше!) тысячи и тысячи мамаш школьного возраста, начиная от 12-14 лет и далее, принялись рожать и подбрасывать своих чад под чужие двери или выбрасывать на помойку.

Да разве можно от таких нравов освободиться сразу, если бы даже и захотели освободиться?! „Передовая“ и независимая от всяких ограничений

пресса, телевизионные программы, Интернет, уличная реклама продолжают своё дело даже и не исподтишка, а открыто и воинственно.

*В. К.* Казалось бы, раз кризис, значит, общество подтягивается, мобилизуется, сокращает расходы, без которых в кризисных условиях можно обойтись. Казалось бы... А на деле? Разве хоть в чём-то заметно, что богачи наши умерили свои безумства в роскоши и начали думать о других людях, едва сводящих концы с концами? Нет, Абрамович опять приобретает новую сверхшикарную яхту, другой „российский“ миллиардер — Исмаилов — устраивает пир на весь мир в Турции по случаю открытия нового небывало роскошного отеля, а его детки, шокируя Европу и сбивая встречных, гоняют на сверхдорогих лимузинах и недозволенных скоростях в Швейцарии... У служателей банков и частных фирм — многомиллионные „бонусы“, у чиновников — „откаты“, тоже многомиллионные. Призывы свыше к богатым вести себя более скромно раздавались, но вы уверены, что кто-нибудь это услышал или услышит?

Для меня знаком единения власти и олигархов в абсолютной безнравственности стало происшествие, которое я считаю самым позорным в ушедшем году (2009-м. — *А. Р.*). Скандально знаменитый по „истории с девочками“ во французском Куршевеле олигарх Прохоров на сей раз решил „достойно“ отметить годовщину своего буржуазного журнала „Русский пионер“. И отметить не где-нибудь, а на крейсере „Аврора“ — боевом корабле № 1 Военно-морского флота России. Разумеется, в этом прежде всего был вызов миллиардера „Авроре“ как кораблю революции: бурная пьянка на борту крейсера с прыганьем в Неву под матерные песни некоего Шнура носила характер демонстративного святотатства. Но самое главное — кто принял участие в этом мероприятии! Среди гостей были полномочный представитель президента, министр

федерального правительства, губернатор Санкт-Петербурга. И никого из них, судя по всему, не смутило, что разухабистая пьяная гулянка на корабле, который является музеем, — это, мягко говоря, неприлично. Об олигархе я уж и не говорю — нравы прохоровых, исмаиловых, фридманов и абрамовичей давно известны. А как вы думаете, почему люди, представляющие российскую власть, позволяют себе такое?

*В. Р.* Комментировать это событие свыше моих понятий и сил... А если представить — случись такое в любой из европейских стран, не говоря уже об Америке, я думаю, скандал прогремел бы с последствиями серьёзными, и если не головы у высокопоставленных чиновников, то судьбы полетели бы непременно. Но какой же нравственности ждём мы от своих граждан, какого доверия к сильным мира сего, если „Аврору“ осквернили, совесть и стыд публично оплевали — и ничего! Как будто так и надо, чтобы страна не скучала».

Теперь можно продолжить чтение тревожного рассказа «В непогоду»: «...скоро некому будет ужасаться, мы последние». Помните, в повести «Прощание с Матёрой» старая Дарья собирает своих верных подруг накануне затопления деревни, словно бы говоря: «Мы — последние, кто помнит своих близких, ушедших до нас. Останемся с ними». Новый рассказ — это продолжение того разговора. Это попытка сказать соотечественнику главные слова:

«Из века дошло: Римскую империю, самую могущественную в древности, окованную железной организацией войска и разумной в законе и праве организацией государства, громогласную и сказочно богатую, развалили в короткое время праздность и разврат. Оказалось, что нет силы сокрушительней, перед которой не устаивают ни победоносные империи, ни цветущие, купающиеся в музах и грациях, цивилизации, чем маленькая, бесконечно невзрачная

букашка-душегуб, слизистая тля. Впустили её под кожу — и все великие творения Рима, все завоевания его были безудержно разгулены и развеяны по ветру, превратились в прах».

А ты, Русь, а ты, русский человек?

«Если бы человек собирался жить долго и совершенствоваться, разве бросился бы он сломя голову в этот грязный омут, где ни дна ни покрышки? Он должен был помнить об участи Содома и Гоморры. Мы выбираем свою судьбу сами, но — Господи! — в каких конвульсиях, в каком страхе и страдании, но и в неудержимом порыве, в слепом и ретивом энтузиазме мы её выбираем! Горе нам, не разглядевшим, подобно древним римлянам, маленькую букашку, вползшую на сияющие одежды наших побед... Как много ненужного и вредного... мы завоевали и как мало надо было охранить!.. И не охранили! Горе нам, прогневившим Бога!»

# **Глава двадцать вторая**

## **РОДНЫЕ ЛИКИ**

## Огонь, спаливший сердца

Утром 9 июля 2006 года в Иркутске при посадке на лётное поле вспыхнул аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь». 125 пассажиров рейса 778 сгорели заживо. Среди них была дочь Валентина Григорьевича и Светланы Ивановны Мария.

Выше уже говорилось о начале её музыкальной биографии. Продолжение было таким. После Иркутского училища искусств Маруся окончила Московскую консерваторию сразу по двум специальностям: музыковедение и орган. Поступила в аспирантуру, выбрав темой для диссертации южнонемецкое барокко. Еще учась на пятом курсе, она начала работать в редакционно-издательском отделе консерватории, одновременно выступая на различных сценах как музыкант.

Марина Токарская, искусствовед и педагог, рассказала об этой поре её жизни:

«В один из приездов Маруси в Иркутск, а я как художественный руководитель филармонии каждое лето устраивала её концерты в органном зале нашего города, узнаю от неё, что она собирается в Германию, в Любек. Это „Мекка“ музыкантов, играющих на органе. Здесь когда-то жил знаменитый композитор и исполнитель Дитрих Букстехуде. И сам Бах в юности, не имея денег на дорогу, прошёл пешком сотни километров до Любека, чтобы взять уроки у маэстро. Будущий великий композитор был потрясён мастерством учителя и вместо четырёх недель отпуска пробыл рядом с ним четыре месяца.

Меня порадовало, что Маруся стажировалась здесь, в Северной Германии, целый год. Её педагогом был Мартин Хазельбёк, органист с мировой известностью.

Он очень хвалил нашу землячку за прилежание и работоспособность. Следующими странами, в которых Маруся оттачивала своё мастерство, были Англия, Италия, Чехия, Швейцария. Думаю, Маруся поняла, что северонемецкая школа органного исполнительства хорошо изучена, а вот южнонемецкая — нет. И она стала изучать творчество музыкантов этой школы. И композиторов, писавших для органа: Фробергера, Керля, Георга Муффата. Их редко исполняют в концертах. В результате Мария Валентиновна написала интереснейшую работу „Становление клавирного стиля в музыке южнонемецкого барокко“, которую в 2002 году защитила как кандидатскую диссертацию. В виде книги она была издана через три года после гибели Маруси.

А в Иркутске дочку Распутиных всегда ждали. Давние любители органной музыки с нетерпением: „Что новенького в своём репертуаре привезёт Маруся?“ Впервые пришедшие на концерт — с интересом: „Послушаем, как играет дочь знаменитого писателя?“ А она выбирала редко звучащую и нелёгкую для исполнения музыку. Наш, иркутский, инструмент считается образцовым, он сконструирован чуть ли не по известным в мире чертежам самого Иоганна Себастьяна Баха. Играть на нём и волнительно, и захватывающе интересно. Слушатели это чувствовали по исполнению Марии Валентиновны.

Кстати, дома у Распутиных в Москве стоял кабинетный орган. Иметь такой инструмент под рукой — это традиция европейских музыкантов. Валентин Григорьевич благоговел перед творческими начинаниями дочери и готов был сделать для неё всё. Домашний орган — его подарок. После ухода Маруси из жизни семья передала инструмент в Музей истории города Иркутска».

Более десяти лет Мария Валентиновна была сотрудницей редакционно-издательского отдела консерватории, в последние два года своей жизни — возглавляла его. О её разносторонних интересах с уважением говорили профессора вуза, с восхищением — подруги по молодым студенческим и зрелым годам. Именно Маруся разработала концепцию первого учебного пособия для студентов по своей исполнительской специальности — «Истории органного искусства» и до последних дней вместе с творческим коллективом готовила его к изданию. Этот научный труд, составивший 860 книжных страниц, вышел в свет также после гибели Марии Распутиной.

Профессор Е. В. Назайкинский, научный руководитель Маруси, сказал на защите её кандидатской диссертации:

«В этот ответственный и приятный для меня и моего аспиранта Марии Распутиной момент я скажу только о трёх вещах.

Прежде всего, об исключительной научной добросовестности Марии Валентиновны Распутиной, о её совестливости как учёного, заставляющей постоянно переделывать, дорабатывать, уточнять свои тексты, наблюдения, гипотезы.

Второе — о постоянном стремлении к гармонии во всех консерваторских делах, в своей музыкальной профессии. Орган, занятия со студентами, чтение лекций (за них, прочитанных, в частности, на специальном курсе по анализу музыкальных произведений у музыковедов-теоретиков, я очень благодарен Марии Валентиновне), редакторская работа с музыковедческими статьями, чтение разнообразной литературы, а также многое другое — всё это устремлено к цельности и гармоничности.

И ещё: Мария Валентиновна — славный человек. Всегда внимательный, отзывчивый, добрый, скромный



и, конечно, с характером, своеобразным и привлекательным».

Это — штрихи к её образу исследователя и музыканта. А людей, хорошо знакомых с Марией Распутиной, привлекал её духовный облик. Она была человеком скромным, даровитым, сердечным. И глубоко православным. Студенты консерватории, с которыми она занималась, едва ли знали все её благие дела: житейскую помощь многим людям, участие в хоре прихожан Сретенского монастыря, преподавание в детской хоровой студии «Весна».

Я бывал на её концертах в Иркутском органном зале. В первом ряду всегда сидели её родители. И когда она кланялась публике после очередного номера, невольно вспоминалось поведение Валентина Григорьевича и Светланы Ивановны на людях. Маруся вела себя в те минуты точно так же, как они в таких случаях: никакой рисовки; улыбка, жест, слово — всё естественно, мягко.

Довелось мне однажды ночевать у Распутиных в Москве. Собравшись лететь с Валентином Григорьевичем во Францию, я позвонил ему из Иркутска и сообщил, что буду в столице накануне нашего отлёта. «Не ищи никаких гостиниц, — почти приказал он, — приезжай ко мне». Вечером, за ужином, всем распорядилась Маруся. Хозяйкой она была обходительной, радушной. Чувствовалось, что отец и мать, отдав ей в тот вечер «бразды правления», любят её...

С чувством большой потери говорила о Марии её старшая коллега Ольга Владимировна Лосева: «... поразительно — как не умудрённый ещё годами человек достиг такой степени духовного совершенства! Это был, конечно же, и дар свыше, и результат неустанной и кропотливой работы над собой. Консерватория помнит и будет помнить Марию».

Валентиновну не просто как одаренного музыканта, талантливого и увлечённого педагога и исследователя, но и как удивительного, прекрасного человека. И может быть, прежде всего как человека, потому что такие качества, которыми обладала она, гораздо более редки в людях, чем самая яркая одарённость».

В те траурные дни 2006 года Евгения Ивановна Молчанова, сестра Светланы Ивановны, написала в иркутской газете «Родная земля»:

«Как обычно, приезжая летом домой, Маруся давала концерт в органном зале. Так должно было быть и в этом году: программа выступления сообщена, дата назначена, в городе развешаны афиши. И вдруг — это трагическое известие...

Невозможно поверить, что нет нашей Маруси. Она так стремилась приехать в свой родной Иркутск, пожить на даче, где её так ждали родители, хотела погостить у нас, в порту Байкал, где прошло её детство.

Подростком Маруся не любила, чтобы на неё обращали внимание, сниматься на видеокамеру отказывалась категорически, избегала попадать в кадр. Но со временем она поборола в себе эту боязнь, более того, купила фотоаппарат и с большим удовольствием сама стала делать замечательные снимки. Множество фотографий связано с местами проведения органичных мастер-классов. Узнав о трагической гибели Маруси, их организаторы и профессора прислали свои соболезнования и отклики. А на сайте Органной академии Смарано (Италия) было размещено такое объявление: „Мария Распутина, погибшая в авиакатастрофе в Иркутске, училась в нашей академии в минувшем апреле. Она была хорошим музыкантом и привлекательной женщиной. Нам будет её очень не хватать. Помолимся о её блаженстве на небесах“».

Как пишет Евгения Ивановна: «Телеграммы, письма соболезнования шли нескончаемым потоком. Вот одна

из телеграмм. „Дорогие Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна! С чувством глубокой скорби узнал о трагической гибели вашей дочери Марии Валентиновны. Примите искренние соболезнования. Православная Москва знала Марию как усердную прихожанку, певчую народного хора Сретенского монастыря и сотрудницу его издательства. Москва музыкальная помнит её как талантливого органиста, вдохновенного исследователя, внимательного педагога. Кроткий и светлый облик Марии навсегда останется в памяти всех, кому посчастливилось с ней общаться. Благодарю Бога, что перед своим отъездом, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, Мария исповедовалась и причащалась Святых Христовых Таин, а накануне вылета пела на Божественной Литургии. Всё это вселяет в нас твёрдую надежду на милость Божию. Господь, Своим неизречённым Промыслом призвавший Марию в вечные обители, да успокоит её в селениях праведных. Вам — силы пережить горе, постигшее Вашу семью. С уважением — Алексий, Патриарх Московский и Всея Руси“».

И ещё соболезнование:

«Уважаемый Валентин Григорьевич! Нет слов, чтобы выразить ту боль, которая пришла ко мне вместе с сообщением о гибели Вашей любимой дочери... Я не просто был знаком с Машей, а прекрасно знал её по совместной консерваторской работе; я высоко ценил её музыкальный талант, человеческие и духовные качества, главным из которых была чистая и глубокая вера в Бога. Крест русского писателя тяжёл вообще, а крест национального гения, который вы несёте, тяжёл в особенности. Пусть поддержит Вас в Вашем горе сознание того, что Вы нужны миллионам российских читателей, разделяющих Вашу скорбь и возносящих искренние молитвы о душе той, которая пребывает

сейчас в мире горнем. Вечная память — А. С. Соколов, министр культуры и массовых коммуникаций РФ».

«Велико горе родителей, потерявших дочь, велико горе брата, потерявшего любимую и единственную сестру, велико горе родственников всех, погибших в Иркутске. Что же делать нам, как жить дальше? Я думаю, я уверена, что наша Маруся ответила бы так: „Живите и помните“», — завершила своё скорбное слово о племяннице Евгения Ивановна Молчанова.

«...это была немалая поддержка, — вспоминал позже Распутин в беседе с Виктором Кожемяко. — Мы получили письма и телеграммы не только из России. От друзей, знакомых, но больше всего от вовсе не знакомых. От родственных душ, родственных по несчастью претерпевать всё, на что нас теперь обрекли... Выразить соболезнование, сострадание — это взять на себя часть боли и страдания другого, спасти его от разрыва сердца. Мы это почувствовали...»

Письмо Валентину Григорьевичу прислал и украинский писатель Александр Сизоненко:

«И душа, и всё во мне перевернулось трагическим известием о гибели Машеньки... Примите запоздалое моё соболезнование и сочувствие — отныне Ваше горе великое становится моим личным горем! И горем всей моей семьи. Малое утешение в китайской мудрости: „Разделённое горе — это только полгоря“. Однако хочется, чтобы Вы знали: моя душа, моя печаль — с Вами».

Автор письма добавил, что «гордится Распутиным с тех пор, когда мы ещё были великой страной». По поводу этого сожаления Виктор Кожемяко заметил в беседе с Валентином Григорьевичем: «Видите, ваше горе с неизбежностью вызывает у человека воспоминание о нашем общем горе разделённости, которому как раз исполнилось пятнадцать лет. Значит,

есть тут какая-то незримая связь?» На это Распутин ответил:

«Конечно, особенно если это связь кровная, братская. Политики, не считающиеся с нею, могут иметь временный успех, но только временный. Придёт час — и новый Богдан Хмельницкий соберёт Раду и выведет свой народ из одури поклонения чужим богам. Придёт час — и устроит Господь, что за грехи свои смертные распадётся НАТО, куда теперь шумно и грубо заталкивают Украину тамошние „западенцы“. Придёт час — не устоит ВТО, куда на чужой каравай, на который, как известно, рот разевать не надо бы, устраивают Россию наши „западенцы“».

## Беда семьи, беда страны

Валентин Распутин — такой художник и мыслитель, который всегда связывал человеческую трагедию (в данном случае семейную) с бедой, обрушившейся на страну. Это понимали, чувствовали все, кто хорошо знал писателя. Поэтому неудивительно, что в том же письме Александр Сизоненко писал:

«Личное Ваше горе сопряжено со всеобщим горем России. И Украины — тоже. Если у нас ежегодно убывает 400–500 тысяч человек, то в России — миллион! На сколько же нас хватит? А с телеэкранов льётся поток бесовского хохота: „Сделай мне смешно!“ „Сделай мне весело!“ От Москвы до Одессы — те же пошлые лица заказных „весельчаков“ и „остроумцев“. Хохот стоит над кладбищем так называемого постсоветского пространства. И гибель Маши, как и 124-х её товарищей по несчастью, — укор всему современному укладу жизни на нашей горемычной земле. Но за хохотом „шоу-бизнеса“ не видно и не слышно страданий не то что семей — народов! Так задумано, воплощено. В странном, бесовском, изуверском, содомском мире существуем, а не живём! И гибель Вашей Машеньки — приговор этому миру и его „устроителям“».

«Что скажете на такое, Валентин Григорьевич?» — спросил журналист, когда речь зашла о письме.

«Скажу, что наш собрат с Украины нашёл самые точные, гневные и справедливые слова в адрес правителей как у себя, так и у нас во весь пятнадцатилетний „новый порядок“. Всё верно, всё так и есть, — ответил писатель. — Празднование Нового года в очередной раз показало, что хохот над кладбищем „постсоветского пространства“ нисколько не затихает. Напротив, он становится всё

отвратительней, безумней и бесстыдней. „Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним...“ Это из Гоголя. И это из новогодних праздничных программ на ТВ, в том числе и из Кремлёвского дворца. Это нас таким образом забавляют, чтобы легче было поживать и пожинать, как кодекс, новые ценности...»

У честных и здравомыслящих людей тогда, в 2006 году, возникли естественные вопросы: кто же, если не государство, должен отвечать за безопасность авиапассажиров? Почему десятки возникших при новой власти частных авиакомпаний, по слову писателя, «оказались не просто в корыстных, а в разбойничьих руках»? Ведь «только в Иркутске за последние годы при посадке и взлёте потерпели крушение три пассажирских лайнера. Да грузовой „Руслан“ врезался всей своей громадой в жилые дома».

Почему власть не замечала убийственных предпосылок будущих авиакатастроф, о которых с возмущением напомнил в той беседе Виктор Кожемяко:

«И эта взлётно-посадочная полоса, находящаяся в пределах города (лайнер врезался в гаражи, построенные почти вплоты к ней. — *А. Р.*); и самолёт А-310 производства европейской авиастроительной корпорации „Эрбас“, срок использования которого, оказывается, давно истёк, но который именно потому был „по дешёвке“ взят в аренду российской авиакомпанией „Сибирь“; и, так называемый, субъективный фактор, связанный с подготовкой пилотов, в том числе к работе на технике иностранного производства — всё говорило об опасности полётов.

Недавно Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал, наконец, результаты расследования июльской катастрофы в Иркутске. Виновниками признаны лётчики, совершившие якобы роковую ошибку при посадке».

Валентин Григорьевич продолжил тему:

«Как это ловко и как бесстыдно — сваливать всю вину за трагедию на погибших лётчиков! Ведь они не встанут и не постоят за себя. Не объяснит командир первого класса, налетавший более десяти тысяч часов, что не мог он, как недоучившийся школяр, перепутать тормоз с газом и что умники из МАКа во имя чести мундира преступили свою профессиональную честь и честь истины.

О, времена! О, нравы! Мало того, что убили — всё равно, конструкторской ли ошибкой или протаскиванием несовершенных машин на рынок, — так ещё и убийц решили искать среди потерпевших! А что машина была неисправна и что было рискованно поднимать её в воздух — об этом ни гу-гу.

Комиссия МАКа сама себя и высекла, как унтер-офицерская вдова, сообщая едва ли не в первых же строках своего расследования: „Изучены аналогичные авиационные происшествия, происшедшие с самолётами А-310 в мире“. Значит, были подобные „происшествия“. И неоднократные. Множественные. А недавно промелькнуло сообщение, что машины этого типа снимаются с производства. Разве не говорит это о намеренном лукавстве членов комиссии, искавших виновников трагедии совсем не там, где они находились?»

Журналист припомнил ключевую фразу из сообщений: «„На кону оказались очень большие деньги“. Её, эту фразу, подтверждали большие доходы авиакомпании „Сибирь“, нещадно эксплуатирующей аэробусы А-310. Чтобы „сэкономить“ (на человеческих жизнях!), используют и устаревшие самолёты, и контрафактные, то есть поддельные, авиадетали. Откупаются же потом легко. Да разве можно какими угодно деньгами оплатить жизнь человека?»



«Если бы были даже миллионы, — продолжил этот, прямо скажем, неподъёмный для него диалог Валентин Григорьевич, — разве можно возместить наши потери? Если бы были даже миллионы миллионов, мы бы их с радостью похоронили, чтобы вернуть жизнь наших детей, отцов, матерей, внуков.

Никогда не забуду... На девятины и сороковины мы собирались возле останков того самого самолёта. И вот после службы, когда можно расходиться, к нашему архиепископу Иркутскому и Ангарскому Вадиму, справлявшему её, подходила женщина, стояла и молчала... От её погибшей в этом самолёте дочери, единственной, тех же лет, что и наша Мария, не осталось совсем ничего. Совсем ничего. Владыка Вадим пытался своими особыми словами успокаивать женщину... Она слушала и, похоже, не слышала. Так вот: можно ли оплатить её горе, её бесконечное сиротство, её изнуряющую боль, пустоту всего мира вокруг?.. Можно ли это оплатить деньгами?

Вина компании „Сибирь“ больше, страшнее вины остальных, как говорится, фигурантов этой трагедии. Это даже и не вина, а преступление, не случайно она теперь спряталась за шифровку S-7, с которой взятки гладки.

Но так ли уж гладки?

Выгода — вот что сегодня правит миром и что явилось главной причиной иркутской катастрофы. Большие деньги. А нам — большие слёзы. Надо ли заботиться о своих соотечественниках в воздухе, если они миллионами мрут на земле? Это правило, этот закон интуитивно, в подкорке сидит и принимает решения во многих и многих, от кого зависит наша жизнь».

## «А нам — большие слёзы»

Гибель дочери подорвала здоровье и Валентина Григорьевича, и Светланы Ивановны. У него обострились болезни, связанные с сосудами головного мозга, что притупляло память, влияло на речь. Недуги не отпускали и Светлану Ивановну.

И в эти жестокие дни писатель по-прежнему не забывал о делах «артельных». В Иркутске его ждали земляки, уже привыкшие к октябрьским дням праздника «Сияние России» — он должен был встречать гостей, приглашённых на праздник. 19 сентября Валентин Григорьевич, готовясь с женой к поездке, отправляет записочку Станиславу Куняеву, который тоже был приглашён на праздник (с ним Распутин уговаривался встретиться до отъезда, но не успел):

«Станислав Юрьевич, не дождался, вынужден был торопиться. Просьба: возьми, пожалуйста, Стас (в Иркутск. — *А. Р.*), книги, посвящённые нашей дружеской шляхте<sup>[40]</sup>. Владыка (имею в виду нашего архиепископа) очень ими заинтересовался. Когда я стал рассказывать ему о твоих книгах, он пожелал их непременно почитать.

Неприятные вести: в Иркутске на празднике духовности и культуры буду только три дня, может быть, даже два. И не буду во МХАТе на юбилее. Такова теперь жизнь.

Жаль, что не увиделись, но буду звонить. Уезжаю 21-го. Обнимаю. В. Распутин».

В 2008 году Светлана Ивановна перенесла сложнейшую операцию, после которой через определённые интервалы врачи назначали ей химиотерапию.

Мы, иркутяне, в эти годы нередко встречали Валентина Григорьевича с женой на людях: то на вечере памяти дочери в органном зале, то на открытии Вампиловского фестиваля современной драматургии в театре, то на встречах сибиряков с выдающимися деятелями отечественного искусства в главной библиотеке региона во время традиционного праздника русской духовности и культуры «Сияние России». Валентин Григорьевич скромно сидел среди земляков, изредка выступал с коротким приветственным словом, был, как всегда, душевно открыт, доступен, благожелателен. Под стать ему держалась Светлана Ивановна. Превозмогая физическую боль, она приветливо улыбалась знакомым, без принуждения вступала в разговоры, отвечала на тёплые слова. Её скромность, обаяние, душевный свет, озарявший привычный для всех нас облик, — всё оставалось при ней и не выдавало её физических мук.

Но муки не отступали ни на минуту. От Валентина Григорьевича — тоже. С болью в сердце читаешь записанный Валентином Курбатовым разговор, который произошёл у него с тёзкой летом 2009 года. Оба собирались в путешествие на судне вниз по Ангаре от Иркутска до строящейся Богучанской ГЭС. Чувствуется по разговору, что Распутин готовится к поездке, которую он обещал создателям будущего документального фильма и своему издателю, что называется, «поверх своих физических сил». Разговор, не лишённый, однако, иронии, начинает Распутин, обращаясь с вопросом к Курбатову:

«— Валентин, ты ещё не инвалид?

— Тьфу на тебя!

— А я инвалид второй группы.

— Все мы, — говорю, — инвалиды умственного труда.

— Да нет, — говорит, — правда.

— По зрению? — спрашивает Гена (Сапронов, издатель, присутствовавший при разговоре. — *А. Р.*).

— По всему. Зрение тут не самое главное. Не помню ничего. А лекарства сначала стоили 3500 рублей, через месяц — 4500, а сейчас — пять тыщ. Я и отказался. Но тут же и взвыл. Оказалось, надо. Так и держат на крючке. Поверишь, Валентин, за полтора месяца не прочитал ни одной строчки, не написал ни одного письма. Живу внуком. Он закричит, мать не знает, как управиться, устанет, зовёт меня. Я с ним разговариваю, он смотрит, стихает, потом улыбается — и я улыбаюсь: старый и малый. Вот на нашу экспедицию и надеюсь, что соберусь сердцем».

«Живу внуком» — недаром это признание вырвалось у писателя. Судьба подарила Распутиным в последние годы жизни Светланы Ивановны такие желанные радости: в январе 2009-го, через двадцать три года после рождения внучки Тони, на свет появился внук Гриша, а ещё три года спустя — внучка Люба. Пополнилась семья сына Сергея, живущая в родительской квартире в Иркутске. Светлана Ивановна успела понынчиться с малышами.

И всё же — непомерно тяжёлая ноша легла на Валентина Григорьевича в последние годы его жизни. Письма близким друзьям, которым он без утайки рассказывал и о собственном состоянии, и о страданиях Светланы Ивановны, дают об этом представление. В нашем распоряжении есть несколько его посланий супругам Алымовым в Усть-Уду. В них и сердечное отношение к этим людям, и благодарность за постоянную поддержку, и верность давней дружбе, и ощущение свалившейся беды, и стойкость, и обманувшая надежда — всё слилось в этих скромных житейских рассказах:

«07.11.2011 г.

Дорогие Изольда Александровна и Эрнест Дмитриевич!

Давно следовало покаяться за то, что сгинул неизвестно где и ни ответа, ни привета. Но теперь уже опять в Москве. Как ни тяжело здесь зимовать, но придётся. И я прибыл сюда не в лучшем состоянии, и моя Светлана Ивановна. К ней вернулась опять её болезнь, с которой два года назад здесь вроде справились. Да вот вышло, что не совсем. Надежда опять на чудо.

С гостями приехать в Усть-Уду<sup>[41]</sup> у меня нынче, как вы знаете, не вышло, побоялся, потому что чувствовал себя не ахти как. И вскоре отправился в больницу.

Вот такая теперь жизнь.

Вспоминаю вас с Эрнестом Дмитриевичем часто и всё ахаю: сколько-то я потерял, что не удосужился нынче погостевать у вас! Беды бедами, но остаётся всё-таки уверенность, что непременно погощу. Да и долг другого порядка остаётся. Я нынче продолжал отправлять книги в районную библиотеку, но забываю про вашу церковную библиотеку. Да и не забываю, а всё руки не доходят. В новом году надо подтолкнуть.

Вот такие дела. Довольно грустные, но надо надеяться на лучшее.

Часто вспоминаю Эрнеста Дмитриевича. Никогда не унывает, всегда добродушен и занят делом. Конечно, это мужество, но это и характер, счастливый его характер.

Да будет так!

Кланяюсь вам и надеюсь на встречу. Ваш В. Распутин.

Р. S. И батюшке передайте мои поклоны и надежду на его молитвы о нас, грешных. В. Р.».

«15 декабря 2011 г.

Дорогая-предорогая Изольда Александровна!

Спасибо за письмо, тёплое, живое, доброе и обстоятельное. Только из глубинок могут приходиться такие письма, в которых ничего не забывается и всё к месту. Читал его и невольно улыбался, представляя Вас и хорошо слыша Ваш голос. Особенно меня порадовала Ваша столетняя мама с прекрасным языком и неиссякаемым интересом к жизни. Да ведь это и Вам тоже — одно передалось, другое, как столетний возраст, непременно передастся. Так что жить Вам ещё и жить! И Эрнеста Дмитриевича непременно за собой тянуть по старому присловию: куда жена, туда и муж. И вместе — к ста годам! Жаль только, что мне не удаётся за вами удержаться. Но и то уже хорошо, что пока подле вас держусь. И знаю теперь, за кого держаться.

А маме Вашей, если поедете на её сотовые именины, кланяйтесь низко и от меня.

Спасибо большое за рекомендации Светлане, как и чем ей лечиться. А пока её пичкают химией. Дней через десять химия, вероятно, закончится, вот тогда и постараемся перейти и на Ваши рецепты. Тем паче, что химия, кажется, уже не помогает. Так что теперь вся надежда на Господа.

И двух месяцев ещё не минуло, как мы в Москве, а кажется — год прошёл. В Москве теперь и здоровым-то не позавидуешь — такая здесь тьма и осенью, и зимой, и даже летом, и так Москва забита людьми, что я стараюсь лишней раз не передвигаться по ней. Передвигаться всё-таки приходится, но от таких „прогулок“ здоровье отнюдь не прибавляется.

Буду ждать теперь письма от Эрнеста Дмитриевича с рекомендациями. Пожалуй, я уже и готов взяться за глобальное. Но вот только каким оно должно быть, что из себя представлять — этого пока не нашёл. Но вместе с Эрнестом Дмитриевичем непременно найдём.

С новым годом Вас, дорогие наши усть-удинцы. Я ведь зимой в Усть-Уде давным-давно не был... А надо, а хочется! Быть может, в следующую зиму поспею.

Доброго, самого доброго Вам нового года! Кланяюсь. В. Распутин».

Следующее письмо написано незадолго до кончины Светланы Ивановны, 11 марта 2012 года. Обычно в посланиях писателя все слова, несмотря на мелкий почерк, выведены чётко, строки лежат ровными ниточками. На этот раз они криво наклонены в правую сторону, дата в конце текста указана неверно: вместо 2012 года стоит 2002-й. Рукою И. Алымовой добавлено: «Получено 24 апреля 2012 г.».

«Дорогие Изольда Александровна и Эрнест Дмитриевич!

Не писали вам и не отвечали на ваши письма целую вечность. Но вечность эта и нам досталась на всю катушку. Светлана болела и в Москве, и в конце концов дошло до того, что её отказались лечить. Конечно, мы могли найти другую больницу и даже нашли, но в последний момент решили по-иному, в пожарном, можно сказать, порядке: за два часа собрались — и в аэропорт, а утром уже были в Иркутске. Я в спешке оставил почти всё, что мне потребовалось в Иркутске — и из бумаг, и из писем. Ваши письма, т. е. письма вам, тоже остались в Москве. Поэтому и молчу безбожно.

А в Иркутске жену увезли в одну больницу, меня в другую. Я два дня назад вышел, жену на днях тоже освободят, но ей предстоит нерадостная и скорей всего недолгая жизнь. Лишь бы Господь помог ей не слишком страдать.

Простите за молчание, но ваши письма были кстати. Спасибо вам. И не обижайтесь за молчание. Надеюсь в

наступившем году несмотря ни на что повидать вас. Спасибо! И будьте здоровы. Ваш В. Распутин».

Он мужественно держался, при нём оставались и его доброта, и праведность, и великий его талант. Мерзкие, злорадные слова хулителей: «Потерял дар, потерял...» — не задевали писателя. Ценители его творчества, думаю, согласятся с мнением Владимира Крупина: «А разве его огненная публицистика последних лет — не произведения мастера?» Да и сам Распутин с грустью и мудрым пониманием говорил о пределах творческих сил: «Семьдесят лет — всё-таки немало. Но отмолчаться мне не придётся... Постараюсь, чтобы не только публицистика появилась. Успокаиваю себя и тем, что смотрю на классиков. Тургенев писал в солидном возрасте маленькие вещи, но видно, что написаны они уже нетвёрдой рукой. То же самое у Толстого. Достоевский не дожил до больших лет. Надо, очевидно, просто вовремя сказать себе: писать воспоминания для детей, для внуков, а уж в широкий мир не пускать своих творений. Тем не менее что-либо ещё, я думаю, мы издадим».

1 мая 2012 года Светлана Ивановна скончалась. Похоронили её рядом с Марусей на Смоленском кладбище в Иркутске.



## «Моему ангелу-хранителю...»

Когда-то в повести «Пожар» Валентин Григорьевич описал Алёну, жену главного героя Ивана Петровича. В рассказе о ней было столько мужского любования, столько сокровенных наблюдений, что невольно думалось: тут, конечно, есть отсвет собственного житейского, семейного опыта автора. Это и его признания, и его благодарность жизни за счастливо найденную спутницу.

Перечитаем несколько строк.

«С некоторых пор Иван Петрович стал присматриваться к Алёне внимательней. Даже и не присматриваться, а как бы прислушиваться к тому месту, которое она занимала с ним рядом. Каждый мужик, наверно, держит перед собой два образа жены — какая она есть и какой бы он хотел её видеть...

А вот Алёна его, неизвестно с какого времени, сошлась в одно целое. Больше всего озадачивало Ивана Петровича, что он не заметил, когда он перестал делить её на Алёну для себя и Алёну для него. Проживши тридцать да ещё с гаком годочков, ясно, что они немало перелились друг в друга и тем уж стали роднее, что в каждом из них прибавилось плоти другого, которая не может не приникать к своему изначальному крову...

Находился ли он дома или уходил, он постоянно чувствовал в себе Алёну, продолжающую свою неустанную службу. Она, когда требовалось, добавляла или убавляла его характеру, находила в нем терпение и вела домой... Опрятный и мягчительный тот мир, который был Алёной, с годами не только не выстыл, но ещё и пораздался в понимании и тепле...»

С первых лет совместной жизни в Иркутске, а затем в Красноярске Светлана чутко понимала творческие

интересы мужа, журналиста и начинающего писателя. Беспокойная профессия Валентина добавляла немало трудностей. Можно представить, как в Красноярске она, преподаватель вуза, имея на руках маленького сына, обходилась одна во время его частых командировок: и к занятиям подготовься, и лекции проведи, и о малыше позаботься. Одно это, последнее, было делом непростым. Ведь все так называемые удобства в «студенческом доме» — общие. Нужны были и силы, и терпение, и стойкость. Однокурсница Светланы Лидия Лещишина, тоже получившая направление в Красноярский технологический институт и жившая в том же вузовском общежитии, вспоминала об истоках их тогдашней безунывости: «Мы были молоды, жили дружно, верили в своё будущее, умели справляться с любыми проблемами. У многих были маленькие дети, но всегда, идя на занятия к вечерникам (то есть студентам вечернего отделения. — *А. Р.*), могли оставить ребёнка у любой из подруг».

Когда Распутины вернулись в Иркутск, именно Светлана уговорила мужа оставить журналистику и спокойно работать над художественными произведениями. Его гонорары на первых порах были невысокими, Светина зарплата преподавателя института народного хозяйства — тоже, но супруга и тут проявила характер твёрдый и решительный: проживём!

Не лишне сказать, что в коллективе педагогов и в студенческой среде Светлану Ивановну уважали как человека справедливого, требовательного, принципиального. Она умела вовремя помочь студенту, поддержать в трудный день коллегу, высказать рвачу или лжецу правду в глаза.

И она всегда верила в большой талант мужа. Старалась создать все условия для того, чтобы он мог проявить свой дар в полную силу. Сын Распутиных

Сергей сказал, как о само собой разумеющемся, что мать взяла на себя обязанность секретаря отца: ограждала от отвлекающих его телефонных звонков, праздных визитов случайных знакомых, необязательных вызовов в присутственные места. И только людям, приносящим тепло дружбы и новизну совместных дел, дом и дача писателя были всегда открыты. Здесь находили братский приём дальние друзья — писатели Виктор Астафьев, Василий Белов, Владимир Крупин, и ближние, иркутские — Александр Вампилов, Альберт Гурулёв, Глеб Пакулов, а также известные деятели театра и кино, фотохудожники, издатели, журналисты.

Напомню, что зимой Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна жили в Москве, а летом — в Иркутске. О московской их жизни ярко и сердечно рассказала мне в письме Надежда Леонидовна, жена писателя Владимира Николаевича Крупина. Читатели знают её как главного редактора журнала «Литература в школе». Крупины были ближайшими друзьями Валентина Григорьевича и Светланы Ивановны, и уж кто-кто, если не Надежда Леонидовна может рассказать о их московском житье-бытье.

«Вспоминаю Свету, а перед глазами трое: она, Валя и Маруся. Несчётное число раз, выйдя из станции метро „Кропоткинская“, мы торопились к ним, в их приветливую, гостеприимную квартиру, где тебе всегда было хорошо, где можно было сказать обо всём, о чём думал, и всегда найти отклик и поддержку. Когда не стало Маруси и мы оказывались в тихом Сивцевом Вражке, ведущем к дому Распутиных, меня не покидало чувство, что вот сейчас она тихо нагонит нас, обнимет за плечи и с улыбкой скажет: „А вот и я!“ Так было однажды на Ярославском вокзале, когда Валя со Светой возвращались в Москву из Иркутска, а мы с мужем спешили по полупустой вечерней платформе к их вагону и Маша, сдержанная на чувства, проявила так

непосредственно свою радость, ещё более этим порывом усилив наше волнение. Как мы их всегда ждали, как долго тянулись без них московские лето и осень! Жить в столице становилось легче уже при одной мысли, что они рядом, что можно прибежать к ним, выплеснуть все новости, радостные и горькие, услышать, что они думают обо всём этом, и найти опору, чтобы жить дальше.

Светлана безгранично любила свою семью: мужа, детей, внуков, родственников. Любовь Светы к Вале была особого свойства: он был для неё не только самым близким человеком, но и любимым писателем. Трепетное отношение к творчеству Валентина чувствовалось во всём. Она вдумчиво читала каждое его произведение, размышляла, оценивала. Но крест жены такого человека нелёгок. Не все представляют тяжесть и одновременно радость этой ноши, думаю, часто борющихся между собой. Однако я ни разу не слышала ни слова недовольства чем-то, ни слова упрёка, жалобы на усталость, не видела её раздражённой. Светлана была достойна Валентина во всём. Внешне и внутренне красивая, с чувством достоинства, глубокая, разносторонняя, со своими убеждениями и взглядами, она всегда оставалась другом и единомышленником мужа. В Москве она много читала, была в курсе событий, которыми полон мир искусства, успевала на выставки, концерты в консерватории и в зале имени Чайковского, на театральные премьеры.

Понимая и силу таланта Валентина, и притягательность его натуры, она делала всё, чтобы не иссякал круг друзей и единомышленников мужа. Весь дом держался на ней: уют, радушие, хлебосольность создавались её руками, её душой. Представьте этот дом в дни писательских съездов, пленумов. Сколько друзей и добрых знакомых Валентина съезжалось в Москву!

Всем надо было не только повидаться с ним, но и обсудить рукописи, посоветоваться. Да и просто побыть вместе. Тогда стол в гостиной Распутиных раздвигался, накрывался красивой скатертью и украшался неповторимыми салатами, пышущим, только из духовки ароматным жарким или запечённой рыбой, вкусными пирогами, которые умела печь только Светлана. И все из родственного круга писателя, кто приезжал в Москву или следовал через столицу, находили у Валентина и его жены радушный приём, ожидаемой или неожиданной была встреча, здоровы или не очень оказывались хозяева. Светлане, как и Валентину, можно было довериться, излить душу.

Скажите, легко ли было Распутиным постоянно находиться на виду, под пристальными взглядами многих людей? Оба достойно выдерживали это испытание, никогда не проявляли равнодушия, тем более превосходства. Этих качеств они были напрочь лишены.

Особым для Светланы, как бы начертанным в душевных святках, являлся день рождения Валентина — 15 марта. Эта дата и для всех нас наполнялась новой радостью. Весна уже праздновала победу над зимой, день догонял по длительности ночь, воздух набирал свежесть тающего снега и маленьких, отважных ручьёв. И это торжество обновляющейся жизни сливалось для нас с днём Валиного рождения. Напомню, что он приходится на день иконы Державной Божьей Матери. Валентин и Светлана, оба очень чуткие к слову, не терпели вычурности, пафосности. И потому все слова за праздничным столом, тёплые, искренние, живые, соответствовали весеннему дню и кулинарной привлекательности скатерти-самобранки, сотканной мастерством хозяйки. Каждый раз Света удивляла новыми блюдами, которые у гостей шли „на ура“ и сопровождались нашими, женщин, просьбами: „Диктуй

быстреей рецепт!“ А пироги, Боже, какие пироги ожидали приглашённых! Эта пышная выпечка врывалась в комнату на больших противнях, торжественно водружалась в центре стола и справедливо требовала здравицу в честь хозяйки. И мы с воодушевлением славим её искусные руки, способность радовать каждого из нас. При расставании Светлана не забывала вручать нам аккуратный свёрток с разными вкусностями, приговаривая: „Это для вашей старенькой мамы. И для внуков“.

Любовь к мужу жила в её сердце вместе с нежностью к детям и внукам. Света делила с сыном и дочерью их заботы, волнения и радости, помогала обоим всеми силами. О том, какими воспитали родители Серёжу и Марусю, можно судить по судьбе и поступкам детей, уже выросших, нашедших свою дорогу в жизни. Оба никогда не роняли чести семьи. Мы видели, как гордятся отец и мать Марусей. Светлана Ивановна не пропускала ни одного её концерта, не раз приходила в Сретенский монастырь в дни службы, когда дочь пела на клиросе...

Я хотела написать: „Не представляю, как Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна пережили потерю дочери“, но передумала. Они как раз *не пережили* эту страшную потерю: тяжёлая болезнь обоим стала следствием обрушившейся на них беды.

Я помню, как она вязала из голубой нежной шерсти комбинезончик для только что родившегося внука Гриши — сына Серёжи. Сам этот костюмчик она ласково разглаживала рукой перед поездкой в Иркутск. Помню её и Валины рассказы о Грише, таком маленьком, но уже разумном мужичке, способном вдохнуть новую силу в души бабушки и дедушки. О том, как молодые родители устроили детскую, чтобы всё в ней служило развитию и воспитанию малыша. Подолгу мы, прийдя к Распутиным, рассматривали фотографии Гриши и

появившейся на свет его сестрёнки Любочки, снимки всей семьи Серёжи и его жены, сияющей счастьем Лены.

Особо хочу сказать о стойкости Светланы во время болезни. Хрупкая на вид, она обладала удивительно твёрдым характером. Она боролась со своим недугом, никому не показывая, каких усилий стоило это. Она отклоняла мои просьбы довезти или сопроводить её в онкологический центр на Каширке, сама справлялась с тяжелейшим состоянием после бесчисленных сеансов химиотерапии. Не знаю, о чём думала наедине с собою Света. Но уверена: выдержать четыре года беспощадной болезни ей помогли забота мужа и их взаимная любовь, проверенная совместной жизнью».

Думается, сердечные слова Надежды Леонидовны могли бы повторить и иркутские друзья Распутиных. Светлана Ивановна и в родном городе притягивала своих однокурсниц, коллег по работе в институте, близких Валентину Григорьевичу писателей. Знаменитое угощение хозяйки — пироги с байкальской рыбой, «фирменные» супы и борщи, вбиравшие дары домашнего огорода, чай, сохранявшие запахи заповедных байкальских полянок, ценили десятки людей, бывавших у Распутиных.

В начале книги приводились записи из дневников студентки Светланы Молчановой. Воспитанная на классической литературе и музыке, она благоговела перед творцами высокого искусства. Неудивительно, что вместе с Валентином Григорьевичем Светлана Ивановна любила бывать у Георгия Васильевича и Эльзы Густавовны Свиридовых. Распутины не однажды гостили в подмосковном доме Александра Исаевича и Натальи Дмитриевны Солженицыных. По приглашению правнука Льва Николаевича Толстого — Владимира Ильича и его жены Екатерины Александровны они несколько раз отдыхали в Ясной Поляне.

Более полувека длился семейный союз Распутиных. Словно символы, судьба дала обоим «говорящие» имена. Для неё — имя как олицетворение душевного света, для него — имя, названное людьми всей земли талисманом любви.

Вместе они пережили страшные испытания — смерть малютки-сына, гибель взрослой дочери, но Валентин Григорьевич знал наверняка, что его Светлана, хрупкая, тонкая, выстоит. Думается, всё же её, а не какую-то иную женщину, видел он тогда, в восьмидесятых годах, и представлял в днях грядущих, когда рисовал образ Алёны: в ней, «как во всеединой троице, сошлось всё, чем может быть женщина»; «всё до капельки внесла она в общую жизнь...».

На титульном листе своей книги «Век живи — век люби» Валентин Григорьевич сделал надпись жене: «Моей Светке с любовью, с любовью, с любовью. Январь 1983 г.». Спустя годы на сборнике «Что передать вороне?» появился такой автограф: «Дорогой Светке, моему ангелу-хранителю, в день 35-летия того дня, как мы вместе, — с любовью и благодарностью. 25 февраля 1996 г.». И позже — на книге «Сибирь, Сибирь...»: «Моей Светке-Светлане в день сорокалетия нашей совместной и довольно счастливой жизни — эту книгу, как знак благодарности за подвиг мученичества и любви и как результат наших общих трудов. 25 февраля 2000 г.».

12 октября 2010 года Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна обвенчались в храме Касперовской иконы Божией Матери в Иркутске. Соединили свои души перед Господом Богом. Таинство венчания совершил настоятель храма отец Алексей (Середин), духовник писателя. Позже, вспоминая тот день, он сказал: «Без Светланы Ивановны Валентин Распутин не стал бы Валентином Распутиным. Их встреча была предопределена Промыслом Божиим».



**Глава двадцать третья  
О ЧЁМ ЭТО: «ЗЛАТОЗАРНЫЙ,  
СВЕТОСИЯННЫЙ»?**

## Сокровище, которому нет равных

Верность писателя всему родному, отеческому видна в языке его произведений. С самого начала своего художнического служения Распутин с благоговением, как к бесценному духовному сокровищу, относился к русскому слову. Ещё в семидесятые годы наш университетский преподаватель, профессор, автор первой монографии о Распутине<sup>[42]</sup> Надежда Тендитник опубликовала в иркутской газете «Советская молодёжь» (1977, 29 ноября) беседу со своим вчерашним студентом. Надежда Степановна с восхищением отозвалась о языке повестей и рассказов писателя и спросила его, как он оказался владельцем такого богатства. Вот что ответил тогда Валентин:

«Языковая стихия, которой владеет писатель, приходит к нему, наверное, в детстве, и ничем её, никаким литературным языком выправить невозможно. Этот опыт многих поколений, выраженный в языке, приходит затем к писателю... Русскому языку в условиях образованщины грозит большая опасность. Помочь народному языку — сильному, богатому, великому — сейчас, пожалуй, в состоянии только литература. И когда писатель нарочито берётся писать неким литературным языком, неким усреднённым языком, которым люди общаются, чтобы понимать друг друга, это уже плохо. Сейчас главный долг современного писателя больше обращать внимание на народный русский язык. Сохранять его, пользоваться им, всячески его продолжать. Я постоянно бываю в деревне, разговариваю не только со старухами. Язык сохранился не только у них, он сохранился у людей среднего поколения и продолжается у людей младшего поколения.

Есть такие люди: знает он хорошо народный язык, а стремится прибегать к языку, который он услышал по радио, вычитал в газете, и в мешанине одного и другого языка разговариваешь как будто с иностранцем каким-то. Очень трудно понимать этого человека. И второе, что для меня очень важно: я как художественную литературу, а может быть и больше, постоянно смотрю, читаю словарь Даля. Я кроме того давно уже собираю фольклорную литературу, где народный язык выражен наиболее полно, собираю песни, сказки, пословицы, поговорки — всё, что относится к фольклору. Это помогает мне».

Чуть ли не каждый классик отечественной литературы размышлял об изобразительных возможностях русского языка. Но чтобы обращаться к этой теме не только в статьях, беседах, заметках «по случаю», но и в художественных произведениях — это, пожалуй, случай не частый. Распутин такой пример давал не однажды. Ещё в повести «Вниз и вверх по течению» он, тогда молодой прозаик, рассказал, какое впечатление на его героя, судя по всему автобиографического, производят опусы глуховатых авторов, а какое — произведения мастеров:

«Виктор попробовал читать и не смог. С тех пор как он сам начал писать, чтение перестало доставлять ему обычное удовольствие, когда спокойно и доверчиво следуешь за автором всюду, куда его понесёт, когда происходящие в книге события и участвующие в них персонажи воспринимаются как случившаяся реальность, независимо от того, нравятся они или нет... Теперь же появился чисто профессиональный интерес. Ох, уж этот профессиональный интерес... ни дна бы ему, ни покрышки.

До чего было просто раньше и до чего трудно сейчас — будто ты находишься на постоянном дежурстве и не хочешь, да видишь, как ёрзает, а то и

бьётся в мучительных судорогах неправильно поставленное слово, как беззастенчиво хихикают или аукают посередь серьёзного разговора, потому что им делать тут нечего, пустые, ненужные фразы, как врёт, соловьём заливаётся во лжи какой-нибудь положительный герой, купаясь в громких и почтенных словах, словно в мыльной пене, в то время как он, по мысли автора, должен произносить правду, правду и одну только правду, как вся книга руками и ногами бьёт, требуя, чтобы её читали, и вопя о книжном равноправии, хотя пользы от подобного чтения нет и не может быть. Видишь, понимаешь и не можешь вмешаться — ни помочь, ни одёрнуть, ни пристыдить. Уж лучше бы не видеть и не понимать. Вся штука в том, что хорошая книга, как и плохая, создаётся из одного и того же материала, из одних и тех же слов, расставленных, правда, в ином порядке, звучащих в иной интонации и благословенных иным перстом.

Но от хорошей книги, благодаря всё той же профессиональной разборчивости, тоже нелегко. Когда при обыкновенном слове „застонала“ ты содрогаешься от боли этого стона, когда при названии краски ты ясно различаешь её оттенки и ощущаешь её запах, когда ты собственными ушами слышишь звук падающего в книге с дерева яблока и плачешь при встрече двух людей, придуманных фантазией автора, ты пытаешься понять, каким образом всё это было достигнуто, какой живой водой окроплено, ты снова и снова перебираешь слова, следуя по ним, как по ступенькам бесконечной лестницы, пытаешься проникнуть в их удивительную тайну, заставляющую их звучать, пахнуть, светиться и волновать. И ты всё видишь, потому что в книге трудно что-либо скрыть, всю вязь слов, музыку их, обозначенную нота за нотой, стыки между фразами и паузы между мыслями — всё видишь и тем не менее ничего не понимаешь. Отчаявшись, ты откладываешь

книгу и бессильно закрываешь глаза, ненавидя себя за беспомощность, бесталанность и за всё остальное, что с ЭТИМ связано».

## Точка опоры

Спустя тридцать лет после того, как были написаны эти строки, писатель затронул дорогую для него тему в новой повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Молодой герой повести Иван в страшные для России времена обращается мыслями к её духовным скрепам. И одна из этих скреп — родной язык. Иван, уединившись в домике на Байкале, с интересом читает книгу пословиц русского народа и церковно-славянский словарь. С впечатлением, которое испытывает паренёк, стоило бы познакомить каждого школьника и студента-гуманитария:

«...раскрыл словарь. Полистал, вслух повторяя осторожно и трогательно, словно пробуя на вкус и боясь испугнуть: лепота, вельми, верея, чресла, навет, златозарный, светосиянный... и откинулся в изнеможении: что это? Если бы отыскался человек, воспитывавшийся в глухом заточении и никогда не слышавший слов: мама, люблю, дорогой, спасибо, никогда от рождения своего не ведавший ласки и не засыпавший под колыбельную, он бы их тотчас понял и узнал при встрече, потому что он и не жил без них, всё ждал и ждал, когда прикоснётся к нему волшебная палочка их звучания и оживит его. Иван точно клавиши перебирал, и дивная музыка узнавания звучала в нём мягкими и торжественными аккордами. Все эти слова, все понятия эти в Иване были, их надо было только разбудить... всё-всё знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки... Это что же выходит? Сколько же в нём, выходит, немого и глухого, забитого в неведомые углы нуждается в пробуждении! Он как бы недорождённый, недораспустившийся, живущий в полутьме и согбении. „Душу мою озари сияньми

невечерними“, — пропел Иван, заглядывая в словарь и опять замирая в восторге и изнеможении.

Нет, это нельзя отставлять на задний план, в этом, похоже, и коренится прочность русского человека. Без этого, как дважды два, он способен заблудиться и потерять себя. Столько развелось ходов, украшенных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые результаты, что ими легко соблазниться, ещё легче в случае разочарования из одного хода перебраться в другой, затем третий и, теряя порывы и годы, ни к чему не прийти. И сдаться на милость исчужа заведённой жизни. Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далёко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил; когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими словами уводимых в полон и обвязанных одной веревкой многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготавливая такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребёнка добром, и как утешить старость в усталости и печали — когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанными родовой памятью, — вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времён оно само по себе нерушимая клятва и присяга. Есть оно — и всё остальное есть, а нет — и нечем будет закрепить самые искренние порывы».

## Чистый источник — его книги

Распутин являл пример писателя, владеющего необычайной выразительностью и красочностью языка. Едва ли у какого-нибудь другого современного прозаика найдёте вы выражения: «ходила ступью», «чутливо отыскивала», «спохватно думала», «по телу проносились колючие пронизи», «продуктов невпроед», «на подвзях», «с заглубом», «нажитью». Недаром А. Солженицын признавался, что учился языку у Даля, Лескова, Распутина: выписывал у них неведомые ему понятия.

Но и общеупотребимые, известные каждому читателю слова сибирский писатель часто ставит в неожиданное соседство с другими словами, добиваясь во фразе новых оттенков смысла, являя образец какой-то особенной речи. Бывает, что по воле автора у знакомого слова появляется иная форма, и этот «новояз» не кажется искусственным, а запоминается как естественная, может быть, забытая нами частица родного языка. Согласитесь, разве не обогащают художественную речь такие неожиданные выражения: от костра «сплывают в сторону сажные лохматки обгари»; река «поджимисто вытягивалась в одну струю»; «деревья обветвлённые, юбкастые»; «таинственный и радостный небозор»; «при сильной волне, по чёрной, мрачной взбуче воды»; «с мягкой рисунчатостью берегов»; «неубывающая несчесть звёзд»; «сплошное зеркало гололедья»; «едва разглядев нас, он быстро и заводисто принялся рассказывать»; «вожами нашими были местные люди» и т. д.

В рассказах и повестях Валентина Григорьевича авторский текст часто напоминает речь вдруг



просиявшую. Кажется, что до поры до времени слова лежали где-то в запасе — памятные, но подёрнутые налётом покинутости, родные, но отчуждённые временем, красочные, но не протёртые губкой художника. И вот они опять явились в своём образном торжестве — всплывшие в памяти, обретшие былую ёмкую выразительность: «Заходили в ограду люди — изба стояла как на пупке, и видно было от неё на все четыре стороны света. Особенно хорошо был виден разлив воды в понизовьях — могучий, широко раздвинувший берега и какой-то захлебисто-мерклый, без игры и радости. Тут, в Агафьиной ограде, было над чем подумать, отсюда могло показаться, что изнашивается весь мир, — таким он смотрелся усталым, такой вытершейся была даже и радость его. Здесь можно было вволюшку повздыхать, и столько здесь скопилось невыразимых вздыханий, что тучки на небе задерживались над этим местом и полнились ими, унося с собою жатву людских сердец».

Повторите эти строки — и вы поймёте, с какими тщанием и любовью подбирал художник свои речения. Конечно, такая работа не каждому даётся, надо иметь чутьё, вкус к слову, дарованные писателю, может быть, многими прежними поколениями.

Это тот случай, о котором говорил Чехов, обращая внимание на прозу Михаила Лермонтова: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы в школах — по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать».

Встречаешь в соцсетях наскоки молодящегося, бойкого от самомнения литератора, «авангардиста речи»: «А что язык „деревенщиков“? Лежалый, затхлый товар. Нынешние поколения и не понимают его» — а потом открываешь Распутина, к примеру, очерк «На

родине», и находишь у него ответ — почему не понимают:

«Чахлый, гнилой, низкорослый лес, тот, что на корню, по берегу уходит в глубину залива — и далеко: пока не кончится подпор и не сыщется речка в старом русле, не заструится, не зажурчит живой водичкой. Не может не знать она, живая, куда, в какое глухое лежище утянутся её струи, но будет посылать их и посылать... Так и нам надо.

Я снова обвожу глазами весь огромный котлован, где кипела, кипела и кипела вся работа. И думаю: лунный пейзаж. Заронятся ли здесь когда-нибудь семена, закроется ли эта рана? Я задаю вопрос не для ответа, ответ должен быть положительным. Но нет ответов, отказываются говорить. Надо выбираться из этого безответья, из этой глухоты, из беспродышливого подпора, на дне которого много чего лежит. Надо».

Кажется, что это о прозе сибиряка сказал когда-то Николай Гоголь: «Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возратить его возвышенное достоинство умением поместить его в надлежащем месте и как много значит для такого сочинения... это наружное благоприличие, эта внешняя обработка всего; тут маленькая соринка заметна и всем бросается в глаза...»

**Глава двадцать четвёртая**  
**«РОДНУЮ СТРАНУ**  
**ПРЕВРАЩАЮТ В ЧУЖБИНУ...»**

## «Не бойтесь сочувствия слабым...»

В последние годы Валентин Григорьевич уже не мог из-за нездоровья работать над новыми большими произведениями. Но он никогда не уходил в тень. Он оставался художником, мыслителем и патриотом России, чей неподкупный, правдивый, смелый голос постоянно звучал во всех уголках страны. Не случайно его почитали как неумолимого народного защитника и духовного врача, как сеятеля надежды и веры.

Не раз приходилось слышать от Распутина в его беседах с молодыми прозаиками: «Не бойтесь сочувствия слабым и оступившимся, а бойтесь резких приговоров и решительных обвинений своим героям». Об этом Валентин Григорьевич говорил и в нашем диалоге начала двухтысячных годов<sup>[43]</sup>:

«„Что происходит с нами? Что происходит с нашей страной?“ Этот нелёгкий разговор требовал особенного языка. А сейчас такой горячности, может быть, не требуется. Она остаётся в политических речах, в статьях журналистов, но в художественной литературе она стала как бы избыточной. Читатель, как и писатель, настолько надсадил своё сердце той тревогой, которая терзает его, что он уже не в состоянии выдерживать новые дозы.

Нужны какие-то исцеляющие слова, которые, не уменьшая тревоги, внушали бы читателю надежду, давали бы новые нравственные силы для того, чтобы бороться за добрые перемены. Сейчас не лишни будут лирические, даже в какой-то мере сентиментальные произведения, которые могли бы „удобрить“ душу. Душа сейчас, как никогда, требует „удобрения“, она скукожилась от того, что происходит вокруг, она ушла в себя, замкнулась. А это плохо. Одиночество, на которое

настраивает и к которому ведёт вся нынешняя жизнь, ослабление нашей общинности, артельности в труде, в жизни могут привести только к поражению. Человек уходит в себя, особенно в несчастьях, а одному ничего не сделать. Сейчас в обороне ли, в наступлении ли требуется объединённость. Объединённые силы — это наши духовные, нравственные силы. Они должны исходить и от искусства, от литературы.

Мы жалуемся, что нас не печатают, не читают. Это так, но сейчас требуется такое слово, которое бы обязательно прочитали, мимо которого бы не прошли. Бывает на улице: один человек кричит, кричит от горя, а люди проходят мимо, потому что такие крики разносятся всюду. А другой просто смотрит на тебя глазами, полными страдания, — оно идёт откуда-то изнутри, из его души, — и люди останавливаются, замирают от чувства сопереживания. Сейчас слово должно иметь какую-то особую силу, которая не в громкости его, а во внутренней энергетике. Тогда слово преобразит человека, подтолкнёт его к деятельности, вдохнёт в него надежду».

Такое слово Валентин Распутин находил в последние годы — в беседах с журналистами разных изданий, писателями, художниками, литературными критиками.

## Счёт к разрушителям

Особое место среди этих бесед занимают диалоги писателя с журналистом газеты «Правда» Виктором Кожемяко, опубликовавшим их в книгах «Последний срок: диалоги о России», «Валентин Распутин. Боль души», «Эти двадцать убийственных лет». В послесловии ко второму сборнику журналист написал:

«...сложился если не дневник, то своего рода ежегодник, в котором последовательно запечатлелось многое из того, что особенно волновало, тревожило, озабочивало Валентина Григорьевича Распутина при переходе из века в век, из тысячелетия в тысячелетие.

Я знаю, ему эта многолетняя работа, которая, надеюсь, ещё продолжится, по-особому дорога. Как документ времени? Нет, пожалуй, даже более, гораздо более того. Как свидетельство души во времени. А работал он над текстами этих бесед по-писательски — по-распутински, я бы сказал. Предельно кропотливо и тщательно, выверяя каждое слово и малейший нюанс. Так же, как работает над повестью, рассказом или очерком.

Значит, и это неотъемлемая часть творчества большого русского писателя на крутом рубеже биографии его Родины, которую он любит поистине больше жизни».

Надо заметить, что даже в тех горячих диалогах, где речь шла о гибельном состоянии страны и её вечного работника, писатель находил и обнадеживающие, и исцеляющие, и вдохновляющие слова. Там же, где беседа касалась разрушителей державы, он бросал в их адрес предупреждающие и отрезвляющие «глаголы» (в пушкинском смысле).

«Вот вам жизнь моей родной деревни на реке Ангаре, теперь там Братское водохранилище. Судите сами, жизнь ли это? Почти сорок лет назад моя Аталанка была переселена из зоны водохранилища на елань, сюда же свезли ещё пять соседних деревень. Вместо колхозов стал леспромхоз. В прошлом году (1997-м; беседа состоялась в апреле 1998-го. — *А. Р.*) он пал смертью храбрых на рыночном фронте. В большом посёлке не осталось ни одного рабочего места. Магазин и пекарню закрыли, школа сгорела, солярку покупать не на что, электричество взблескивало ненадолго в утренние и вечерние часы, теперь, думаю, погасло совсем. Но это ещё бы не вся беда. Воду в „море“ брать нельзя, заражена много чем, а особенно опасно — ртутью. Рыбу по этой же причине есть нельзя. Почту могут привезти раз в неделю, а могут и раз в месяц. Два года назад, в то время леспромхоз ещё слабенько шевелился, мои земляки выкапывали по весне только что высаженную картошку. Что будет этой весной, что будет дальше, сказать не берусь. И если бы в таком аховом положении была одна моя деревня... Их по Ангаре, Лене, Енисею множество. Никакого сравнения не только с войной... сравнить не с чем».

Добавлю к этому собственное впечатление о посёлке, сохранившем название родной деревни писателя. Именно в тот год, о котором идёт речь в диалоге, мы приехали в Аталанку на день втроём: Распутин, я и журналист иркутской газеты. На улице к знаменитому земляку подходили люди — мужчины всё какие-то потерянные, помятые, иные с явными признаками известной слабости, женщины озабоченные, словно бы вдруг вспомнившие, что они способны и улыбаться. Школа-восьмилетка, лишившаяся из-за пожара собственного здания, ютилась в заброшенном детском саду. Мы вошли. Ребята в тот холодный весенний день сидели за

старыми домашними столами в верхней одежде, от щелястого пола сквозило. Комнаты с тонкими перегородками и наспех навешенными дверями полнились голосами из соседних «классов». Детей в школе не кормили: власти не имели на это денег... Со сжавшимся сердцем вспомнил я свою маленькую деревню военного сорок второго года, детсад, который был открыт колхозом для нас, голодающих малышей, чистую и тёплую, с домашними печами, начальную школу, куда мы заглядывали иногда к своим старшим братьям или сёстрам. Какие же враги принесли на обогревавшую нас прежде землю такое разорение?

Но вернёмся к диалогу. То, что сказал журналисту Валентин Григорьевич после рассказа о своём разорённом родном уголке, стало для меня и ожидаемым, и неожиданным размышлением:

«Мы не знаем, что происходит с народом, сейчас это самая неизвестная величина. Албанский народ или иракский народ нам понятнее, чем свой. То мы заклинательно окликаем его с надеждой: народ, народ... народ не позволит, народ не стерпит... То набрасываемся с упрёками, ибо и позволяет, и терпит, и договариваемся до того, что народа уже и не существует, выродился, спился, превратился в безвольное, ни на что не способное существо.

Вот это сейчас опаснее всего — клеймить народ, унижать его сыновним проклятием, требовать от него нереального образа, который мы себе нарисовали. Его и без того беспрерывно шельмуют и оскорбляют в течение десяти лет из всех демократических рупоров. Думаете, с него всё как с гуся вода? Нет, никакое поношение даром не проходит. Откуда же взяться в нём воодушевлению, воле, сплочённости, если только и знают, что обируют его и физически, и морально.

Достоевским замечено: „Не люби ты меня, а полюби ты моё“, — вот что вам скажет народ, если захочет



удостовериться в искренности вашей любви к нему. Вот эта жизнь в „своём“, эта невидимая крепость, эта духовная и нравственная „утварь“ национального бытия и есть мерило народа.

Так что осторожнее с обвинениями народу — они могут звучать не по адресу.

Народ в сравнении с населением, быть может, невелик числом, но это отборная гвардия, в решительные часы способная увлечь за собой многих. Всё, что могло купиться на доллары и обещания, — купилось; всё, что могло предавать, — предало; всё, что могло согласиться на красиво-унизительную и удало-развратительную жизнь, — согласилось; всё, что могло пресмыкаться, — пресмыкается. Осталось то, что от России не оторвать и что Россия ни за какие пряники не отдаст. Её, эту коренную породу, я называю „второй“ Россией в отличие от „первой“, принявшей чужую и срамную жизнь. Мы несравненно богаче: с нами — поле Куликово, Бородинское поле и Прохоровское, а с ними — одно только „Поле чудес“».

Собеседник, естественно, спросил писателя: так что же, нам оставаться смиренными и терпеливыми? «Они-то, враги наши, не церемонятся, не стесняются! Они и хитры, и наглы, и агрессивны. Может, правомерно острее ставить вопрос о большей жёсткости и непримиримости с нашей стороны? Может, правы те, кто с определённым смыслом напоминает слова Христа: „Не мир Я принёс вам, а меч“?.. В конце концов был схимник Серафим Саровский, но был также инок Пересвет... Скажите, как вы считаете: нужен сегодня герой-боец русской литературе и русскому обществу? Я вспоминаю известную статью Сергея Булгакова „Героизм и подвижничество“, где подвижничество ставится выше героизма. Но в нынешних условиях, по моему, потребно и то, и другое».

«Согласен с вами, — ответил Распутин, — нужно то и другое, одно другому ничуть не мешает. Подвижничество — как надёжные и обширные тылы, как необходимость укрепления духа и постепенное теснение чужих. И героизм — как передовая, где идёт откровенное борение сил. Без героизма не явятся к нам выдающиеся личности, полководцы, подобные Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Георгию Жукову».

Здесь необходимо заметить, что сам Валентин Григорьевич в эти годы не забывал ни «передовой», где нужно было личное участие, ни надёжного «тыла», где требовалось подвижничество. В «тылу» он продолжал быть в центре патриотического сопротивления. На всех съездах Союза писателей России тех лет он избирался его сопредседателем. Входил в Патриарший совет и стал соучредителем Всемирного Русского народного собора. И в том, и в другом качестве он неизменно выступал со страстными обращениями к мыслящей общественности, к читателям. А ещё — на многих других площадках, где обсуждались больные стороны национальной жизни. Например, перед участниками Всероссийских Рождественских чтений, в программе которых значилось обсуждение школьного и вузовского обучения. Мнение писателя по многим вопросам ощутимо влияло на общественное сознание. Председатель Союза писателей России Валерий Ганичев не для красного словца заметил, что именно Распутина считают духовным наставником миллионы сограждан. И писатель стал им, — как сказал в одном из выступлений соратник сибиряка, — «не по тиражам, не по газетно-телевизионному шуму, не по скандалам вокруг его имени и произведений, а потому, что перед ним, как ни перед кем другим, открылась душа русского человека. Трепетная, отзывчивая, порывистая, тонкая... Валентин Григорьевич и есть главный „сбережитель“,

„сохранитель“ и спаситель этой души. Ибо увидев её усталую, замёрзшую под холодными порывами ветра, пытаюсь её спасти, он брал её в свои руки, дышал на неё, отогревал, радовался её оживлению и выпускал к нам, в мир, на волю, как благовещенскую птаху...».

## Отчаяние запрещено!

На родине, в Иркутске, в эти годы Распутин неизменно участвует в благих делах. При его содействии в городе открывается женская православная гимназия, писатель входит вместе с архиепископом Иркутским и Ангарским, владыкой Вадимом в её попечительский совет. Его стараниями в многострадальной Аталанке построили новую школу. Сегодня в кирпичном здании девятилетки — просторные комнаты для занятий, хорошо оборудованный компьютерный класс, библиотека, которая вместе с поселковой предоставляет детям большой выбор книг. Между прочим, в пополнении фондов той и другой библиотек постоянно участвовал сам писатель. В школе хранят одно из его писем, адресованное юным землякам:

«Дорогие ребята из литературно-краеведческого кружка!

Извините, что на вашу просьбу прислать книги отзываюсь с опозданием. Но сейчас, одновременно с этим письмом, отправляю в ваш адрес две бандероли с некоторыми своими изданиями. Позднее вышлю ещё.

То, чем вы решили заняться, нельзя не приветствовать. К сожалению, мы так плохо знаем свой край и его литературу, что слишком часто за нашего брата, сибиряка, становится неловко. Это было и раньше, а в последнее время становится бедствием. Надеюсь видеть в вас, близких моих земляках, если не счастливое исключение из этого нерадостного правила, то, по крайней мере, искреннее движение к тому, чтобы знать и понимать свой край и себя в том числе лучше и глубже.

В этом и желаю вам удач. В. Распутин».

Валентин Григорьевич не забывал и о районной библиотеке. В сентябре 2011 года он отправляет в Усть-Уду сотруднице библиотеки — одну за другой — две посылки с сопровождающими письмами:

«Уважаемая Любовь Германовна!

Посылаю первую порцию книг с автографами, посвящёнными мне, т. е. В. Распутину. Первую — но если подобного рода книги не заинтересуют читателя, то и последнюю. Посмотрите, а я попозже позвоню. Всего Вам доброго! В. Распутин».

«Как же не заинтересуют? — ответили ему. — Таких книг с дружескими обращениями авторов к своему коллеге нет, наверно, ни в одной библиотеке страны!»

И Валентин Григорьевич шлёт ещё одну посылку.

«Уважаемая Любовь Германовна!

Высылаю вторую порцию книг с автографами авторов. И на этом останавлиюсь. Если Вам что-то покажется неинтересным и ненужным — безжалостно изымайте. В. Распутин».

В районной библиотеке мне дали список ста пяти книг, которые здесь бережно хранят. Перебирая книги, читаю автографы Евгения Носова, Фёдора Абрамова, Владимира Чивилихина, Миколы Бажана, Сергея Залыгина, Василия Белова, Владимира Крупина, Иона Друцэ, Станислава Куняева, Глеба Горбовского, Анатолия Жигулина, Юрия Кузнецова... Сколько душевных нитей протянулось сюда, в таёжное ангарское село, из всех краёв огромной России благодаря писателю!

А у истории с дарением книг библиотеке было продолжение. Однажды мне понадобилось зайти к Валентину Григорьевичу по какому-то срочному писательскому делу. В назначенное время он ждал меня не дома, а у подъезда.

— Должен подойти один предприниматель, — пояснил Распутин. — Он решил подарить мне легковой

автомобиль. Ничего подарочек, а? Я ему говорю: мне машина не нужна, а вот если подарите её администрации Аталанки, буду благодарен. Сейчас договоримся.

Я постарался побыстрее уйти, чтобы не мешать встрече.

Этим поклонником писателя, как выяснилось, оказался Андрей Владимирович Чернышёв, известный в регионе человек, депутат Законодательного собрания области от города Братска. В свои молодые годы он учился в прославленном МГИМО, позже окончил два факультета в других вузах, создал и руководил многопрофильной фирмой, которая честно зарабатывала деньги строительством жилья, другими видами обслуживания земляков. Чернышёв и до той личной встречи с Распутиным помогал школам, больницам, людям, нуждающимся в поддержке. Почему-то решил, что скромному классику не на чем добираться даже до дачи, и предложил помощь...

Просьбу писателя он воспринял как некий наказ: посмотрите, мол, Андрей Владимирович, какой скудный бюджет у сельских администраций, как делят они крохи на фельдшерские пункты, клубы, библиотеки, помогите им.

И Чернышёв постарался наказ выполнить (да и теперь старается!). Подарил легковые машины не только Аталанке, но и администрациям соседних сёл — Аносово, Светлолобово, Подволочной. Пожаловался на бедность отдел культуры Усть-Удинского района — и ему пригнал новенький автофургон: развозите в подведомственные библиотеки книги из обменного фонда, организовывайте в округе лекции, концерты...

В Иркутске как раз к семидесятилетию Распутина издали четырёхтомное собрание его сочинений и ещё несколько сборников и альбомов, в которые вошли произведения писателя, фотографии его родных мест,

редкие снимки из семейного архива. Как не приобрести такие издания библиотекам Усть-Удинского района? И здесь на помощь пришёл Андрей Владимирович: привёз на грузовике более сотни экземпляров новых книг. В первый же приезд в районный центр Распутин на каждой книге написал тёплые пожелания своим читателям. Я видел те, что стоят на полках в библиотеке Усть-Уды. Ни один автограф не повторяет другой.

Чуть позже писатель подарил землякам все имевшиеся у него тома знаменитой «Библиотеки всемирной литературы», вышедшей в семидесятых годах прошлого века.

А сколько хлопот было у Валентина Григорьевича, когда в Усть-Уде возводился храм! За его строительство он много лет горячо ратовал вместе с давними знакомыми — Николаем Михайловичем Рупосовым, Эрнестом Дмитриевичем и Изольдой Александровной Алымовыми, другими сельчанами. Писатель обращался ко всем, кто мог бы внести лепту в богоугодное дело, — к соратникам, знакомым и незнакомым предпринимателям, о чьём меценатстве был наслышан. Он и сам внёс триста тысяч рублей, а когда храм был построен, отдал свою очередную литературную премию на приобретение колоколов. Сегодня церковь Богоявления одна из красивейших в епархии...

\* \* \*

А что касается участия Валентина Распутина в схватках на «передовой, где идёт откровенное борение сил», — он никогда не страшился становиться под удар. В каких только поездках не участвовал писатель в составе тех «десантов», которых ждали единомышленники в разных уголках России — в Чечне и

Санкт-Петербурге, в Волгограде и Белгороде и многих-многих других местах. Однако встреч с писателями-патриотами ожидали не только их почитатели, но и озлобленные оппоненты, и «отвязанные» провокаторы.

Станислав Куняев передал мне копии неопубликованных писем Валентина Григорьевича к нему, одно из них, от 6 февраля 1989 года, как раз касается такой «жаркой» поездки. Группа литераторов, в которую входил и Распутин, побывала в Северной столице по приглашению патриотических молодёжных организаций города. Куняев, тоже собиравшийся участвовать во встречах, неожиданно заболел и не смог поехать. Спустя несколько дней Валентин Григорьевич рассказал ему в письме об атмосфере бесед с читателями.

«Дорогой Стас! Как ты поправляешься? Наверное, передавали тебе, что в Ленинграде на каждой встрече о тебе спрашивали. Слух, что ты в больнице, среди своего народа распространился быстро, и потому спрашивали не из любопытства.

Ленинград мы не „взяли“, как Рязань, никто, кроме местного Фонда культуры знаться с нами не желал, а Фонду удавалось организовать встречи всё больше в заводских клубах. Но народ туда собирался грамотный, и встречали хорошо. Правда, опытному глазу всякий раз можно было рассмотреть ребят-афганцев, готовых утихомирить провокаторов, но до этого, кроме одного случая в первый день, когда меня не было, не доходило. Напряжение порой чувствовалось, не без этого. Парню, который подвёз нас с Володей Крупиным, всю машину исцарапали свастикой.

Но дело не в этом. Меняется и Ленинград. Прочитал сейчас статью Вадима Кожинова в „Нашем современнике“<sup>[44]</sup> и вспомнил, каким же простофилей тогда, в 1969-м, был и я. Природа за ночь без книг и



радио успевала кое-что внушить заблудшему сыну, но приходил день и опять всё то же давление со всех сторон. И обработка действовала ещё несколько лет.

Не знаю, выслали ли тебе последний номер „Литературного Иркутска“, на всякий случай высылаю. В следующем номере даём твою статью<sup>[45]</sup>. Прекрасная статья! Постоянное сопротивление и давление сделало вас с Вадимом замечательными бойцами и мыслителями.

Обнимаю тебя. Гале и сыну поклоны. Твой В. Распутин».

Уже в новом, XXI веке, испытал, что называется, на своём хребте все прелести либеральных «реформ», аудитория на встречах с писателями, единомышленниками Распутина, стала воспринимать их доводы не так, как совсем недавно. Об этом можно судить по записанной мной позже, в 2002 году, беседе с Распутиным («Пишу, когда не могу не писать...»).

*«А. Р: А как всё же добиться, чтобы писателя сегодня услышали? Ведь власть всё делает для того, чтобы правдивое слово не дошло до читателя. Тиражи книг и журналов мизерны, телевидение и газеты закрыты для писателей-патриотов. Как в этих условиях сохранить умного, деятельного читателя, как усилить воздействие художественной литературы на человеческие души?»*

*В. Р: Ты знаешь, власть перебарщивает. Так называемые „демократические“ средства информации, писатели, обласканные властью, — они настолько перебарщивают, что достигают обратного результата. Их уже меньше слушают, а если слушают, то хорошо понимают, что идёт оголтелое враньё. Да, нас мало печатают. Журналы выходят небольшими тиражами, книги издаются редко. Но вот встречи...*

Приходится много ездить по России. Было время, когда на встречи с писателями не ходили. Например, на рубеже восьмидесятых — девяностых годов, когда интеллигенция обманула народ. Это надо сказать прямо. Правда, обманула интеллигенция вовсе не национальная, но для наших граждан неважно, национальная или не национальная. И отношение было одинаковым: вы все виноваты, зачем слушать вас! Сейчас многое изменилось. Сейчас люди понимают, у кого сохранился нравственный авторитет, а кто его полностью потерял, кого просто противно слушать. Есть такие признания. И я получаю письма, в которых читатели называют имена писателей и говорят, что этих господ омерзительно слушать, откуда бы их голоса ни раздавались: из Америки или Германии, из Москвы или Санкт-Петербурга. Но вот выступает группа писателей, придерживающихся национально-патриотических взглядов, и залы полные. Так было в Белгороде, в Орле, в Калуге, в Санкт-Петербурге — в последние два года я частенько бывал в Санкт-Петербурге, а это город в известной степени космополитический — но и там залы полны народа. Читатель каким-то особым чутьём понимает, кого нужно слушать. Он всё-таки знает, что литература — это нравственное служение, и ищет публикации того писателя, который сохранил своё достоинство, свою честь в совершенно мерзких обстоятельствах. Эта разборчивость читателя становится явной. Я думаю, со временем она станет ещё более явной».

## **Зажги свечу — растает тьма**

Журналист Виктор Кожемяко с понятным разочарованием спрашивал писателя: «А результаты? Почему результаты откровенных и горьких бесед, ярких публикаций так незаметны? Когда соотечественник откликнется на них?» Вот ответ Распутина, прямой и жёсткий:

«...политическая фразеология надоела, обличение разбоя и бесстыдства в обществе, где стыд отменён, результата не приносит: они, воры и растлители, своего добились и теперь лишь ухмыляются, глядя на то, как наша энергия уходит на ветер. Теперь нужны дела. Чем обличать тьму, лучше зажечь свечу. Подобного рода разговоры, как наши с вами, нужны лишь в двух случаях — когда они дают поучительный и глубокий анализ происходящего и когда предлагают надежду. Надежда, сейчас больше всего нужна надежда — и она есть, её только нужно назвать.

Я склонен считать, что ни одного патриота, то есть человека, гражданина, способного выработать в себе любовь к исторической России, но не выработавшего её по недостатку нашей агитации, мы не потеряли. Патриотизм не внушается, а подтверждается — много ли стоили бы мы, если бы нас нужно было учить думать и говорить по-русски! Я не знал слова „патриот“, но сизмальства нёс в себе благодарность родной земле за своё рождение и за свою принадлежность к русскому народу. Убить эту благодарность можно было только вместе со мной.

Отошедшие, отслоившиеся от России, сознательно или бессознательно вступившие с нею в противоречие, в конфликт с самой природой её бытия, так и должны были поступить. Российский демократ образца 80-90-х

годов — это особый тип человека, созданного не убеждением, а каким-либо изъяном, нравственным или психическим, какой-либо неполнотой, неуравновешенностью, неукоренённостью. Сейчас это сделалось особенно заметно. Юрий Афанасьев, один из вождей начальной демократии, позже признавался, что он по характеру не строитель, а разрушитель; небезызвестный Виталий Коротич, сбежавший от плодов своей „деятельности“ в Америку, читает в Бостонском университете курс лекций на тему „Ненависть как основная категория общественного сознания“ — речь идёт о России. Ненавистник России, он пытается свою душонку выдать за душу страны, которой пакостил. Нормальный человек на такое не способен.

Я говорю это к тому, чтобы мы знали, с кем имеем дело. Вспомните Бурбулиса, Гайдара, Козырева — да это же всё гоголевские типы! А ныне восседающие?!

Вся властная верхушка опутана подобными отношениями: кто кому обязан, все сплетены в один клубок зависимо-корыстных связей — до России ли им, до народа ли, до его ли христианских и нравственных чувств? Это уже и возмущения не вызывает, а только глубокую боль: а ведь доведёте, господа, доведёте, лопнет христианское терпение. Власть Божьего попущения и Господом не защищается. Года три-четыре назад по стране прокатилась волна самосудов, матери сами, не доверяя продажным и „гуманным“ судам, расправлялись с насильниками своих малолетних дочерей. Сейчас рабочие коллективы то в одном, то в другом местах начинают брать в заложники руководителей-воров. Самосуд оправдывать нельзя, но и осуждать этих людей у меня не поворачивается язык: народ вынужден сам защищать себя, если его не защищает государство.

То, что вытворяет телевидение, — это и множественное, и жестокое насилие над всеми нашими детьми и внуками, и если такое действие не подпадает под государственный Уголовный кодекс, то не может где-то не зреть назначающий наказание кодекс народный. Не переусердствуйте, господа! Это — Россия. Вы по 1993 году должны были запомнить, что первый адрес накапливающегося возмущения — „Останкино“. Всякое имя, говорят, имеет свой сакральный смысл».

## **Жрецы «новой» культуры**

Круг вопросов, которые задавали писателю журналисты, всегда был широк. Они касались не только плачевного состояния культуры, но и обнищания народа, и социального неравенства, и разрушения нравственных устоев новыми хозяевами державы...

Приведу хотя бы несколько фрагментов из бесед Виктора Кожемяко с писателем, касающихся тех, кого власть отрядила утверждать «новую» культуру. Журналист напомнил о телепередачах Владимира Познера, выполняющего эту работу наиболее ретиво. Распутин добавил своё:

«Познер как раз за русский народ очень „волнуется“. В том смысле, что народ этот, как и всё русское, коренное в России, традиционное, вызывает у этого господина с американским паспортом сильнейшее раздражение как вышедшее из моды и не должное быть в употреблении, а значит, и не достойное поддержки. Но если бы Познер оставался в такой роли недовольного нашим существованием на присвоенной им земле один!.. А Сванидзе, а Швыдкой со своими программами, а иные, коим несть числа, подбирающиеся для этих программ по принципу духовного родства... В голос прямо или косвенно они трубадурят как бы уже и решённое дело — заклятие нашего народа и России. Россию подталкивают к распаду — в последнее время это вновь превратилось в открытую пропаганду, а народ наш подталкивают к пьянству и гражданскому небытию. Недавно даже министр обороны признал, что наше (в том-то и дело, что не наше, а вражеское) телевидение дебилизирует население. Но оно, дебилизирующее, сделалось сильнее верховной власти, и Сванидзе или Познера с подручными окоротить не

решаются. Такого в России ещё никогда не бывало, это самоубийство под эгидой прав человека. Трусость, глупость или предательство? Поди разберись».

Говоря о внедрённой в умы лакейской симптоматике, Кожемяко припомнил один из телевизионных концертов, где Л. Долина перед исполнением какой-то зарубежной песни воскликнула: «В советское время были иногда концерты „Мелодии и ритмы зарубежной эстрады“. Как я бегала на них! Это был своеобразный глоток воздуха!»

Распутин парировал:

«Ах, они несчастные: дышать было нечем! Зато теперь столько воздуха! Но отчего же за двадцать лет „чистого воздуха“ не появилось ни одной песни, которую бы подхватил народ, почему кино только сейчас с болезненным стоном вроде начинает приходить в сознание, куда подевались Герасимовы и Бондарчуки, Шолоховы и Леоновы, Свиридовы и Шостаковичи, Товстоноговы и Вахтанговы? И почему даже активно принявшие новый порядок Виктор Астафьев и Василь Быков не смогли плодотворно в нём работать? Не потому ли, что атмосфера не та, дыхания не хватало, сердце заходило от боли при виде всего, что происходит? Не оттого ли, что свобода творчества переродилась в дикость и вседозволенность, каких нигде и никогда не водилось? Так много сегодня этого „чистого воздуха“, что мы давимся им, как костью, и чувствуем, как стенки нашего нутра покрываются гарью!»

Леонида Бородина, писателя, узника совести с двумя ходками в советские лагеря, в любви к коммунизму не заподозришь. Но и в нелюбви к России не обвинишь. В автобиографическом повествовании „Без выбора“, вспоминая своё детство в прибайкальском таёжном посёлке, он пишет:

„...У нас в квартире еженедельно вывешивалось расписание радиопередач. Классическая музыка входила в мою жизнь как удивительное открытие, которому нет конца, — дивный волшебный ящик: чем больше вынимаешь из него, тем больше там остаётся... Я знал наизусть десятки партий (оперных). Но были и самые любимые, в звучании которых слышалось и чувствовалось нечто такое, отчего по спине пробегал холодок, хотелось плакать счастливыми слезами. Ещё хотелось взлететь и парить над миром с великой, необъяснимой любовью к нему — всему миру, о котором я ещё, собственно, ничего не знал и не страдал от незнания...“

Да и я помню из своей юности: итальянские, испанские, французские, южноамериканские песни распевали повсюду. Робертино Лоретти, Ив Монтан, Марлен Дитрих, Мирей Матьё были любимцами и тайги, и степи, и севера, и юга. Ван Клиберна стал известен всему миру благодаря Московскому международному конкурсу имени П. И. Чайковского. Да что перечислять! В музыкальном искусстве страна наша была открыта для всего мира. И был вкус, что хорошо, а что плохо. Когда же вкус был заменён или вовсе отменён, бесноватых у нас, как и следовало ожидать, сразу заметно прибавилось».



## Что завещали предтечи?

Раздумья Валентина Распутина о современной культуре и антикультуре отличались не только обоснованностью оценок, но и равнодушием к каждому унижению подлинного искусства. Всегда в этих случаях думалось: а разве не так же непримиримо выступал против хлынувшей в Россию западной декаденщины Лев Толстой, высмеивал пошлость арцибашевых Антон Чехов, отвергал слащавую салонность северяниных Иван Бунин? В новейшие же времена разрушение отечественных традиций литературы и в целом культуры стало целенаправленным.

«...ощущение резервации, куда загнана русская культура, остаётся, — с возмущением писал Распутин. — Скромно и незаметно отпраздновали столетие Леонида Леонова и столетие Андрея Платонова. Последнего демократия 80-х годов эксплуатировала нещадно, но замазать его национальное нутро не смогла и теперь в почестях отказала. А Леонов для духовной родни Грацианского всегда был чужим, его даже на время нельзя было присвоить. Отсюда и вполне объяснимое отношение».

Радует одно: творческое наследие великих мастеров невозможно уничтожить. Никакая власть не способна заменить подлинные литературные авторитеты на «свои», угодные ей.

«...бессовестная подмена значимости литературных имён — да, — развивал Распутин свою мысль, — жесточайшая цензура в отношении к „своим“ и „чужим“ — да; но Леонова, эту глыбу, эту высоту русской словесности, Приставкиным или Аксёновым всё равно не закрыть. Можно пулять ими по Мастеру, но ему от

этого ничего не сделается, а легковесные снаряды пострадают.

...Я слушал на юбилейном вечере Леонида Максимовича Леонова хор имени М. Е. Пятницкого. И смотрел на чудо его воскресения так: нет, братцы, такое искусство вам не похоронить. Кишка тонка. И хоть осыпьте вы друг друга своими „триумфами“, в миллионы раз увеличивайте иудины тридцать сребреников, сколько угодно выдавайте злобу за талант, а мелкое мельтешенье за величие — всё равно никогда вам и близко с такими голосами не быть. Ибо это, гонимое вами, и есть величие!»

Не мог писатель обойти своим вниманием и «покосившиеся» вкусы читателей.

«...читать стали намного меньше. Главная причина здесь, конечно, — обнищание читающей России, неспособность купить книгу и подписаться на журнал. Вторая причина — общее состояние угнетённости от извержения „отравляющих веществ“ под видом новых ценностей, состояние, при котором о чём-либо ещё, кроме спасения, думать трудно. И третья причина — что предлагает книжный рынок. Не всякий читатель искушён в писательских именах. Возьмёт произведение автора с громкой фамилией Суворов, а в нём откровения о том, что не Гитлер напал на нашу страну в 1941-м, а мы вероломно напали на Германию. „Демократическая“ критика уши прожужжала В. Ерофеевым, его „Русской красавицей“ — и вот она перед читателем: ведь это же надо мужество иметь, чтобы не только читать, но и держать в доме подобное произведение. У читателя невольно складывается впечатление, что вся или почти вся литература ныне такова и лучше с нею не заться.

Он идёт в библиотеку... В любой библиотеке вам скажут, что читают по-прежнему немало. Меньше, чем десять лет назад, однако читать не перестали. Но все

поступления последних лет — „смердяковщина“, американская и отечественная, и для детей — американские комиксы. Из литературных журналов прислужливые „Знамя“, „Новый мир“, „Нева“, „Звезда“ — те, что распространяет американский фонд Сороса.

И читатель правильно делает, когда от греха подальше он обращается к классике.

А нас читать снова станут лишь тогда, когда мы предложим книги такой любви и спасительной веры в Россию, что их нельзя будет не читать».

В своих размышлениях писатель опирался не только на примеры давнего прошлого. Он постоянно обращался и к нашему социальному, духовному, нравственному опыту ближнего прошлого. Пережитое страной — это всегда «школа», уроки которой бесценны. Бесы смутного времени стремились очернить недавнюю историю, представить советские десятилетия как «чёрную дыру»: на ином фоне их «реформы» не имели оправдания. Распутин не боялся обвинений в «советскости», когда говорил:

«Только теперь начинаешь вполне понимать, в какой уникальной стране мы жили. Хлеб в столовых бесплатно, а в магазинах стоил копейки; образование бесплатное, да ещё и заставляли учиться (вот диктат!); о наркоманах слыхом было не слышать; из одного конца страны размером в шестую часть суши в другой её конец можно было долететь за половину зарплаты, над бедностью которой теперь издеваются; искусства процветали отнюдь не за счёт гадостей; интеллигенция с чёрными бородками и плутоватыми глазками не в Кремле восседала, а по кухням шепталась... И на что клюнули? На роскошные витрины? Они теперь и у нас сияют всеми цветами изобилия, за колбасой никакой очереди, но где встать в очередь за теми тысячами, чтобы купить самую дешёвую?»

Идеализировать советский период не надо, тягот, происходящих из твёрдолобой идеологии, не желавшей поступиться ни одной буквой, хватало. За это и поплатился коммунизм, получив Горбачёва. Но социальные завоевания будут долго ещё нам сниться как чудный сон. Да и кроме того — как можно отвергать целую историческую эпоху, в которой страна добилась невиданного могущества и стала играть первую роль в мире? Это так же недостойно, как полностью отвергать предыдущий, монархический, период, который длился сотни лет, выстроил империю в самых обширных границах, а народ наш выстроил в такой духовной „архитектуре“, что в красоте и тайне своей она не постигнута до сих пор. И это она дала Достоевскому право заявить о всемирности русского человека и вывести её, всемирность, из национальных качеств. Но в том и другом случаях, как в случае с империей, так и с коммунизмом, обе системы рухнули прежде всего от внутреннего разложения. Самые талантливые и верные защитники монархии на исходе её — М. Меньшиков, Л. Тихомиров, В. Розанов — в голос вынуждены были признать: „прогнившее насквозь царство“, „отошедший порядок вещей“, „монархия разрыхлилась“.

Последние дни коммунизма проходили на наших глазах; мы свидетели того, что он не мог себя отстоять ни единым решительным действием. Как в том, так и в другом случае обновление было необходимо. Но было необходимо обновление, а не полное разрушение и полное противопоставление. Не общественное бешенство, не расправа с тысячелетней традицией, равно как и с лучшими из последнего перед „рынком“ строя. Силы, ввергнувшие Россию в катастрофу, известны, они сейчас жируют и насмеваются над нашей неспособностью извлекать уроки. Известен и тот „вол“, которому вновь предстоит из последних жил вытягивать страну из пропасти, — народ наш, ему никак

не дают выбраться из непосильной истязи. Мы твердим: национальное, национальное... Не было в XX веке национальной политики в отношении к русскому человеку, и всё „передовое человечество“ призвали сейчас, чтобы не было её и в XXI веке».

В публицистических выступлениях Распутина всегда находишь непредвзятый анализ состояния страны, общества. Разумеется, кто-то согласен с ним, кто-то — нет. Но мудрецы ведь не виноваты в том, что их слово для одних подтверждается собственным знанием, а другим мешает согласиться со сказанным то или иное предубеждение. Во всяком случае, диагноз писателя не лишне выслушать:

«Я думаю (и вижу), что единой России сейчас нет, она осталась лишь в названии политической партии. В действительности же Россия разошлась на две противостоящие одна другой силы. Есть и третья — бездействующая, равнодушная, смертельно опалённая её судьбой. А из двух первых одна — не любящая, не понимающая и даже ненавидящая Россию как историческую, так и современную, но обирающая её безжалостно, не признающая ни песен её, ни языка, ни народных нравов. А ведь тоже дети России, и тоже вроде законные. Но поставившие себя выше её.

Вторая сила — та, из которой слагается народ. Преданная своей земле и в несчастиях, и в редком благополучии. Молящаяся за неё, своих детей воспитывающая в любви к ней, горько страдающая при виде её запущенных пашен и погибающих деревень, сердцем понимающая, что без деревни Отчизна наша даже в больших городах — это только выселки, а не родство с землёй. С болью в сердце наблюдающая, как власть позволяет отлучать от родного в школах, университетах и приучать к безобразию в кино и на телевидении. Чего там — почти всюду. Стойки,

воистину стоики, стараются держаться, но опоры от мира всё меньше. Опора только в храмах».

**Глава двадцать пятая**  
**БЕССМЕРТНЫЙ ИСТОЧНИК —**  
**НАДЕЖДА И ВЕРА**

## **Россию отстроят молодые руки!**

И всё же надежда на исцеление России, на её великое будущее не оставляла Валентина Распутина даже в самые мрачные времена. Вглядываясь в новых самозванных «хозяев жизни», он утверждал:

«Нет, они не чувствуют себя хозяевами. Почти всё перевернули вверх тормашками, оболгали, изгадили, расхватили, а уверенности в безнаказанности нет. Чует кошка, чьё мясо съела. И боятся они не бунта. Но Россия — такая почва, такой климат, что и в сверхтерпеливом народе выращивает она возмездие в виде, выражаясь думским языком, делегированной наверх сильной личности. Ведь посмотрите: сделать из Сталина чудовище не удалось. Его оправдание в народе достигло, как мне кажется, чрезмерной святости. И не удалось, несмотря на все старания либералов, обелить ни Троцкого, ни Бухарина, его противников в продвижении к неограниченной власти. Это о чём-то говорит».

Когда в апреле 1998-го Виктор Кожемяко, корреспондент «Правды», заметив, что молодёжь — это будущее страны, прямо спросил писателя: «Как вы считаете, насколько глубоко она отравлена?» — Валентин Григорьевич убеждённо ответил:

«У меня впечатление, что молодёжь-то как раз не „вышла“ из России. Вопреки всему, что на неё обрушилось. Окажись она полностью отравленной и отчуждённой от отеческого духа, в этом не было бы ничего удивительного, потому что от начала „перестройки“ она выростала в атмосфере поношения всего родного и оставлена была как государственным попечением, так и попечением старших поколений,



которые разбирались между собой и своими партийными интересами.

Из чего я делаю эти выводы? Из встреч с молодёжью в студенческих и школьных аудиториях, из разговоров с ними, из наблюдений, из того, что молодые пошли в храмы, что в вузах опять конкурсы — и не только от лукавого желания избежать армии, что всё заметней они в библиотеках. Знаете, кто больше всего потребляет „грязную“ литературу и прилипает к „грязным“ экранам? Люди, близкие к среднему возрасту, которым от тридцати до сорока. Они почему-то не умеют отстоять свою личностность. А более молодые принимают национальный позор России ближе к сердцу, в них пока нетвёрдо, интуитивно, но всё-таки выговаривается чувство любви к своему многострадальному Отечеству.

Молодёжь теперь совсем иная, чем были мы, более шумная, открытая, энергичная, с жаждой шире познать мир, и эту инакость мы принимаем порой за чуждость. Нет, она чувствительна к несправедливости, а этого добра у нас — за глаза, что, возможно, воспитывает её лучше патриотических лекций. Она не может не видеть, до каких мерзостей доходят „воспитатели“ из телевидения, и они помогают ей осознать своё место в жизни. Молодые не взяли на себя общественной роли, как во многих странах мира в период общественных потрясений, но это и хорошо, что студенчество не поддавалось на провокацию, когда вокруг него вилась армия агитаторов за „свободу“.

Ещё раз повторю: сбитых с толку и отравленных, отъятых от родного духа немало. Даже много. Но немало и спасшихся и спасающихся, причём самостоятельно, почти без всякой нашей поддержки. Должно быть, при поддержке прежних поколений, прославивших Россию».

...И вновь вспоминаются уверенные и — будем надеяться — провидческие строки писателя: «Всех патриотов в гроб не загнать, их становится всё больше. А если бы и загнали — гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей земли. Такого ещё не бывало, но может быть. Я верю — мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым тыща лет».

## Та, что скрасила трудные годы

После ухода Светланы Ивановны жизнь Валентина Григорьевича оказалась тесно связана с Ольгой Владимировной Лосевой, ставшей впоследствии его второй женой. Она познакомилась с семьёй Распутиных благодаря Марусе. Ещё студенткой пятого курса та пришла работать в редакционно-издательский отдел Московской консерватории, которым руководила Ольга Владимировна, тогда кандидат искусствоведения, а позднее доктор и профессор. Они сдружились, несмотря на разницу в возрасте. О. В. Лосева была женой известного музыковеда Евгения Владимировича Назайкинского — научного руководителя Марии Распутиной, которого она глубоко уважала и любила. Его кончина в апреле 2006 года стала тяжёлым испытанием для обеих. А всего через три месяца случилась новая трагедия — погибла Маруся.

Общее горе сблизило Ольгу Владимировну с Валентином Григорьевичем и Светланой Ивановной. На сороковины дочери она приезжала к ним в Иркутск, а с возвращением Распутиных в Москву постепенно стала в их семье своим человеком. После кончины жены она помогла Валентину Григорьевичу пережить тяжесть потери. Они были вместе до конца его жизни.

Вот отрывок из интервью Владимира Крупина: «Валентин всегда оставался человеком крепких семейных устоев, поэтому представить, что он кем-то увлечётся и побежит за юбкой, уверен, нельзя... Если бы не Ольга, то мы бы Валю потеряли раньше».

Жизнь своенравна: то наносит удар, то дарит радость. В 2013 году, 8 января, родилась правнучка писателя, которую назвали модным ныне у молодых родителей именем Алиса.

Летом того же года Валентин Григорьевич и Ольга больше недели прожили в Аталанке, а оттуда поехали в посёлок Вихоревка Братского района, к сестре писателя Агнии Григорьевне. Та придирчиво вглядывалась в московскую гостью и осталась довольна. В разговоре со мной она призналась: «Ольга очень общительная и душевная. Я видела, что Вале хорошо с ней. Радовалась, что он не один. И относились они друг к другу заботливо. Такое за один год не складывается, нужно долгое время».

В июне следующего, 2014 года Валентин Григорьевич и Ольга Владимировна вместе с иркутским губернатором совершили путешествие по Байкалу. Их сопровождала съёмочная группа телерадиокомпании «Иркутск». Журналистка, руководившая ею, рассказала позже в одной из местных газет: «Распутин был с Ольгой Владимировной. У них доверительные и трогательные отношения. Было ощущение, что Валентин Григорьевич снова позволил себе жить... Распутин просыпался очень рано и выходил на палубу. В начале июля на Байкале туманы, любоваться ими большое удовольствие. В такие минуты мы не мешали писателю, не подходили к нему. Но мы обедали, ужинали за одним столом, да и на палубе собирались компанией, и тогда все вместе общались. Он что-то спрашивал, рассказывал, комментировал, но больше наблюдал. И так умел слушать, что хотелось рассказать ему самое сокровенное. Ещё мы играли „в слова“, эту игру предложил Валентин Григорьевич. Соревноваться с писателем было трудно. Он находил такие слова, которых никто больше не знал. Ольга Владимировна возражала, что такого слова нет в русском языке, а Распутин, отшучиваясь, говорил: „Есть — в моих книгах!“ Он тонко шутил и чаще всего над самим собой... Мы провели на теплоходе четыре дня.

Настроение у всех было хорошее, даже возвышенное. Рядом с Распутиным хотелось быть лучше».

Корреспондент газеты спросил: не кажется ли ей, что при разговоре с людьми писатель «держит дистанцию»?

Ответ был такой: «... писателю нужно и одному побыть. Сначала он словно присматривался к людям. Многие ведь подходили, чтобы хвалить его. А он смущался, когда его называли великим писателем. Думаю, Валентин Григорьевич просто защищал свои „границы“, берёг своё пространство, да и время, наверное. Он не любил праздных разговоров о себе, охотнее комментировал какие-то сторонние события. Знаете, после общения с ним всегда оставалось такое ощущение, что это очень близкий тебе человек. С ним чувствуешь себя спокойно и защищённо. Наверно, такое ощущение было у всех, кому посчастливилось побыть с ним рядом».

В то лето и я встречался с Распутиным. В Иркутском драматическом театре проходили традиционные литературные встречи с известными писателями России. В родственном кругу коллег Валентин Григорьевич выглядел даже молодцевато.

Однако вскоре в Иркутске он попал в больницу. Выяснилось, что та же болезнь, которая унесла Светлану Ивановну, поразила и его. Лечиться решено было в Москве. Когда он уже находился в онкологическом центре, мы общались по телефону — я высказал желание навестить его. Он ответил: «Не нужно. Здесь и здоровый, насмотревшись на жуткие картины, заболевает». Мужество и в эти дни не оставляло его.

Но выпадали на его долю и радости: в 2015 году, в день Рождества Христова, у Сергея родилась дочь Надежда.

В последние месяцы жизнь Валентина Григорьевича почти поровну распределялась между больницей и домом. Дома он в последний раз принял причастие, а соборовали его уже в реанимации одной из московских клиник, где он находился с начала марта. Там с ним попрощалась внучка Антонина, живущая в Москве, там с ним до самого конца была Ольга Владимировна.

Валентин Григорьевич умер в ночь с 14 на 15 марта 2015 года, не дожив до своего 78-летия несколько часов.

## Скорбь

На кончину Валентина Григорьевича Распутина со скорбью откликнулось множество людей самых разных взглядов, убеждений, социальных положений. В первую очередь хочется вспомнить слова соболезнования Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, так ёмко выразившего значение писателя для нашей культуры.

«Дорогие братья и сестры!

С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине Валентина Григорьевича Распутина, с которым меня связывали личные добрые отношения. Выражаю соболезнования его родным и близким.

Почивший принадлежал к числу тех наших выдающихся современников, кого ещё при жизни считали классиком, на чьих книгах выросло не одно поколение читателей. Творчество Валентина Григорьевича проникнуто горячей любовью к России и её народу. Он был настоящим художником слова, глубоко чувствующим самобытную красоту и силу русского национального духа. Всю свою жизнь писатель посвятил служению непреходящей Истине, которую обрёл в Православной Церкви, став её верным сыном.

В последние годы Господь посетил почившего тяжёлыми испытаниями, связанными с потерей близких, а также серьёзным недугом. Но всё ниспосланное ему он старался переносить мужественно, с подлинно христианским терпением и смирением, сохраняя веру в Премудрый Промысл Божий.

Да упокоит Владыка жизни и смерти Господь наш Иисус Христос новопреставленного раба Своего Валентина в селениях праведных, где *несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание*, и сотворит ему вечную память».

В телеграмме, направленной семье Распутина, президент России Владимир Путин писал:

«Ушёл из жизни большой писатель, настоящий гражданин и патриот, честный, обладающий огромным внутренним достоинством человек, которому верили и которого безгранично уважали. Он преданно, подвижнически служил Отечеству и народу, сердцем болел за судьбу России.

С особым, тёплым чувством вспоминаю наши встречи с Валентином Григорьевичем, его удивительную искренность и открытость, твёрдую приверженность своим убеждениям и принципам.

Валентина Григорьевича Распутина больше нет с нами, но остались его книги, пронизанные любовью к родной земле, верой в высокое предназначение человека, в торжество непреходящих духовных, нравственных идеалов».

А то, что президент «является поклонником творческого таланта писателя» и помнит «глубокие продолжительные беседы с ним», известно со слов его пресс-секретаря.

«Горькая весть обожгла нас, — говорилось в телеграмме Союза писателей России. — Завершился земной путь великого гражданина, нашего национального героя — участника сражений за русского человека, Русскую землю, русский Байкал, русское слово... Мы с нетерпением ждали каждую его новую книгу, были благодарными зрителями спектаклей и фильмов, созданных по его драгоценным произведениям. В его Слово вслушивалась вся совестливая Россия».

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с журналистом произнёс слова, которые могли бы повторить многие соотечественники:

«Вместе с Валентином Григорьевичем мы прощались с Матёрой, собирали деньги для Марии, защищали



священные воды Байкала, учились жить и любить по законам совести. Власть не всегда прислушивалась к нему, хотя он умел говорить ей своим тихим голосом самую жёсткую правду. Такие люди, как Распутин, не умирают. Смысл его жизни заключался в том, чтобы любить Россию, какой бы она ни была, какие бы трудности не испытывала».

Доктор филологии китаянка Ван Лидань, чей рассказ о встречах с Валентином Распутиным приводился выше, написала:

«Узнав о его уходе, я поняла, что потеряла очень близкого русского друга и наставника. Ведь именно из творчества Валентина Григорьевича я узнала столько глубокого и интересного о России, о русской культуре, благодаря ему я так близко познакомилась с русской жизнью, с нравственными истоками русской культуры».

17 марта в храме Христа Спасителя состоялось прощание с писателем. Тысячи москвичей, в том числе и президент, прошли перед его гробом и возложили цветы.

А на следующий день здесь же Патриарх Кирилл провёл отпевание верного сына России.

19 марта с Валентином Распутиным прощался Иркутск. Гроб с телом покойного, установленный в Знаменском кафедральном соборе, утопал в цветах, которые несли и несли земляки писателя. Панихиду совершил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. После кончины Валентина Григорьевича, когда в регионе был объявлен четырёхдневный траур, Владыка выступил перед ученицами православной гимназии, которую опекал писатель, с напутственным словом:

«Мне бы хотелось только одного: чтобы вы в своём сердце сохранили светлую память о нём. Не просто как о человеке, а как о наставнике. Помните о его духовном наследии, которое он завещал всем нам, его

неподдельную, самоотверженную любовь к людям, к Отчизне, к своей земле, любовь к вам».

Похоронили Валентина Григорьевича Распутина на территории старинного Знаменского монастыря, у стен кафедрального собора.

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

В начале 1980-х годов Распутин написал небольшую новеллу «Наташа», произведение необычное, выделяющееся даже среди рассказов «Что передать вороне» и «Видение» каким-то особым взглядом на тайну бытия. Собственно, в чём эта тайна, постижима ли она и нужно ли стремиться к её разгадке — таких вопросов новый рассказ не ставил. Он окутывал тёплым и нежным туманом какого-то смутного воспоминания о счастливых минутах, о блаженстве жить среди неувядающих полевых цветов и человеческих улыбок. Впрочем, что говорить об этом, прочтите сами.

«То, что я вспомнил, жило во мне давно, и не знаю, откуда взялось. Вероятней всего, привиделось что-то во сне, но не в полной картине, а полная картина составила затем, когда я думал об этом вольными представлениями, как и всегда, с заботой достраивающими в нас всё неоконченное. Не думать же об этом было нельзя, мы невольно придаём значение и ищем вещей смысл в подобных видениях, тем более что здесь было в чём его и искать...

Я и сейчас, как наяву, вижу большую поляну на горе (она, эта поляна, существует, и видеть её не составляет труда), полную цветов — жарков, колокольчиков, белых и сиреневых ромашек. Я сижу среди них на земле в каком-то тревожном и восторженном ожидании, которое наполняет меня всё больше и больше, так что я начинаю в нетерпении оглядываться и что-то искать. Прямо передо мной Байкал, широким и стремительным выносом уходящий вдаль и там подымающийся в небо, слева Ангара, внизу, под горой, мой домишко, из которого я был позван сюда неведомой повелительной силой. Солнце, небо чистое и глубокое, с Байкала тянет

ровным влажным ветерком, вода внизу сияет пышущей голубизной — я продолжаю всматриваться вокруг с пристальным, предчувствующим что-то вниманием, беспокойство моё нарастает, я жду чего-то и сам не знаю, что это может быть, но жду в полной и ясной уверенности, что от этого изменится вся моя жизнь.

И вот позади меня слышится мягкий шелест травы, я оборачиваюсь и вижу приближающуюся с улыбкой девушку. Она в простеньком, плотно облегающем её летнем платье и босиком, светлые волосы свободно распущены по плечам — если бы не босые ноги, в ней нет ничего необычного. Но тогда я принял босые ноги как само собой разумеющееся и только уж после, разбирая и обдумывая каждую подробность, споткнулся: почему босые? что это значит?..

— Готов? — спрашивает девушка.

— Не знаю. Я не сумею.

— Как же не сумеешь, если ты уже умеешь, — говорит она озабоченно. — Если бы ты не умел, я бы не велела тебе прийти сюда.

— А это ты велела мне прийти? — Я не сомневаюсь, что это так, и спрашиваю, лишь бы оттянуть время.

— Пошли! — Она берёт меня за руку и ставит у края поля лицом к Ангаре, так что солнечный свет бьёт нам в спину. — Бежим! Ну, бежим, бежим!..

Мы парим на той пограничной высоте, докуда достаёт нагретый за день, настоявшийся воздух, на котором можно лежать, почти не шевелясь. Он то приливо приподнимается, волнуясь от закатного солнца, то опускается, и мы качаемся на нём, как на утомлённой, затухающей волне, из далёкого далека дошедшей до берега и теперь играющей возле него. Небо остывает, и я хорошо вижу в нём обозначившиеся тенями тропинки, талыми провисшими путками ведущие в разные стороны. Они пусты, но по лёгким вдавленностям заметно, что по ним ходили, и меня

ничуть не удивляет, что они, точно от дыхания, покачиваются и светятся местами смутным, прерывистым мерцанием.

Солнце склоняется всё ниже и ниже, и могучая торжественная музыка заката достигает такого согласия, что кажется тишиной. И в этой тишине громко и тяжело звучит шорох, с каким опускающийся воздух задевает о гладь воды. И ещё — вон там, на берегу, в том лесу на сопке пискнула, я слышу, раскольничьим голосом, не в лад общей музыке, пичужка, пискнула и осеклась, с испугом оглядываясь, что с ней будет. Я вижу и слышу всё, я чувствую себя способным постичь главную, всё объединяющую и всё разрешающую тайну, в которой от начала и до конца сошлась жизнь... вот-вот она осенит меня, и в познании горького её груза я ступлю на ближнюю тропинку...

И вдруг, оборачиваясь ко мне, девушка говорит:

— Пора.

И показывает на берег.

— Нет, нет, — волнуюсь я. — Ещё. Я не хочу.

— Солнце заходит. Пора, — терпеливо и радостно, со сдерживаемым торжеством в голосе настаивает она...

— А дальше? — спрашиваю я.

— Что дальше? — Она делает вид, что не понимает.

— Если дальше ничего не будет, то зачем это было? Я хочу ещё. Я дальше хочу. Там оставалось совсем немного.

Помолчав, она говорит:

— Я буду приходить...

Я смотрю ей вслед и такую чувствую в себе и в ней тревогу, загадочным выбором соединившую нас, но относящуюся ко всему, ко всему вокруг, такую я чувствую тоску и печаль, словно только теперь, полетав и посмотрев с высоты на землю, я узнал наконец истинную меру и тревоги, и печали, и тоски.

Она уходит, и быстро сгущающиеся сумерки скрывают её.

Но она сказала: я буду приходить».

Полвека он приходил к нам, его современникам, — писатель мудрый и чуткий к тайным движениям души. Что-то глубинное, сокровенное о жизни и человеке постигали мы, склонившись над страницами его книг, и, подняв голову, сознавали, что это главные слова о сущем — о добре и вере. И новые читатели с той же благодарностью, что и мы, станут внимать его слову. А он, как и героиня новеллы, скажет им: «Я буду приходить».

## **ИЛЛЮСТРАЦИИ**

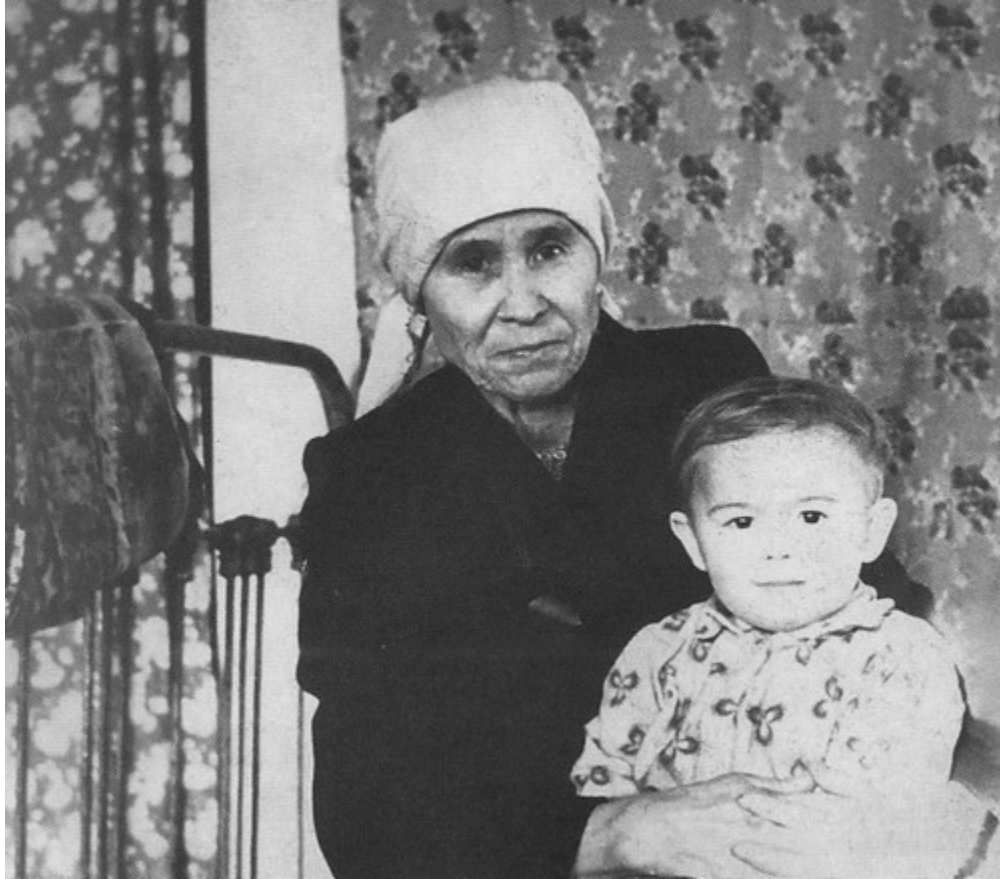


***Родители писателя Нина Ивановна и Григорий  
Никитич Распутины***



***Валя и его сестрёнка Ага с отцом, матерью и тётёй  
Татьяной. Около 1940 г.***





***Бабушка Мария Герасимовна, прототип нескольких произведений В. Распутина***



***Дом Распутиных в родной деревне Аталанке после её переноса на новое место при строительстве Братской ГЭС***



***Аталанка. Ангара, не раз воспетая писателем в  
рассказах и повестях***



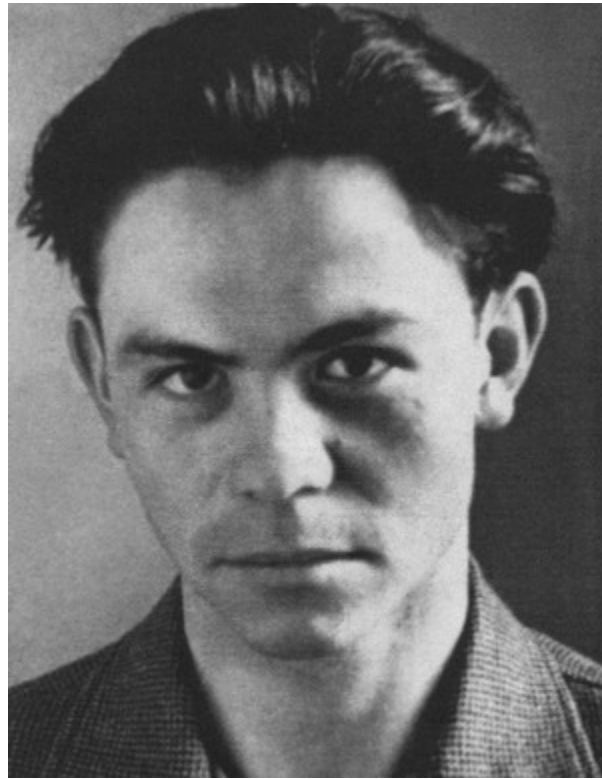
***Валя Распутин среди учеников начальной школы  
(в верхнем ряду третий слева; снизу во втором  
ряду третья слева — сестра Ага)***



***Учительница Лидия Михайловна Молокова,  
прототип рассказа «Уроки французского»***



***Усть-Удинская средняя школа***



***В студенческие годы***



***Иркутский государственный университет, альма-матер Валентина Распутина***



***«Иркутск с нами» — так назвал писатель очерк в книге «Сибирь, Сибирь...»***



***Светлана Молчанова, ставшая в студенческие годы женой В. Распутина***





**Журналист газеты «Красноярский комсомолец»  
Валентин Распутин (третий слева) со строителями  
трассы**

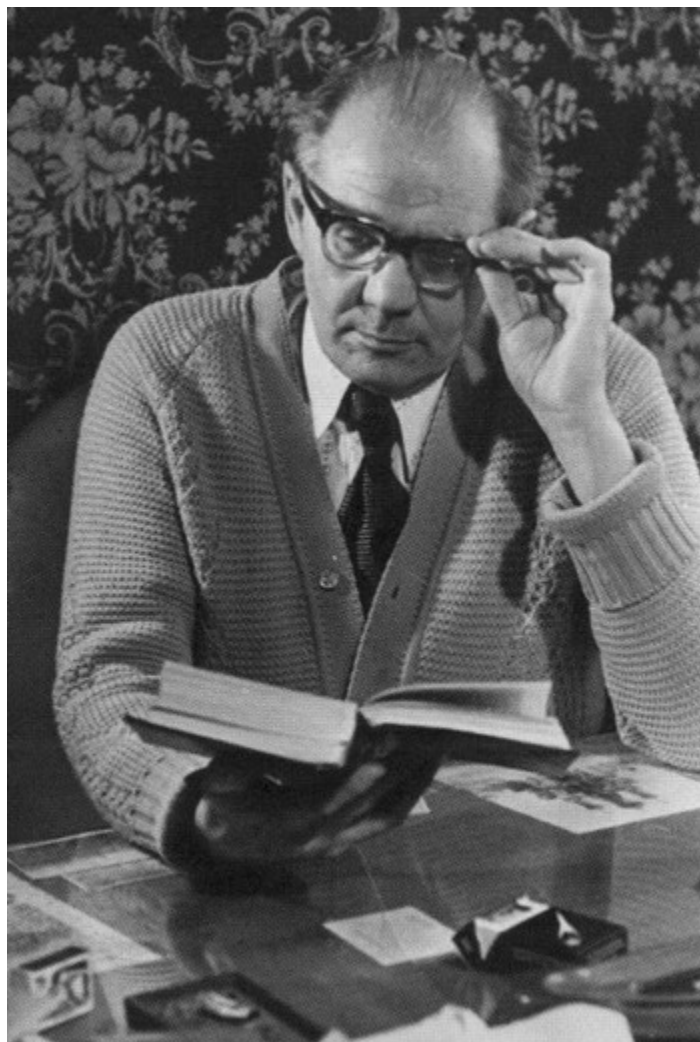
**«Тайшет — Абакан». Первая половина 1960-х гг.**



**Тофалария — заповедный уголок Восточной  
Сибири, которому писатель посвятил книгу «Край  
возле самого неба»**



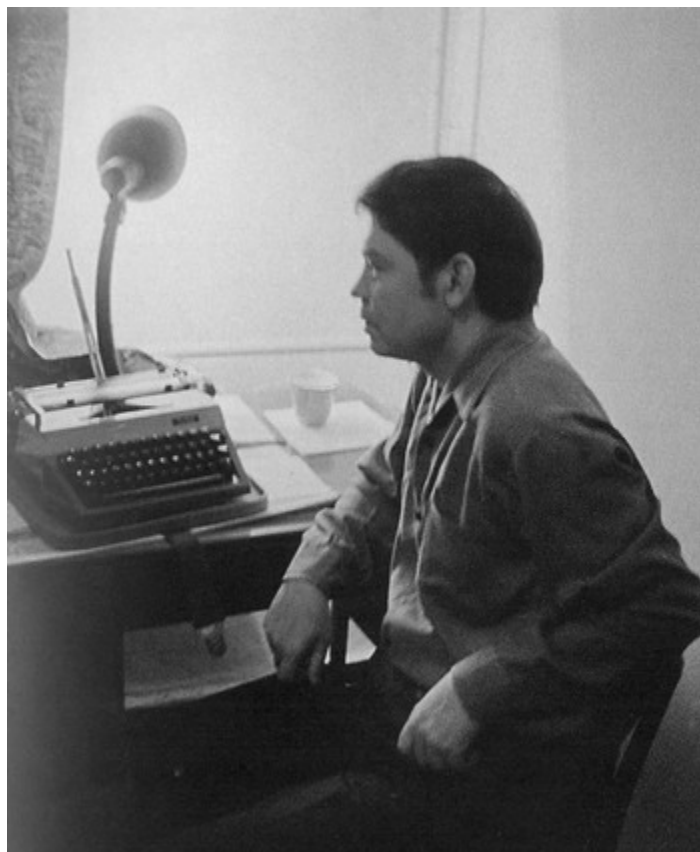
***Время первых рассказов и повестей***



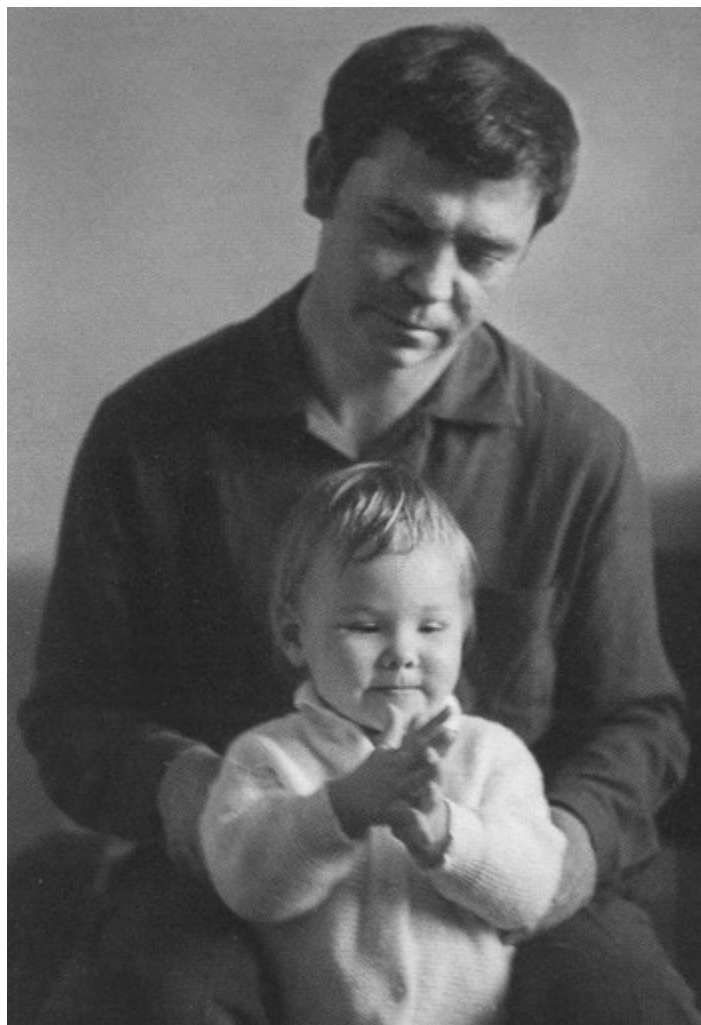
***В. Чивилихин, оценивший рассказы Распутина на Читинском совещании молодых писателей 1965 года***



***Первые издания произведений В. Распутина***



***«Мне всегда писалось трудно...»***



***С дочкой Марусей. 1974 г.***



***Мамины уроки для Серёжи и Маруси***



***С. Ямщиков, В. Распутин и Д. Лихачёв — беседы о русском языке***



***С Виктором Астафьевым***





***Писатель и читатели — лицом к лицу...***



***«...всякий раз, когда подхожу я к Байкалу, снова и снова звучит во мне: „Упала Господня мера***

***щедрот Его на землю и превратилась в Байкал“»***



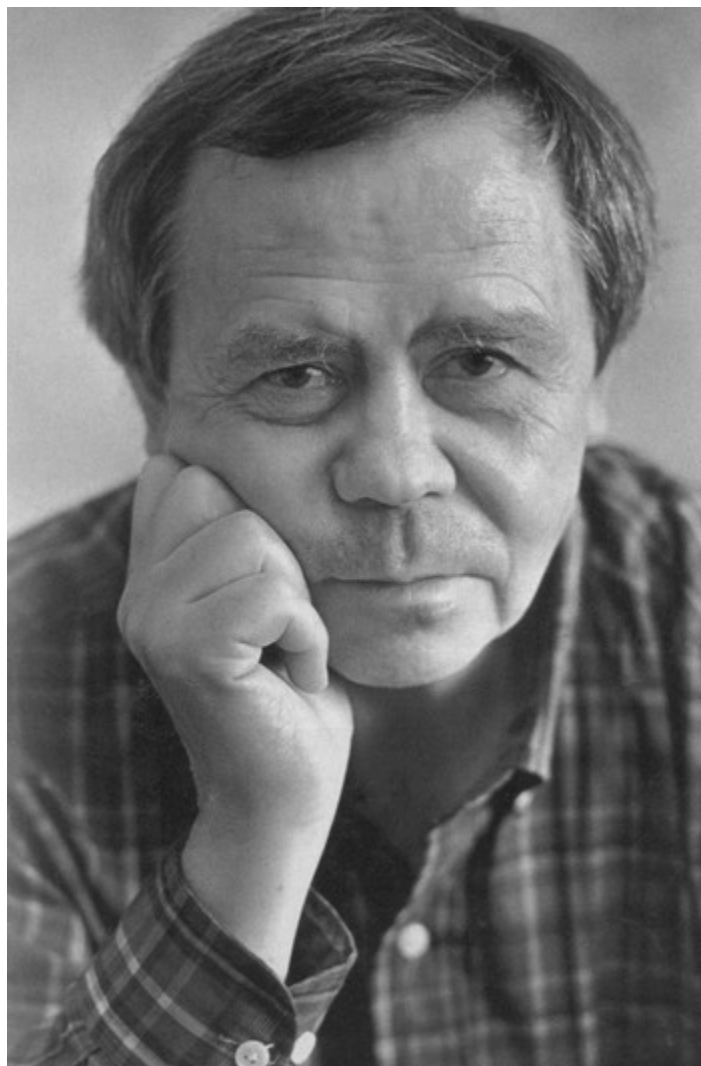
***Время зарубежных изданий. В Западном Берлине.  
ФРГ***



***В Неаполе. Италия***



***Иркутск. 1978 г.***



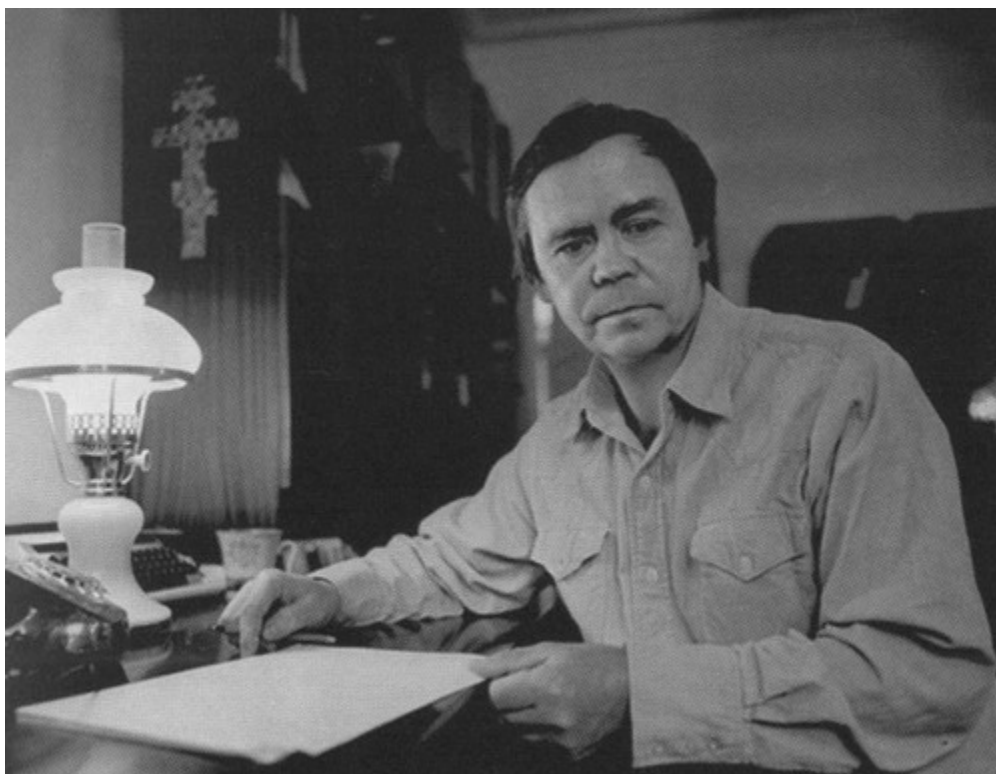
***Валентин Распутин***



***В гостях у священнослужителя отца Николая (Овчинникова). Слева направо: учёный-эколог Фотей Шипунов, кинорежиссёр Ренита Григорьева, Валентин Распутин, матушка Мария (Овчинникова), писатель Владимир Крупин. Елец. 1978 г.***



***Разговор с читателями***



***Наедине с чистым листом***



***В весёлую минуту с актёром Михаилом Ульяновым***





***На надувной лодке от верховьев реки Лены до её обжитых берегов: Валентин Распутин и учёный-охотовед Семён Устинов (справа). Снимок сделан третьим участником экспедиции фотохудожником Борисом Дмитриевым***



***Беседа с местными охотниками и рыбаками***



***Колыма. Напоминание о ГУЛАГе. 1985 г.***



***В минуты раздумий***



***С Патриархом Московским и всея Руси Алексием II***



***В гостях у Георгия Васильевича и Эльзы  
Густавовны Свиридовых. Сидят: чета Свиридовых и  
Надежда Крупина; стоят: писатели Владимир  
Крупин, Валентин Распутин, Валерий Ганичев,  
Виктор Астафьев и художник Юрий Селиверстов***



***Земное чудо Байкал...***



***Начало международного Байкальского движения  
«За спасение пресных вод». Валентин Распутин с  
Владимиром Крупиным и Василием Беловым на  
палубе катера***



***Валентин Распутин и журналист «Литературной газеты» Зорий Балаян беседуют с японской киногруппой. Байкал. 1987 г.***

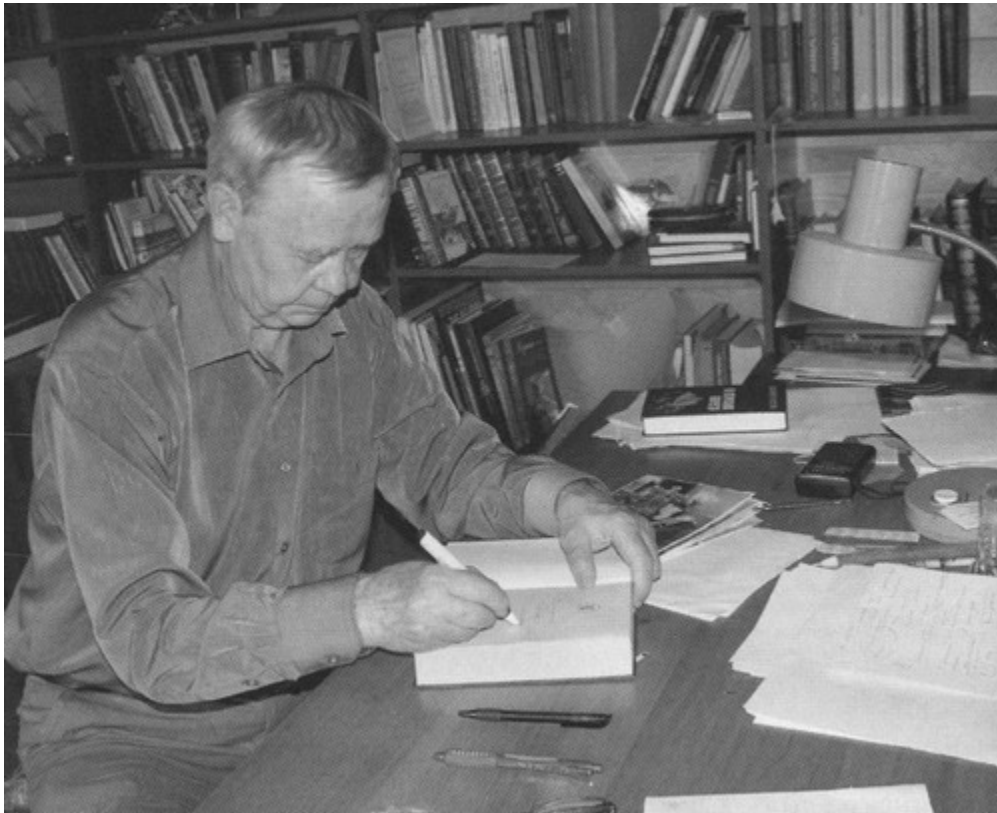


***«Шукшинские дни». Слово В. Распутина о Василии Макаровиче Шукшине на его родине в алтайском селе Сростки***





**Во Франции: поэт Андрей Румянцев, автор книги (слева), Валентин Распутин и руководитель Общества дружбы двух стран Марк Дрюэн в сопровождении переводчицы. Департамент Верхняя Савойя. 1999 г.**



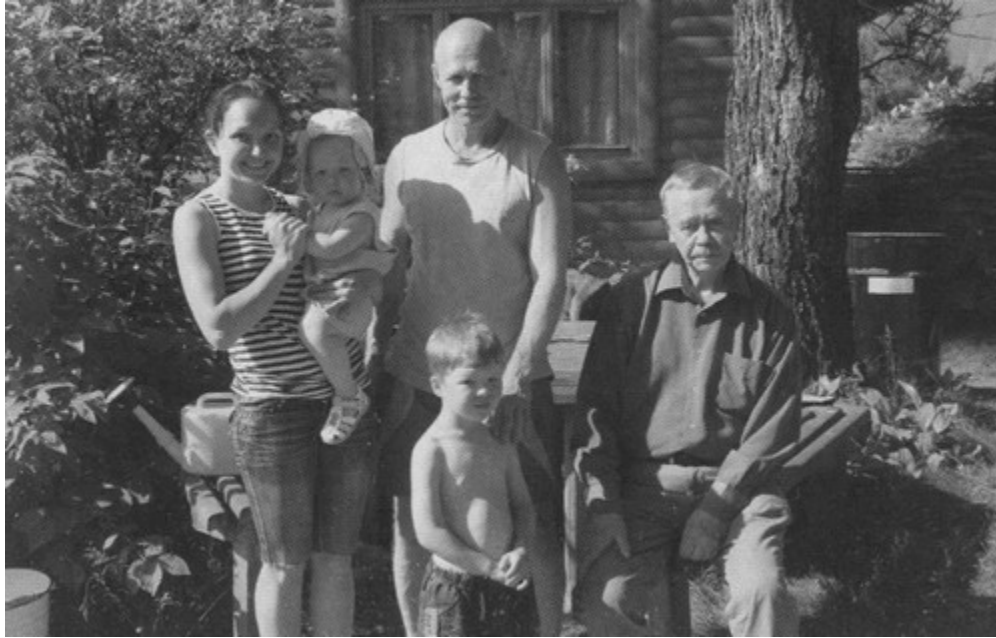
***В рабочем кабинете***



***С дочерью Марией и женой Светланой Ивановной***



***Венчание Валентина Григорьевича и Светланы Ивановны Распутиных в храме Касперовской иконы Божией Матери; таинство совершает настоятель храма отец Алексей (Середин). Иркутск. 12 октября 2010 г.***



***На даче с сыном Сергеем и его семейством — женой Еленой и детьми Гришей и Любой***



**Президент Российской Федерации Владимир Путин  
поздравляет писателя с вручением ордена «За  
заслуги перед Отечеством» 3-й степени. 2007 г.**



**С певицей Татьяной Петровой и председателем  
Союза писателей России Валерием Ганичевым во  
время поездки писательской делегации в Чечню**



***Соратники. Слева направо: кинооператор Анатолий Заболоцкий, скульптор Вячеслав Клыков, писатели Александр Сегень, Валентин Распутин, Валерий Ганичев***



***Моряки одной команды: критик Валентин Курбатов  
и прозаик Валентин Распутин во время  
путешествия по Ангаре от Иркутска до  
строившейся в Красноярском крае Богучанской  
ГЭС. 2009 г.***



***Не часто выпадавшая отрада — побыть среди  
цветущего таёжного луга***



***Ловись, рыбка, большая и маленькая!***

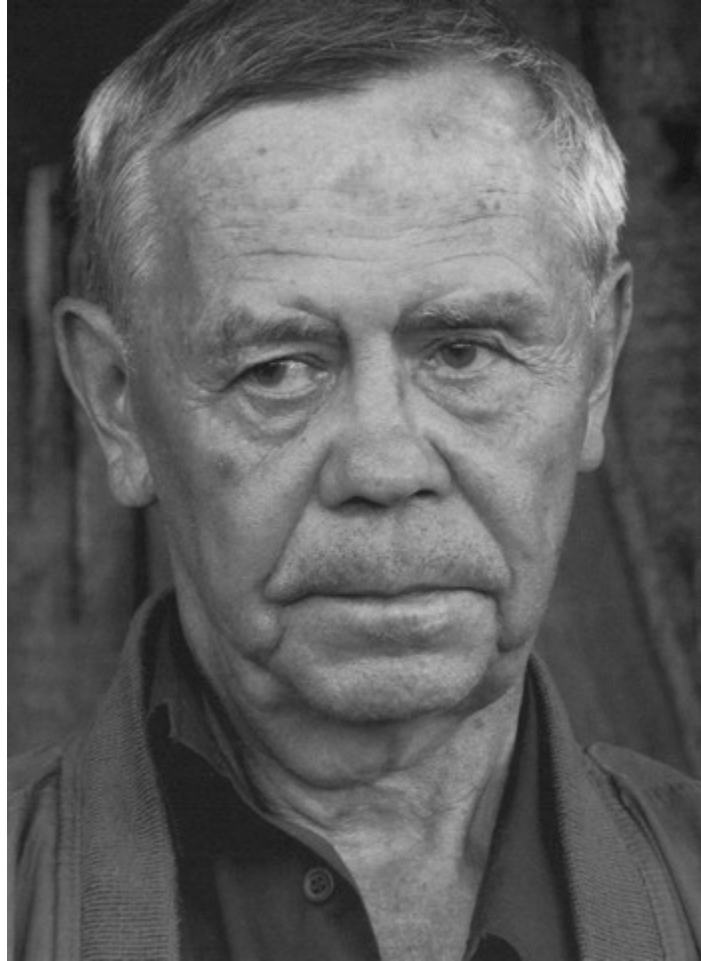




***Со второй женой Ольгой Владимировной Лосевой.  
2014 г.***



***Церковь Богоявления в Усть-Уде, возведённая с  
помощью пожертвований писателя***



***Валентин Распутин: «Постараемся же выжить и на этот раз, держась друг друга, друг другу помогая, спасаясь соборными нравственными законами»***

# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. Г. РАСПУТИНА

**1937, 15 марта** — в районном центре Усть-Уда Иркутской области у Григория Никитича и Нины Ивановны Распутиных родился сын Валентин.

**1938** — семья Распутиных переехала к родителям Григория Никитича в село Аталанка того же Усть-Удинского района.

**1939** — родилась сестра Агния.

**1941, июль** — отец мобилизован в армию.

**1944, сентябрь** — Валентин пошёл в первый класс Аталанской начальной школы.

**1945, осень** — вернулся с фронта Григорий Никитич.

**1946** — родился брат Геннадий.

**1948, сентябрь** — Валентин начал учёбу в пятом классе Усть-Удинской средней школы.

**1954, июнь** — окончил школу.

**Сентябрь** — поступил на филологическое отделение историко-филологического факультета Иркутского государственного университета.

**1955, сентябрь** — познакомился с А. Вампиловым, поступившим на тот же факультет университета.

**1957** — в иркутской областной газете «Советская молодёжь» появились первые корреспонденции третьекурсника В. Распутина.

**1959, весна** — принят на работу в газету «Советская молодёжь» литературным сотрудником (из-за отсутствия журналистских вакансий оформлен как библиотекарь).

**Июнь** — окончил университет.

**1 ноября** — умер дед Никита Яковлевич.

*1961, январь* — женился на Светлане Ивановне Молчановой, студентке Иркутского университета, дочери поэта и прозаика И. И. Молчанова-Сибирского.

*Январь — февраль* — в альманахе «Ангара» напечатан первый рассказ В. Распутина «Я забыл спросить у Алёшки» (в дальнейшем: «Я забыл спросить у Лёшки»).

*Сентябрь* — перешёл на работу в Иркутскую студию телевидения редактором литературно-драматических передач.

*21 ноября* — родился сын Сергей.

*1962, август* — переехал с семьёй в Красноярск, начал работать литературным сотрудником краевой газеты «Красноярский рабочий».

*1963, февраль* — перешёл в редакцию газеты «Красноярский комсомолец» на должность специального корреспондента.

*1965, сентябрь* — участвует в совещании молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Чите.

*1966, март* — возвратился с семьёй в Иркутск; начал профессиональную литературную работу.

В Красноярском книжном издательстве выпущен сборник очерков «Костровые новых городов».

В Восточно-Сибирском издательстве вышла книга очерков и рассказов «Край возле самого неба».

*1967, май* — Распутин принят в Союз писателей СССР.

В Красноярском книжном издательстве вышел сборник рассказов «Человек с этого света».

*Июль — август* — в альманахе «Ангара» (№ 4) опубликована повесть «Деньги для Марии».

*1968* — в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая московская книга писателя «Деньги для Марии».

*15 октября* — родился сын Роман (умер от пневмонии 27 ноября 1969 года).

*Октябрь* — Иркутский обком комсомола присудил Распутину литературную премию им. И. Уткина.

*1969, май* — написанная в соавторстве с В. Шугаевым повесть «Нечаянные хлопоты: история, слышанная в Усть-Илиме» опубликована в журнале «Наш современник».

По рассказу Распутина «Рудольфио» режиссёр Д. Асанова сняла художественный фильм.

*1970, март* — делегирован на съезд писателей РСФСР; избран членом ревизионной комиссии Союза писателей РСФСР.

*Июль — август* — в двух номерах журнала «Наш современник» опубликована повесть «Последний срок».

По программе советско-болгарского клуба творческой молодёжи совершил поездку в столицу Киргизии — город Фрунзе.

В Восточно-Сибирском издательстве вышла книга «Последний срок».

*1971, 8 мая* — родилась дочь Мария.

В составе членов советско-болгарского клуба побывал в Болгарии.

*Июль* — награждён орденом «Знак Почёта».

В Западно-Сибирском издательстве вышел сборник «Последний срок» (серия «Молодая проза Сибири»).

*1972, июнь* — участвовал в Днях советской литературы на Алтае.

В журнале «Наш современник» напечатана повесть «Вниз по течению».

Издательство «Советская Россия» выпустило книгу повестей «Вниз и вверх по течению» (в серии «Романы, повести и рассказы Советской России»).

*1973, 13 августа* — на 84-м году жизни умерла бабушка писателя Мария Герасимовна.

*1974, январь* — вошёл в состав редколлегии газеты «Литературная Россия».

В болгарском журнале «Современник» опубликована повесть «Деньги для Марии».

В Праге на чешском языке вышла книга «Деньги для Марии».

*Октябрь-ноябрь* — в журнале «Наш современник» опубликована повесть «Живи и помни».

*1 декабря* — умер Григорий Никитич, отец писателя.

*1975, январь* — за повесть «Живи и помни» присуждена премия журнала «Наш современник».

*Май* — в составе делегации Союза писателей СССР совершил поездку в Венгрию.

*Декабрь* — в качестве делегата участвовал в работе съезда писателей РСФСР; избран в состав правления Союза писателей РСФСР.

Восточно-Сибирское издательство выпустило сборник повестей «Деньги для Марии» (в серии «Земля родная»). Вошёл в состав редколлегии журнала «Наш современник».

*1976, март — апрель* — повесть «Живи и помни» напечатана в Венгрии.

*Июнь* — участвовал в работе съезда писателей СССР; избран в состав ревизионной комиссии Союза писателей СССР.

*Июль* — совершил поездку в Финляндию.

*Сентябрь* — присутствовал на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

*Октябрь — ноябрь* — в журнале «Наш современник» опубликована повесть «Прощание с Матёрой».

В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга «Повести». В Венгрии и ФРГ издана книга «Живи и помни», в Болгарии — сборник повестей «Последний срок. Живи и помни».

*1977, июнь* — избран депутатом Иркутского областного совета.

*Сентябрь* — принял участие в работе Московской всемирной выставки-ярмарки книг.

*Ноябрь* — за повесть «Живи и помни» присуждена Государственная премия СССР 1977 года в области литературы, искусства и архитектуры.

Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой поставил спектакль по повести «Деньги для Марии». Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП) издало пьесу по повести «Последний срок». Постановку пьесы осуществил Московский Художественный академический театр им. М. Горького.

В издательстве «Известия» вышла книга повестей «Живи и помни» (в серии «Библиотека „Дружбы народов“»).

Повесть «Живи и помни» вышла в свет на украинском и эстонском языках.

В Берлине (ГДР) издан сборник повестей и рассказов «Живи и помни»; в Мюнхене (ФРГ) вышла повесть «Прощание с Матёрой».

*1978, март* — совершил поездку в ГДР по приглашению издательства «Фольк унд Вельт».

*Октябрь* — в составе делегации Союза писателей СССР побывал в Чехословакии.

*Декабрь* — посетил с творческими целями Западный Берлин.

ВААП издало пьесу по повести «Деньги для Марии».

В издательстве «Советская Россия» вышел сборник «Повести». Издательство «Художественная литература» выпустило повесть «Живи и помни».

В Красноярском издательстве вышла книга повестей «Живи и помни». Аналогичный сборник выпущен Восточно-Сибирским издательством (в серии «Современная сибирская повесть»).

Восточно-Сибирское издательство выпустило книгу Н. Тендитник о писателе «Ответственность таланта».

В Западно-Сибирском издательстве вышла книга В. Шапошникова «Валентин Распутин» (в серии «Литературные портреты»).

Спектакль «Живи и помни» поставил на своей сцене Ленинградский Молодой театр.

В Болгарии издана книга «Повести и рассказы».

В Братиславе на словацком и в Софии на болгарском языках издана пьеса по повести «Последний срок».

Спектакль «Деньги для Марии» поставлен в ГДР.

Вышел телевизионный фильм «Уроки французского» (режиссёр Е. Ташков).

*1979, март* — в составе делегации ВААП совершил поездку во Францию.

*Октябрь — ноябрь* — побывал в Италии на праздновании Дней Советского Союза в Турине.

Вновь избран депутатом Иркутского областного совета. ВААП опубликовало пьесу по повести «Живи и помни».

В Болгарии поставлен спектакль по повести «Последний срок». Повесть «Деньги для Марии» вышла на азербайджанском языке.

На литовском языке издана книга «Живи и помни. Последний срок», на молдавском и латышском — «Живи и помни. Прощание с Матёрой».

На Всесоюзном радио осуществлена постановка по рассказу «Василий и Василиса».

В Братиславе на словацком и в Праге на чешском языках издана пьеса по повести «Деньги для Марии».

*1980, сентябрь* — во время поездки на Куликово поле принял крещение в городе Ельце.

*Декабрь* — участвовал в работе съезда писателей РСФСР; избран в состав правления Союза писателей РСФСР.

Фильму «Уроки французского» присуждён Большой приз Всесоюзного телевизионного фестиваля, состоявшегося в Баку. Издательство «Советский писатель» выпустило повесть «Живи и помни» (в серии «Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР»).



В издательстве «Малыш» вышла книга для детей «На реке Ангаре».

В Берлине и Веймаре на немецком языке издана книга «Вниз и вверх по течению», в Лейпциге — «Последний срок. Живи и помни».

Сборник повестей «Прощание с Матёрой» вышел на эстонском языке.

Режиссёр Александр Итыгилов поставил фильм по рассказу «Продаётся медвежья шкура».

Московский театр-студия на Красной Пресне поставил спектакль по повести «Прощание с Матёрой».

Московская фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку «Уроки французского».

*1981, 30 июня — 4 июля* — участвовал в работе съезда писателей СССР; избран в состав правления Союза писателей СССР.

*Август* — награждён орденом Трудового Красного Знамени.

*Сентябрь* — участвовал в выездном заседании Совета по прозе Союза писателей РСФСР в Карелии.

Рассказ «Уроки французского» вышел в Восточно-Сибирском издательстве отдельной книгой, адресованной школьникам.

Сборник повестей издан в Молдавии, Казахстане и Армении на национальных языках этих республик.

В Австралии на английском языке вышла книга «Деньги для Марии. Последний срок».

В Праге на чешском языке изданы сборник «Последний срок. Прощание с Матёрой» и отдельной книгой рассказ для детей «Мы с Димкой».

На экраны страны вышел художественный фильм «Василий и Василиса» (режиссёр И. Поплавская).

*1982, июль* — участвовал как делегат в работе съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Новгороде.

По приглашению клуба «Интерлит-82» совершил поездку в ФРГ.

В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга рассказов и очерков «Век живи — век люби».

Издательство «Детская литература» выпустило книгу для детей «Уроки французского».

В издательстве «Малыш» вышла книга «Край возле самого неба».

Лениздат выпустил сборник «Четыре повести».

В Молдавии издана пьеса по повести «Деньги для Марии».

*1983, январь* — за рассказы «Век живи — век люби», «Что передать вороне?», «Не могу-у...», опубликованные в «Нашем современнике», удостоен премии этого журнала. Восточно-Сибирское издательство выпустило сборник повестей и рассказов «Прощание с Матёрой».

В Минске на белорусском языке издана книга «Повести», а во Фрунзе на киргизском языке — сборник повестей и рассказов «Последний срок».

На экраны вышел художественный фильм «Прощание» по мотивам повести «Прощание с Матёрой» (режиссёры Л. Шепитько и Э. Климов).

Восточно-Сибирская студия кинохроники сняла по сценарию писателя документальный фильм «Иркутск с нами».

*1984, ноябрь* — за заслуги в развитии советской литературы и в связи с пятидесятилетием Союза писателей СССР награждён орденом Ленина.

*Ноябрь-декабрь* — по приглашению Института изящных искусств совершил поездку в Мексику.

Издательство «Молодая гвардия» осуществило выпуск двухтомника «Избранные произведения».

В издательстве «Художественная литература» вышел сборник рассказов «Век живи — век люби».

Издательство «Современник» выпустило книгу «Повести и рассказы» (в серии «Сельская библиотека

Нечерноземья»).

В издательстве «Малыш» вышла книга для детей «Земля Родины».

В Ташкенте на узбекском языке издана книга повестей «Живи и помни».

*1985, январь* — в московском Камерном музыкальном театре им. Б. Покровского состоялась премьера оперы Кирилла Волкова «Живи и помни» (автор либретто и режиссёр спектакля Н. Кузнецов).

*Март-апрель* — совершил поездку в Канзас-Сити (США) по приглашению местного университета для чтения лекций о современной прозе.

Журнал «Наш современник» опубликовал в июльском номере повесть «Пожар».

В Вильнюсе на литовском языке издана книга «Повести».

*1986, 10 апреля* — родилась внучка Антонина.

*Май* — побывал в Болгарии на «Днях „Литературной газеты“» вместе с В. Астафьевым, Б. Окуджавой, В. Соколовым, И. Драчем и С. Алексиевич.

*Июль* — совершил поездку в Японию по приглашению Ассоциации писателей этой страны.

Присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска».

*Октябрь* — посетил Швецию для знакомства с опытом охраны природы; там же издана повесть «Прощание с Матёрой».

*1987, март* — в составе делегации, интересующейся проблемами экологии, совершил поездку в ФРГ и Западный Берлин.

*14 марта* — за заслуги в развитии советской литературы и в связи с пятидесятилетием со дня рождения удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Накануне юбилея писателя в Иркутске впервые прозвучала Соната в двух частях для органа

московского композитора К. Волкова (исполнитель — заслуженный артист РСФСР Г. Гродберг).

*Август* — в Иркутске состоялась встреча писателей СССР и Японии, положившая начало общественному «Байкальскому движению» (тема встречи — борьба за сохранение водных источников на Земле; среди её активных организаторов был В. Распутин).

Издательство «Советская Россия» выпустило книгу С. Семёновой «Валентин Распутин».

*1988, июль* — участники «Байкальского движения» обсудили проблемы сохранения японского озера Бивы; на встрече в Японии среди писателей СССР и других государств присутствовал и выступил В. Распутин.

В издательстве «Современник» вышла монография Н. Котенко «Валентин Распутин».

*1989, 18 января* — газета «Правда» опубликовала коллективное письмо-обращение писателей страны, осуждающее русофобские выступления журнала «Огонёк» (письмо подписал и В. Распутин).

*1 июня* — в выступлении на Первом съезде народных депутатов СССР В. Распутин предостерег представителей некоторых союзных республик от их националистической пропаганды, которая может привести к развалу единой державы; писатель напомнил крылатую фразу П. А. Столыпина: «Вам нужны великие потрясения — нам нужна великая страна».

В Армении, на берегу озера Севан, состоялась очередная встреча участников «Байкальского движения», предложивших практические меры по охране этого уникального озера.

*Сентябрь* — Иркутский академический драматический театр им. Н. Охлопкова открыл свой 140-й сезон премьерой спектакля по повести «Прощание с Матёрой».

*1990, 2 марта* — газета «Литературная Россия» опубликовала «Письмо писателей России»,

адресованное Верховному Совету СССР, Верховному Совету РСФСР и ЦК КПСС; авторы выступили против оголтелой антирусской кампании, развязанной средствами массовой информации (среди подписавшихся был В. Распутин).

Указом президента СССР М. Горбачёва писатель назначен членом Президентского совета; Совет был распущен в ноябре того же года.

Издательство «Просвещение» выпустило книгу И. Панкеева «Валентин Распутин. По страницам произведений» (в серии «Школьникам о современных советских писателях»).

*1988-1991* — написаны и опубликованы в газете «Литературный Иркутск», других изданиях очерки об истории России, её духовных светочах: «Из глубин в глубины», «Смысл давнего прошлого», «Ближний свет издалека» и др.; писатель был составителем нескольких номеров названной газеты.

*1991, 23 июля* — в газете «Советская Россия» опубликовано «Слово к народу», подписанное двенадцатью широко известными в стране людьми, в том числе В. Распутиным.

В издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет книга очерков «Сибирь, Сибирь...».

*1992, февраль* — на учредительной конференции Русского народного собора избран его сопредседателем.

*Октябрь* — вошёл в оргкомитет Фронта национального спасения, преобразованного на учредительном конгрессе в политсовет. Издательство «Советский писатель» выпустило книгу В. Курбатова «Валентин Распутин: личность и творчество». Присуждена литературная премия им. Л. Н. Толстого.

*1993, лето* — посетил Боснию и Герцеговину.

В иркутском издательстве «Письмена» вышел сборник публицистики «Россия: дни и времена».

*1994, октябрь* — в Иркутске впервые состоялись Дни русской духовности и культуры «Сияние России»; инициаторами этого ежегодного праздника стали В. Распутин, мэр областного центра Б. Говорин, епископ Иркутский и Ангарский Вадим (с 1997 года, после избрания Б. Говорина губернатором региона, праздник получил статус областного).

Издательства «Молодая гвардия» и «Вече» выпустили трёхтомное собрание сочинений писателя.

*1995* — побывал в Сербии вместе с писателями В. Беловым и В. Хайрюзовым.

*1996, 11 марта* — умерла мать Нина Ивановна.

*Август* — на учредительном съезде Народно-патриотического союза России избран членом президиума координационного совета.

Московские школьники и студенты гуманитарных вузов, выступившие арбитрами в присуждении премии «Москва — Пенне», отдали свои голоса В. Распутину.

*1997* — удостоен премии Фонда Андрея Первозванного «За веру и верность».

В издательстве «Современник» вышел двухтомник избранных произведений В. Распутина.

Издательства «Голос» (Москва) и «Письмена» (Иркутск) выпустили совместно книгу рассказов «В ту же землю».

*1998, 7 октября* — писателю присвоено звание «Почётный гражданин Иркутской области».

Избран действительным членом Академии российской словесности.

*1999, май* — побывал в Италии на Международной писательской конференции по проблемам современного мира.

*Октябрь* — вместе с писателями А. Румянцевым и А. Семёновым совершил поездку во Францию и Швейцарию.

*2000, 4 мая* — вручение В. Распутину Литературной премии Александра Солженицына.

В иркутском издательстве «Г. Сапронов» вышло второе издание книги очерков «Сибирь, Сибирь...».

*2001, 14 августа* — в газете «Советская Россия» опубликовано обращение деятелей литературы, искусства, науки, депутатов Государственной думы к российским властям «Остановить реформы смерти!» (среди сорока трёх подписавших этот документ был В. Распутин).

*1 сентября* — начал занятия с иркутскими студентами-заочниками московского Литературного института им. М. Горького (творческий семинар прозаиков).

*Октябрь* — удостоен первой премии им. Ф. Достоевского на Международных литературных днях, посвящённых русскому классику, в Эстонии.

В калининградском издательстве «Янтарный сказ» вышло двухтомное собрание сочинений писателя.

Иркутское издательство «Облмашинформ» выпустило сборник рассказов «Видение».

*2002* — награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.

Писателю вручён орден Преподобного Сергия Радонежского.

*1 сентября* — учебный проект, осуществлённый с помощью писателя в Иркутске московским Литературным институтом им. М. Горького, пополнился ещё одним, поэтическим, творческим семинаром для студентов-заочников (благодаря этому проекту в 2006–2007 годах Литинститут окончили шестнадцать молодых прозаиков и поэтов из Прибайкалья).

*10 октября* — в селе Усть-Уда открылся районный краеведческий музей: один из разделов посвящён жизни и творчеству В. Распутина.

Московские издательства «Дрофа» и «Вече» совместно выпустили двухтомник повестей и рассказов писателя (в серии «Библиотека отечественной классики»).

*2003* — повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» опубликована в журналах «Наш современник», «Роман-журнал. XXI век», «Сибирь», в приложении к иркутской газете «Родная земля».

В иркутском издательстве «Символ» выпущена книга О. Шахеровой «Изучение произведений В. Г. Распутина в школе: книга для учителей».

Иркутский театр юного зрителя им. А. Вампилова осуществил постановку спектакля по повести «Прощание с Матёрой».

В. Распутин награждён знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть».

*2004, март* — поездка на Афон, впечатления от которой легли в основу очерка «На Афоне».

Писателю вручена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства.

Присуждена Всероссийская литературно-историческая премия «Александр Невский».

Удостоен премии им. С. Аксакова.

В издательстве Г. Сапронова вышла повесть «Дочь Ивана, мать Ивана».

Московское издательство «Дрофа» опубликовало дополненную книгу О. Шахеровой «Распутин в школе: книга для учителей».

В Шанхае на китайском языке вышла повесть «Живи и помни».

*2005, июль* — участвовал в работе Всемирного Русского народного собора.

Награждён знаком «Меценаты столетия» Международного благотворительного фонда «Почётный меценат и благотворитель».



В Китае премией «Лучший зарубежный роман года. XXI век» отмечена повесть «Дочь Ивана, мать Ивана».

Повесть опубликована также в Улан-Баторе на монгольском языке.

*2006, 4 апреля* — сдана в эксплуатацию школа-девятилетка в родном селе писателя Аталанке, о строительстве которой он хлопотал несколько лет.

*4 июня* — в селе Усть-Уда освящена церковь Богоявления, сооружению которой содействовал писатель (пожертвовал средства на её строительство, приобретение колоколов, привлёк многих меценатов, неравнодушных к богоугодному делу земляков).

Награждён орденом «Слава нации» благотворительного общественного движения «Добрые люди мира».

*9 июля* — во время катастрофы при посадке самолёта в Иркутском аэропорту погибла дочь писателя Мария.

В издательстве Г. Сапронова вышло третье издание книги «Сибирь, Сибирь...», дополненное двумя новыми очерками — о Транссибе и уникальном Кругобайкальском участке дороги.

Московское издательство «Воскресенье» выпустило книгу бесед писателя с журналистом В. Кожемяко «Последний срок: диалоги о России».

Принял участие в Международных Рождественских образовательных чтениях.

*2007* — награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.

Иркутское издательство Г. Сапронова осуществило выпуск четырёхтомного собрания сочинений В. Распутина.

В этом же издательстве вышла книга «В поисках берега», в которую вошли повесть «Пожар», очерки, статьи, выступления, эссе.

Редакционно-издательский отдел Иркутского государственного университета выпустил сборник «Мир и слово Распутина: материалы Международной научной конференции, посвящённой 70-летию В. Г. Распутина».

На Международном театральном фестивале «Золотой Витязь» писателю вручена награда «За сохранение русского слова и духовных традиций».

В издательстве Г. Сапронова вышла книга А. Сирина «Свет распутинской прозы».

Это же издательство выпустило библиографический указатель «Валентин Григорьевич Распутин», подготовленный специалистами Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.

*2008, 11 апреля* — В. Распутин, губернатор Иркутской области А. Тишанин и академик РАН Ф. Летников направили руководству страны обращение с призывом закрыть Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.

*14 августа* — совершил погружение на дно Байкала в глубоководном батискафе «Мир».

В издательстве Г. Сапронова вышли сборник повестей и рассказов «Век живи — век люби» (в серии «Библиотека семейного чтения») и книга-альбом «Земля у Байкала» (текст представлен на русском, китайском и японском языках). Жюри Национальной литературной премии «Большая книга» присудило писателю специальную премию «За вклад в литературу».

Книга бесед В. Кожемяко с писателем «Валентин Распутин. Боль души» удостоена премии им. Э. Володина «Имперская культура».

На экраны страны вышел художественный фильм режиссёра А. Прошкина «Живи и помни», о котором В. Распутин отзывался негативно.

*Декабрь* — спектакль Иркутского академического драматического театра им. Н. Охлопкова по повести

«Последний срок» удостоен Губернаторской премии в области культуры и искусства. В следующем году он был отмечен главным призом на Международном театральном фестивале «Золотой Витязь».

*2009, 31 января* — родился внук Гриша.

*Июль* — вместе с кинорежиссёром С. Мирошниченко, критиком В. Курбатовым, художником С. Элояном и издателем Г. Сапроновым совершил поездку по Ангаре от Иркутска до зоны затопления при строительстве Богучанской ГЭС; съёмочная группа С. Мирошниченко подготовила документальный фильм «Река жизни» об этой экспедиции.

Побывал в Овсянке, на могиле В. П. Астафьева.

*2010, июль* — вошёл в Патриарший совет по культуре Русской православной церкви.

*12 октября* — Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна обвенчались в храме Касперовской иконы Божией Матери в Иркутске.

*2011, 1 сентября* — награждён орденом Александра Невского. Писателю вручена Большая литературная премия России. Удостоен премии им. Л. Толстого «Ясная Поляна» в номинации «Современная классика».

Писателю присуждена премия Международного фонда единства православных народов.

В московском издательстве «Алгоритм» вышла книга бесед В. Распутина с журналистом В. Кожемяко «Эти двадцать убийственных лет».

*19 декабря* — родилась внучка Люба.

*2012, 1 мая* — после продолжительной болезни скончалась жена писателя Светлана Ивановна.

Издательство Г. Сапронова выпустило повесть «Прощание с Матёрой» с иллюстрациями художника С. Элояна. Министерство культуры и архивов Иркутской области и Архивное агентство региона выпустили брошюру «История рода В. Г. Распутина» (издательство «Оттиск»).

В Иркутске вышел в свет фотоальбом «Валентин Распутин. Дорога домой» (издатель А. Чернышёв).

*2013, 8 января* — родилась правнучка Алиса.

*12 июня* — В. Распутину вручена Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

*2014, 6 марта* — подписал обращение Союза писателей России, выразившее поддержку действиям российского руководства в отношении Крыма.

*15 марта* — во МХАТе им. Чехова в день рождения Валентина Григорьевича и в его присутствии с огромным успехом прошёл показ спектакля Иркутского драматического театра им. Н. Охлопкова «Последний срок».

*Ноябрь* — В. Распутин зарегистрировал свой брак с О. Лосевой.

**2015, 7 января** — родилась внучка Надя.

**14 марта** — Валентин Григорьевич Распутин скончался в одной из московских клиник за несколько часов до своего 78-летия.

*17 марта* — в храме Христа Спасителя состоялось прощание с писателем.

*18 марта* — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя отпевание Валентина Распутина.

*19 марта* — прощание с писателем в Иркутске; похоронен в некрополе Знаменского монастыря.

# КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

## *Произведения В. Г. Распутина*

*Распутин В.* Избранные произведения: В 2 т. М.: Молодая гвардия, 1984.

*Распутин В.* Собрание сочинений: В 3 т. М.: Молодая гвардия; Вече-АСТ, 1994.

*Распутин В.* Собрание сочинений: В 2 т. Калининград: Янтарный сказ, 2001.

*Распутин В.* Собрание сочинений: В 4 т. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007.

*Распутин В.* Костровые новых городов. Очерки. Красноярск: Книжное издательство, 1966.

*Распутин В.* Край возле самого неба. Очерки и рассказы. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1966.

*Распутин В.* Человек с этого света. Рассказы. Красноярск: Книжное издательство, 1967.

*Распутин В.* Деньги для Марии. Повесть и рассказы. М.: Молодая гвардия, 1968.

*Распутин В.* Последний срок. Повесть и рассказы. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970.

*Распутин В.* Вниз и вверх по течению. Повести. М.: Советская Россия, 1972.

*Распутин В.* Живи и помни. Повесть, рассказы. М.: Современник, 1975.

*Распутин В.* Прощание с Матёрой. Живи и помни. Последний срок. Деньги для Марии. Повести. М.: Современник, 1976.

*Распутин В.* Последний срок. Прощание с Матёрой. Пожар. Повести. М.: Советская Россия, 1986.

*Распутин В.* Сибирь, Сибирь...(Серия «Отечество»). М.: Молодая гвардия, 1991.

*Распутин В.* Россия: дни и времена. Публицистика. Иркутск: Письмена, 1993.

*Распутин В.* В ту же землю. Рассказы. М.: Голос; Письмена, 1997.

*Распутин В.* Дочь Ивана, мать Ивана. Повесть, рассказы. Иркутск: Издатель Сапронов, 2004.

*Распутин В.* Сибирь, Сибирь... 3-е изд., доп. Иркутск: Издатель Сапронов, 2006.

*Распутин В.* В поисках берега. Повесть «Пожар», очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007.

### ***Использованная литература***

*Турбин В.* Путешествие в Тофаларию//Дружба народов. 1967. № 12.

*Трушкин В.* Поэзия прозы //Ангара. 1968. № 1.

*Мостков Ю.* Замысел и характеры // Сибирские огни. 1968. № 9.

*Кузнецов Ф.* Писатель родился // *Распутин В.* Деньги для Марии. М., 1968.

*Рощин М.* Служит живому // Новый мир. 1970. № 10.

*Сучков Б.* Немного о книге и её авторе // Новый мир. 1975. № 11.

*Залыгин С.* Повести Валентина Распутина // *Распутин В.* Повести. М., 1976.

*Селезнёв Ю.* Мужество добра // *Селезнёв Ю.* Вечное движение. М., 1976.

*Теракопян Л.* Благодарная память // Молодая гвардия. 1977. № 6.

*Астафьев В.* Вглядываясь вглубь // *Распутин В.* Живи и помни. М., 1978.

*Тендитник Н.* Ответственность таланта. Иркутск, 1978.

*Шапошников В.* Валентин Распутин. Новосибирск, 1978.

*Панкин Б.* Прощания и встречи // Дружба народов. 1978. № 2.

*Дедков И.* Оправдание надежд // *Дедков И.* Возвращение к себе. М., 1978.

*Старикова Е.* Жить и помнить // Литература и современность. Статьи о литературе. М., 1978.

*Адамович А.* О войне и о мире // Новый мир. 1980. № 7.

*Турбин В.* Эхо «Медного Всадника» // Октябрь. 1980. № 10.

*Гамзатов Р.* Обретённая радость // Вопросы литературы. 1981. № 1.

*Сурганов В.* Между Стиксом и Ангарой // Писатель и жизнь. М., 1981.

*Антипьев Н.* Наедине с совестью. Иркутск, 1981.

*Яновский Н.* Заботы и тревоги Валентина Распутина: Проблемы нравственности // Собеседник. Вып. 1. М., 1981.

*Бочаров А.* Бесконечность поиска. М., 1982.

*Лобанов М.* Знания и мудрость // *Лобанов М.* Размышления о литературе и жизни. М., 1982.

Очерки русской литературы Сибири: В 2 т. Т. 2: Советский период. Новосибирск, 1982.

*Крупин В.* Красота и огромность мира: Штрихи к портрету В. Распутина // Литературная Россия. 1983. 1 января.

*Михайлов А.* От первого лица: Проза 70-х — нач. 80-х гг. // Октябрь. 1983. № 1.

*Сидоров Е.* Время, писатель, стиль: О прозе и критике наших дней. М., 1983.

Константин Симонов в воспоминаниях современников. М., 1984.

*Овчаренко А.* Литературная судьба Валентина Распутина // *Распутин В.* Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1984.

*Солоухин В.* Боль его и надежда // *Огонёк.* 1987. № 13.

*Шепитько Л.* Последнее интервью // *Лариса: Книга о Ларисе Шепитько.* М., 1987.

*Семёнова С.* Валентин Распутин. М., 1987.

*Котенко Н.* Валентин Распутин. М., 1988.

*Залыгин С.* Народность писателя // *Распутин В.* Век живи — век люби. М., 1988.

*Драч И.* Явление Валентина Распутина // *Драч И.* Духовный меч. М., 1988.

*Панкеев И.* Валентин Распутин: По страницам произведений. М., 1990.

*Курбатов В.* Валентин Распутин: Личность и творчество. М., 1992.

*Басинский П.* Memento mori // *Литературная газета.* 1992. 28 октября.

*Ореханова Г.* Травят писателя // *Советская Россия.* 1993. 21 декабря.

*Стрелкова И.* Пророки в своём отечестве // *Москва.* 1996. № 5.

*Белов В.* Слово о друге // *Сельская жизнь.* 1997. 13 марта.

*Лихоносов В.* И появился он неслучайно, и неслучайна его народность // *Кубанские новости.* 1997. 15 марта.

*Крупин В.* Уроки русского // *Русь державная.* 1997. № 4.

*Машкин Г.* Стенкой и в одиночку: Воспоминательное повествование. Иркутск, 1998.

*Тендитник Н.* Валентин Распутин: Колокола тревоги. М., 1999.

*Солженицын А.* Слово о Валентине Распутине // *Новый мир.* 2000. № 5.



*Бондаренко В.* Валентин Распутин. — В кн.: *Бондаренко В.* Дети 1937 года. М., 2001.

*Ганичев В.* Отогревающий душу. — В кн.: *Распутин В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. Калининград, 2001.

*Нива Ж.* Валентин Распутин / Пер с фр. // Сибирь. 2002. № 1.

*Астафьев В.* Трудно и почётно быть на Руси писателем // Русский Восток. 2002. 15 марта.

*Астафьев В., Курбатов В.* Крест бесконечный: Письма из глубины России. Иркутск, 2002.

*Шахерова О.* Распутин в школе: Книга для учителя. М., 2004.

Георгий Свиридов в воспоминаниях современников. М., 2006.

*Бородин Л.* Дар, оплаченный судьбой // Литературная газета. 2007. 14-20 марта.

Мир и слово Распутина: Материалы Международной научной конференции. Иркутск, 2007.

*Доронина Т.* Уроки русского // Литературная газета. 2007. 16-20 марта.

*Сирин А.* Свет распутинской прозы. Иркутск, 2007.

*Варламов А.* Век любви // Российская газета. 2012. 15 марта.

Время и творчество Валентина Распутина: Материалы Международной научной конференции. Иркутск, 2012.

История рода В. Г. Распутина. Иркутск, 2012.

*Гореславская Н., Чернов В.* Валентин Распутин. Русский гений. М., 2013.

Валентин Распутин. Эти двадцать убийственных лет. Беседы с Виктором Кожемяко. М.: Алгоритм, 2015.

*Анашкин Э.* А сердце в Читу, всё в Читу возвращается... // Сибирь. 2015. № 2.

*Родченкова Е.* Китай: в поисках героя // День литературы. 2015. 5 мая.

*Зыков В.* Валентин Распутин, каким я его запомнил // Красноярская газета. 2015. 5 мая.

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Скрадывать на тропах — следить за зверем таясь, из укрытия. — *Прим. ред.*

## 2

То есть в посёлок, который составиля из нескольких деревень после затопления берегов Ангары при строительстве Братской ГЭС.

*Анашкин Э.* «А сердце в Читу, всё в Читу возвращается...» // Сибирь. 2015. № 2.

**4**

В связи со строительством Братской ГЭС.

**5**

Официально она называлась улицей имени Карла Маркса.



**6**

Ёхор — бурятский национальный танец.

Так как журналистских вакансий к тому времени в газете не было, В. Распутина временно оформили на должность библиотекаря редакции.

**8**

Теперь его имя носит Иркутская областная библиотека.

Главный редактор «Известий» А. Аджубей был зятем Н. Хрущёва.

Впервые опубликованы мной в журнале «Сибирь» (2012, № 2) и в журнале «Наш современник» (2012, № 3).

Альманах «Ангара» выпускало Восточно-Сибирское книжное издательство.

*Распутин В. Г.* Избранные произведения: В 2 т. М.: Современник, 1997.

Ошибка — немецкой литературой.



То есть на отделении журналистики Иркутского государственного университета.

Голубь мира Нины Поповой. М., 2010.

Летом 1979 года на Алтае состоялись Дни русской литературы, посвящённые пятидесятилетию со дня рождения В. М. Шукшина. Распутин не смог поехать на это торжество, потому что как раз в это время обустроивал новую квартиру.

**17**

В. Крупин должен был заехать по пути с Алтая в Иркутск.

Прозаик Глеб Пакулов.

В связи с предстоящим 600-летием со дня Куликовской битвы писатели решили подготовить письмо в государственные и общественные организации с предложением обустроить Куликово поле и достойно провести юбилей этого великого события в русской истории.

Распутин неверно назвал имя переводчицы: Нина вместо Ника. Забавно, что в конце письма он просит прощения, «ежели всё-таки сбился».

То есть для строителей Нурекской ГЭС в Средней Азии.



Вероятно, С. Баруздин просил Распутина прислать для публикации в журнале новое произведение.

Очерк опубликован в книге В. Распутина «Сибирь, Сибирь...» (М.: Молодая гвардия, 1991).

Письмо хранится в РГАЛИ: публикуется впервые.

**25**

На фестиваль советских фильмов.

Письмо отправлено из Москвы, где В. Г. Распутин в 1990-е годы и позже проводил зиму. Название сборника «Россия: дни и времена» писатель сообщил незадолго до отправки письма.

15 января 1993 года от рук грабителей в подмосковном Хотькове погиб мой сын Евгений, редактор городской газеты.

К письму был приложен перечень произведений, составивших три раздела книги.

Имеется в виду корректура сборника «Россия: дни и времена». Записка написана, вероятно, в связи с тем, что писатель ненадолго отлучался из Иркутска.



Речь идёт о рассказе «Уроки французского», который вместе с рассказом «Рудольфио» вошёл в названный выше сборник (выпущен в начале 1994 года). По просьбе издательства авторы представляли тексты напечатанными на машинке или расклеенными на листах (если произведения издавались ранее).

**31**

Начальник Управления культуры города Иркутска.

Весной 1995 года отмечался очередной юбилей Иркутской областной писательской организации.

В тот день писатель выступал перед коллективом фарфорового завода в посёлке Хайта Иркутской области.

В зале заседаний на втором этаже иркутского Дома литераторов.

*Р. К. Саляев* — член-корреспондент Российской академии наук.

Речь идёт о «Письме 42-х». Накануне его появления в «Известиях», 4 октября, когда начался обстрел Белого дома с находившимися там депутатами Верховного Совета, Ю. Черниченко (один из подписантов) выступил по радио «Эхо Москвы» с призывом к ельцинскому правительству: «Раздавите гадину!» В самом письме этого выражения уже не было, но были не менее категоричные: «Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать!..»

Главный редактор журнала «Сибирь».



В 2002 году мы набрали группу молодых поэтов; этот творческий семинар вёл я.

Беседа опубликована в журналах «Наш современник» (2011, № 3) и «Сибирь» (2010, № 6).

Речь идёт о книге С. Ю. Куняева «Мы и шляхта».

С гостями иркутского праздника «Сияние России».

*Тендитник Н.* Ответственность таланта. Иркутск: Восточно-Сибирское издательство, 1978.

Опубликован под заголовком «Литература — это нравственное служение» в газете «Российский писатель» (2003, № 6).

Речь идёт о статье В. В. Кожина «Самая большая опасность» (Наш современник. 1989. № 1).

Статья С. Ю. Куняева «Легенда и время» (1989), в основе которой — его выступление в нашумевшей дискуссии «Классика и мы» (1977).